95+83
Н68

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[10] 2002

НОВЫЙ РОМАН ГЮНТЕРА ГРАССА "ТРАЕКТОРИЯ КРАБА" / "ИБЕРИЙСКАЯ МОЗАИКА": ПЕСЕННАЯ ПОЭЗИЯ ИСПАНИИ В ПЕРЕВОДАХ АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ПИТЕРА АКРОЙДА "БИОГРАФИЯ ЛОНДОНА" / СТИХИ И ЭССЕ УИЛЬЯМА ДЖЕЯ СМИТА / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ "HARMONIA CAELESTIS"

Основан в 1891 году

“ИЛ” В 2003 ГОДУ

“Мао II” – роман американца ДОНА ДЕЛИЛЛО, повествующий о судьбе писателя в эпоху, когда террористы начинают активно претендовать на роль властителей дум.

“Поцелуй женщины-паука” – всемирно известный роман аргентинского писателя МАНУЭЛЯ ПУИГА; исполненная тонкого психологизма история, которая разворачивается в тесном пространстве тюремной камеры.

“Прелесть” – шедевр поэтической прозы знаменитого француза ПАТРИКА МОДИАНО.

“Карандаш плотника” – удостоенный крупнейших литературных премий роман МАНУЭЛЯ РИВАСА, одного из самых заметных испанских писателей поколения 40-летних.

“Мой собственный мир” – последняя книга ГРЭМА ГРИНА, составленная им из записных книжек, которые писатель вел на протяжении всей жизни.

“Юдифь” – повесть МИРО ГАВРАНА, одного из мастеров современной хорватской литературы, по-новому трактующая библейский сюжет о Юдифи и Олоферне.

“Чужие берега” – размышления южноафриканского писателя ДЖ. М. КУТЗЕЕ о творчестве великих русских писателей.

“Последний дворник” – повесть польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО, сатирическая антиутопия, в которой живущий в США автор беспощадно высмеивает идиотизм современного мира.

“Людское клеймо” – жестокий, откровенный роман американца ФИЛИПА РОТА, где герои расплачиваются за отказ от собственного прошлого.

“Театр памяти” – документальная повесть итальянского писателя ЛЕОНАРДО ШАША, версия разгадки таинственной истории, на протяжении десятилетий не только волновавшей полицию и журналистов, но и вдохновлявшей писателей и кинематографистов.

“Пражские тетради” – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, восстанавливающий самую загадочную часть биографии пламенного Че Гевары.

“На собственной шкуре” – роман немецкой писательницы КРИСТЫ ВОЛЬФ о разрыве времен, о конце ГДР, о конфликте между индивидом и обществом.

“Прекрасные души” – сатирическая повесть восходящей звезды французской литературы ЛИДИ САЛЬВЕР.

“Вспоминая Лампе” – роман молодого испанского писателя ХОСЕ ЛУИСА ДЕ ХУАНА, переносящий читателя в спокойный прусский городок XVIII века в дом профессора Иммануила Канта.

“Андре Мальро, жизнь” – фрагменты книги ОЛИВЬЕ ТОДДА об известном французском писателе и политике, чья судьба теснейшим образом сплелась с историей XX века.

Эссеистика А. ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, Ч. МИЛОША, Ш. ХИНИ, Д. Г. ЛОУРЕНСА, Р. БРЮКНЕРА, Р. КАЙУА, Р. КАЛАССО, Э. САИДА.

Тематический номер *“НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ”*, объединяющий авторов, которые родились за пределами США, но в последнее десятилетие приобрели известность как американские писатели.

Специальный номер, посвященный австрийской литературе, куда войдут роман КРИСТОФА РАНСМАЙРА **“Ужас льдов и мрака”**, эссе ПЕТЕРА ХАНДКЕ, **“Письма Фелице”** ФРАНЦА КАФКИ, стихи из наследия ИНГЕБОРГ БАХМАН и другие тексты.

Литературные гиды о творчестве ИТАЛО КАЛЬВИНО и ЭДМУНДА УИЛСОНА.

Постоянные рубрики журнала: “Документальная проза”, “Литературная биография”, “Вглубь стихотворения”, “Из классики XX века”, “Литературное наследие”, “ИЛ: истоки и история”, “Трибуна переводчика”, “Среди книг”, “Беседы”, “Комментарий”, “Курьер ИЛ”.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро “Новокузнецкая”, “Третьяковская”). Тел. 953-51-47.

[10]

2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Гюнтер Грасс. *Траектория краба.* Новелла.
Перевод с немецкого Б. Хлебникова

115 Уильям Джей Смит. *"Недвижное средоточие".*
Стихи и эссе. Перевод с английского Г. Кружкова

124 Петер Эстерхази. *Harmonia cælestis.* Главы из
романа. Перевод с венгерского и вступление В. Середы

220 *Иберийская мозаика.* Песенная поэзия Испании.
Перевод с испанского и вступление Анатолия Гелескула

Документальная проза 230 Питер Акройд. *Биография Лондона.* Фрагменты
книги. Перевод с английского и вступление Л. Мотылева

Наши гости 290 *Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый
ребенок".* Перевод и подготовка материала С. Силаковой

Статьи, эссе 296 Антон Нестеров. *Подлинность*

Авторы номера 302

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

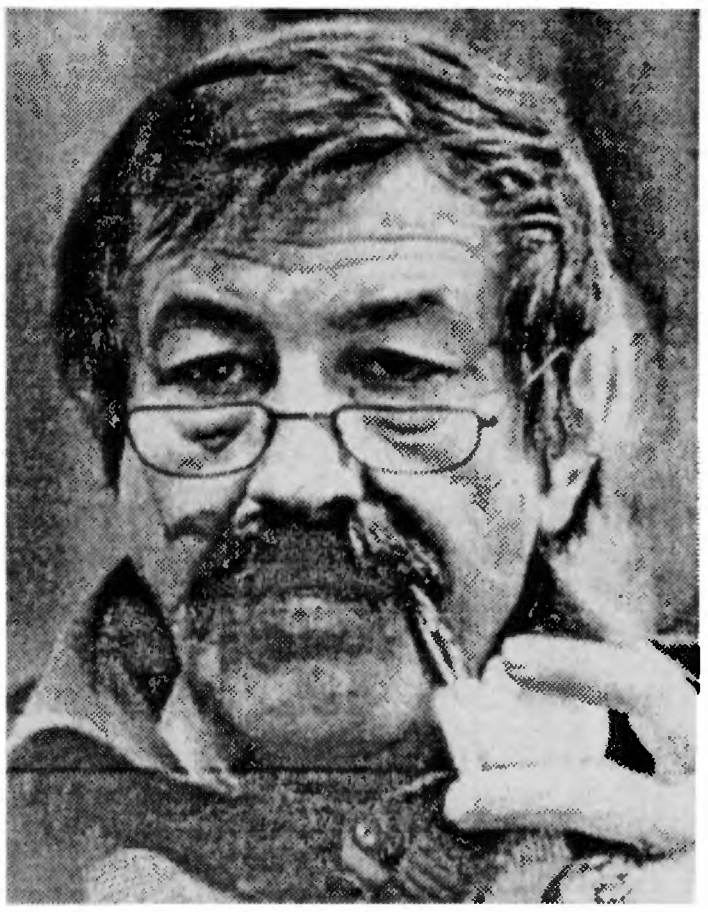
Редакция:

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Гюнтер Грасс



Траектория краба

Новелла

Перевод с немецкого Б. Хлебникова

In memoriam

1

“ПОЧЕМУ лишь сейчас, а не раньше?” – спрашивает Другой, не я. Да потому что мать вечно твердила... Потому что, когда над водой разнесся вопль, я хотел закричать, но не мог... Потому что для правды хватает и трех строк... Потому что лишь теперь...

Пока слова идут трудно. Но Другой не принимает никаких отговорок, взывая к моему профессионализму. Что ж, в молодости я, действительно, был шустрым писакой, работал в одной из газет концерна “Шпрингер”[1], потом заложил крутой вираж и вновь стал гнать строчки, но теперь уже против “Шпрингера”, оказавшись в левой газете “taz”[2], еще позднее перешел на скупой телеграфный стиль, работая поденщиком для информационных агентств, долгое время оставался на вольных хлебах, занимался тем, что препарировал свежатину, то бишь информационные сообщения. Ежедневные новости. Последние известия.

© Steidl Verlag, Göttingen 2002
© Б. Хлебников. Перевод, 2002
Отдельным изданием новелла Г. Грасса “Траектория краба” выйдет в издательстве “Фолио”.
1. Концерн медиа-магната Акселя Цезаря Шпрингера (1912–1985), в который входили, например, крупнейшая бульварная газета “Бильд” и солидная право-консервативная газета “Вельт”, а также “Моргенпост”. (*Здесь и далее прим. перев.*)
2. Полное название “Die tageszeitung”; ежедневная газета, выходит с 1972 года в Берлине, отражает настроения левой интеллигенции, альтернативных и экологических движений.

Пусть так, соглашаюсь я. Ничему иному, как говорится, не обучен. Но если уж придется распространяться на собственный счет, то получится, будто все перекосы моей биографии объясняются исключительно гибелью корабля, на который мать попала тогда на последнем сроке беременности, да и вообще живу я лишь по чистой случайности.

Словом, вновь я исполняю взятый подряд, но все-таки для начала позволю себе отвлечься от моей скромной персоны, ибо история началась задолго до моего рождения, больше века тому назад, а именно в мекленбургской столице, то есть в Шверине, что расположился меж семи озер со своим достопримечательным районом Шельфштадт и известным по почтовым открыткам многобашенным замком, причем сам город более или менее благополучно пережил последние войны, по крайней мере внешне.

Поначалу я полагал, что это позабытое временем провинциальное захолустье вряд ли может заинтересовать кого-либо, кроме некоторых туристов, однако внезапно исходный пункт моего повествования ожил в Интернете. Некий аноним разместил на своей странице множество биографических данных об одном человеке – от календарных дат и названий улиц до школьных отметок, будто решил вскрыть информационные залежи для подобных мне любителей покопаться в краеведческом старье.

Компьютер с модемом я приобрел практически сразу же, когда эти штуковины появились в продаже. Моя профессия предполагает использование информации, странствующей по всему свету. Худо-бедно освоил свой "Макинтош". Вскоре такие понятия, как "браузер" или "гиперлинк", перестали мне казаться китайской грамотой. С помощью кликания скачивал сообщения, которые потом шли в дело или выбрасывались в мусорную корзину, иногда под настроение или от скуки посещал чаты, возмущенно реагировал на какое-нибудь идиотское замечание, пару раз заглянул на порно-сайты, пока наконец после бесцельных скитаний не наткнулся случайно на домашние страницы тех, кого называют "вечно вчерашними", хотя были здесь и свежеиспеченные неонацисты, исполненные тупой ненависти. Неожиданно, задав для поиска в качестве ключевого слова название того самого корабля, я обнаружил нужный мне адрес Мученика – www.blutzeuge.de [1]. "Соратничество Шверин" выдавало готическим шрифтом злобные пропагандистские тексты. Сплошь запоздалый реваншизм. Отвратительно до смешного.

Теперь стало ясно, кого считают Мучеником. Непонятно, однако, следует ли, как нас тому учили, изложить все по порядку – сначала одно, затем другое, последовательно пересказать биографию за биографией, или же лучше избрать траекторию повествования, пролегающую как бы поперек хронологической оси, чтобы получилось нечто вроде того, как ползает краб, который, оттопырив клешни в сторону, имитирует задний ход, но на самом деле весьма бойко продвигается вперед. Так или иначе, ясно одно: стихия, а точнее Балтийское море, решила здесь все более полувека назад по-своему. Аминь.

1. Мучениками национал-социалистического движения считались прежде всего члены НСДАП, СС и СА, которые погибли в "ранние годы борьбы", т. е. в период 1923–1933 гг. Адрес www.blutzeuge.de существует действительно, однако он был заблаговременно зарезервирован издательством "Штайдль" и теперь на нем размещена информация о новелле "Траектория краба".

Первым на очереди пусть будет персонаж, памятник которому был разрушен. Закончив школу и получив аттестат зрелости, он поступил учеником в банк, где без особого блеска приобрел профессиональное образование. Интернет об этом умалчивал. Зато на сервере, специально посвященном Вильгельму Густлоффу, который родился в 1895 году в Шверине, он объявлялся Мучеником. Здесь не сообщалось, например, о заболевании гортани, а также о хронической болезни легких, которая помешала ему проявить свою доблесть на полях Первой мировой войны. В то время как Хансу Касторпу было суждено покинуть Волшебную гору по воле автора романа, чтобы уйти добровольцем на войну и на последней странице романа погибнуть во Фландрии или раствориться в литературной неопределенности, Шверинский банк, занимавшийся преимущественно страхованием жизни, отправил в 1917 году своего прилежного ученика в Швейцарию, где тому предстояло подлечить свои хворобы и где воздух Давоса оказался настолько целителен, что причиной смерти его послужили совершенно иные обстоятельства; во всяком случае, вернуться в Шверин, с его нижнегерманским климатом, он не спешил.

Поначалу Вильгельм Густлофф устроился ассистентом в обсерваторию. Как только это исследовательское учреждение приобрело статус федерального научного центра, он стал его ученым секретарем, которому, впрочем, хватало времени и на то, чтобы подрабатывать в качестве агента акционерного общества, страховавшего домашнее имущество; таким образом ему удалось наряду с исполнением основных служебных обязанностей познакомиться в ходе побочной деятельности со всеми швейцарскими кантонами. Не меньшее усердие проявляла и его супруга Хедвиг: приверженность националистическим идеям не помешала ей занять место секретарши в адвокатской конторе Мозеса Зильберрота.

До этих пор супружеская чета Густлофф являла собою образец бюргерских добродетелей, однако, как это обнаружится позднее, она лишь создавала видимость, будто целиком восприняла присущую швейцарцам практичность; поначалу втихомолку, а затем вполне открыто ученый секретарь обсерватории, пользуясь долготерпением своего работодателя, не без успеха пустил в ход врожденные и недюжинные организаторские способности: вступив в Партию, он навербовал туда среди живущих в Швейцарии граждан Германии и Австрии пять тысяч новых членов, которых свел в образованные по всем кантонам местные отделения и заставил присягнуть тому, кому провидение уготовило роль Вождя.

Сам он получил звание ландесгруппенляйтера от Грегора Штрассера, который отвечал в Партии за организационные вопросы. Штрассер, принадлежавший к левому крылу, отказался в 1932 году от всех своих постов, протестуя против сближения Вождя с крупной буржуазией, а спустя два года он был ликвидирован собственными же людьми при подавлении путча, якобы организованного Рёмом; его брат Отто спасся бегством за границу. Пришлось Густлоффу искать себе новый объект для поклонения.

Реагируя на запрос, поступивший в Малый совет кантона Граубюнден, представитель иммиграционной полиции спросил Густлоффа, насколько его партийная деятельность в качестве ландесгруппенляйтера НСДАП согласуется с проживанием на суверенной швейцарской территории; последний ответил: “Больше всего на свете я люблю жену и мать. Однако если Вождь прикажет убить их, я подчинюсь приказу”.

В Сети эта цитата оспаривалась. В чате "Соратничества Шверин" утверждалось, что, дескать, подобные лживые измышления распространялись еврейским автором Эмилем Людвигом. На самом же деле Мученик продолжал оставаться под влиянием Грегора Штрассера. Мол, Густлофф всегда отдавал в своих убеждениях приоритет социалистическому элементу перед национальным. Вскоре в чате разгорелись межфракционные схватки. Виртуальная ночь длинных ножей[1] возжаждала крови.

Однако затем всем заинтересованным пользователям Интернета напомнили об исторической дате, которая якобы доказывала влияние провидения. То, что я объяснял себе случайным совпадением, возносило Густлоффа в сферы действия надмирных сил: 30 января 1945 года, спустя ровно полвека после рождения Мученика, начал свою гибель корабль, названный его именем, и в этот же день двенадцатью годами ранее пришли к власти нацисты, что послужило предвестьем всеобщей катастрофы.

Вот она, эта дата, словно высеченная клинописью в граните. Проклятая дата, с которой все началось, убийственно нарастало, достигло апогея, покатилось к своему концу. Благодаря матери мой день рождения также пришелся на эту дату продолжающегося несчастья; сама же мать живет по собственному календарю, не веря ни случайностям, ни тому подобным универсальным объяснениям всего и вся.

"Вот еще! – восклицает та, кого я никогда не именовал собственнически "моей", но всегда просто – "матерью". – В честь кого бы тот корабль ни окрестили, все равно бы утоп. Хотела бы я знать, о чем думал тот русский, который приказал пустить три торпеды прямехонько на нас..."

Она ворчит до сих пор, будто не утекло с того времени столько воды. Тягучий диалект, фразы будто расплющены стиральным валиком. Картошку называет бульбой, творог – сыром, а треску под горчичным соусом – вахней. Родители матери Август и Эрна Покрифке были родом из Кошнадерской земли, а потому прозывались кошнаверами. Сама же она выросла в Лангфуре. Это еще не Данциг, а его вытянувшееся в длину и уходящее в поля предместье, одна из улиц которого была Эльзенштрассе; Лангфур для девочки Урсулы, по прозвищу Тулла, был столь велик, что в рассказах матери "о старых временах" хоть и упоминались нередко купания на ближайшем морском пляже и катания на санках в лесу за южной окраиной предместья, однако гораздо чаще мать увлекала слушателей во двор доходного дома на Эльзенштрассе 19, а оттуда мимо собачьей будки с сидящим на цепи Харрасом в столярную мастерскую, шумовой фон которой определялся визгом дисковой и ленточной пилы, шорохом строгального станка и гудом шлифовальной машины. "Совсем еще девчонкой была, но уж когда клей варили, мне приходилось его в котле размешивать". Из-за чего, как гласят семейные предания, где бы Тулла ни стояла, ни лежала, ни бегала или ни пряталась в укромном уголке, всюду сопровождал ее легендарный дух столярного клея.

Словом, неудивительно, что, попав после войны в Шверин, мать обучилась в тамошнем Шельфштадте столярному делу. Будучи "переселенкой", как это называлось в Восточной Германии, она сразу получила

1. Иронический намек на "Ночь длинных ножей", кровавое подавление путча, якобы готовившегося штурмовиками Эрнста Рёма. По приказу Гитлера ночью 30 июня 1934 г. были ликвидированы около 200 сторонников Рёма из левого крыла НСДАП, в частности Грегор Штрассер.

место ученицы у считавшегося старожилом мастера, имевшего сарай с четырьмя строгальными станками и постоянно булькающим котлом для столярного клея. Отсюда было рукой подать до Лемштрассе, где нам с матерью выделили хибарку, крытую толем. Если бы после той катастрофы нас высадили на берег не в Кольберге, тем более если бы миноносец "Лёве" доставил бы нас до Травемюнде или до Киля, то на Западе мать попала бы под категорию "восточных беженцев" и ее тоже определили бы ученицей в столярку. Таким образом, я говорю о случайности, мать же с первых дней нашей эвакуации в назначенное место твердит о том, что таков был перст судьбы.

"А когда у того русского, что был капитаном подводной лодки, день рождения-то? Ты ведь дотошный, всегда все знаешь".

Нет, в отличие от Вильгельма Густлоффа, сведений на этот счет в Сети обнаружить не удалось. Нашелся только год рождения да еще некоторые факты и домыслы, которые в журналистских расследованиях используются в качестве так называемого фонового материала.

Александр Маринеско родился в 1913 году на Черном море, в портовом городе Одессе, которая, если верить черно-белым кадрам фильма "Броненосец 'Потемкин'", отличалась своей красотой. Мать его была родом с Украины. Отец был румыном, в первом паспорте он еще значился как Маринеску, но потом был смертный приговор военного суда за мятеж и чудесное спасение бегством в последнюю минуту.

Его сын Александр вырос в припортовом квартале. Одессу населяли русские, украинцы и румыны, греки и болгары, турки и армяне, цыгане и евреи, которые вполне уживались вместе, поэтому говорил он на эдакой смеси разных языков, но, похоже, в подростковой банде его неплохо понимали. Хотя позднее он старался говорить по-русски правильно, ему никак не удавалось до конца очистить свой южный с украинским налетом говор от вкраплений из идиш и позаимствованных у отца румынских ругательств. Над этим продолжали подшучивать даже тогда, когда он уже дослужился до старшего матроса в торговом флоте. Впрочем, с течением времени количество смельчаков, которые отваживались на шутки, заметно поубавилось, как бы чудно́ ни звучали порою приказы, отдаваемые командиром подводной лодки.

Открутим ленту на многие годы назад: семилетнему Александру, наверное, довелось увидеть, как от пирсов отчаливали последние транспорты белогвардейцев и как спешно покидали Одессу британские и французские интервенты. За этим последовал приход красных. Начались чистки. Потом гражданская война практически закончилась. А спустя несколько лет в порту вновь появились иностранные пароходы с нарядными пассажирами, швырявшими за борт монетки, а подросший мальчишка, сначала благодаря собственной выносливости, к которой постепенно добавлялось мастерство, ухитрялся вылавливать их.

Но наше трио пока неполно. Не хватает еще одного персонажа. Его поступок запустил в движение череду событий, у которой обнаружилась собственная безудержная динамика. Поскольку он, вольно или невольно, превратил одного из троицы, уроженца Шверина, в Мученика национал-социалистической идеи, а другого, одесского парнишку, в героя Краснознаменного Балтфлота, то место на скамье подсудимых обеспечено ему навечно. Именно такие или схожие обвинения в его адрес про-

читал я, испытывая все большее любопытство, на уже упомянутом сервере в Интернете под рубрикой "Еврей-убийца".

Как мне теперь известно, агитационная брошюра, написанная членом Партии и одним из ее главных трибунов Вольфгангом Диверге и выпущенная в 1936 году мюнхенским издательством "Франц Эер-ферлаг", называлась не столь прямолинейно. Однако, руководствуясь логикой безумия, "Соратничество Шверин" отважилось даже на большее, чем позволял себе Диверге: "Если бы не этот еврей, то на маршруте, очищенном от мин вблизи Штольпмюнде, никогда не произошла бы самая крупная в истории морская катастрофа. Этот еврей... По вине этого еврея..."

Среди перепалки, которая велась в чате отчасти на немецком, отчасти на английском языке, можно было выудить и несколько фактов. Так, один из чаттеров сообщал, что вскоре после начала войны Диверге руководил имперской радиостанцией Данцига, другой располагал сведениями о его послевоенной деятельности: дескать, объединившись с другими нацистскими шишками, например со ставшим позднее депутатом бундестага от СвДПГ Ахенбахом, он проник в партийную организацию либералов земли Северный Рейн-Вестфалия. Третий добавлял, что бывший нацистский пропагандист на протяжении семидесятых годов занимался в рейнском Нойвиде отмыванием финансовых средств, которые шли на поддержку СвДПГ. Наконец, в забитом до отказа чате роилось множество вопросов о давосском стрелке, на которые тут же давались убийственные ответы.

Будучи на четыре года старше Маринеско и на четырнадцать лет моложе Густлоффа, сын раввина Давид Франкфуртер родился в 1909 году в словенском городе Дарувар. В семье говорили на иврите и на немецком, в школе Давид научился говорить и писать по-сербски, однако испытал на себе повседневную ненависть к евреям. Здесь можно только предположить, что он вряд ли сумел справиться с этим обстоятельством: хлипкое телосложение не позволяло ему дать физический отпор, а ловкое приспособленчество было противно его натуре.

Вильгельма Густлоффа объединяло с Давидом Франкфуртером лишь следующее: если первый имел слабые легкие, то второй с детства страдал хроническим воспалением костного мозга. Однако Густлофф сумел избавиться в Давосе от своего недуга и стал позднее вполне здоровым партийным активистом, а вот что касается больного Давида, то ему врачи помочь не сумели: пять проведенных операций оказались безуспешными, сам случай объявлен безнадежным.

Вероятно, заболевание началось еще во время учебы Давида на медицинском факультете; семья решила, что учеба должна проходить в Германии, поскольку там учился отец, а еще ранее его отец. Есть сведения, что из-за своей болезненности и трудностей с концентрацией внимания Давид провалил экзамены после пятого семестра, как и последующие экзамены. Впрочем, судя по информации в Сети, партийный пропагандист Диверге в отличие от другого, уже процитированного автора Эмиля Людвига (его Диверге всегда упоминал в сочетании псевдонима с настоящей еврейской фамилией – Людвиг-Кон), утверждал: Еврей Франкфуртер характеризовался не только слабостью здоровья, но и тем, что клянчил деньги у отца-раввина, лентяйничал, прогуливал занятия, был щеголем и к тому же заядлым курильщиком.

Но вот наступил год прихода нацистов к власти с его треклятой знаменательной датой, недавно отмечавшейся в Сети. Заядлому курильщи-

ку Давиду довелось стать во Франкфурте-на-Майне свидетелем того, что напрямую касалось его и других студентов. Он видел, как сжигались книги еврейских авторов. Над столом в его учебной лаборатории вдруг появилась звезда Давида. Он физически чувствовал адресованную ему ненависть. Его, как и других студентов-евреев, громогласно поносили те, кто причислял себя к арийской расе. С этим он смириться не мог. Это было просто невыносимо. Он бежал в Швейцарию, продолжил учебу в казавшемся безопасным Берне, где снова проваливал один экзамен за другим. Однако родителям он продолжал отправлять вполне оптимистичные, а то и веселые весточки, чтобы успокоить отца, не переставшего высылать деньги. Учебу он прервал лишь год спустя, когда умерла мать. Возможно, в поисках поддержки у родни он рискнул еще раз съездить в Германию, где ему пришлось увидеть, как его дядю, который был, как и отец, раввином, таскал за рыжую бороду молодой человек, приговаривая: "У-у-у, жидовская морда!"

Примерно так описана эта сцена в литературно-документальной книге Эмиля Людвига "Убийство в Давосе", выпущенной этим популярным писателем в 1936 году в амстердамском эмигрантском издательстве "Кверидо". "Соратничество Шверин" опротестовывало на своем сервере данное описание, ссылаясь опять-таки на партийного пропагандиста Диверге, поскольку тот приводил в своем памфлете выдержки из протокола берлинского полицейского, который в свое время допрашивал раввина д-ра Соломона Франкфуртера: "Не соответствует действительности утверждение, будто молодой человек подросткового возраста таскал меня за бороду (имеющую, кстати, не рыжий, а черный цвет), приговаривая при этом: 'У-у-у, жидовская морда!'"

Я не сумел установить, оказывалось ли в полиции давление при допросе, состоявшемся спустя два года после описанного и подвергнутого сомнению инцидента. Так или иначе, Давид Франкфуртер вернулся в Берн; похоже, он испытывал тяжелую депрессию, на что имелось немало причин. Во-первых, вновь началась учеба, по-прежнему безуспешная, а во-вторых, он весьма переживал смерть матери, что усугубляло его непрекращающиеся физические страдания. Кроме того, берлинский эпизод производил на него все более гнетущее впечатление по мере того, как из швейцарских и иностранных газет ему становились известны сообщения о концентрационных лагерях в Ораниенбурге, Дахау и иных местах.

В конце 1935 года ему пришла в голову мысль о самоубийстве, которая с тех пор не оставляла его. Позднее, уже в ходе судебного процесса, в экспертном заключении, предоставленном защитой, говорилось: "Под воздействием внутренних душевных мотивов личного свойства для Франкфуртера возникла психологически невыносимая ситуация, которая требовала своего разрешения. Депрессия привела к мысли о самоубийстве. Однако присущий каждому человеку инстинкт самосохранения отвел выстрел от себя и перенацелил его на другую жертву."

На этот счет в Интернете язвительных комментариев не обнаружилось. Тем не менее во мне крепло подозрение, что за адресом www.blutzeuge.de скрывается не оголтелая когорта бритоголовых парней из "Соратничества Шверин", а некий дошлый одиночка. Один из тех, кто следует не по накатанной колее, кто выбирает малохоженые тропы, предпочитает траекторию краба или, подобно ищейке, ведет поиск, принюхиваясь к меткам, оставленным Историей.

Нерадивый студент? Ведь я и сам числился таковым, когда германистика мне жутко прискучила, а теория журналистики, которую преподавали в Институте имени Отто Зура, казалась слишком сухой.

Покинув Шверин и сбежав на городской электричке из Восточного Берлина в Западный, я поначалу, как и обещал матери, пытался относиться к учебе всерьез, усердствовал, будто последний зубрила. Тогда, незадолго до строительства Стены, мне было шестнадцать с половиной годков, и я, что называется, глотнул воздуха свободы. Приютила меня тетя Йенни, школьная подруга матери, с которой они, судя по их рассказам, пережили уйму невероятных историй; тетя Йенни жила в западноберлинском районе Шмаргендорф, неподалеку от площади Розенэк. Мне досталась мансардная комнатушка с чердачным окном. Неплохое, собственно, было времечко.

Мансарда тети Йенни на Карлсбадерштрассе выглядела как кукольный домик. На столиках, консолях красовались фарфоровые фигурки. Преимущественно балерины в пачках, вспорхнувшие на пуанты. Некоторые в весьма смелых позах, все с маленькими головками на длинных шейках. В молодости тетя Йенни была довольно известной балериной, пока во время одной из бомбардировок, которые все больше и больше разрушали имперскую столицу, ей не искалечило ноги, поэтому, подавая мне к полднику чай, она заметно хромала, что не мешало ей грациозными движениями предлагать мне вазочки с печеньем или сладостями. Похожая на хрупкие фигурки в своей игрушечной мансарде, она вертела головкой на тонкой, теперь уже исхудавшей шейке, а с ее лица не сходила улыбка, которая казалась примерзшей к нему. Тетю Йенни действительно частенько знобило, поэтому она пила горячую лимонную воду.

Мне нравилось жить у нее. Она баловала меня. Каждый раз, когда она заговаривала о своей школьной подруге – "Моя дорогая Тулла передала мне тайком очередное письмецо...", – я испытывал минутное искушение почувствовать симпатию к собственной матери, этой упрямой чертовке, которая, однако, тут же вновь начинала мне действовать на нервы. Доставляемые секретными путями из Шверина на Карлсбадерштрассе "малявы", плотно исписанные бисерными буковками, содержали призывы, приобретавшие с помощью подчеркиваний безусловно категорический характер; этими призывами мать, по ее собственному признанию, стремилась "допечь" меня: "Надо ему учиться и учиться! Ведь для чего я послала сыночка на Запад – чтобы из него толк вышел, вот для чего..."

У меня до сих пор звучат в ушах ее слова: "Я и живу-то только для того, чтобы сынок мой когда-нибудь все бы засвидетельствовал". А поскольку тетя Йенни служила рупором для своей школьной подруги, то тихим, но весьма настойчивым голосом она делала мне соответствующие внушения. После чего не оставалось ничего другого, как прилежно учиться.

В ту пору вместе с ордой моих сверстников, также бежавших из ГДР, я учился в старших классах. Нам приходилось наверстывать многое из того, что касалось правового государства и демократии. К английскому языку добавился французский, зато отпал русский. Начал я соображать и насчет того, как, благодаря управляемой безработице, функционирует капиталистическая экономика. Учеником я был не блестящим, однако с тем, чего от меня хотела мать, справился, то есть получил аттестат зрелости.

Да и насчет девочек, кстати, я был неплох, к тому же не бедствовал, поскольку мать, благословив меня на бегство к классовому противнику, дала мне с собой адресок в Западной Германии: "Думаю, отец это твой. Мне кузеном доводится. Обрюхатил меня перед самым призывом в армию. По крайней мере, он так считает. Черкни ему про свое житье, когда там окажешься..."

Сравнения хромают. Но что касается финансов, то вскоре дела мои пошли так же, как у Давида Франкфуртера в Берне, которому отец ежемесячно посылал издалека кругленькие суммы на счет в швейцарском банке. Кузена матери, да будет земля ему пухом, звали Харри Либенау; он был сыном хозяина столярной мастерской, существовавшей некогда на все той же Эльзенштрассе; с конца пятидесятых годов Харри Либенау проживал среди лесов Шварцвальда, в Баден-Бадене, где в качестве редактора отдела культуры Юго-западного радио он выпускал ночную программу "Лирика за полночь", которую слушали, пожалуй, только сосны дремучего Шварцвальда.

Мне не хотелось слишком обременять тетю Йенни, которая подкидывала мне деньжат, поэтому я сочинил любезное письмо, в конце которого сразу за финальной фразой "Твой неизвестный Тебе сын" отчетливо указал номер собственного банковского счета. Судя по всему, Харри Либенау был счастлив в браке, так что ответа я не дождался, зато каждый месяц начал получать переводы с суммой, которая была значительно выше минимальной ставки алиментов, целых две сотни марок, по тем временам солидные деньги. Тетя Йенни об этом не знала, но с Харри, кузеном матери, была знакома, хотя и не слишком близко, о чем она, слегка покраснев своим кукольным личиком, не столько поведала, сколько как бы призналась.

В начале шестьдесят седьмого, вскоре после того, как я ушел от тети Йенни и поселился в районе Кройцберг, учебу я бросил и устроился стажером в газету "Моргенпост" концерна Шпрингер, тогда же денежные переводы прекратились. С тех пор я моему папочке-филантропу ничего не писал, разве что посылал к Рождеству поздравительную открытку. Да и зачем? К тому же мать в одной из тайных "маляв" намекнула: "Особенно-то его не благодари. Он сам знает, за что раскошеливается..."

Писать в открытую она тогда уже не могла, поскольку возглавила бригаду столяров на народной мебельной фабрике, производившей в плановом порядке спальные гарнитуры. Будучи членом партии, она не имела права поддерживать контакты с Западом, тем более с сыном, который бежал из ГДР и работал на капиталистическую пропаганду, публикуя вначале коротенькие заметки, а потом и большие статьи о коммунизме, отгородившемся Стеной и колючей проволокой; у нее и без того хватало из-за меня проблем.

Предполагаю, что кузен матери перестал мне платить, потому что вместо учебы я начал писать для желтой шпрингеровской газетенки. Пожалуй, этот вшивый либерал был по-своему прав. Кстати, вскоре после покушения на Руди Дучке[1] я ушел от Шпрингера. С тех пор моя ориентация сделалась довольно-таки левой. Событий было хоть отбавляй, я писал для многих более или менее прогрессивных изданий, поэтому не-

1. Руди Дучке (1940—1979) являлся одной из ключевых фигур студенческих волнений 1968 г. В апреле этого года на него было совершено покушение, в результате которого Дучке был серьезно ранен.

плохо держался на плаву даже без тех переводов с суммами, что бывали втрое выше минимальной ставки алиментов. Все равно господин Либенау не был моим отцом. Мать просто подставила его. От нее же я узнал, что этот редактор ночных программ в конце семидесятых, еще до моей женитьбы, умер от сердечного приступа. Ему, ровеснику матери, было тогда немногим больше пятидесяти.

Взамен я получил от матери еще несколько имен; каждый из этих мужчин, по ее словам, мог быть моим отцом. Одного из них звали Йоахимом или Йохеном, другого, постарше, якобы отравившего пса Харраса, — Вальтером.

Нет, настоящего отца мне не досталось. Только взаимозаменяемые фантомы. В этом отношении у трех персонажей, которые фигурируют в повествовании, дела обстояли лучше. Словом, мать сама толком не знала, кто ее обрюхатил, когда январским днем сорок пятого года она вместе с родителями вошла в качестве одной из семи с лишним тысяч пассажиров на борт парохода с причала в Готенхафене-Оксхёфте. Тот, чьим именем был назван пароход, мог предъявить отца-коммерсанта — Германна Густлоффа. Тот же, кому удалось потопить переполненный людьми пароход, водился в отрочестве с блатными, за это папаша Маринеско частенько лупил его, что служило свидетельством отеческой заботы. А Давид Франкфуртер, отправившийся из Берна в Давос и повинный в том, что пароход был назван в честь Мученика, даже имел отца, который был настоящим раввином. Я же, безотцовщина, в конце концов сам стал отцом.

Что он, интересно, курил? Круглые сигареты марки "Юно"? Или плоские арабские? А может, сигареты с золотым ободком, модные в ту пору? Во всяком случае фотографий, запечатлевших его курящим, не сохранилось, если не считать единственного газетного снимка, сделанного позднее, в конце шестидесятых, когда ему наконец разрешили короткий визит в Швейцарию — на этом снимке пожилой господин, чиновничья карьера которого подходит к завершению, держит сигарету. А тогда он курил одну сигарету за другой, поэтому и сел в купе для курящих, когда воспользовался услугами Швейцарской федеральной железной дороги.

Они оба ехали поездом. В то же время, когда Давид Франкфуртер направлялся из Берна в Давос, Вильгельм Густлофф совершал вояж, занимаясь организационными делами. В ходе командировки он проинспектировал ряд местных отделений зарубежной организации НСДАП, а также создал несколько новых отрядов гитлерюгенд и Союза немецких девушек[1]. Командировка состоялась в конце января, поэтому, вероятно, в Берне и Цюрихе, Гларусе и Цуге он выступил перед находившимися там гражданами Германии и Австрии с пламенными речами по случаю трехлетнего юбилея со дня захвата власти. Годом ранее его работодатель, то есть обсерватория, уволил Густлоффа по настоятельному требованию социал-демократических депутатов, так что свободного времени у него было предостаточно. Его агитационная деятельность сопровождалась протестами некоторых кругов швейцарской общественности — в левых газетах его даже именовали "давосским диктатором", а член На-

1. Гитлерюгенд и Союз немецких девушек — молодежные организации НСДАП с обязательным членством для юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет.

ционального совета Брингольф потребовал его высылки из страны, — однако в кантоне Граубюнден да и во всей Швейцарии нашлось достаточно политиков и чиновников, которые оказывали Густлоффу поддержку, причем не только финансовую. Городские власти Давоса регулярно поставляли ему информацию о людях, прибывших на курорт, а он выбирал из них граждан Германии и, пока шел курс лечения, даже не приглашал, а вызывал на партийные мероприятия; неявка без уважительных причин фиксировалась, фамилии сообщались соответствующим инстанциям Рейха.

Примерно в то время, когда студент-курильщик, купивший в Берне билет лишь в один конец, совершал поездку по железной дороге, а будущий Мученик вел активную партработу, старший матрос Александр Маринеско уже перешел с торгового флота на Краснознаменный Черноморский военный флот, где после учебки и штурманских курсов попал на подлодку. Он был комсомольцем и уже тогда обнаружил склонность к спиртному, впрочем, эта слабость с лихвой искупалась служебным рвением; по крайней мере на борту его с бутылкой никогда не видели. Вскоре Маринеско был определен штурманом на подлодку Щ-306; эта недавно вставшая в строй ПЛ наскочила в начале войны, когда Маринеско уже служил на другой подлодке, на мину и затонула со всем экипажем.

Итак, путешествие из Берна через Цюрих мимо нескольких озер. Партийный пропагандист Диверге, указавший в своем памфлете маршрут студента-медика, поскупился на описание пейзажей. Впрочем, заядлый курильщик, студент тринадцатого семестра, вряд ли обращал большое внимание на разворачивающиеся панорамы с грядами гор на горизонте, на проносящиеся мимо и покрытые снегом дома, деревья и горные склоны, на смены тьмы и света, возникающие при проскакивании тунелей.

Эту поездку Давид Франкфуртер осуществил 31 января 1936 года. Он читал газету и курил. В разделе "Разное" публиковалось сообщение о деятельности ландесгруппенляйтера Густлоффа. Газеты за это число, среди них "Нойе цюрихер цайтунг" и "Базлер националь-цайтунг", писали о текущих событиях или предвосхищали события грядущие. В начале этого года, вошедшего в историю как год Берлинской олимпиады, фашистская Италия еще не одержала победу над далекой империей Негуса Абиссинией, Испания чувствовала угрозу гражданской войны. В Германии строились автострады, а матери, жившей в Лангфуре, стукнуло восемь с половиной годков. Позапрошлым летом, купаясь в водах Балтики, утонул ее глухонемой брат Конрад. Мать очень любила его, а потому спустя сорок шесть лет этим именем крестили моего сына, которого, однако, все зовут Конни; так же обращается к нему в своих письмах и его подружка Рози.

Диверге указывает, что 3 февраля ландесгруппенляйтер вернулся довольно усталым после весьма успешной поездки по кантонам. Франкфуртер знал — в этот день Густлофф будет в Давосе. Кроме газет Франкфуртер регулярно читал и издаваемый Густлоффом партийный журнал "Рейхсдойче", в котором сообщались календарные сроки планируемых мероприятий. Давид разведал о своей жертве практически все. Он пропитался этой информацией, как был насквозь пропитан никотином. Интересно, было ли ему известно, что год назад чета Густлоффов построила на свои сбережения в Шверине кирпичный дом и

предусмотрительно обставила его на случай возвращения в Германию? Что они очень хотели завести ребенка?

Когда студент-медик прибыл в Давос, там выпал снег. Снег сиял на солнце, и курорт выглядел именно так, каким он бывает запечатлен на видовых открытках. Франкфуртер приехал без багажа, но с твердыми намерениями. Из "Базлер националь-цайтунг" он вырезал газетную фотографию с Густлоффом в партийной форме: высокий мужчина, решительный взгляд, высокий лоб, чему способствовало облысение.

Франкфуртер снял номер в отеле "Лев". Пришлось ждать целый день до 4 февраля. Этот день называется "Ки-Тов" и считается приносящим счастье — информация, которую я выудил в Интернете. На уже известном мне сервере дата была объявлена днем памяти Мученика.

Вышел покурить на солнышко. Каждый шаг отдавался скрипом на снегу. По понедельникам проводился экскурсионный осмотр города. Фланировал по Курпроменаду. Присоединился к кучке зрителей, которая наблюдала за хоккейным матчем. Поболтал с несколькими курортниками. Надо ртами витал морозный парок. Главное, не вызывать подозрения. Не сказать ничего лишнего. Не суетиться. Все было спланировано и подготовлено. Револьвер удалось купить безо всяких проблем, потренировался на стрельбище Остермундинген под Берном. Несмотря на болезнь, рука была твердой, не дрожала.

Во вторник, оказавшись на месте действия, он воспользовался указателем "Вильгельм Густлофф — НСДАП". Стрелка вела от Курпроменада к улице Ам курпарк, где находился дом №3. Голубой особняк с плоской крышей, на водостоках висели сосульки. Несколько уличных фонарей сражались с опускающимися сумерками. Снегопад прекратился.

Таковы внешние рамки события. Другие подробности несущественны. О том, что произошло дальше, могли свидетельствовать только сам преступник и вдова убитого. Интерьер соответствующей части квартиры можно было увидеть на упомянутом сервере, где иллюстрацию сопровождал весьма эмоциональный текст. Судя по всему, фотографию сделали вскоре после происшествия, так как на столах и на комоде стояли еще свежие букеты, но большой цветочный горшок призван был придать помещению мемориальный вид.

Дверь на звонок открыла Хедвиг Густлофф. По данным ею позднее показаниям, глаза у молодого человека были добрыми; он попросил аудиенции у ландесгруппенляйтера. Тот стоял в коридоре, беседуя по телефону со своим однопартийцем доктором Хаберманом, руководителем организации в Туне. Проходившему мимо Франкфуртеру послышались слова "еврейские свиньи", однако госпожа Густлофф оспорила это в своих показаниях. Дескать, ее супруг избегал подобных выражений, хотя и считал решение еврейского вопроса делом безотлагательным.

Проведя посетителя в кабинет, она предложила ему присесть. Ни тени подозрения. Визитеры частенько появлялись без предварительного согласования, нередко это бывали однопартийцы, у которых возникали какие-либо проблемы.

В пальто и со шляпой на коленях студент-медик, сидя в кресле, разглядывал письменный стол, на котором стояли часы в деревянном футляре, над столом висел почетный кинжал СА. Выше и по бокам кинжала расположились несколько фотографий Вождя и рейхсканцлера, как бы служа черно-белым и цветным декоративным оформлением интерьера.

Фотографии духовного наставника Грегора Штрассера, убитого два года назад, вроде бы не было. Неподалеку красовалась модель парусника — вероятно, "Горх Фок".

Далее скучающий посетитель мог увидеть на комоде возле письменного стола радиоприемник, а рядом бюст Вождя, то ли бронзовый, то ли гипсовый, но выкрашенный под бронзу. Очевидно, цветы на письменном столе стояли еще до выстрелов; этими цветами госпожа Густлофф любовно украсила рабочее место, чтобы порадовать супруга, вернувшегося после утомительной командировки, к тому же ей хотелось напомнить ему о недавнем дне рождения.

На столе среди всякой всячины было небрежно разложено множество бумаг — вероятно, отчеты кантональных организаций, наверняка партийная переписка с важными инстанциями Рейха, а возможно, тут были и письма с угрозами, которые за последнее время приходили по почте все чаще; впрочем, от защиты со стороны полиции Густлофф отказывался.

Он вошел в кабинет без супруги. Подтянутый, вполне здоровый, поскольку уже несколько лет как излечился от туберкулеза, одетый в гражданское, он шагнул к посетителю, который не поднялся навстречу, а выстрелил прямо с кресла, едва выхватив револьвер из кармана зимнего пальто. Меткие выстрелы оставили в груди, шее и голове ландесгруппенляйтера четыре отверстия. Он беззвучно рухнул возле помещенного в раму портрета своего Вождя. Тут же в кабинете появилась супруга, вначале она увидела направленный на нее револьвер, а потом простертого на полу мужа, бросилась к нему, а у того из ран хлынула кровь.

Давид Франкфуртер, пассажир с билетом в один конец, надел шляпу и без всяких помех со стороны переполошившихся жильцов вышел из дома, места своего преступления, после чего бродил некоторое время по заснеженным окрестностям, несколько раз поскальзывался, вспомнил телефон для сообщения о чрезвычайных происшествиях, позвонил из ближайшей будки, назвавшись преступником, затем нашел, наконец, дежурный участок кантональной полиции и сдался.

Нижеследующую фразу он сказал вначале для протокола дежурному полицейскому, а позднее повторил ее без изменений в суде: "Я стрелял, потому что являюсь евреем. Я в полной мере сознаю тяжесть содеянного, но ничуть не раскаиваюсь".

В связи с этим событием было израсходовано много типографской краски. То, что у Вольфганга Диверге именуется "трусливым убийством", сравнивается у романиста Эмиля Людвига с "битвой Давида и Голиафа". Столь полярные оценки дошли и до наших дней с их всемирной Паутиной. Герою библейского склада, решившего призвать собственным — пусть излишне просто обоснованным — поступком к сопротивлению свой несчастный народ, здесь противостоит Мученик национал-социалистического движения. Обоим отводилось место на скрижалях истории в качестве выдающихся личностей. Стрелявший, впрочем, был вскоре повергнут в забвение; даже когда мать была ребенком и откликалась на имя Тулла, она ничего не слышала ни об убийстве, ни об убийце, разве только легенды о белом лайнере, на борту которого счастливые люди плавали в короткие и дальние путешествия, устраиваемые организацией "Сила через радость".

2

В ту пору, когда я был нерадивым студентом, мне довелось слышать в Техническом университете лекции профессора Хёллерера. Своим пронзительным птичьим голосом он приводил в восторг битком набитую аудиторию. Речь шла о Клейсте, Граббе, Бюхнере, то есть о гонимых гениях. Одна из лекций называлась "Между классикой и модерном". Мне нравилось бывать в подвальчике "Вайцкеллер" среди молодых литераторов и еще более молодых представительниц книжной торговли, где читались, обсуждались, а иногда и раскритиковывались в пух и прах еще не дописанные произведения. Однажды я даже записался на курсы, которые проводились на Кармерштрассе по американскому образцу под названием creative writing. Здесь занималась добрая дюжина подающих надежды талантов. По мнению одного из преподавателей, предложившего нам, неофитам, тему "телефона доверия" для эпического наброска, моих дарований было явно недостаточно. Их, дескать, хватило бы разве что на бульварный роман. Теперь же он внезапно извлек меня из забытья: мол, биография моей никудышной персоны довольно уникальна, но вместе с тем характерна, а потому заслуживает литературного повествования.

Некоторых из тогдашних талантов уже нет в живых. Двое-трое добились известности. Мой бывший преподаватель, похоже, исписался, иначе не подрядил бы меня на работу и не стал бы моим Заказчиком. Однако мне надоело продвигаться по траектории краба. Слишком капительно, сказал я Заказчику, овчинка выделки не стоит. Оба психи, что один, что другой. Один возомнил себя героем, который жертвует собой, чтобы дать своему народу пример мужественного сопротивления. Может, то убийство изменило для евреев что-нибудь к лучшему? Наоборот! Террор был узаконен. А через два с половиной года, когда еврей Гершель Грюншпан застрелил в Париже дипломата Эрнста фом Рата, ответом на это стала Хрустальная ночь. Или что, позвольте спросить, приобрели благодаря Мученику нацисты? Разве что появилось имя для нового лайнера.

Но вот я вновь иду по следу. Правда, не потому, что на меня давит Старик, скорее потому, что меня никогда не переставала допекать мать. Еще в Шверине, когда по случаю какого-нибудь торжества я надевал пионерский галстук или синюю блузу, она вечно зудила: "Море-то было студеное, все детки погибли. Написать ты про это должен. Ты ведь, раз по счастью выжил, у нас в долгу. А я тебе потом все расскажу, до самой малости расскажу, чтобы ты записал..."

Только я не хотел. Да и никто не хотел об этом слышать, ни здесь, на Западе, ни тем более на Востоке. "Вильгельм Густлофф" и проклятая история этого корабля сделались на десятилетия, так сказать, общегерманским табу. Но мать не переставала допекать меня, посылая с курьерами свои "малявы". Когда, бросив учебу и идеологически сильно накренившись вправо, я пошел работать на концерн Шпрингера, она написала мне: "Шпрингер-то реваншист. Вступается за нас, беженцев. Он наверняка захочет пропечатать такую историю. Каждый день будет в газете продолжение, из недели в неделю..."

И позднее, когда "taz" и прочие левые загибы стали действовать мне на нервы, тетя Йенни, залучив меня на спаржу с молодой картошкой в ресторан "Хабель" на площади Розенэк и дождавшись десерта, знакоми-

ла с очередной материнской весточкой, приговаривая: "Моя дорогая подруга Тулла продолжает возлагать на тебя большие надежды. Она просила передать тебе, что твоим сыновним долгом остается поведать наконец всему миру..."

Но я хранил молчание. Не поддавался давлению. На протяжении всех тех лет, когда я в качестве внештатного журналиста публиковал длинные статьи для экологических журналов, например о биодинамическом овощеводстве, о гибели немецкого леса, или исповедовался на тему "Аушвиц не должен повториться", мне удалось не затрагивать обстоятельств моего рождения, пока в конце января 1996 года я не наткнулся в Сети сначала на праворадикальный сервер "Stormfront", потом обнаружил некоторые сведения о Густлоффе, после чего познакомился с сайтом www.blutzeuge.de, посвященным Мученику и принадлежавшим "Соратничеству Шверин".

Делал для себя первые заметки. Удивлялся. Поражался. Решил выяснить, почему этой провинциальной личности оказалось достаточно четырех смертельных выстрелов в Давосе, чтобы привлечь к себе внимание нынешних интернетчиков. Кстати, сайт был скомпонован весьма умело. Фотомонтаж шверинских достопримечательностей. Между фотографиями ненавязчивые вопросы: "Хотите узнать о Мученике больше? Мы вышлем вам электронной почтой подробности его биографии".

Мы? Соратничество? Готов биться об заклад, что в Сети исполнялся солный номер. Некий одиночка пытался взрастить на коричневом дерьме новые побеги. Работал он с выдумкой, а то, что сообщал, например, об организации "Сила через радость", было очень даже неглупо. Фотографии счастливых пассажиров, совершающих морской круиз. Купание на пляжах Рюгена.

Разумеется, мать об этом не знала. Кстати, она всегда называла организацию "Сила через радость" просто "Эс-Че-Эр". Десятилетней девчонкой она видела в кинотеатре Лангфура еженедельные выпуски кинохроник, среди прочего и первое плавание лайнера СЧР. Кроме того, отец и мать Покрифке (он — поскольку был рабочим и членом партии; она — поскольку состояла в национал-социалистической организации женщин) летом 1939 года очутились на борту "Вильгельма Густлоффа". Небольшая группа из Данцига, который тогда был еще вольным городом, получила, так сказать, спецразрешение для зарубежных немцев на участие в круизе. Целью круиза, состоявшегося в середине августа, были норвежские фьорды, хотя было уже поздновато для того, чтобы еще и полюбоваться белыми ночами.

По воскресеньям, когда я был маленьким, мать в очередной раз заводила разговор на бесконечную тему о морской катастрофе; с ностальгией о Лангфуре она вспоминала, как восторгался папа норвежской фольклорной группой, ее национальными костюмами и танцами, которые исполнялись на солнечной палубе лайнера СЧР. "А мама-то все восхищалась бассейном, который весь был выложен разноцветным кафелем и мозаикой; его потом осушили, чтобы разместить там девушек из вспомогательного флотского батальона, тесно им было, а русский стрельнул прямо туда своей второй торпедой и превратил их в месиво..."

Но пока еще "Вильгельм Густлофф" даже не заложен, тем более не спущен со стапелей. Мне приходится вернуться назад, поскольку сразу после смертельных выстрелов прокурор кантона Граубюнден, судьи, а также защитник начали готовить процесс против Давида Франкфурте-

ра. Сам процесс должен был состояться в Куре. Процесс обещал быть непродолжительным, так как убийца во всем признался. В Шверине же по указанию самых высоких инстанций приступили к подготовке траурной церемонии для прощания с покойным, чтобы она навечно осталась в памяти народа. Кто только не был поднят на ноги после тех выстрелов: марширующие колонны штурмовиков, уличные шпалеры, люди в партийной форме с венками, факельное шествие. Под глухой рокот барабанов церемониальным маршем прошли отряды вермахта, толпы шверинцев застыли в скорбном оцепенении, хотя, возможно, многие были просто зеваками.

Партийный лидер, ранее не более известный в Мекленбурге, чем другие ландесгруппенляйтеры зарубежной организации НСДАП, Вильгельм Густлофф возвысился после смерти до фигуры таких масштабов, что некоторые из ораторов испытывали явные трудности с подбором сравнений, соразмерных ее грандиозности, а потому не могли придумать ничего лучше, чем вспомнить того главного великомученика[1], именем которого была названа песня, исполнявшаяся сразу после государственного гимна по случаю официальных мероприятий — а таковых набиралось немало — с музыкой и словами "Знамена ввысь...".

В Давосе траурная церемония выглядела гораздо скромнее. Масштаб был задан небольшой церковью евангелической общины, скорее напоминавшей часовню. Покрытый флагом со свастикой гроб поставили перед алтарем. На гробе возлежали почетный кинжал, нарукавная повязка и фуражка штурмовика, скомпонованные в виде своеобразного натюрморта. Из всех кантонов прибыли около двухсот однопартийцев. Некоторые из швейцарцев выразили свою идейную солидарность с покойным, придя в часовню или собравшись перед ней. Вокруг грудились горы.

Фрагменты этой скромной панихиды передавались из знаменитого легочного курорта германским радио, они ретранслировались всеми немецкими радиостанциями на территории Рейха. Комментаторы призывали слушателей затаить дыхание. Ни в одном из репортажей, ни в одной из речей, которые позднее были произнесены и в других городах, не упоминалось имя Давида Франкфуртера. Всюду речь шла лишь о "подлом еврейском убийце". Попытки противной стороны возвеличить недужного студента-медика, превратив его, памятуя о его корнях, в "югославского Вильгельма Телля", получили от швейцарских патриотов, изъяснявшихся, кстати, не на местных диалектах, а на литературном немецком языке, резкий отпор, однако все это сыграло на руку подозрениям, что за спиной стрелявшего стояли влиятельные силы; вскоре таковыми были прямо названы еврейские организации. Дескать, заказчиком "трусливого убийства" являются круги мирового сионизма.

Тем временем в Давосе подготовили спецпоезд для гроба с телом. При отправке звонили церковные колокола. Поезд находился в пути с воскресного утра до вечера понедельника, первой остановкой на территории Рейха был Зинген, затем краткие торжественные остановки с церемониями состоялись в Штутгарте, Вюрцбурге, Эрфурте, Галле, Магдебурге и Виттенберге, где, выходя на перрон, соответствующий гауляйтер и представители местных партийных верхов "воздавали усопшему последние почести".

1. Речь идет о штурмовике Хорсте Весселе (1907—1930), авторе партийного гимна. Убитый по личным мотивам, он был превращен из пропагандистских соображений в "мученика национал-социалистического движения".

Это выражение, почерпнутое из сокровищницы высокого штиля, я обнаружил в Сети. В приведенных здесь оригинальных репортажах того времени дело не ограничивалось приветствием, заимствованным у итальянских фашистов, то есть поднятием правой руки, нет, люди, собравшиеся на перронах и траурных митингах, "воздавали последние почести"; поэтому и на сервере www.blutzeuge.de появился современный вариант немецкого приветствия и "воздаяния последних почестей", который призван был соответствовать стилистике киберпространства. В связи с этим "Соратничество Шверин" упомянуло также, что местный оркестр исполнил на траурной церемонии фрагменты "Героической симфонии" Бетховена.

Нашелся, впрочем, и критический голос, который откликнулся протестом на распространяемую по всему свету чушь. Некий чаттер указал на несообразность в процитированном репортаже из нацистской газеты "Фёлькишер беобахтер", где говорилось, что подразделение вермахта салютовало ружейными залпами в память боевого товарища, фронтовика Вильгельма Густлоффа; дело в том, что из-за своего легочного заболевания Густлофф не участвовал в Первой мировой войне, не проявлял отвагу на полях сражений, не мог быть удостоен Железного креста ни первого, ни второго класса, следовательно, данной почести не заслужил.

Похоже, объявился еще один дотошный одиночка, который решил испортить первому траурный церемониал. Кроме того, этот всезнайка съехидничал, что, мол, в речи мекленбургского гауляйтера Хильдебранда неоправданно отсутствовало указание на "национал-большевистское влияние", которое испытывал на себе Мученик со стороны Георга Штрассера. Ведь этот бывший сельскохозяйственный рабочий, с детских лет возненавидевший аристократов из числа крупных землевладельцев и надеявшийся, что Гитлер, придя к власти, произведет решительный передел земли, был просто обязан хотя бы намеком защитить честь злокозненного Штрассера. Примерно так выглядели возражения. Спор всезнаек, обычный для чаттеров.

Безразличная к исходу спора траурная процессия, проиллюстрированная на сайте множеством фотографий, двинулась в путь. Погода капризничала, шествие тронулось от Дома торжественных заседаний по Гутенбергштрассе, потом по Висмаршештрассе, перешла через Тотендамм и завершила свой маршрут по Вальштрассе у крематория. По всему четырехкилометровому пути с обеих сторон улицы гроб провожали скорбные шпалеры, сам гроб возлежал на орудийном лафете, пока его под барабанный бой не сняли с лафета для кремации и после молитвы священника не опустили в огненную шахту. С обеих сторон от гроба по команде склонились знамена. Чеканя шаг, пошли колонны с песней о погибшем товарище, в строю салютовали вскинутой рукой, отдавая последнее, самое последнее приветствие. Раздались ружейные залпы в честь павшего фронтовика, который, правда, как уже выяснилось, не нюхал пороха в окопах, не лежал ничком под артиллерийскими обстрелами и не изведал, если уж говорить словами Юнгера, "стальной грозы". Ах, лучше уж ему было оказаться под Верденом, где его укокошил бы осколок снаряда.

Выросший в городе меж семи озер, я знаю, где на южном берегу Шверинского озера была замурована урна. Ее замуровали в фундамент четырехметрового гранитного камня с высеченными клинописными букваа

ми. Вместе с обелисками, посвященными другим членам партийной Старой гвардии[1], он служил центром специального комплекса — Мемориала героев. Не скажу, когда именно — мать знает это точно, — в первые послевоенные годы было снесено все, что могло напомнить шверинцам о Мученике, причем делалось это не только по приказу советского оккупационного командования. Однако мой сетевой аноним считал необходимым восстановить мемориал на прежнем месте, да и Шверин он неизменно продолжал называть "городом Вильгельма Густлоффа".

Все прошло, все миновало! Разве кто-нибудь теперь вспомнит, как звали руководителя Германского трудового фронта? Сегодня рядом с Гитлером в качестве вождей называют разве что Геббельса, Геринга и Гесса. Если в какой-нибудь телевизионной викторине ведущий спросит, кто такой Гиммлер или Эйхман, то можно ожидать как правильного ответа, так и полной неосведомленности относительно этих персонажей исторического прошлого; впрочем, иной телеведущий сопровождает потерю нескольких тысяч марок лишь легкой улыбкой.

Так кто же, кроме редактора найденного мной сайта, сумеет нынче вспомнить Роберта Лея[2]? А ведь именно он после прихода к власти национал-социалистов распустил все профсоюзы, опустошил профсоюзные кассы, занял своими спецкомандами принадлежащие профсоюзам здания, а членов профсоюзов, которых насчитывалось много миллионов, в принудительном порядке зачислил в Германский трудовой фронт. Ему, лунноликому, с челкой на лбу, пришло в голову обязать сначала всех чиновников, потом всех учителей и учеников, затем, наконец, рабочих всех предприятий приветствовать друг друга вскинутой рукой и восклицанием "Хайль Гитлер!". Ему же принадлежит инициатива по организации отпусков для рабочих и служащих под девизом "Сила через радость" в виде дешевых туристических поездок в Баварские Альпы, Рудные горы, на балтийское и североморское побережье, а также в виде доступных по ценам коротких или сравнительно длительных морских круизов.

Судя по всему, был он человеком весьма энергичным, действовал без устали, не боясь никаких преград, но одновременно происходило и многое другое — например, постепенно заполнялись концентрационные лагеря. В начале 1934 года Лей арендовал для запланированной флотилии СЧР пассажирский теплоход "Монте Оливия" и пароход "Дрезден" водоизмещением в четыре тысячи тонн. Они могли взять на борт до трех тысяч пассажиров. Однако уже во время восьмого круиза, давшего возможность очередным отпускникам насладиться красотами норвежских фьордов, подводный гранитный выступ в районе Кармзунда взрезал корпусную обшивку "Дрездена", в щель хлынула вода, судно начало тонуть. Правда, всех пассажиров удалось спасти, если не считать двух женщин, умерших от сердечного приступа, однако подобное происшествие могло похоронить и саму идею круизов СЧР.

Нет, не таков был Роберт Лей. Спустя всего неделю он арендовал еще четыре судна и располагал теперь большой флотилией, которая на

1. К Старой гвардии НСДАП причислялись прежде всего участники нацистского путча 1923 г., старые партийцы с номерами членских билетов до 100 000, а также наиболее активные члены СС и СА, вступившие в НСДАП до 1933 г.
2. Роберт Лей (1890–1945) — член НСДАП с 1923 г., один из самых влиятельных лидеров национал-социализма, с 1933 г. — руководитель Германского трудового фронта. Арестован союзниками в мае 1945 года, повесился в камере до начала Нюрнбергского процесса.

следующий год приняла сто тридцать пять тысяч пассажиров, совершивших в основном пятидневные экскурсии в Норвегию, но вскоре начались плавания и по Атлантике к Мадейре, излюбленной цели отпускников. При этом тур, предлагаемый организацией "Сила через радость", обходился всего в сорок рейхсмарок, еще десять марок стоил льготный железнодорожный билет для проезда до Гамбургского порта.

Будучи профессиональным журналистом, я не мог не задаться при изучении доступного мне материала вопросом: каким образом сумели за столь короткий срок государственная система, возникшая благодаря закону о чрезвычайных полномочиях[1], и оставшаяся в единственном числе политическая партия не только заставить замолчать рабочих и служащих, принудительно зачисленных в Германский трудовой фронт, но и побудить их к сотрудничеству, которое вскоре сменилось массовым ликованием по любому указанному сверху поводу? Ответом на этот вопрос служит отчасти деятельность национал-социалистической организации "Сила через радость", о которой многие из оставшихся в живых любили тайком вспоминать потом еще долгие годы, причем мать делала это даже открыто: "Нынче-то все не так, как прежде. Папа мой был в столярной мастерской всего лишь подсобным рабочим, он в те поры ни во что уж не верил, а вот СЧР все перевернула, потому что он с мамой впервые в жизни совершил путешествие..."

Надо заметить, что мать частенько болтала языком невпопад. Такая уж была своенравная и упрямая натура, что одно она легко отбрасывала, а другому хранила верность навек. В марте пятьдесят третьего года, когда объявили о смерти Сталина – я как раз валялся в постели то ли с воспаленными гландами, то ли с корью, то ли с краснухой, – она зажгла на кухне свечи и прямо-таки залилась слезами. Никогда больше я не видел ее слез. Когда спустя много лет убрали Вальтера Ульбрихта, она пренебрежительно назвала его преемника "жалким кровельщиком". Считавшаяся антифашисткой, она тем не менее горевала из-за памятника Вильгельму Густлоффу, разрушенного в середине пятидесятых, бранила "гнусных осквернителей". Позднее, когда на Западе обострилась проблема терроризма, я прочитал в одной из ее шверинских "маляв", что Баадер-Майнхофф – а для нее это всегда был один человек – погиб, сражаясь против фашизма. Для меня осталось непостижимым, за кого или против кого была мать. Зато ее подруга Йенни реагировала на подобные заявления матери лишь легкой улыбкой: "Тулла всегда была такой. Она не боится говорить то, что другим может прийтись не по нраву. Порой она немножко перебирает..." Например, на общем партийном собрании она назвала себя "последней из тех, кто сохранил верность товарищу Сталину", и сразу же за этим объявила бесклассовую организацию СЧР образцовой для каждого настоящего коммуниста.

В январе 1936 года гамбургская верфь "Блом & Фосс" получила от Германского трудового фронта, а точнее от ее организации "Сила через радость", подряд на строительство пассажирского лайнера со сметной стоимостью в 25 миллионов рейхсмарок; тогда ни у кого не возник вопрос: откуда взялись такие сумасшедшие деньги? Поначалу были заданы лишь

1. Речь идет о принятом 24 марта 1933 г. законе, по которому рейхстаг по существу лишал себя всякой власти, передавая на четырехлетний срок свои законодательные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру и его правительству.

основные характеристики: водоизмещение – 25 484 тонны, длина – 208 метров, осадка – 6-7 метров. Максимальная скорость – 15,5 узла. Предполагалось, что лайнер с его экипажем в составе 417 человек примет на борт 1463 пассажира. Это были более или менее обычные параметры для тогдашнего судостроения, но в отличие от других пассажирских судов перед корабелами стояла задача создать лайнер, на котором не будет существовать деления кают по классам, что, по замыслу Роберта Лея, призвано было продемонстрировать воплощение идеала единой национальной общности всех немцев.

Предполагалось, что при спуске со стапелей лайнер будет наречен именем Вождя, однако когда рейхсканцлер стоял на упомянутой выше траурной церемонии рядом с вдовой своего однопартийца, убитого в Швейцарии, он принял решение назвать строящийся лайнер в честь нового Мученика национал-социалистического движения; вскоре после кремации его именем стали называться площади, улицы и школы по всему Рейху. В его честь были переименованы даже бывшие военные Заводы Симсона в Зуле, отныне они, называясь Заводы имени Вильгельма Густлоффа, продолжали выпускать продукцию военного назначения, а с 1942 года даже расширились, открыв свой филиал в концентрационном лагере Бухенвальд.

Не буду перечислять всего, что было названо в его честь – упомяну разве что Мост имени Густлоффа в Нюрнберге и Дом имени Густлоффа в немецкой колонии бразильской Куритибы, – зато спрошу себя, а заодно и размещу в Интернете вопрос: "Что было бы, если бы заложенный в Гамбурге лайнер все-таки получил при спуске со стапелей 4 августа 1936 года имя Вождя?"

Ответ поступил незамедлительно: "Корабль "Адольф Гитлер" был бы непотопляем, ибо само провидение..." И т. д. и т. п. У меня же возникла мысль: следовательно, я не оказался бы тогда одним из тех, кто пережил ту забытую всем миром катастрофу. Ведь тогда все спокойно сошли бы на берег во Фленсбурге, мать родила бы меня уже там, моя биография не была бы по-своему уникальна и показательна, тем более не стала бы сегодня предметом для литературных упражнений.

"Пауль, сынок мой, не чета другим, он особенный!" – будучи ребенком, я постоянно слышал от матери эту фразу. Вдвойне бывало неловко, когда она, употребляя словечки, которые остались со времен Лангфура, начинала расписывать мои особенности соседям, а то и целому партсобранию: "Он еще только народился, а я уж знала, что вырастет пацаненок и станет знаменитым..."

Смех да и только. Мне-то известно, чего я стою. Заурядный журналист, но на коротких дистанциях не так уж и плох. Раньше, правда, вынашивал большие замыслы – моя книга "Между Шпрингером и Дучке" так и осталась в чернильнице, – но на этом обычно дело и заканчивалось. Потом Габи тайком от меня перестала принимать противозачаточные таблетки, и поскольку виновником ее беременности вполне однозначно был я, то ей удалось меня окрутить; вскоре на свет явилось плаксивое чадо, будущая учительница продолжила учебу в университете – стало ясно: конец моим мечтаниям. Отныне для меня как отца семейства поприщем творческого роста стали смена пеленок и орудование пылесосом. Тут уж не до грандиозных планов. Когда тридцатипятилетнему простофиле с редеющей шевелюрой не удается отвертеться от ребенка, пиши пропало, этот человек безнадежен. При чем здесь лю-

бовь! Такие вещи случаются снова только после семидесяти, когда все равно уж ни на что толком не способен.

Габриела, которую все называют Габи, была не слишком красивая, но довольно симпатичная. Она умела увлечь и поначалу тешилась надеждой, что сможет перевести меня, неспешно бредущего по жизни, на ускоренный аллюр — "Попробуй взяться за острую тему, имеющую общественную значимость, напиши про движение в защиту мира, про новую гонку вооружений", — в результате чего я принимался сочинять нудные проповеди в виде репортажей о Мутлангене, о размещении крылатых ракет "Першинг-2", о сидячих блокадах, причем эти репортажи даже находили определенный отклик в левых кругах. Но потом мой запал угасал вновь. В конце концов она махнула на меня рукой.

Впрочем, не только Габи, но и мать считала меня типичным неудачником. Когда у нас родился сын, мать тут же отбила нам телеграмму, настаивая: "Должны назвать его Конрадом!", а в письме своей подруге Йенни она высказалась однажды со всей откровенностью: "Каков осел! И ради этого я отправила его на Запад? Чтобы так разочаровать меня! Неужели это все, на что он способен?"

Собственно, она была права. Вот моя жена, которая была на десять лет моложе, действительно отличалась целеустремленностью, она успешно справлялась с любыми экзаменами, стала преподавательницей гимназии, получила статус государственного чиновника. Наш довольно натужный брачный союз даже не дотянул до рокового семилетнего срока, мы разошлись. Габи оставила мне квартиру в районе Кройцберг, в старом доме с печным отоплением и неизменной берлинской затхлостью, а сама переехала с маленьким Конрадом в Западную Германию, где у нее в Мёльне жила родня и где она вскоре начала учительствовать.

Милый городок у озера, тихий, поскольку находился в приграничной зоне, даже идиллический. Места эти называются довольно громко "герцогство Лауэнбург", что ничуть не убавляет прелести здешних пейзажей. Нравы тут патриархальны. Туристические путеводители именуют Мёльн "городом Тиля Уленшпигеля". Габи провела в нем свои детские годы, поэтому, вернувшись, вскоре опять почувствовала себя дома.

Я же продолжал катиться под уклон. Застрял в Берлине. Держался на плаву поденщиной для информационных агентств. Попутно строчил репортажи для "Евангелишес зонтагсблатт", что-нибудь вроде "Зеленые и берлинская Зеленая неделя" или "Турки в Кройцберге". Что еще? Ничего особенного, если не считать пары интрижек с женщинами, которые скорее действовали мне на нервы, да штрафов за парковку в неположенном месте. Ну и развод, последовавший через год после отъезда Габи.

Своего сына Конрада я видел только во время моих визитов, то есть редко и нерегулярно. Он носил очки, выглядел не по годам взрослым, имел, по заверениям матери, незаурядные способности, преуспевал в школе, оказался впечатлительной натурой. Сразу после падения Берлинской стены и открытия пограничного перехода в Мустине, что находится неподалеку от небольшого городка Ратцебурга, соседствующего с Мёльном, Конни упросил мою бывшую супругу отвезти его в Шверин — а на машине это час езды, — чтобы увидеться с бабушкой Туллой.

Так он ее и называл. Думаю, она сама этого хотела. Одним-единственным визитом дело не ограничилось, сегодня приходится сказать — к сожалению. Между ними сразу же возникло полное взаимопонимание.

Десятилетний Конни уже тогда был не по годам рассудителен. Уверен, что мать до отказа напичкала его своими историями, которые разыгрывались отнюдь не только в Лангфуре на Эльзенштрассе, во дворе столярной мастерской. Она поведала ему все, вплоть до собственных приключений, пережитых ею в последний год войны, когда она работала трамвайным кондуктором. Мальчик впитывал все это подобно губке. Разумеется, не обошлось без вечной истории о тонущем корабле. С этих пор мать начала связывать свои большие надежды с Конрадом, которого она называла не иначе как ласково – Конрадхен.

В эту пору она частенько наведывалась в Берлин. Выйдя на пенсию, она любила разъезжать повсюду на своем крохотном "трабанте". Навещала прежде всего свою подругу Йенни, я же служил фактором побочным. Что это были за встречи! В игрушечном ли домике тети Йенни, в моей ли кройцбергской конуре мать теперь могла говорить только об одном – о своем Конрадхене, о том, какое счастье выпало ей на старости лет. Как замечательно, что она сможет побольше заниматься им, поскольку народный мебельный комбинат недавно приватизировали, не без ее участия, между прочим. Она помогает советами. К ней опять прислушиваются. А что касается внука, то тут у нее полно планов.

Тетя Йенни отзывалась на подобные энергетические выбросы лишь своей примерзшей к губам улыбкой. Мне же мать твердила: "Конрадхен непременно станет знаменитым. Не чета он тебе, неудачнику".

"Верно, – отвечал я, – из меня толку не вышло, а теперь уж и не выйдет. Разве что выйдет из меня заядлый курильщик".

Вроде того еврея Франкфуртера, добавил бы я сегодня, который прикуривал одну сигарету от другой и о котором мне приходится писать, поскольку его выстрелы попали в цель, поскольку строительство заложенного в Гамбурге лайнера успешно продвигается, поскольку штурман Маринеско несет службу на черноморской подлодке, бороздящей прибрежные воды, и поскольку 9 декабря 1936 года в суде швейцарского кантона Граубюнден начался процесс над родившимся в Югославии убийцей Вильгельма Густлоффа, гражданина Рейха.

Три охранника в гражданском стояли в Куре перед судейским столом и скамьей подсудимых, на которой, теснясь меж двух полицейских, сидел обвиняемый. По указанию кантональной полиции охранники постоянно следили за публикой, а также за швейцарскими и иностранными журналистами. Опасались покушения, которого ждали от любой из сторон.

Чтобы справиться с наплывом публики и журналистов из Рейха, пришлось перенести судебные заседания из кантонального суда в зал Малого совета Граубюндена. Защиту взял на себя адвокат Ойген Курти, пожилой господин с седой эспаньолкой. Частного обвинителя, то есть вдову покойного, представлял известный юрист профессор Фридрих Гримм, опубликовавший вскоре после войны свой классический труд "Политическая юстиция – болезнь нашего века", который вызвал немалый общественный резонанс, поэтому я не был удивлен, когда обнаружил в Сети объявление о новом издании этой книги, предпринятом правым экстремистом Эрнстом Цюнделем, имеющим немецко-канадское происхождение; выяснилось, кстати, что тираж уже распродан.

Уверен, однако, что редактор найденного мной шверинского сайта успел своевременно приобрести экземпляр этой пропагандистской книги, поскольку его публикации были нашпигованы цитатами из Гримма,

который резко полемизировал с защитником Курти, чья речь выглядела, признаться, довольно занудной. Складывалось впечатление, будто судебный процесс проходит вновь, только на сей раз на виртуальных подмостках переполненного всемирного театра.

Позднее мои разыскания показали, что сей пышный боец-одиночка пользовался материалами газеты "Фёлькишер беобахтер", этого "боевого листка национал-социалистического движения Великой Германии". Так, сделанное вроде бы мимоходом замечание о том, что госпожу Хедвиг Густлофф, явившуюся в суд на второй день заседаний, находившиеся там немцы, проживающие в Швейцарии, а также прибывшие из Рейха журналисты, равно как и некоторые швейцарские сторонники, приветствовали вскинутой рукой, было заимствовано из репортажа "ФБ". Таким образом, "боевой листок" смог присутствовать не только на всех заседаниях четырехдневного судебного процесса, названного "историческим", но и на дебатах, развернувшихся в Интернете; например, из того же источника в Сети цитировались суровые упреки отца-раввина, содержавшиеся в письме к блудному сыну: "Я уже ничего не жду от тебя. Ты не пишешь. А отныне можешь уже и не писать". Эти цитаты приводились и в суде как свидетельство жестокосердия обвиняемого; ему, заядлому курильщику, разрешали выкурить во время перерывов одну-две сигареты.

Пока офицер-подводник Маринеско ходил в плавание или же получал в Севастополе увольнения на берег, а потому, видимо, на протяжении трех суток бывал пьяным в дым, пока лайнер на гамбургской верфи обретал все более зримые очертания — клепальщики стучали день и ночь, — обвиняемый Давид Франкфуртер стоял перед судьями или сидел, зажатый меж двух полицейских. Он добросовестно давал признательные показания. Сидя слушал, а говорил стоя: решил, приобрел, тренировался, приехал, прогуливался, нашел, вошел, сидел, выстрелил пять раз. Свои показания он произносил четко, заминки случались лишь изредка. Приговор он принял, хотя в Интернете говорилось, что при этом он "плакал, представляя собою жалкое зрелище".

В кантоне Граубюнден смертной казни не существовало, поэтому профессор Гримм, выразив свое сожаление, потребовал максимально суровой кары — пожизненного заключения. Все, что говорилось в Сети до оглашения приговора (восемнадцать лет каторжной тюрьмы, затем высылка из страны), выглядело весьма пристрастным в пользу Мученика, но затем, судя по всему, мнение редактора сайта и мнение "Соратничества Шверин" разделились. Может, у редактора вновь появился личный оппонент? Тот спорщик и всезнайка, который однажды уже заходил в чат? Во всяком случае, спор опять возобновился, зазвучали два голоса.

Этот затухающий и вновь разгорающийся диспут разыгрывался как бы между двумя сценическими ролями, при этом один из спорщиков выступал от имени Вильгельма, убиенного ландесгруппенляйтера, а другой называл себя Давидом по имени несостоявшегося самоубийцы.

Складывалось впечатление, будто этот взаимный обмен ударами доносится до нас с того света. Однако готовилось все это по-земному основательно. При встречах убийцы с жертвой снова и снова обсуждалось как само преступление, так и его мотивы. Если один выступал в качестве активного пропагандиста и восторженно заявлял, например, что "благодаря личным заслугам Вождя" ко времени судебного процесса в

Рейхе насчитывалось на восемьсот тысяч безработных меньше, чем в тот же период предшествующего года, то другой парировал эти восторги перечислением данных, сколько евреев – врачей и пациентов – были изгнаны из больниц и санаториев, а также напоминанием, что уже 1 апреля 1933 года нацисты объявили антиеврейский бойкот, в ходе которого витрины еврейских магазинов были заклеены призывами "Смерть жидам!". За ударом следовал удар. Так, Вильгельм, отстаивая тезис о необходимости сохранения арийской расы и чистоты немецкой крови, приводил на сайте соответствующие выдержки из книги Вождя "Моя борьба", а Давид отвечал ему фрагментами из книги "Болотные солдаты" – документального повествования, опубликованного в эмигрантском издательстве бывшим узником концентрационного лагеря.

Спорили не на шутку, ожесточенно. Но внезапно напряжение немного спало. Перебранка сменилась едва ли не приятельской болтовней. Вильгельм спрашивал: "Ты почему стрелял в меня пять раз?", Давид отвечал: "Извини, первый раз промахнулся. Дырок осталось только четыре". Вильгельм не унимался: "Верно. А пушка у тебя от кого?" Давид: "Купил. Всего за десятку". – "Продешевили. Могли бы запросить полсотни франков". – "Понятно. Хочешь сказать, что пушку мне подарили, так?" – "Уверен, что ты стрелял по заказу". – "Ну, да! По указке мирового сионизма".

Вот так на протяжении нескольких дней шел сетевой диалог. После жесточайших взаимных нападок они принимались шутить, дружески подначивать друг друга. Уходя из чата, прощались: "Покедова, клон фашистский!" и "Бывай здоров, жиденыш!" Если же в чат, мешая их разговору, забредал посторонний, какой-нибудь чудак с Балеар или из Осло, то ему тут же сигналили: "Проваливай!", а в лучшем случае – "Загляни попозже".

Похоже, оба они были любителями настольного тенниса, ибо вместе восторгались немецким асом пинг-понга Йоргом Роскопфом, который, по словам Давида, мог порвать любого китайского чемпиона. Оба заверяли, что являются приверженцами честной борьбы. И оба оказались настоящими знатоками, способными взаимно оценить по достоинству находки соперника: "Класс! Где сумел раскопать эту цитату Грегора Штрассера"? Или: "Ну, ты даешь, Давид, а я и не знал, что Гитлер сначала отстранил Хильдебрандта за левый уклон, а потом по настоянию доблестных мекленбуржцев вновь назначил его гауляйтером".

Они вполне могли сойти за приятелей, которые лишь старательно отрабатывают дежурную норму взаимной ненависти. Когда Вильгельм задал в чате вопрос "Если бы Вождь вернул меня к жизни, ты стал бы стрелять в меня снова?", немедленно последовал ответ Давида: "Ладно уж, на этот раз твоя очередь мочить".

Во мне забрезжили подозрения. Пришлось отказаться от мысли, что ловкий редактор сайта, раздвоившись, вел диалог с самим собой. Похоже, я нарвался на двух шутников, которые, впрочем, относились к своей игре до смерти серьезно.

Позднее, когда все, причастные к этой истории, ужаснулись и стали говорить, что раньше совершенно ни о чем не догадывались, я сказал матери: "А мне с самого начала многое казалось странным. Задавал себе вопрос: на кой черт нынешним ребятам этот Густлофф и все прочее? Ведь

ясно же было, что тут не старичье в Интернете время убивает, не вечно вчерашние вроде тебя; я сразу сообразил...”

Мать никак не отреагировала. Как всегда, когда ее что-нибудь слишком задевало, она сделала отсутствующее лицо, до отказа закатила глаза. Она ведь все равно была убеждена, что все это могло случиться лишь потому, что десятки лет “даже заикнуться нельзя было о Густлоффе. У нас, на Востоке, тем более. А на Западе если уж начинали говорить о прежних временах, так выбирали самую жуть, вроде Аушвица. Боже мой! Сколько шума поднялось в нашей парторганизации, когда я про СЧР словечко доброе молвила – дескать, “Густлофф” сделали бесклассовым кораблем...”

И тут она снова принялась вспоминать, как мама с папой плавали к норвежским берегам: “Мама никак опомниться не могла, потому что в столовой все отпускники вместе сидели, простые рабочие вроде папы, и чиновники, и шишки партийные. Хорошо там было, почти как у нас в ГДР, даже, видать, почище...”

Идея насчет бесклассового лайнера была, действительно, блестящей. Думаю, именно этим объясняется то бурное ликование, которым отмечали рабочие верфи спуск лайнера на воду, состоявшийся 5 мая 1937 года. Еще отсутствовали труба, спардек и пеленгаторная палуба. Собрался весь Гамбург, толпы народа. Но на самом освящении лайнера присутствовало лишь около десяти тысяч человек, приглашенных Леем лично.

Спецпоезд Гитлера прибыл на вокзал Дамтор в десять утра. Оттуда Вождь проехал по улицам Гамбурга в открытом “мерседесе”, приветствуя то вытянутой, то слегка согнутой рукой ликующую, разумеется, толпу. От пирса его доставили на верфь катером. Все стоявшие в порту суда, в том числе иностранные, вывесили флаги. Здесь же находились в полном составе украшенные флагами расцвечивания суда, арендованные для флотилии СЧР – от “Сьерры-Кордовы” до “Сан-Луиса”.

Не стану перечислять всех, кто маршировал в колоннах, кто щелкал, здороваясь, каблуками. Когда Вождь всходил на трибуну, внизу толпились, приветствуя его, рабочие. Четыре года назад на последних свободных выборах большинство из них еще голосовали за социал-демократов или коммунистов. Теперь же для них существовала лишь одна-единственная Партия, и перед ними стоял собственной персоной олицетворяющий ее Вождь.

На трибуне была и вдова. Он знал Хедвиг Густлофф по давним годам борьбы. Она работала его секретаршей еще до того, как мюнхенский марш к Палате полководцев[1] закончился кровавым финалом. Позднее, когда он попал в ландсбергскую крепость, она отправилась на поиски работы в Швейцарию, где и встретила своего будущего супруга.

Кто еще удостоился чести попасть на трибуну? Начальник верфи, госсоветник Блом и руководитель парторганизации верфи Паули. Разумеется, здесь же находился Роберт Лей. Были и другие партийные лидеры. Гауляйтер Гамбурга Кауфман, гауляйтер Шверина и Мекленбурга Хильдебрандт. Военно-морской флот представлял адмирал Редер. Долгое путешествие из Давоса проделал руководитель местной партийной организации Бёме.

1. Центральный эпизод гитлеровского путча в 1923 г.

Выступали ораторы. Вождь на сей раз воздержался от речей. После Кауфмана начальник верфи "Блом & Фосс" обратился к Вождю: "От имени коллектива верфи докладываю: туристический лайнер за номером 511 к спуску на воду готов!"

Остальное пропустим. Но, пожалуй, стоит все-таки привести несколько перлов из выступления Роберта Лея. Начал он с обращения: "Немцы!" После чего весьма многословно изложил идею движения "Сила через радость", призванную сплотить немецкий народ, и, наконец, указал на первоисточник великой идеи: "Вождь дал мне приказ: обеспечьте немецкому рабочему возможность достойно провести свой отпуск, чтобы нервы его были крепкими, ибо в противном случае, какие бы усилия я ни предпринимал, все окажется тщетным, если у немецкого народа сдадут нервы. Необходимо, чтобы немецкие массы, немецкий рабочий имели достаточно сил, чтобы постичь мои замыслы".

Когда некоторое время спустя вдова произнесла слова "Нарекаю тебя именем Вильгельма Густлоффа", раздался восторженный рев крепкой нервами толпы, который заглушил звон бутылки шампанского, разбившейся о борт лайнера. Пока лайнер спускался на воду, были исполнены оба гимна, государственный и партийный. Мне же, одному из уцелевших при катастрофе "Густлоффа", каждый спуск корабля на воду, на котором мне приходится присутствовать в качестве журналиста или который я вижу по телевизору, напоминает о гибели лайнера, окрещенного некогда погожим майским днем.

Примерно в то время, когда Давид Франкфуртер сидел в тюрьме Зенхоф кантона Кур, а в Гамбурге разбилась вдребезги бутылка шампанского, Александр Маринеско учился на командирских курсах то ли в Ленинграде, то ли в Кронштадте. Во всяком случае, его перевели с Черного моря на Балтику. Уже летом, когда сталинская чистка не обошла стороной и балтийских морских начальников, он стал командиром подлодки.

М-96 была довольно старой моделью, приспособленной для ведения боевых действий в прибрежных водах. По доступной мне информации, М-96 имела водоизмещение 250 тонн, экипаж насчитывал 18 человек, то есть лодка была сравнительно небольшой. Маринеско долго оставался командиром этой боевой единицы, бороздившей воды Финского залива и имевшей на вооружении всего две торпеды. Полагаю, что, находясь в каботажном плавании, он постоянно отрабатывал атаки в надводном положении и срочное погружение.

3

Пока велись внутренние работы на всех палубах, от нижней до солнечной, монтировалась труба, отделывался капитанский мостик, оборудовалась радиорубка, пока в прибрежных водах Балтики отрабатывались срочные погружения, в Куре минули одиннадцать месяцев тюремного заключения; лишь к этому времени лайнер смог отвалить от достроечного причала, чтобы отправиться вниз по Эльбе в пробное плавание по Северному морю. Я же вернусь к быстротекущему настоящему времени, чтобы продолжить повествование. Или же стоит уступить Зануде, чье ворчание уже невозможно оставить без внимания?

Он требует от меня более подробных воспоминаний. Ему хочется знать, какой я видел, обонял, осязал мать в моем раннем детстве, скажем

начиная лет с трех. По его словам, "первые впечатления бывают определяющими на всю дальнейшую жизнь". Я отвечаю: "Вспоминать-то особенно нечего. Когда мне было три года, она как раз закончила учиться столярному делу. Да, она приносила из мастерской стружку и кубики, до сих пор помню эти завитушки и рушащиеся пирамиды. Я играл стружками и кубиками. Что еще? Мать пахла столярным клеем. Этот запах сопровождал ее всюду, где бы она ни стояла, сидела, лежала — до чего же пропахла клеем ее постель, ужас. Яслей тогда еще не было, поэтому сначала за мной присматривала соседка, а уж потом меня отдали в детский сад. Так было заведено у работающих матерей по всему рабоче-крестьянскому государству, не только в Шверине. Помню толстых и худых теток, которые помыкали нами, помню манную кашу, в которой торчком стояла ложка".

Подобные обрывочные воспоминания Старика не устраивают. Он гнет свое: "В мои годы, когда Тулле Покрифке исполнилось лет десять, личико у нее было невыразительное: точка-точка-запятая. А как она выглядела году в пятидесятом, когда ей стукнуло двадцать три и она была учеником столяра? Косметику употребляла? Носила на голове платок или дамистую шляпку горшком? Делала химическую завивку или нет? А может, ходила по выходным дома в папильотках?"

Не знаю, утихомирят ли его любопытство мои ответы; мои воспоминания о матери в годы ее молодости и предельно отчетливы, и одновременно смутны. Она всегда была для меня беловолосой. С самого начала. Не серебристо-седой. Просто беловолосой. Если кто-нибудь любопытствовал, мать рассказывала: "Стряслось это, когда я сына рожала. На миноносце, который нас подобрал..." Если же любопытствующий готов был слушать дальше, следовал рассказ о том, как волосы у нее в одночасье побелели и остались белыми, когда спасенные миноносцем "Лёве" мать с новорожденным сошли на берег в Кольберге. Мать носила короткую стрижку. Но раньше, до того как "побелела в одночасье, будто по приказу свыше", волосы у нее были русые, слегка рыжеватые, длиною до плеч.

Поскольку мой Работодатель не унимался, то в ответ на дальнейшие расспросы я сообщил, что у матери сохранилось лишь несколько фотографий пятидесятых годов. На одной видно, что белые волосы подстрижены совсем коротко, на длину спички. Порой в них потрескивало электричество, когда я их гладил, что мне иногда позволялось. Такую же прическу носит она и сейчас. Ей было всего семнадцать, когда она внезапно стала совершенно беловолосой. "Да нет же. Она никогда не красилась. Никому из партийной организации не довелось увидеть ее иссиня-черной или золотисто-рыжей".

"Что еще? Прочие воспоминания? Например, о мужчинах? Имелись ли таковые?" Подразумевались те, кто оставался на ночь. Ведь в юные годы Тулла Покрифке была помешана на мужском поле. Ходила ли она в купальню Брёзена, работала ли кондукторшей на трамвайном маршруте между Данцигом, Лангфуром и Оливой, всюду ее окружали не только молодые люди, но и взрослые мужчины, например фронтовики, приезжавшие на побывку. "Повышенный интерес к мужчинам не пропал, когда она сделалась беловолосой?"

Что вообразил себе Старик? Неужели и впрямь полагает, будто мать стала монашкой лишь оттого, что ее волосы побелели от пережитого шока. Мужчин у нее всегда хватало. Только долго они не задерживались. Один был десятником у каменщиков, неплохой дядька. Приносил дефи-

цитные продукты, которых не достать по талонам. Ливерную колбасу, например. Мне уже было десять лет, когда он приходил к нам домой на Лемштрассе 7, сидел на кухне, щелкая подтяжками. Звали его Йохен, и ему всенепременно хотелось покатать меня на коленке. Мать называла его Йохен Второй, потому что в юности водилась с одним старшеклассником, настоящее имя которого было Йоахим, но все звали его Йохен. "Только я его совсем не интересовала. Он меня даже не лапал..".

Через некоторое время мать прогнала Йохена Второго, уж и не помню, за что. Когда мне исполнилось лет тринадцать, к нам после службы, а иногда и по воскресеньям стал наведываться младший лейтенант, который служил в Народной полиции. Он был саксонцем, родом, кажется, из Пирны. Он приносил нам западную зубную пасту "Колгейт" и еще кое-что из конфискованных вещей. Между прочим, его тоже звали Йохен, поэтому мать говорила мне: "Завтра Третий придет. Ты уж с ним не выкобенивайся..." Йохен Третий также получил отставку, ибо ему, по словам матери, не терпелось ее "захомутать".

Она не была создана для брака. "Мне и тебя хватает", — сказала она, когда я лет в пятнадцать почувствовал, что все мне до смерти надоело. Нет, не школа надоела. Учился я, если не считать русского, неплохо. Осточертел весь этот балаган ССНМ[1], выезды на сбор урожая, субботники, бодряческие песни, к тому же мать допекла. Я уже не мог больше слышать ее бесконечные истории о "Густлоффе", которыми она обычно потчевала меня по воскресеньям под биточки с вареной картошкой. "Все полетело кувырком. Такое не забудешь. Никогда этому конца не будет. До сих пор снится, как в последний момент над водою раздался крик. И детки снятся между льдинами..."

Но иногда, сидя за воскресным столом со своей чашкой кофе, она лишь бормотала: "А красивый был все-таки корабль-то", — и больше ни слова. Но ее отсутствующий взгляд был достаточно красноречив.

Это правда. Когда строительство завершилось, белоснежный от носа до кормы лайнер "Вильгельм Густлофф", отправляясь в свое первое плавание, был поистине великолепен. Это не оспаривали даже те, кто после войны объявил себя антифашистом, никогда не изменявшим своим убеждениям. А те, кому посчастливилось попасть на борт лайнера, говорили, сойдя на берег, что испытали своего рода озарение.

Уже в пробное двухдневное плавание, которое проходило, к сожалению, при штормовой погоде, на лайнер взяли рабочих и служащих верфи "Блом & Фосс", к ним добавили продавщиц гамбургского потребсоюза. Когда же 24 марта 1938 года "Вильгельм Густлофф" отправился в море на трое суток, то его пассажирами стали около тысячи австрийцев, отобранных партийными организациями, ибо спустя две недели населению Восточной марки предстояло проголосовать за то, что уже свершилось благодаря молниеносной операции вермахта, — за присоединение Австрии к Рейху. Кроме того, на борту вновь было триста девушек из Гамбурга, избранных представительниц Союза немецких девушек, и более сотни журналистов.

Шутки ради, а также в качестве некоего теста попробую вообразить, как вел бы себя я, скромный журналист, на приеме, который был обещан для работников печати в самом начале плавания и, судя по програм-

1. Союз свободной немецкой молодежи.

ме, состоялся в кинозале лайнера, предназначенном также для торжественных мероприятий. Признаться, я далеко не храбрец, о чем не раз говаривала мать и в чем совершенно уверена Габи, тем не менее я, возможно, набрался бы безрассудства задать вопрос о том, на какие средства был построен новый лайнер и вообще какими финансами располагает Германский трудовой фронт, хотя вместе с другими журналистами я мог бы сообразить и сам, что прожекты Лея было бы невозможно осуществить, если бы не деньги, конфискованные со счетов запрещенных профсоюзов.

Хорошо помечтать о собственной смелости. На самом деле, насколько я себя знаю, ее хватило бы разве что на завуалированный вопрос насчет финансовых возможностей ГТФ, а руководитель туристической поездки, хранящий при любых обстоятельствах абсолютную невозмутимость, вероятно, пошутил бы, что Германский трудовой фронт буквально купается в деньгах, в чем мы можем убедиться сами. Через несколько дней на верфи Ховальдт сойдет со стапелей очередной гигантский лайнер, который, как легко догадаться, будет назван в честь Роберта Лея.

После этого орда приглашенных журналистов приступила к осмотру лайнера. Задавать новые вопросы никто не отважился. Я помалкивал наравне с другими, тем более что в моей реальной, а не воображаемой профессиональной жизни никогда не решался на скандал, не обнаруживал скелетов в чужих шкафах, не разоблачил ни одного отмывания денег, не поймал за руку ни одного продажного министра. Исполненные исключительно чувством долга, мы переходили с одной палубы на другую. Если не считать специальных кают для Гитлера и Лея, которые не были доступны для осмотра, все остальное на лайнере действительно не имело классовых различий. Хотя все подробности известны мне лишь по фотографиям и иным материалам, однако у меня возникает чувство, будто я и впрямь присутствовал на том осмотре, разгоряченный от восхищения и одновременно вспотевший от боязни сказать лишнее.

Я увидел просторную, освобожденную от всего ненужного солнечную палубу, увидел душевые и санузлы. Я смотрел и усердно записывал. Позднее мы смогли полюбоваться безупречно отлакированными переборками нижней прогулочной палубы и отделанными под орех каютками компаниями. С удивлением разглядывали мы Актовый зал, Фольклорный зал и Немецкий зал. В каждом из них висел портрет Вождя, устремившего свой взор поверх нас в будущее. Кое-где имелся портрет Роберта Лея форматом поменьше. Однако преимущественным украшением интерьеров служили живописные пейзажи, исполненные в манере старых мастеров. Впрочем, художники были нашими современниками; мы поинтересовались фамилиями, записали их в блокноты.

В промежутках нас угощали свежим пивом, что позднее было отмечено в моем репортаже, где я, стараясь избегать декадентского слова "бар" и заменяя его вполне простонародным понятием, сообщил о наличии на борту лайнера "семи симпатичных пивных".

Затем на нас обрушилась лавина цифр. Вот некоторые из них. В камбузе палубы А наличествовал суперсовременный посудомоечный агрегат, способный ежедневно доводить до зеркального блеска 35 000 грязных тарелок. Нам сообщили, что запас пресной воды составляет 3400 тонн, а единственная труба лайнера служит одновременно водонапорной башней. Осматривая самую нижнюю палубу Е, где разместились гамбургские представительницы Союза немецких девушек, устроив там не-

что вроде молодежного туристического лагеря, мы заглянули в находящийся на этой же палубе бассейн, вмещавший шесть тонн воды. Было и еще множество цифр, которые я уже не записывал. Некоторые журналисты облегченно вздохнули, когда поняли, что их пощадят, оставив в неведении относительно количества кафельных плиток или отдельных разноцветных элементов в мозаичном панно, изображавших рыбоподобных дев и фантастическое морское чудище.

Поскольку я с детства слышал рассказы матери и знал, что вторая торпеда попала в бассейн, превратив осколки кафеля и мозаики в смертельную шрапнель, то, глядя на девичьи тела, плещущиеся в воде, я, возможно, все-таки решился спросить, на сколько метров ниже ватерлинии находится бассейн. Вероятно, мне показалось также, что двадцати двух спасательных баркасов, закрепленных на верхней палубе, маловато. Однако я не стал докапываться до причин, не пророчествовал, не предвидел катастрофу, которая произошла семь лет спустя морозной военной ночью, когда на борту лайнера насчитывалось не полторы тысячи беззаботных отпускников, как это полагалось по нормам мирного времени, а около десяти тысяч человек, которых ждала гибель, и выжила из них лишь небольшая часть пассажиров, их точное число до сих пор неизвестно; вместо этого я, будучи то ли журналистом из "Фёлькишер беобахтер", то ли корреспондентом солидной "Франкфуртер цайтунг", самым выспренним слогом или же в деловитом тоне сделал такие комплименты замечательным спасательным баркасам, будто речь шла о приятном сюрпризе в виде бесплатного приложения к программе "Сила через радость".

Кстати, через некоторое время один из баркасов пришлось спустить на воду. Затем другой. Причем отнюдь не в учебных целях.

Во время своего второго плавания к Дуврскому проливу "Вильгельм Густлофф" попал в шторм, дул сильный норд-вест, лайнеру пришлось сражаться с высокой волной, и тут на нем был получен сигнал SOS, поданный английским углевозом "Pegaway", у которого был поврежден погрузочный люк и вышло из строя рулевое управление. Капитан Люббе, позднее умерший во время следующего круиза на Мадейру от сердечного приступа, тут же приказал взять курс на то место, где терпел бедствие углевоз. Спустя два часа прожектора обнаружили в кромешной тьме "Pegaway", который уже набрал довольно много воды. Но шквальный ветер усиливался, поэтому лишь ранним утром удалось спустить на воду один из двадцати двух спасательных баркасов, однако толчея волн ударила его о корпус лайнера, что причинило баркасу серьезный ущерб, после чего его отнесло в сторону. Капитан Люббе немедленно приказал спустить моторный катер, которому после нескольких попыток удалось забрать с углевоза девятнадцать моряков и уже с меньшими трудностями, поскольку шторм начал стихать, доставить их на лайнер. В конце концов был найден и баркас, экипаж которого подняли на борт лайнера.

Об этом писали. Немецкие и иностранные газеты отозвались с похвалою о спасательной операции. Но гораздо подробнее это сделал по прошествии долгого времени Хайнц Шён. Так же, как и я теперь, он перелопатил в свое время кучу газетных сообщений. Дело в том, что его биография, подобно моей, оказалась прочно связанной со злосчастным лайнером. Примерно за год до окончания войны он был назначен на "Вильгельм Густлофф" помощником казначея. Вообще-то Хайнц Шён

сделал неплохую карьеру в морской организации гитлерюгенд и хотел попасть на военный флот, однако подвело слабое зрение, и его направили в торговый флот. Он оказался одним из тех, кто пережил гибель корабля, который начал в качестве туристического лайнера, затем превратился в госпиталь, позднее в плавучую казарму и, наконец, стал транспортным судном для беженцев; после войны он принялся собирать материалы, связанные со светлыми и темными сторонами истории "Вильгельма Густлоффа". Его целиком захватила эта тема, он жил единственно ею.

Уверен, что мать была бы счастлива познакомиться с изысканиями Хайнца Шёна. Но если на Западе для его книг нашелся издатель, то в ГДР они были нежелательны. Впрочем, читатели его книг хранили молчание. Как на Западе, так и на Востоке. Разыскания Шёна оставались невостребованными. Даже снятый в конце пятидесятых годов игровой кинофильм "Ночь над Готенхафеном", где Шён выступил в качестве консультанта, не вызвал особого интереса. Правда, недавно телевидение показало документальную передачу на эту тему, однако дело до сих пор обстоит так, будто ничто не может превзойти катастрофу "Титаника", будто "Вильгельма Густлоффа" вообще не существовало, будто для подобной трагедии среди прочих известных уже нет места и следует скорбеть об одних погибших, не поминая других.

Вот и я предпочитал помалкивать, уходить в тень, пока на меня не оказали давление. Если же теперь я, принадлежа, подобно Шёну, к числу переживших катастрофу, начинаю испытывать к нему определенное сочувствие, то, пожалуй, прежде всего потому, что могу воспользоваться плодами его одержимости. У него собраны все данные: количество кают, запасы провианта, размеры солнечной палубы в квадратных метрах, количество спасательных баркасов по штатному расписанию и фактическое отсутствие некоторых из них на момент катастрофы, и, наконец, он приводит уточненное число погибших и выживших, растущее с каждым новым тиражом. Его скрупулезность долгое время оставалась не вознагражденной вниманием, однако теперь Хайнца Шёна, который всего на год старше матери и которого я даже мог бы представить в свое оправдание моим отцом, все чаще цитируют в Интернете.

Там недавно развернулись дискуссии вокруг голливудского блокбастера под названием "Титаник", который подавался как история величайшей морской катастрофы всех времен и народов. Хайнц Шён опроверг подобную чепуху рядом конкретных цифр. Разумеется, это вызвало определенный резонанс, в результате чего "Вильгельм Густлофф" поднял в киберпространстве виртуальную волну, что не замедлило отразиться на исполненных ненависти пропагандистских сайтах правых экстремистов. Там началась очередная травля евреев. "Отомстим за Вильгельма Густлоффа!" – требовали правые экстремисты, словно убийство в Давосе произошло не далее чем вчера. Особенно громкие голоса – сайт Цюнделя – раздавались из Америки и Канады, но и немецкая Сеть запестрела юдофобскими серверами, вроде "Национальное сопротивление" или "Thulenet"[1].

1. Туле – название столицы легендарной Гиперборен. Учрежденное в 1918 г. мюнхенское "Общество Туле" способствовало возникновению национал-социалистической партии. Попытки создать неонацистскую контактную сеть в Интернете были предприняты уже в 1992–1993 гг. Этот сервер активно действует до сих пор по адресу www.thulenet.com.

Среди первых в их числе оказался и сервер www.blutzeuge.de, не отличавшийся, впрочем, особым экстремизмом. Он опубликовал историю корабля, ставшего легендой не потому, что тот затонул, а потому, что его гибель замалчивали, зато теперь эта легенда привлекала к себе интерес многих тысяч пользователей Интернета. Мой боец-одиночка, который успел обзавестись личным идейным и по-спортивному злым противником, с детской наивной гордостью поведал миру через Сеть о том, как "Вильгельм Густлофф" оказал помощь англичанам, потерпевшим кораблекрушение. Он цитировал статьи из британских газет с похвалой в адрес немецких спасателей с таким энтузиазмом, словно на газетах еще не просохла типографская краска и будто речь шла о свежайшей новости. Он поинтересовался у своего идейного противника, дошло ли известие о героизме немецких спасателей до еврея-убийцы Франкфуртера, отбывающего свой срок в тюрьме Кура. Давид ответил: "Арестанты сидят там целыми днями за ткацкими станками, им некогда читать газеты".

Вероятно, в свою очередь для Давида был бы интересен вопрос, мог ли знать курсирующий в прибрежных водах Балтики офицер-подводник по фамилии Маринеско о спасении экипажа с углевоза "Pegaway" командой "Вильгельма Густлоффа", поскольку таким образом капитан, может быть, впервые услышал название корабля, которому суждено было стать целью для позднейшей атаки. Однако такой вопрос не был задан. Зато Вильгельм восторженно поведал о том, как несколько позже лайнер был использован у британских берегов в качестве "плавучего избирательного участка", причем эмоциональный накал репортажа поднялся опять-таки до столь высокого градуса, будто этот успешный пропагандистский трюк был изобретен прямо сейчас, а не почти шестьдесят лет тому назад.

Имелся в виду референдум по вопросу о фактически уже совершенном присоединении Австрии к великому германскому Рейху. Немцам и австрийцам, проживавшим в Англии, предоставили тем самым возможность принять участие в референдуме. Лайнер брал избирателей на борт в Тилбери, а голосование проводилось за пределами трехмильной зоны. После этого между Вильгельмом и Давидом вновь разгорелся спор. Они обменивались выпадами, как в настольном теннисе: обсуждался ход голосования. Вильгельм настаивал, что все условия для тайного волеизъявления были обеспечены установкой специальных кабинок; Давид ехидно указывал на то обстоятельство, что из примерно двух тысяч голосовавших всего четыре человека высказались против присоединения Австрии: "Неужели не известно, как достигаются подобные 99,9 %!" Вильгельм, ссылаясь на заметку из "Дейли телеграф" от 12 апреля 1938 года, возражал: "Никакого давления не оказывалось! Это, мой дорогой Давид, подтверждают британцы, которые не упускают ни малейшего случая расчехвостить нас, немцев..."

Меня забавляла их бессмысленная перепалка. Но насторожила одна из реплик Вильгельма. Ведь я уже слышал это! Парируя язвительные замечания Давида, Вильгельм не удержался от следующего заявления: "Твои хваленые демократические выборы служат исключительно интересам плутократов и всемирного еврейства. Все это – сплошное надувательство!"

Совсем недавно нечто подобное прозвучало из уст моего сына. Мы увиделись с Конни по случаю моего очередного визита, в разговоре я по-отцовски снисходительно упомянул о своей последней статье, посвя-

щенной предстоящим выборам в ландтаг федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, а в ответ услышал: "Все это — сплошное надувательство. На Уолл-стрит или у нас — везде хозяйничают плутократы, всем правят деньги!"

Вслед за первым плаванием на Мадейру, когда умер капитан Люббе и от Лисабона до конца маршрута временное командование принял на себя капитан Петерсен, начались летние круизы к норвежским берегам, теперь уже с капитаном Бертрамом. Всего таких круизов было одиннадцать, каждый длился пять дней; они пользовались особой популярностью, и поэтому все места на них были немедленно раскуплены. На следующий год эти круизы также вошли в программу СЧР. В одном из плаваний к фьордам — кажется, предпоследнем, пришедшемся на середину августа, — и приняли участие родители матери.

Вообще-то руководство окружной партийной организации Лангфура отобрало для норвежского круиза кандидатуру хозяина столярной мастерской Либенау с супругой, поскольку мастеру принадлежал пес по кличке Харрас, который в свое время был отправлен на случку в полицейский питомник служебного собаководства, а Принц, щенок из получившегося выводка, был подарен окружной партийной организацией Вождю и стал его любимой собакой, о чем неоднократно писала местная газета "Данцигер форпостен". Я слыхивал эту легенду от матери с детских лет, всю родословную этого пса, которая заняла бы целый роман. Каждый раз, когда заходила речь о собаке, начинался и рассказ о девочке Тулле. Например, мать вспоминала, что после смерти ее брата Конрада, который утонул, купаясь в море, она на целую неделю залезла в собачью конуру. За это время не сказала никому ни единого слова. "Даже ела из собачьей миски. Требуху! Чем обычно кормят собак. Такая уж была неделя, когда я ни словечка сказать не могла, так горевала по нашему Конраду. Он ведь глухонемым уродился..."

Но когда хозяину пса, мастеру Либенау, сын которого, Харри, доводился матери кузеном, поступило предложение принять участие в популярном норвежском круизе на лайнере СЧР, он, выразив сожаление, отказался со ссылкой на большую загрузку в мастерской: неподалеку от аэродрома спешно строились бараки. Он предложил окружному партийному руководству замену — своего прилежного помощника, надежного партийца Августа Покрифке с супругой Эрной. Оплату каюты, льготного проезда до Гамбурга и обратно брала на себя производственная касса столярной мастерской.

"Если бы сохранились фотографии, которые были сняты на "Густлоффе", я бы тебе показала все, что они повидали за несколько дней..." Особенно большое впечатление произвели на мать Туллы Фольклорный зал, Зимний сад, общее хоровое пение по утрам, музыкальные вечера с оркестром. К сожалению, на берег, чтобы посмотреть фьорды, никого не пускали — видимо, у Рейха были проблемы с валютой. Но одна из фотографий, которая вместе с другими снимками и семейным альбомом пропали, когда "потонул корабль", запечатлела Августа Покрифке смеющимся и пляшущим вместе с норвежской фольклорной группой, которая выступала на лайнере. "Папа мой всегда был весельчаком, а уж когда из Норвегии вернулся, то радовался с утра до вечера. Он во всем был такой упертый. Потому и хотел, чтобы я вступила в Союз немецких деву-

шек. Только я не хотела. Да и потом, когда уж мы в Рейхе очутились и вступать в Союз стало обязательно, я все равно заупрямилась..."

Похоже, мать говорила правду. Любые организации были ей не по нутру, она не умела подчиняться. Если уж что делала, так по собственной воле. Даже став членом СЕПГ и успешно руководя бригадой, которая изготовляла тоннами спальные гарнитуры для русских, а позднее перевыполняя плановые задания по выпуску мебели для типовых жилых кварталов, она ухитрилась нажить себе неприятностей, поскольку ей везде чудились ревизионисты и прочие классовые враги. Зато когда я по собственной воле вступил в ССНМ, она принялась ругаться: "Неужели мало того, что я горбачусь на этих прохвостов!"

Наверное, сын мой многое унаследовал от бабки. Должно быть, в нем говорят гены, как утверждает моя прежняя супруга. Во всяком случае, Конни противился вступлению в любую организацию, даже в Гребной клуб Ратцебурга, не говоря уж о бойскаутах, что ему настойчиво рекомендовала Габи. Она твердила мне: "Он типичный индивидуалист, не поддающийся социализации. Мои знакомые учителя говорят, что его сознание абсолютно фиксировано на прошлом, хоть он и интересуется техническими новинками, например компьютерами и современными средствами электронной коммуникации..."

Ну конечно! Ведь именно мать подарила моему сыну "Макинтош" со всеми прибамбасами, а произошло это вскоре после встречи на балтийском побережье, в курортном городке Дампе, куда съехались те, кто пережил катастрофу "Густлоффа". Ему исполнилось всего пятнадцать, когда благодаря ей он подсел на этот наркотик, которым стал для него компьютер. Именно она сбила мальчика с толку. Во всяком случае, тут мы с Габи едины во мнении, что все беды начались с покупки компьютера.

У меня всегда вызывали недоумение люди, способные уставиться в одну точку и буравить ее, пока не пойдет дым, не разгорится пламя. Таков был, например, Густлофф, который был зациклен на преданности Вождю, или Маринеско, который в мирное время упорно отрабатывал атаки на корабли противника, или Давид Франкфуртер, который вначале задумал самоубийство, но впоследствии решил подать знак своему народу, призывая его к сопротивлению, и потому продырявил четырьмя выстрелами другого человека.

Рольф Лисси снял в конце шестидесятых годов игровой фильм об этом рыцаре печального образа. Я посмотрел дома видиокассету черно-белого фильма, который давно сошел с киноэкранов. Лисси довольно корректно обращается с фактическим материалом. Его студент-медик носит вначале берет, позднее шляпу, ужасно много курит, глотает таблетки. Покупая в старом центре Берна револьвер, он платит за две дюжины патронов три франка семьдесят раппенов. В отличие от моего изложения событий Франкфуртер надевает шляпу и пересаживается с кресла на стул перед тем, как Густлофф, одетый в штатское, заходит в свой кабинет, а потом так и стреляет со шляпой на голове. Сдавшись давосской полиции и бесстрастно изложив свое признание, подобно тому как школьник читает вызубренное наизусть стихотворение, Франкфуртер выкладывает на стол дежурного револьвер в доказательство содеянного.

Чего-либо нового фильм не содержит. Интересны документальные фрагменты еженедельной кинохроники, которые запечатлели снегопад и гроб, покрытый знаменем со свастикой. Заснежен весь Шверин, по которому движется траурная процессия. Вопреки газетным сообщениям лишь немногие люди встречают гроб вскинутой для приветствия рукой. Актер, исполняющий роль Франкфуртера, выглядит на процессе, теснясь на скамье между двух полицейских, довольно тщедушным. Он говорит: "Густлофф был единственным, кто оказался для меня досягаем..." И еще: "Я хотел уничтожить заразу, а не конкретного человека..."

Далее фильм показывает, как Франкфуртер вместе с другими арестантами целыми днями просиживает за ткацким станком. Проходит время. Становится заметно, что уже за первые годы заключения в тюрьме Зенхоф кантона Кур, пока – будто это происходит в ином фильме – Маринеско отрабатывает в прибрежных восточных районах Балтики срочное погружение после атаки из надводного положения, а лайнер "Вильгельм Густлофф" совершает в сезоны белых ночей круизы к норвежским фьордам, Франкфуртер постепенно избавляется от своего костного заболевания: теперь он стал круглощеким, упитанным и больше не курит.

Нет, конечно, в фильме Рольфа Лисси не появляются ни лайнер СЧР, ни советская подлодка; здесь лишь снова и снова возникают ткацкие станки, по равномерному стуку которых и по ползущей из-под них холстине ощущается течение времени. И всякий раз тюремный врач сообщает Франкфуртеру, что заключение оказывает благотворное воздействие на его здоровье. Все выглядит так, будто преступник искупил свою вину и сделался иным человеком, однако я остаюсь при своем мнении: мне чужд, у меня вызывает недоумение любой человек, который упорно преследует одну-единственную цель, как, например, мой собственный сын...

Она внушила ему эту цель. За это, мать, я ненавижу тебя, и за то, что ты родила меня, когда тонул корабль. Временами мне ненавистно и то, что я остался в живых, ведь если бы ты, мать, услышав команду "Спасайся, кто может!", прыгнула бы, беременная на последнем сроке, за борт, то, несмотря на надетый поверх живота спасательный пояс, ты замерзла бы в ледяной воде или тебя утащила бы за собой воронка тонущего корабля, а вместе с тобою и меня, не успевшего выйти из твоей утробы...

Но нет. Пока еще рано переходить к переломному моменту моей случайно осуществившейся биографии, поскольку лайнеру еще предстоит множество мирных круизов в рамках программы "Сила через радость". Десять раз он огибал итальянский сапожок, включая Сицилию, причем в Палермо и Неаполе отпускникам разрешалось сойти на берег, поскольку Италия с ее образцовым фашистским порядком считалась дружеской страной: здесь, как и дома, приветствовали вскинутой правой рукой.

После ночного переезда поездом тщательно отобранные пассажиры поднимались на борт лайнера в Генуе. Следовало плавание до Венеции, откуда возвращались опять поездом. Все чаще в круизах принимали участие большие шишки из партийных и деловых кругов, что несколько нарушало гармонию бесклассового общества на лайнере СЧР. Например, в один из круизов был приглашен знаменитый создатель народного автомобиля – "фольксвагена", который вначале назы-

вался "автомобилем СЧР"; профессор Порше особенно заинтересовался сверхсовременным машинным отделением лайнера.

Перезимовав в Генуе, к середине марта "Вильгельм Густлофф" вернулся в Гамбург. Спустя несколько дней был спущен на воду "Роберт Лей"; теперь флотилия СЧР насчитывала тринадцать судов, однако на некоторое время туристические круизы для рабочих и служащих были отложены. Семь судов флотилии, среди них "Роберт Лей" и "Вильгельм Густлофф", вышли вниз по Эльбе без объявления маршрута и без пассажиров; лишь в районе Брунсбюттеля был вскрыт запечатанный пакет с приказом, который определял конечную цель плавания – испанский порт Виго.

Впервые суда СЧР были задействованы для переброски войск. Закончилась гражданская война, победителями из которой вышли генерал Франко и его фалангисты, поэтому сражавшиеся на их стороне с 1936 года немецкие добровольцы легиона "Кондор" могли вернуться домой.

Разумеется, всеядная Сеть не оставила без внимания столь известное войсковое соединение. Первым о возвращении восемьдесят восьмого зенитного полка ВВС подробно сообщил сайт www.blutzeuge.de. Говорилось об этом так, будто победившие красных легионеры вернулись домой на борту "Вильгельма Густлоффа" лишь вчера. Мой редактор-одиночка выступил с сольным номером, чат он закрыл, не пожелав выпускать на сцену дуэт "Вильгельм против Давида", которому пришлось бы обсуждать бомбардировку баскского города Герника "юнкерсами" и "хейнкелями", хотя фотографии этих самолетов, пикирующих или сбрасывающих бомбы, сопровождали репортаж о победителях.

Вначале сей представитель "Соратничества Шверин" выступал довольно сдержанно, ограничившись военно-историческими аспектами события и указав, что гражданская война в Испании предоставила замечательную возможность опробовать новые виды оружия, подобно тому как некоторое время назад война в Персидском заливе позволила американцам испытать новые ракетные системы. Однако в текстах, появившихся на сайте немного позднее, уже говорилось о легионе "Кондор", только в самых восторженных тонах. Видимо, мой редактор вновь обратился к книге Хайнца Шёна, добросовестно собравшего о данном событии разнообразную информацию, ибо теперь он сообщал о возвращении лайнера и о торжественном приеме, оказанном победителям, с таким же восхищением, как это делал автор книги. Подобно летописцу истории "Вильгельма Густлоффа", которого он постоянно цитировал на своем сайте, неугомонный редактор избрал для себя как бы роль очевидца: "на борту лайнера царило чертовское веселье...", он не преминул отметить "бурные овации", когда легионеров приветствовал генерал-фельдмаршал Геринг. Упоминался даже "Марш прусских гренадеров", игравшийся военным оркестром, когда "Вильгельм Густлофф" и "Роберт Лей" швартовались в гамбургском порту, а в виде своего рода музыкальной иллюстрации на сайте приводился нотный фрагмент этого марша.

Пока "Вильгельм Густлофф" использовался в качестве военно-транспортного судна, а Давид Франкфуртер, поправивший здоровье, отсиживал третий год в тюрьме Зенхоф, Александр Маринеско продолжал свою боевую подготовку в прибрежных водах Балтики. Архив Краснознаменного Балтийского военно-морского флота сохранил материалы о подлодке М-96, согласно которым командиру удалось настолько отрабо-

тать с экипажем срочное погружение после учебной атаки из надводного положения, что ими был достигнут рекордный показатель 19,5 секунды, в то время как средний показатель по другим ПЛ составлял 28 секунд. М-96 была хорошо подготовлена для боевых операций. Что же касается сервера "Соратничества Шверин", то он все больше напоминал строчку из песни "Час искупления пробил..."[1]; хоть и оставалось не вполне ясным, за что именно здесь грозят отмщением; репетиции пока не состоялись, но готовность демонстрировалась.

Мне не удавалось избавиться от навязчивой мысли, что здесь действовал не один из вечно вчерашних, вроде моей матери, которые стараются вновь подогреть коричневое варево, живут ностальгией по прошлому и подобно треснутой, заезженной пластинке поют осанны тысячелетнему Рейху, а скорее молодой человек, эдакий интеллигентный скинхед или какой-нибудь закомплексованный гимназист, нашедший отдушину во всемирной Паутине. Однако я не пытался развеять собственные подозрения, не докапывался до истины, не хотел сознаваться в том, что некоторые из выражений, встреченных мною в Интернете – например, сама по себе совершенно безобидная фраза "лайнер Вильгельм Густлофф был великолепен", – казались мне чрезвычайно знакомыми. Это было не совсем похоже на мать, однако тем не менее...

Меня томила догадка, которую я постоянно гнал от себя: возможно, нет-нет, это был мой собственный сын, который на протяжении уже нескольких месяцев.. Неужели это Конни... Конни...

Довольно долго за догадкой следовал вопросительный знак: разве это может быть твой сын, твоя плоть и кровь? Разве может молодой человек, воспитанный в довольно лево-либеральном духе, быть сбитым с толку и уйти так далеко вправо? Ведь Габи непременно почувствовала бы неладное, разве не так?

А потом редактор, которого я все еще предпочитал не узнавать, поведал на своем сайте историю, которая была мне слишком хорошо известна: "Жил-был маленький мальчик, который уродился глухонемым и утонул во время купания. А вот его сестра, которая сильно-пресильно любила его и которая много лет позднее пыталась спастись от бедствий войны на большом корабле, не утонула, хотя тот корабль, полный беженцев, был расстрелян тремя вражескими торпедами и его поглотила ледяная морская пучина..."

Меня словно обожгло: ведь это он! Мой сын рассказывает всему миру свою историю на сайте, разрисованном забавными человечками. Не скрывает интимных подробностей, говорит прямо, без обиняков: "Сестра же Конрада, которая после смерти своего кудрявого братца трое суток кричала, а потом замолчала на целую неделю, – это моя дорогая бабушка, которой я от имени Соратничества Шверин клянусь ее белыми волосами говорить правду и только правду: всемирное еврейство желает навеки пригвоздить нас, немцев, к позорному столбу..."

И так далее. Я позвонил матери, но тут же получил отпор: "Новое дело! Тебя столько лет не интересовал наш Конрадхен, а теперь что-то померещилось, и ты строишь из себя заботливого папашу..."

Созвонился я и с Габи и наконец отправился на выходные в Мёльн, в это сонное захолустье, даже цветы прихватил. Выяснилось, что Конни уехал в Шверин навестить бабушку. Когда я попытался поделиться свои-

1. Нацистская песнь на мотив "Смело, товарищи, в ногу..." с частичной перекличкой текстов.

ми тревогами, то Габи и слушать меня не захотела: "Я запрещаю тебе вести в моем доме подобные разговоры и подозревать моего сына в общении с правыми экстремистами..."

Стараясь сохранять выдержку, я напомнил, что в Мёльне, этом идиллическом городке, три с половиной года назад состоялись поджоги двух домов, где жили турки[1]. Все газеты поспешили опубликовать специальные репортажи с места события. Мне тоже пришлось изготовить несколько сообщений для информационных агентств. Даже за границей забеспокоились, поскольку в Германии, дескать, опять... Что ни говори, а ведь погибли три человека. Правда, нескольких подростков поймали, в двух случаях вынесены суровые приговоры с большими сроками, но ведь возможно, что возникла новая организация и какие-нибудь отмороженные скинхеды попытались подключить к себе нашего Конни. Здесь, в Мёльне, или же в Шверине...

Она рассмеялась мне в лицо: "Неужели ты можешь себе представить, чтобы наш Конни связался с этими горлопанами? Нет, правда. Разве пойдет в стаю такой индивидуалист, как он? Смешно. Зато подобные подозрения весьма типичны для того рода журналистики, которой ты всегда занимался по чьему-либо заказу".

Не щадя меня и не скупясь на красочные детали, Габи припомнила мои дела почти тридцатилетней давности, когда я работал на газеты Шпрингера, мои тогдашние "параноидально злобные нападки на левых": "Кстати говоря, если уж кто и является втайне правым экстремистом, так это ты сам, до сих пор..."

Ладно-ладно. Я сам прекрасно знаю глубины собственного падения. Знаю, как бывает трудно удержаться на краю. Стараюсь оставаться посередке. Обычно держу нейтралитет. Если же получаю заказ, неважно от кого, то лишь излагаю факты, зато делаю это добросовестно и обстоятельно.

Вот и сейчас я хотел все узнать от самого Конни, поэтому снял номер в отеле с видом на озеро, неподалеку от бывшей супруги. Я несколько раз звонил ей, чтобы поговорить с сыном. В воскресенье вечером он наконец вернулся, приехал из Шверина на автобусе. По крайней мере, высоких десантных ботинок он не носил, был одет в джинсы и пестрый норвежский свитер, на ногах обычная обувь. Выглядел он вполне прилично и свою от природы вьющуюся шевелюру не сбрил. Очки делали его эдаким умником. На меня он внимания не обращал, почти не разговаривал, лишь перекинулся несколькими словами с матерью.

После совместного ужина — салат, бутерброды и яблочный сок — Конни намеревался уйти к себе, но я перехватил его в коридоре. Начал нарочито пустяковые расспросы: как дела в школе, есть ли у него друзья или, может, подружка, каким спортом занимается, оказался ли полезен дорогой бабушкин подарок, о цене которого я примерно догадывался; поинтересовался, что дает ему компьютер и вообще современные средства коммуникации и какие темы особенно увлекают его в Интернете, если он и впрямь пристрастился к нему.

1. В ночь с 22 на 23 ноября 1992 г. в Мёльне были подожжены два дома, где проживали турки. В одном доме тяжелые травмы получили девять человек, в другом погибли трое — Бахиде Арслан и две ее внучки — Йелиз Арслан и Айше Йильмаз. Лица, совершившие поджог, были вскоре найдены, в декабре 1993 г. состоялся судебный процесс: двадцатипятилетний Михаэль Петерс был осужден на пожизненное заключение, девятнадцатилетний Ларс Кристиансен получил 10 лет тюрьмы.

Пока я говорил все это, он вроде бы слушал. Мне даже показалось, что его необычно маленький рот слегка скривила улыбка. Он улыбался! Сняв очки, он вновь надел их, но смотрел, как это было и за ужином, будто сквозь меня. Ответ его прозвучал совсем тихо: "С каких пор тебя интересует, чем я занимаюсь?" Возникла небольшая пауза, и сын тут же оказался на пороге своей комнаты, после чего добавил: "Веду исторические разыскания. Такой ответ устраивает?"

Дверь закрылась. Может, надо было крикнуть вслед: "Я тоже! Конни, я тоже! Собираю старые истории. Об одном корабле. В мае тридцать девятого он доставил домой около тысячи добровольцев победоносного легиона "Кондор". Только кого это сегодня волнует? Может, тебя, Конни?"

4

Во время очередной встречи, которые он устраивает, называя их рабочими совещаниями, им было сказано: вообще-то любой сюжет, так или иначе связанный с Данцигом и его окрестностями, должен был бы остаться за ним самим. Он и никто другой был бы должен рассказать, будь то в краткой или же пространной форме, обо всем, что связано с этим кораблем, о том, как он получил свое название и как использовался во время войны, и, наконец, об его гибели в районе Штольпебанк. Вскоре после публикации толстенного романа "Собачьи годы" к нему поступила гора материалов. Ему бы самому — а кому ж еще? — и следовало бы разобрать эту гору, слой за слоем. Ведь имелось немало свидетельств о судьбе семьи Покрифке, прежде всего о Тулле. Можно было по крайней мере догадаться, что остаток семьи — оба старших брата Туллы погибли на фронте — присоединился к тысячам и тысячам беженцев, которым в последний миг удалось попасть на забитый до отказа "Вильгельм Густлофф" вместе с беременной Туллой.

Но, к сожалению, заключил он, этой темой он заняться не удосужился. Это его упущение и даже, как ни прискорбно в том признаться, его фиаско. Он, дескать, не ищет для себя оправданий, а в качестве объяснения может сказать лишь следующее: к середине шестидесятых прошлое набило ему оскомину, а ненасытное настоящее с его постоянным "сейчас-сейчас-сейчас" помешало своевременно изложить эдак на двух сотнях страниц... А теперь поздно. Впрочем, меня он отнюдь не выдумал в качестве эрзаца, просто сделал после долгих поисков в списках уцелевших счастливую находку. Личность не слишком примечательная, но для отведенной роли вполне подходящая: ведь мое рождение совпало с гибелью корабля.

А еще он сказал, что сожалеет насчет моего сына, однако не мог даже предположить, что за одиозным сервером www.blutzeuge.de кроется внук Туллы, хотя вряд ли стоит удивляться тому, каким уродился внук у Туллы Покрифке. Ведь она всегда отличалась склонностью к экстремизму, и, судя по всему, ничто не сумело сломить ее упрямой натуры. Под конец он попытался ободрить меня: дескать, теперь черед вновь за мной, следует продолжить повествование о том, что приключилось с лайнером, после того как он переправил пресловутый легион "Кондор" из испанского порта в Гамбург.

Наверное, можно было бы ограничиться словами: а потом началась война. Нет, пока не время. До этого еще долго тянулось прекрасное лето, и лайнер СЧР успел совершить по привычным маршрутам полдюжины норвежских круизов. Правда, сходить на берег так и не разрешалось. В круизах участвовали преимущественно рабочие и служащие из Рура и Берлина, Ганновера и Бремена. Были и небольшие группы заграничных немцев. Лайнер входил в Би-фьорд, откуда фотолюбителям открывался вид на город Берген. Программа включала также Хардангер-фьорд и, наконец, Согне-фьорд, где делалось на память особенно много фотографий. До июля замечательным приложением к программе бывали белые ночи, оставлявшие незабываемые впечатления. Теперь цена пятидневного круиза, слегка повысившись, составляла сорок пять рейхсмарок.

Но и потом война началась не сразу, а "Вильгельм Густлофф" стал использоваться в целях развития физической культуры. На протяжении двух недель в Стокгольме проходило вполне мирное спортивное мероприятие — "Лингиада", названная так в честь Пера Хенрика Линга, который, видимо, сыграл для шведского физкультурного движения такую же роль, как для Германии "отец немецкой гимнастики" Фридрих Людвиг Ян. Туристический лайнер превратился в плавучее общежитие для тысячи одетых в одинаковую спортивную форму физкультурников и физкультурниц, среди которых были девушки из "Трудовой повинности"[1], национальная сборная гимнастов на перекладине, несколько ветеранов, которые до сих пор исполняли упражнения на брусьях, а также спортивные группы общества "Вера и красота"[2] и, наконец, множество детей, выдрессированных для заполнения целых стадионов с демонстрацией коллективных физкультурных упражнений.

Капитан Бертрам не подошел к причалу, лайнер встал на якорь в виду города. Моторные баркасы, организовав регулярное сообщение, перевозили физкультурников на берег и обратно. Это позволяло держать их под присмотром. Каких-либо особых происшествий отмечено не было. По моим материалам, подобное мероприятие было оценено как большой успех в деле укрепления дружеских связей между Германией и Швецией. Руководители всех спортивных коллективов получили от имени шведского короля специальный памятный значок. 6 августа 1939 года "Вильгельм Густлофф" вернулся в Гамбург. Туристическая программа СЧР немедленно возобновилась.

Но тут уж действительно началась война. Когда лайнер последний раз в мирное время держал курс на норвежские берега, в ночь с 24 на 25 августа пришла шифрограмма, которая содержала указание вскрыть находившийся в капитанской каюте и запечатанный сургучом пакет, после чего капитан Бертрам в соответствии с приказом "QWA 7" прервал круиз и — ни о чем не оповестив пассажиров, дабы уберечь их от излишнего беспокойства, — взял курс на родную гавань. Через четыре дня после прибытия началась Вторая мировая война.

Конец программе "Сила через радость". Конец морским круизам. Конец фотографиям на память и беседам на солнечной палубе. Конец

1. Начиная с 1935 г. для девушек и юношей в возрасте от 17 до 25 лет была введена обязательная полугодовая трудовая повинность, которая отбывалась в специальных лагерях, где наряду со строительными или иными работами шла начальная военная подготовка, велись идеологические занятия.
2. Одно из подразделений в рамках Союза немецких девушек. Под "верой" подразумевалась вера в идеалы национал-социализма.

веселью, конец бесклассовым компаниям отпускников. Теперь эта организация, входящая в состав Германского трудового фронта, перешла на развлекательное обслуживание всех частей вермахта, а также раненых, число которых пока росло небыстро. Театры СЧР преобразовались во фронтовые театры. Суда флотилии СЧР перешли под командование военно-морского флота, в том числе и "Вильгельм Густлофф", переоборудованный под плавучий госпиталь на пятьсот коек. Часть экипажа, работавшего в мирное время, была заменена на медицинский персонал. Сам лайнер, благодаря широкой зеленой полосе по борту и красным крестам по обе стороны трубы, приобрел новый вид.

Получив данные опознавательные знаки, установленные международными соглашениями, "Вильгельм Густлофф" отправился 27 сентября в восточный район Балтийского моря, миновал острова Зеландия и Борнхольм и благополучно достиг Данциг-Нойфарвассера, где еще недавно на Вестерплатте шли бои. Тут же были приняты на борт несколько сотен раненых поляков, а также десять раненых членов экипажа с немецкого тральщика М-85, натолкнувшегося на польскую мину; других поступлений со своей стороны пока не было.

А как пережил начало войны находящийся на нейтральной швейцарской территории арестант Давид Франкфуртер, который невольно способствовал меткими выстрелами тому, что корабль, ставший теперь плавучим госпиталем, получил свое имя? Вероятно, 1 сентября в тюрьме Зенхоф не произошло каких-либо отклонений от привычного распорядка дня; однако с этих пор по поведению заключенных можно было почувствовать, как развивались события на театрах военных действий, поскольку в одних случаях к еврею Франкфуртеру относились с осуждением, в других — с известным почтением. Надо полагать, доля антисемитов внутри тюрьмы примерно соответствовала той, которая существовала за ее стенами, то есть соблюдалось характерное для Швейцарии определенное равновесие.

А что поделывал капитан Маринеско, когда в Польшу вошли сначала немецкие войска, а затем — согласно гитлеровско-сталинскому пакту — русские? Он все еще оставался командиром двухсотпятидесятитонной подлодки М-96 и, так как приказа о военных операциях еще не поступало, продолжал отрабатывать со своим экипажем численностью в восемнадцать человек срочные погружения в восточных районах Балтийского моря. Во время увольнений он по-прежнему закладывал за воротник, за ним числилось несколько приключений с женщинами, однако до служебных расследований дело не доходило, а потому он, вероятно, мечтал получить под свое командование нечто более внушительное, нежели ПЛ, вооруженную всего двумя торпедами.

Говорят, мы крепки задним умом. Сейчас-то я знаю, что у моего сына были кое-какие связи с бритоголовыми. Несколько этих типов водилось в Мёльне. После событий, в результате которых погибли люди, за местными скинхедами, видимо, следили, поэтому заявлять о себе им приходилось в Висмаре или же во время более крупных встреч, проходящих по земле Бранденбург. В Мёльне Конни сохранял по отношению к ним некоторую дистанцию, но в Шверине, где он регулярно проводил у бабушки не только выходные, но и часть своих каникул, он выступил перед съехавшимся из мекленбургских окрестностей сборищем бритоголовых с докладом, который показался слушателям излишне затянутым, так что

доклад пришлось по ходу сокращать, хотя подготовлен он был тщательно, в письменном виде и посвящался Мученику и великому сыну Шверина.

Во всяком случае, Конни удалось поначалу заинтересовать своей темой местных молодых нацистов, которые обычно ограничивались малеванием идиотских ксенофобских призывов на стенах и травлей иностранцев, и даже сорганизовать эту банду в "Соратничество имени Вильгельма Густлоффа". Позднее было установлено, что выступление Конни состоялось в заднем помещении ресторанчика на Шверинерштрассе. Набралось около полусотни слушателей, среди них члены праворадикальной партии, а также просто любопытствующие, представители, так сказать, средних слоев. Мать не присутствовала.

Пытаюсь представить себе, как мой сын, худой и долговязый, в очках и с кудрявой шевелюрой, в своем норвежском свитере, выглядел среди бритоголовых. Он, предпочитающий любому алкоголю фруктовые соки, среди здоровенных парней, вооруженных пивными бутылками. Он, со своим по-юношески высоким, постоянно срывающимся голосом, среди заглушающих его зычных глоток. Он, одиночка, среди удушливого пота человеческих тел.

Нет, он не пытался подстроиться под них, остался чужим в этой компании, отталкивающей от себя любое инородное тело. Он никогда бы не опустился до ненависти к туркам, до избиения негров в качестве времяпрепровождения на досуге, до оголтелой вражды к азиатам. Поэтому в его выступлении не прозвучало призывов к насилию. Описывая убийство в Давосе, он с бесстрастностью криминалиста детально проанализировал мотивы преступления, и хотя указал, как это делал в своем сайте на "всемирное еврейство" и "связанных родственными узами еврейских плутократов", которые, по его мнению, стояли за убийством, однако в заготовленном тексте его выступления отсутствовали как брань в адрес "еврейских свиней", так и призывы "покончить с жидами". Даже требование восстановить мемориал на южном берегу Шверинского озера, "на том же самом месте, где он был сооружен в 1937 году в честь Мученика", было сформулировано в виде ходатайства, выдержанного в духе общепринятых демократических норм. Но когда он предложил юридически оформить его как гражданскую инициативу, адресованную мекленбургскому ландтагу, в ответ раздался издевательский хохот. Жаль, что там не было матери.

Конни справился с этим и перешел к истории корабля, начав с его спуска на воду. Сообщая о целях и задачах организации "Сила через радость", он допустил излишние длинноты. Зато определенный интерес среди собравшихся любителей пива вызвал его рассказ о том, как лайнер, переоборудованный под плавучий госпиталь, использовался армейскими и флотскими соединениями при оккупации Норвегии и Дании, тем более что в числе перевозимых раненых бывали и "герои Нарвика"[1]. Но так как после победоносного захвата Франции до операции "Морской лев", то есть высадки в Англии и соответственно использова-

1. Незамерзающий норвежский порт Нарвик имел большое стратегическое значение, поэтому в апреле 1940 г. за него развернулись ожесточенные бои, в результате которых порт был занят немецкими войсками. Флотилией немецких крейсеров командовал Бонте, погибший в этих боях. Он был посмертно награжден Рыцарским крестом. Фотография коммодора Бонте висит у Йоахима Мальке, главного персонажа новеллы "Кошки-мышки" (Гюнтер Грасс, т. 3, с. 18). Подобно ему, Конрад Покрифке также собирает фотографии своих героев.

ния лайнера в качестве военного транспорта, дело не дошло, то на очереди оказалась скучная информация о затяжной стоянке "Вильгельма Густлоффа" в Готенхафене, и эта скука передалась слушателям.

Сын не сумел завершить свое выступление. Раздались крики "Кончай болтать!" и "Хватит сопли жевать!", застучали по столам пивные бутылки, поэтому дальнейшую судьбу лайнера, его путь к гибели удалось изложить лишь очень коротко, только до торпедной атаки. Конни проявил выдержку. Все-таки хорошо, что мать отсутствовала. Единственно, чем мог утешиться мальчик, которому еще не исполнилось и шестнадцати, это тем, что в его распоряжении оставался Интернет. Продолжились ли в дальнейшем его контакты со скинхедами, неизвестно.

Он не вписывался в их компанию. Вскоре после этого события Конни принялся готовить доклад, с которым собирался выступить перед преподавателями и учениками своей мёльнской гимназии. Но пока он еще не получил отказа, который не позволил ему обратиться к новой публике, у меня есть возможность пойти по следу дальше и поведать о судьбе "Вильгельма Густлоффа" в годы войны: поступавших раненых оказалось для плавучего госпиталя недостаточно, поэтому он вновь был переоборудован.

Лайнер выпотрошили. К исходу ноября 1940 года исчезла рентгеновская аппаратура. Операционные залы были демонтированы, амбулаторное отделение тоже. Медицинских сестер на борту не осталось, уже не стояли рядами госпитальные койки. Вместе с большинством гражданских членов экипажа были списаны с корабля врачи и санитары, их перевели на другие суда. В машинном отделении сохранили лишь тех, кто был нужен для профилактических работ. Вместо главврача командование теперь принял офицер-подводник в чине корветтенкапитана[1]; он стал начальником второго учебного дивизиона для подводников, а корабль превратился в плавучее общежитие и училище, накрепко, впрочем, пришвартованное к причалу. Капитан Бертрам оставался на борту, однако ему больше не приходилось прокладывать курс. Если судить по доступным мне фотографиям, выглядел он вполне импозантно, но его роль, так сказать, резервного капитана была по сути второстепенной. Ему, опытному моряку торгового флота, было непросто привыкнуть к требованиям военного устава, тем более что на судне все переменилось. Вместо портретов Лея появились обрамленные фотографии гросс-адмирала[2]. Курительный салон на нижней прогулочной палубе стал офицерской кают-компанией. Большие столовые предназначались теперь для кормежки унтер-офицерского и рядового состава. В помещениях носовой части обитала и питалась оставшаяся часть гражданского экипажа. Утратив свою "бесклассовость", "Вильгельм Густлофф" застыл у причала польского портового города Гдыня, которому с началом войны было повелено именоваться Готенхафеном. Застыл на целые годы.

На его борту квартировали четыре роты учебного дивизиона. Имеющиеся у меня документы, которые, кстати говоря, дословно приводятся в Сети и дополнены иллюстрациями — мой сын воспользовался тем же источником информации, которым теперь пользуюсь я, — свидетельствуют, что, будучи опытным подводником, корветтенкапитан Виль-

1. Корветтенкапитан — соответствует званию капитана третьего ранга.
2. К этому времени главнокомандующим ВМС был Эрих Редер, в 1943 г. его сменил гросс-адмирал Карл Дёниц.

гельм Цан ввел весьма жесткую систему подготовки прибывших на обучение добровольцев. На трехмесячные курсы для подводников поступали все более молодые матросы, к концу войны брали уже семнадцатилетних. Многим из них наверняка было суждено погибнуть, будь то в Атлантике или Средиземном море, а позднее в походах по самым северным маршрутам к Мурманску, по которым плавали американские конвои с военными грузами для Советского Союза.

Минули сороковой, сорок первый и сорок второй годы с их победами, достойными экстренных информационных сообщений. Шли непрерывные занятия по подготовке смертников[1], шла далекая от опасностей тыловая жизнь персонала учебки и прочего экипажа, в кино на борту лайнера продолжали демонстрироваться старые и новые фильмы киностудии "Уфа"; помимо этого ничего особенного не происходило в то время, когда на востоке брались в "котел" большие армейские группировки, а африканский корпус занимал в Ливийской пустыне Тобрук, если не считать, конечно, особенным событием выступление гроссадмирала Дёница по случаю его прибытия в Готенхафен-Оксхёфт, которое было запечатлено на сохранившихся официальных фотоснимках.

Оно состоялось в марте сорок третьего. Сталинград уже был проигран. Линии фронта поползли назад. Контроль над воздушным пространством Рейха был давно утрачен, поэтому война приблизилась и к этим краям, хотя целью для бомбардировщиков Восьмого американского военно-воздушного флота служил не соседний Данциг, а Готенхафен. Сгорело госпитальное судно "Штутгарт". Была потоплена плавучая база подводных лодок "Ойпен". Затонули в результате прямых попаданий несколько буксиров, финский и шведский пароходы. Получил повреждения стоявший в доке грузовой транспорт. "Вильгельм Густлофф" отделался дырой на обшивке правого борта. Причиной стала разорвавшаяся в воде неподалеку бомба. Пришлось постоять в ремонтном доке. Затем "плавучая казарма" совершила пробный выход в Данцигскую бухту, где подтвердила свою мореходность.

Капитана лайнера звали теперь уже не Бертрам, а как когда-то, во времена СЧР, Петерсен. Экстренные сообщения о победах отсутствовали, зато сводки информировали об отступлениях на всех участках восточных фронтов, Ливийскую пустыню также пришлось оставить. Все меньше подводных лодок возвращалось из боевых походов. Ковровыми бомбардировками разрушались города, но Данциг с его высокими крышами и башнями еще стоял целый. Столярная мастерская в предместье Лангфура продолжала бесперебойный выпуск оконных рам и дверей для бараков. В эту пору, когда дефицитом стали не только экстренные сообщения, но и масло, мясо, яйца, даже стручковые и бобовые культуры, Тулла Покрифке начала работать в качестве военнообязанной трамвайным кондуктором. Она впервые забеременела, однако устроила выкидыш, совершая прыжки с трамвайной подножки на маршруте между Лангфуром и Оливой: мать рассказывала об этих прыжках перед остановками так, словно это были спортивные упражнения.

Произошло и еще кое-что. Поскольку Швейцария опасалась оккупации со стороны все еще могущественного соседа, Давида Франкфуртера перевели из тюрьмы кантона Кур в тюрьму одного из франкоязычных кантонов — как указывалось, ради его же безопасности; а командир двух-

1. Из 30 000 немецких подводников погибли более 80 %.

сотпятидесятитонной подлодки М-96, капитан третьего ранга Александр Маринеско получил под свое начало новую ПЛ. За два года до этого он потопил транспортное судно водоизмещением семь тысяч тонн; так следовало из его рапорта, но советское командование флота оценило водоизмещение потопленного судна всего в тысячу восемьсот тонн.

Новая подлодка С-13, о которой Маринеско так долго мечтал в своих трезвых или пьяных грезах, принадлежала к классу "Сталинец". Вероятно, судьба, нет – случай, нет – строгие условия Версальского договора помогли Александру Маринеско стать командиром этой ПЛ, созданной по последнему слову военной техники. После Первой мировой войны Рейху было запрещено строить подлодки, поэтому верфь "Крупп-Германия" в Киле и бременское акционерное общество "Шифмашиненбау", воспользовавшись собственными чертежами и заказом ВМС Рейха, дали подряд гаагской фирме "Ingenieurs Kantoor voor Scheepsbouw" на строительство сверхсовременной океанской подлодки. Позднее серийное производство других ПЛ класса "Сталинец" осуществлялось уже на советских верфях в рамках германо-советского сотрудничества, в результате чего незадолго до нападения Германии на Советский Союз подлодка С-13 вошла боевой единицей в состав Краснознаменного Балтийского флота. Каждый раз, выходя в поход со своей плавбазы "Смольный" в финском городе Турку, С-13 имела на борту десять торпед.

Проявив изрядную компетентность в области судостроения, мой сын заявил на своем сайте, что подлодка, окончательно спроектированная в Голландии, являлась эталоном "немецкого качества". Вполне возможно. Пока что капитану Маринеско удалось лишь потопить в прибрежных водах Померании океанский буксир "Зигфрид". После того как три торпеды прошли мимо цели, подлодка всплыла и расстреляла буксир из носового орудия калибром 100 мм.

Оставим теперь лайнер там, где он, если не считать воздушных налетов, находится в относительной безопасности, и вернемся, следуя траектории краба, к моим личным невзгодам. Нельзя сказать, что мне с самого начала стало ясно, во что впутался Конрад. По моему первому впечатлению, речь шла о безобидных юношеских эскападах, которыми он разражался в Интернете, например по поводу сравнения туристических программ СЧР, сделанных из пропагандистских соображений весьма дешевыми, со стоимостью нынешних карибских круизов на современных роскошных лайнерах или с туристическими путешествиями, предлагаемыми фирмой "TUI", при этом, разумеется, от сравнений выигрывал "бесклассовый" "Вильгельм Густлофф" с его путешествиями к норвежским берегам, а также другие суда флотилии Германского трудового фронта. Вот где был истинный социализм, восторженно заявлял он на своем сайте. Дескать, у коммунистов в ГДР так и не вышло устроить нечто подобное. По его словам, их эксперимент закончился неудачей. Они не сумели даже толком достроить после войны огромный комплекс СЧР на острове Рюген, который рассчитывал принимать в мирные времена 20 000 отпускников.

Он требовал "считать остатки этого комплекса СЧР историческим памятником и обеспечить ему соответствующую охрану!", споря со своим, фиктивным, как я долгое время думал, оппонентом Давидом о будущем не только национальной, но и социалистической "народной общ-

ности". Он цитировал как Георга Штрассера, так и Роберта Лея, идеям которого по школьной привычке ставил оценку "отлично". Он говорил о "здоровом теле нации", на что Давид возражал, напоминая о "социалистической уравниловке" и называя Лея "вечно пьяным краснобаем и прожектером".

Изучая в чате этот не слишком увлекательный диалог, я пришел к следующему выводу: чем больше мой сын восхищался организацией СЧР как проектом с далекой перспективой и чем больше он одобрял, несмотря на все недостатки, усилия рабоче-крестьянского государства по созданию туристическо-курортного социалистического рая, тем отчетливее слышался голос его бабки. Стоило мне лишь зайти в чат Конни, как в ушах у меня тотчас начинало звучать неуемное нытье этой "вечно вчерашней" старухи.

Именно так агитировала мать и меня, и других. До моего ухода на Запад мне частенько доводилось слышать тирады последней из тех, кто сохранил верность товарищу Сталину, которые произносились за нашим кухонным столом: "Вот что я вам скажу, дорогие товарищи, как с самых низов начинал наш Вальтер Ульбрихт, который был учеником столяра, так с учения столярному делу начинала и я, провонявшая столярным клеем..."

После отставки Первого секретаря у нее возникли проблемы. Не столько из-за моего бегства из ГДР, сколько из-за того, что назвала преемника Ульбрихта "жалким кровельщиком" и что всюду ей мерещились ревизионисты.

И все же мать сумела сохранить свои позиции. Ее любили и боялись одновременно. Она многократно награждалась значком активиста, регулярно перевыполняла план и до последнего времени руководила бригадой столяров на Народном мебельном комбинате, что находился на Гюстроверштрассе. Благодаря ее же усилиям доля девушек среди учеников, решивших овладеть столярным делом, возросла до двадцати процентов.

Когда рабоче-крестьянское государство приказало долго жить, берлинское Попечительское ведомство, занимавшееся вопросами приватизации предприятий бывшей ГДР, открыло свой региональный филиал в Шверине; мать приняла участие в подготовке приватизационных программ для крупных предприятий, изготовлявших кабели, пластмассовые изделия, или, например, для Заводов судостроительного оборудования имени Клемента Готвальда, не забыв и о своем Народном мебельном комбинате. Можно предположить, что мать при этом "великом хапке" внакладе не осталась, во всяком случае, когда появились новые деньги, ей не пришлось довольствоваться только своей пенсией. Не обеднела она и после того, как подарила моему сыну компьютер с весьма дорогими прибамбасами. Причину подобной щедрости — а по отношению ко мне мать всегда была довольно скаредной — я объясняю событием, которое не наделало большого шума в немецкой прессе, однако сыграло для Конни решающую роль.

Прежде чем поведать о встрече тех, кто уцелел при катастрофе "Густлоффа", необходимо упомянуть об одном проблематичном эпизоде, пусть это даже не понравится тому, кто хотел бы видеть образ своей Туллы более положительным. Это произошло 30 января 1990 года, когда треклятая дата казалась забытой, ибо все вокруг танцевали под мелодию гимна со словами о "Германии, единой отчизне", а восточные немцы

сходили с ума от счастья обладания твердой валютой; мать отметила тот день по-своему.

На южном берегу Шверинского озера пребывала в запустении молодежная туристическая база, двухэтажное здание мышино-серого цвета. Ее построили в начале пятидесятых, назвав в честь Курта Бюргера, твердолобого сталиниста, который был известным антифашистом, после войны вернулся из Москвы в Мекленбург, где удостоился почестей за крайне жесткое проведение партийной линии. Здесь, позади "турбазы имени Курта Бюргера", мать возложила букет роз на длинных стеблях, примерно там, где, обращенный к озеру, стоял большой гранитный памятник Мученику. Она сделала это в темноте, ровно в десять часов восемнадцать минут. Во всяком случае, именно так, точно указав время, она рассказала об этом позднее своей подруге Йенни и мне. Она была в полном одиночестве, с помощью фонарика ей удалось найти позади нежилой из-за зимнего сезона турбазы то место, которое она искала. Довольно долго она сомневалась, но потом, несмотря на темень, низкие тучи и моросящий дождь, решила: здесь. "Только цветы я принесла не Густлоффу. Он-то был лишь одним из многих нацистов, которых поубивали. Нет, корабль мне хотелось помянуть и всех деток, которые погибли тогда в ледяном море, поэтому и возложила я белые розы точно в двадцать два часа восемнадцать минут. А потом поплакала, хоть уже сорок пять лет прошло..."

Спустя пять лет мать уже не была в одиночестве. Ее пригласили господин Шён и дирекция балтийского курорта Дамп, а также попечительский совет организации "Спасение на море"[1]. Десять лет назад здесь уже проходила встреча тех, кто пережил катастрофу. В первые годы, когда существовали Стена и колючая проволока, из Восточной Германии сюда никто не мог приехать. Теперь же прибыли и те, для кого гибель корабля была событием, которое замалчивалось все эти годы по государственным соображениям. Неудивительно, что гостей из новых восточных земель ФРГ приветствовали особенно сердечно, поскольку среди уцелевших не должно было возникнуть разделения на восточных и западных немцев.

В большом актовом зале над сценой висел транспарант, на котором шрифтами разной величины было написано:

Встреча-мемориал в балтийском курорте Дамп
К 50-летию со дня гибели "Вильгельма Густлоффа"
28–30 января 1995 года

Случайное совпадение этой даты с днем захвата власти нацистами в 1933 году и с днем рождения человека, который был застрелен Давидом Франкфуртером, решившим таким образом дать сигнал своему еврейскому народу, в публичных выступлениях не упоминалось, однако в некоторых частных беседах, будь то за чашкой кофе или же в перерывах официальных мероприятий, удостаивалось по крайней мере негромких замечаний.

1. Созданная в 1982 г. общественная организация, призванная сохранять память о двух с половиной миллионах немецких беженцев, которые были эвакуированы морским путем с Востока на Запад. Эта организация способствовала проведению мемориальной встречи, посвященной гибели "Густлоффа".

Мать заставила меня принять участие в этой встрече. Ее аргумент был попросту неопровержим: "Тебе ведь тоже полвека стукнет..." Пригласила она также нашего сына Конни, а поскольку Габи не возразила, то мать и заполучила его в качестве трофея. Приехала она на "трабанте" песочного цвета, который весьма выделялся среди привычных в Дампе "мерседесов" и "опелей". Мои уговоры ограничиться мною и избавить Конни от сентиментальной ностальгии по прошлому мать оставила без внимания. Мое мнение как отца в расчет не принималось, да и вообще в оценке моей персоны мать и моя прежняя супруга были едины, хотя обычно их суждения расходились: для матери я оставался, как она любила говаривать, рохлей; Габи же пользовалась любым поводом, чтобы назвать меня неудачником.

Словом, неудивительно, что два с половиной дня, проведенные в Дампе, оказались для меня весьма тягостными. Слонялся, чувствуя себя идиотом, безостановочно дымил как паровоз. В качестве журналиста я мог бы, конечно, использовать подобное событие для репортажа или хотя бы для небольшой заметки. Видимо, члены попечительского совета даже ожидали от меня чего-то в эдаком роде, поскольку мать поначалу представляла меня "репортером шпрингеровских газет". Я не прекословил, однако, попытавшись делать записи, не смог двинуться дальше фразы: "Погода – она и есть погода". Да и какую роль я взял бы на себя в репортаже? Родившегося на "Густлоффе"? Или же роль нейтрального свидетеля, как того требовала профессия журналиста?

У матери на все имелся ответ. Обнаружив среди присутствующих нескольких людей, переживших катастрофу, и пообщавшись с некоторыми бывшими членами экипажа миноносца "Лёве", которые сами заговорили с ней, она стала представлять меня при каждом удобном случае уже не шпрингеровским репортером, а "младенцем, родившимся посреди той жуткой катастрофы". Разумеется, не забывала заметить, что тридцатого числа предстоит отпраздновать мое пятидесятилетие, хотя программа предусматривает в этот день час тихого поминовения.

Хотя в день катастрофы и на следующий день родился не я один, однако кроме единственного человека, родившегося 29 января, моих ровесников среди собравшихся в Дампе не нашлось. Присутствовали в основном люди пожилые, поскольку спасти детей практически не удалось. К младшему поколению можно было причислить лишь тогдашнего десятилетнего мальчика из Эльбинга, который теперь жил в Канаде и которого попечительский совет попросил выступить перед публикой с рассказом о подробностях своего спасения.

По вполне понятным причинам свидетелей тогдашней катастрофы остается все меньше. Если на встречу, состоявшуюся в 1985 году, приехало более пятисот спасенных и спасателей, то теперь их едва насчитывалось две сотни, что побудило мать шепнуть мне на ухо во время часа поминовения: "Скоро никого из нас не останется в живых, кроме тебя. А ты вот написать не хочешь про все, что я тебе рассказывала".

А ведь это именно я задолго до ликвидации Стены переправил ей по тайным каналам книгу Хайнца Шёна, хотя и признаюсь, что сделал это, чтобы избавиться от ее допекавших меня упреков. А перед встречей в Дампе она получила от меня выпущенную издательством "Ульштайн" книжку в мягкой обложке, написанную тремя англичанами. Но и эта книжка – действительно, вполне объективная, но слишком уж бесстрастная – ей не понравилась: "Не хватает тут личного отношения. Сердца

мало!" И однажды, когда я заехал к ней домой с коротким визитом, она сказала: "Вот, может, мой Конрадхен когда-нибудь про все напишет..."

Поэтому она и взяла его с собою в Дамп. Она пришла, нет, явилась на встречу в длинном, наглухо закрытом платье из черного бархата, которое контрастировало с ее короткими белыми волосами. Где бы она ни возникала, например за кофейным столиком, она всюду оказывалась в центре внимания. Особенно она притягивала к себе мужчин. Впрочем, как известно, так бывало всегда. Ее школьная подруга Йенни рассказывала о том, сколько мальчишек липло к ней в юные годы: она с детства пропиталась запахом костного клея, и, по-моему, даже в Дампе над нею витал этот дух.

Здесь ее окружали пожилые, одетые преимущественно в темно-синие костюмы мужчины, а она стояла среди них в черном, худая, жилистая. К этой седовласой мужской компании принадлежал бывший капитан-лейтенант, командовавший миноносцем Т-36, экипаж которого спас несколько сотен человек, а также уцелевший офицер с затонувшего лайнера. Особенно хорошо запомнили мать члены команды с миноносца "Лёве". Мне даже показалось, что они ждали ее. Они окружили мать, у которой порою легким намеком проявлялись девичьи повадки, и не отпускали ее от себя. Я слышал, как она хихикала, или видел, как она становилась перед ними в позу, скрестив руки на груди. Но с ними она разговаривала уже не обо мне, родившемся в минуты гибели корабля, теперь речь шла о Конни. Мать представила пожилым господам моего сына так, будто это был ее собственный ребенок; я же оставался в стороне, мне не очень хотелось расспросов ветеранов экипажа "Лёве", тем более не хотелось поздравлений.

Наблюдая со стороны, я отметил, как Конни, которого я считал довольно застенчивым, весьма уверенно справляется с той ролью, что была уготована ему матерью; отвечал он сдержанно, но четко, задавал вопросы сам, внимательно слушал, отваживался по-мальчишески улыбнуться и даже позировал для фотографий. В свои без малого пятнадцать лет, которые исполнятся ему в марте, он совсем не выглядел ребенком и, видимо, созрел, по мнению матери, настолько, чтобы быть целиком и полностью посвященным в пережитое бедствие и стать — что и произойдет позднее — сказителем легенды о погибшем корабле.

Отныне все закрутилось вокруг него. Хотя на встрече среди уцелевших присутствовал человек, родившийся за день до гибели "Вильгельма Густлоффа", и ему, как и мне, Хайнц Шён лично подарил свою книгу, а обеих матерей пригласили на сцену и поздравили, вручив по букету цветов, однако мне показалось, что все это происходит лишь для того, чтобы преисполнить его чувством долга. На него возлагались отныне надежды. С ним связывались ожидания на будущее. И уцелевшие в катастрофе выражали уверенность, что он их не разочарует.

Мать нарядила его в темно-синий костюм, заставила надеть галстук, какие носят студенты солидных колледжей. В очках, с кудрявыми локонами, он напоминал одновременно конфирманта и архангела. Он уже выглядел так, будто принял на себя некую миссию, будто ему вскоре предстоит провозгласить некую весть, будто его посетило озарение.

Не знаю, кто предложил, чтобы на поминальном богослужении, проведенном в тот час, когда торпеды поразили корабль, именно Конни ударил в висящую около алтаря рынду, которую польские водолазы достали в конце семидесятых с кормовой части верхней палубы затонув-

шего лайнера. Сейчас, по случаю встречи, команда спасательного судна "Szkwal" передала эту находку в знак польско-германского примирения. Однако затем честь произвести тройной удар молоточком по рынде в конце поминальной службы была предоставлена все-таки господину Шёну.

Помощнику казначея на "Вильгельме Густлоффе" было на день катастрофы всего восемнадцать лет. Не стану умалчивать, что ему, собравшему и изучившему практически все материалы, связанные с гибелью лайнера, было выражено в Дампе не слишком много благодарности. Встреча-мемориал открывалась его докладом *Гибель Вильгельма Густлоффа – глазами русских;* по ходу доклада он дал понять, что для своих разысканий неоднократно посещал Советский Союз и даже встречался с боцманом подлодки С-13, более того, поддерживает дружеские связи с тем самым Владимиром Курочкиным, который по приказу командира отправил в цель три торпеды; есть даже фотография, запечатлевшая его рукопожатие с этим пожилым человеком, который, как позднее сдержанно заметил Хайнц Шён, "тоже потерял боевых товарищей".

После доклада его избегали. Многие слушатели сочли его русофилом. Для них война никогда не кончалась. Для них русские оставались иванами, а три торпеды – орудием убийства. А для Владимира Курочкина безымянный потопленный корабль был до отказа забит фашистами, напавшими на его родину и оставлявшими за собою при отступлении выжженную землю. Лишь из рассказа Хайнца Шёна он узнал, что после торпедной атаки погибли более четырех тысяч детей, которые утонули, замерзли или были увлечены водоворотом от пошедшего на дно судна. Эти дети еще долгое время снились боцману в ночных кошмарах.

Возможно, обиду Хайнца Шёна отчасти смягчило то, что ему была предоставлена честь пробить в рынду, поднятую с затонувшего корабля. А мой сын опубликовал для всего мира на своем сайте фотографию, увековечившую торпедиста рядом с летописцем "Густлоффа", прокомментировав это обстоятельство словами о том, что трагедия может сблизить народы; он не преминул описать историю создания снайперской подлодки, делая упор на "немецкое качество" судостроительных работ, и не удержался от замечания: дескать, только благодаря немецким конструкторам этой подлодки советские моряки сумели добиться успеха в районе Штольпебанк.

А что я? После поминального богослужения я сбежал. Бродил в темноте по берегу моря. Одиноко, бездумно. Был штиль, только вяло плескались бессловесные волны Балтики.

5

Старика это гложет. Собственно, говорит он, именно его поколение должно было поведать о страданиях беженцев из Восточной Пруссии: о потоках людей, движущихся по зимним дорогам на Запад, о закоченевших трупах в сугробах, о людях, погибавших в придорожных кюветах или в проломленном льду, когда замерзший залив Фришес хафф начинал крошиться под бомбами или трескаться под тяжестью перегруженных конных повозок, но, несмотря на это, все больше людей, начиная от Хайлигенбайля, срывались с места, гонимые ужасом мести, который несли русские, и шли по бесконечным снежным полям... Беженцы... Бе-

лая смерть... О таких страданиях, говорит он, нельзя было молчать все эти годы только потому, что важнее казалось признание собственной огромной вины и горячее покаяние, нельзя было отдавать то, что замалчивалось, на откуп правым и реваншистам. Это упущение безмерно...

И вот теперь исписавшийся Старик полагает, что нашел в моем лице, как он выразился, своего "заместителя", который сумеет поведать о вступлении советской армии на территорию Рейха, о захвате Неммерсдорфа и последствиях того военного эпизода. Я и впрямь подыскиваю слова. Но не Старик, а мать понуждает меня. И только ради нее вмешался сам он в эту историю, понуждаемый ею понудить меня, будто писать можно только по принуждению, будто ничто не может появиться без матери на чистом листе бумаги.

Она казалась ему существом непостижимым, недоступным для какого-либо оценочного суждения. Ему хотелось бы, чтобы его Тулла продолжала мерцать ровным рассеянным светом, поэтому теперь Старик разочарован. Никогда, говорит он, я не мог себе представить, чтобы Тулла Покрифке, уцелев, скатилась бы до такой банальности, как партийная активистка или ударница производства. Скорее уж от нее можно было ожидать какого-либо анархического выверта, иррационального поступка, вроде ничем не мотивированного террористического акта с бомбой, или же с ней могло произойти что-либо совсем другое, вроде холодного и страшного прозрения. В конце концов, сказал он, ведь именно Тулла, будучи в годы войны, когда все вокруг притворялись слепыми, еще совсем девочкой, обнаружила неподалеку от зенитной батареи под Кайзерхафеном белесую груду и прямо сказала, что это человеческие кости: "Это же гора костей!"[1]

Старик не знает матери. А я? Я знаю? Во всяком случае, тетя Йенни, сказавшая мне однажды: "По сути, моя подруга Тулла — это несостоявшаяся монахиня, стигматизированная, конечно...", догадывалась, пожалуй, о ее истинной душевной природе или же уродстве. Справедливо одно: мать непостижима. Даже в качестве партактивистки ее не удавалось подчинить партийным директивам. А когда я решил удрать на Запад, она лишь вздохнула: "Ну что ж, давай!", но не выдала меня, хотя из-за меня ее в Шверине сильно прижали, даже госбезопасность неоднократно к ней приставала, только без ощутимых результатов...

В те поры она возлагала свои надежды на меня. Но потом выяснилось, что от меня толку не добьешься, пустая трата времени; тогда она — едва Стену убрали — принялась за моего сына. Конни было всего десять или одиннадцать лет, когда он попал в лапы к своей бабке. А после встречи в Дампе, где я оказался пустым местом, а Конни превратился в наследного принца, она стала пичкать его историями о беженцах, о зверствах, об изнасилованиях, которым она хотя и не была непосредственным очевидцем, но слухи о которых курсировали всюду, нагоняя на людей жуткий ужас, с тех пор как русские танки ворвались в октябре сорок четвертого через восточную границу Рейха в районы Гольдап и Гумбиннен.

Вероятно, так это и было. Или примерно так. Через несколько дней после прорыва советских войск, а именно Второй гвардейской армии, в Неммерсдорф этот населенный пункт был вновь отбит частями немец-

1. Речь идет о концентрационном лагере "Штутхор" под Данцигом, где осуществлялось массовое уничтожение заключенных.

кой Четвертой армии, и произошедшее там можно было обонять, осматривать, подсчитывать и фотографировать, в результате чего по всем кинотеатрам Рейха прошел киножурнал, в котором показывалось, скольких женщин изнасиловали, а потом убили или пригвоздили к воротам сараев русские солдаты. "Тридцатьчетверки" нагоняли беженцев, давили их гусеницами. Застреленные дети валялись в палисадниках и придорожных канавах. Были ликвидированы даже французские военнопленные, занятые неподалеку от Неммерсдорфа на сельскохозяйственных работах, говорилось о сорока трупах.

Эти и другие подробности я обнаружил на все том же сайте. Здесь же приводился перевод обращения ко всем русским солдатам, с которым якобы выступил писатель Илья Эренбург, призвавший их убивать, насиловать, грабить, мстить фашистскому зверю за опустошенную родину, за Мать-Россию. На сайте www.blutzeuge.de мой сын, хотя его авторство было известно только мне, писал, пользуясь языком тогдашних официальных сообщений: "Вот как надругались русские изверги над беззащитными немецкими женщинами..."; "Так лютует русская солдатня..."; "Страшный террор грозит всей Европе, если азиатскому нашествию не будет дан отпор..." В качестве приложения здесь же был отсканирован избирательный плакат ХСС, который имел хождение в пятидесятые годы и изображал прожорливое чудовище, напоминавшее азиата.

Подобные фразы, а также фотографии к ним, распространяемые через Интернет и скачиваемые черт знает каким количеством пользователей, перекликались с сегодняшними событиями, хотя и не увязывались ни с бессильной остановить свой распад Россией, ни с кошмарами на Балканах или в африканской Руанде. Чтобы проиллюстрировать свой новейший репертуар, мой сын довольствовался картинами прошлого, а это всегда приносило плоды независимо от того, кто выступает заказчиком.

Мне же остается сказать, что в те дни, когда Неммерсдорф стал олицетворением всех ужасов, привычное презрение к русским сменилось страхом. Газетные статьи, радиопередачи и кинохроника, в которых говорилось о том, что произошло в отбитом населенном пункте, обернулись массовыми потоками беженцев, что привело в середине января, когда началось крупномасштабное советское наступление, к панике среди населения. С потоками беженцев началась гибель людей на дорогах. Я не могу описать этого. Никто не может. Скажу одно: лишь часть беженцев достигла портовых городов Пиллау, Данциг и Готенхафен. Сотни тысяч людей попытались спастись от надвигающейся беды морским путем. Сотни тысяч людей — по некоторым данным, на Запад сумели добраться более двух миллионов беженцев — осаждали толпами военные, пассажирские и торговые суда; такая же участь выпала и "Вильгельму Густлоффу", который уже годами стоял на причале Оксхёфт в Готенхафене.

Конечно, мне было бы легче, если бы я мог все упростить, как это делает мой сын, который пишет на своем сайте: "Спокойно и с полным соблюдением порядка осуществлялась посадка на борт лайнера девушек и женщин, матерей и детей, спасавшихся бегством от русских извергов..." Но почему он утаивает то обстоятельство, что одновременно на борт были приняты более тысячи моряков-подводников и триста семьдесят девушек-военнослужащих из вспомогательных подразделений ВМС, а

также расчеты зенитных установок, спешно смонтированных на корабле? Он вскользь отмечает, что в начале и конце погрузки на борт попали раненые: "Среди них находились бойцы с курляндского фронта, который продолжал сдерживать натиск красных орд...", а приступив к описанию того, как плавучая казарма переоборудовалась в транспортное судно, подробно перечисляет в центнерах запасы муки и сухого молока, указывает количество свиных туш, однако забывает о плохо обученных хорватских добровольцах, которых взяли для пополнения экипажа. Ничего не говорится о ненадежности систем связи. О том, проводились или нет учения на случай аварии и по команде "Задраить все переборки!" Разумеется, он подчеркивает заботливую предусмотрительность, которая проявилась в оборудовании родильного отделения, но что мешало ему хотя бы намекнуть на состояние своей бабки, которая находилась на последнем сроке беременности? И ни слова не сказано о нехватке десяти спасательных баркасов, которые были откомандированы для постановки дымовых завес при воздушных налетах на гавань и заменены гораздо меньшими по вместительности веселыми шлюпками, а также срочно завезенными капковыми спасательными плотами. "Вильгельм Густлофф" должен был предстать в Сети исключительно в качестве транспортного судна для беженцев.

Почему Конни лгал? Почему обманывал себя и других? Почему он, досконально изучивший лайнер еще со времен СЧР и знавший его от гребного вала до последнего закоулка в бортовой прачечной, не был готов признать, что у причала стояло не госпитальное судно Красного Креста, не транспортный корабль, переполненный исключительно беженцами, а подчиненный военно-морскому флоту вооруженный лайнер, на борт которого чего только не погрузили? Почему он отрицал то, что давным-давно опубликовано и чего практически не оспаривают даже вечно вчерашние? Неужели ему хотелось создать видимость военного преступления, подретушировать реальные события, чтобы подыграть бритоголовым в Германии и где-то еще? Неужели его потребность в точном подсчете жертв была так остра, что на его сайте рядом с гражданским капитаном Петерсеном не нашлось места для его военного коллеги корветтенкапитана Цана, которого неизменно сопровождала любимая овчарка?

Могу только догадываться, что толкнуло Конни на подлог: желание иметь четкий, незамутненный образ врага. Историю же насчет овчарки я услышал от матери, которая была к этим псинам с детства неравнодушна. Цан уже несколько лет держал на борту своего Хассана. Прогуливался ли он на палубе, сидел ли в офицерской кают-компании, Хассан всегда был при нем. Мать вспоминала: "Подниматься наверх нам не разрешалось, мы сидели внизу и хорошо видели, как капитан стоял, а рядом пес; оба разглядывали сверху нас, беженцев. А пес был точь-в-точь как наш Харрас..."

Она помнила, что происходило на пирсе: "Столпотворение и жуткий кавардак. Сначала всех, кто поднимался по трапу, еще записывали, как положено, а потом бумаги, видать, не хватило..." Общее число пассажиров так и останется неизвестным. Но что значат числа? На них никогда нельзя положиться. Всегда есть остаток, который оценивается лишь приблизительно. Всего на борту оказались зарегистрированными шесть тысяч шестьсот человек, из них около полутора тысяч беженцев. Однако начиная с 28 января на лайнер пробилось еще множество людей, ко-

торых уже никто не считал. Сколько их было, две или три тысячи, непронумерованных и безымянных? Во всяком случае, примерно такое количество дополнительных талонов на питание было изготовлено судовой типографией и распределено с помощью девушек из вспомогательной службы BMC. Сотней больше, сотней меньше — в подобных случаях это не имеет значения. Точного учета никто не ведет. Неизвестно, например, какое количество детских колясок было размещено в грузовых трюмах; существуют лишь оценки, согласно которым в конце концов на борт попало около четырех с половиной тысяч младенцев, детей и подростков.

Под занавес, когда лайнер был уже переполнен, поступила еще одна партия раненых и последний отряд девушек из вспомогательной службы BMC, совсем молоденьких; все каюты уже были заняты, в залах также не оставалось свободного места для матрацев, поэтому девушек разместили в осушенном бассейне, который находился на палубе E ниже ватерлинии.

На это обстоятельство приходится указывать вновь и подчеркивать его, так как мой сын умолчал о всех деталях, связанных с гибелью этих девушек и с бассейном, который стал для них смертельной западней. Только в том месте на его сайте, где затрагивалась тема изнасилований, мелькнула патетическая фраза о "юных девочках, которые спасали на корабле свою невинность от русских извергов..."

Увидев эту чушь, я вновь не удержался от вмешательства, не в качестве отца, конечно. Дождавшись, когда чат откроется, разразился тирадой: "Твои беззащитные девочки носили военную форму, кстати говоря довольно симпатичную. Серо-голубые юбки до колена, узкие жакетки. Прическа венчалась сдвинутой набок пилоткой с имперским орлом и свастикой. И все они, невинные или уже нет, прошли военную подготовку, после которой дали присягу на верность своему Вождю..."

Однако сын не пожелал вступать со мной в полемику. Зато обрушился на своего виртуального оппонента, выступая в роли классического расиста: "Тебе, еврею, никогда не понять, какое страдание причиняют мне до сих пор те надругательства, которым подверглись немецкие девушки и женщины со стороны калмыков, татар и прочих монголов. Но что вам, евреям, до чистоты крови!"

Нет, мать не могла внушить ему ничего подобного. Или все-таки внушила? Однажды я привез ей в Шверин и положил на кофейный столик мою статью, вполне объективно освещавшую споры вокруг берлинского мемориала жертвам Холокоста, на что она рассказала мне, как однажды во дворе дядиной столярной мастерской появился "толстый веснушчатый мальчуган", который весьма похоже нарисовал их цепную овчарку: "Это был жиденыш, который вечно придумывал странные вещи. Правда, не настоящий, а полукровка, но папа все равно знал про это. Он так и сказал, когда выгнал со двора жиденыша, фамилия которого была Амзель..."

Матери вместе с родителями удалось попасть на борт "Густлоффа" утром 30 января: "В самую последнюю минутку успели..." При этом была утеряна часть их скарба. В полдень на "Густлоффе" скомандовали поднять якоря и отчалить. На пирсе остались сотни людей.

"Мама и папа стыдились, конечно, моего большого живота. Если кто-нибудь из беженцев интересовался насчет меня, мама говорила:

"Жених у нее на фронте". Или: "Вообще-то она собиралась заочно расписаться со своим женихом, который сейчас на Западном фронте. Если, конечно, он не убит". Но мне они вечно твердили про позор. Еще хорошо, что на корабле нас сразу разделили. Маму с папой поместили в самый низ, где нашлось местечко. А меня отвели наверх, в родильное отделение..."

Впрочем, об этом еще не время. Придется опять совершить траекторию краба: вернуться назад, чтобы продвинуться вперед. Еще весь день накануне и целую долгую ночь Покрифке сидели на своих чемоданах и узлах среди толпы беженцев, многие из которых были измучены долгой дорогой. Люди пришли сюда от Куршской косы, из Земланда, из Мазурского края. Последние беженцы прибыли из соседнего Эльбинга, атакованного советскими танками, но вроде бы еще сопротивлявшегося. Однако все больше становилось женщин и детей из Данцига, Сопота и Готенхафена, они толпились возле лошадей, телег, детских колясок, саней и саночек. Мать рассказывала мне о брошенных собаках, которых не пустили на корабль, поэтому они, голодные, бродили по порту, пугая людей. Лошадей, пришедших с восточнопрусских хуторов, хозяева распрягли, одних отдали частям вермахта, других отвели на бойню. Точнее мать сказать не могла. К тому же она больше жалела собак: "Всю ночь они выли, как волки..."

Если семья разнорабочего Покрифке покинула со своим скарбом дом на Эльзенштрассе, то их родственники, семья Либенау, не присоединились к беженцам. Слишком уж был привязан столярных дел мастер к своим строгальным станкам, к дисковой и ленточной пиле, к шлифовальной машине, к запасу досок в сарае и к доходному дому № 19, владельцем которых он являлся. Его сыну Харри, которого мать выдавала мне за моего возможного отца, еще осенью прошлого года вручили призывную повестку. Теперь он был связистом или пехотинцем на одном из пятящихся фронтов.

После войны я узнал, что поляки экспатриировали моего предполагаемого деда и его жену, как и всех остававшихся немцев. По слухам, они оказались на Западе, где-то под Люнебургом, там вскоре умерли один за другим — он, видимо, от тоски по потерянной мастерской и по множеству заготовок для дверных и оконных рам, хранившихся в подвале доходного дома. Что же касается цепного пса, в конуре которого мать некогда провела целую неделю, то он подох гораздо раньше; по ее словам, еще перед войной его отравил "дружок того жиденыша".

Вероятно, семье Покрифке удалось попасть на борт в числе последних только потому, что дочь явно была на последнем сроке беременности. Проблемы могли бы возникнуть только у Августа Покрифке. Полевая жандармерия, державшая пирс под контролем, могла забрать его, признав годным для "фольксштурма". Однако он, по выражению матери, всегда выглядел "недомерком", а потому ухитрился избежать контроля. Впрочем, строгих проверок под конец уже и не стало. Воцарился хаос. Дети могли очутиться на корабле без матерей. А у некоторых матерей в давке на сходнях вырывали из рук ребенка, который падал за поручни в воду, в прогал между бортом корабля и причалом. Тут уж кричи не кричи...

Возможно, семья Покрифке могла бы пристроиться на пароходы "Оцеана" или "Антонио Дельфино", хотя и те были переполнены беженцами. Оба судна также стояли у причала Оксхёфт в Готенхафене,

который прозвали "пирсом доброй надежды"; этим средней величины транспортам посчастливилось благополучно добраться до Киля и Копенгагена. Но Эрне Покрифке "до смерти" хотелось попасть именно на "Вильгельм Густлофф", с которым связывалось столько радостных воспоминаний о круизе СЧР на тогда еще белоснежном лайнере к норвежским фьордам. Во взятых с собою пожитках она хранила фотоальбом со снимками из того путешествия.

Оказавшись внутри корабля, Эрна и Август Покрифке почти ничего не узнавали, поскольку все столовые, библиотека, Фольклорный зал и Музыкальный салон лишились своего убранства, в том числе картин, и превратились в шумный матрасный табор. Матрасами были забиты даже застекленная прогулочная палуба и переходы. Здесь гомонили тысячи детей, посчитанных и не посчитанных как часть живого груза, и их гомон то и дело смешивался с объявлениями по радио, когда выкликались имена очередного потерявшегося мальчика или девочки.

Когда незарегистрированное семейство Покрифке поднялось на борт, мать сразу отделили от родителей. Так решила медсестра. Осталось неизвестным, куда девушки из вспомогательной службы ВМС, следившие за порядком, отвели супругов — в одну из уже занятых кают, "уплотнив" ее, или же их вместе с остатками скарба разместили в одном из общих помещениий. Во всяком случае, Тулла Покрифке больше уже никогда не видела ни семейного фотоальбома, ни собственных родителей. Я сознательно выбрал именно эту последовательность перечисления, ибо, по-моему, мать переживала утрату фотоальбома особенно сильно, поскольку с ним пропали все снимки, сделанные семейным "Кодаком", которые запечатлели ее на мостках купальни в Сопоте с кудрявым братцем Конрадом или ее же в Йешкентальском лесу у памятника Гутенбергу, где они стоят вместе со школьной подругой Йенни и удочерившим подругу штудиенратом Брунисом, не говоря уж о многочисленных фотографиях с Харрасом, чистопородным псом, известным своими племенными достоинствами.

В бесконечных историях о том, как семья попала на лайнер, мать всегда говорила о восьмом месяце беременности. Наверное, восьмой и был. Так или иначе, ее поместили в родильное отделение. Оно находилось рядом с так называемой "оранжереей", откуда доносились стоны тяжелораненых. Во времена круизов СЧР "оранжерея", то есть своего рода зимний сад, была весьма любима отпускниками. Она располагалась под самым капитанским мостиком. Доктор Рихтер, старший офицер военно-медицинской службы во Втором учебном дивизионе подводников, стал теперь главным корабельным врачом, следовательно, ему подчинялись и "оранжерея", и родильное отделение. Каждый раз, рассказывая о корабле, мать говорила: "Там мы наконец-то согрелись. Молока нам сразу дали горячего, даже ложку меда туда положили..."

Судя по всему, в родильном отделении господствовали обычные порядки. С начала посадки эвакуируемых здесь родились четыре младенца, по словам матери — "сплошь мальчишки".

Говорят, на беду "Густлоффа" у него было слишком много капитанов. Вполне возможно. Но "Титаником" командовал всего один капитан, а он все равно затонул во время первого же плавания. Во всяком случае, как рассказывала мать, вскоре после посадки она решила размять ноги, поэтому поднялась "на следующий этаж", охрана почему-то не обратила на

нее внимания, и мать очутилась возле капитанского мостика, где "один морской волк жутко бранился с другим, у которого была эспаньолка..."

Первым морским волком был, видимо, капитан Фридрих Петерсен, который в мирное время работал на гражданском флоте, командовал несколькими пассажирскими судами, а после начала войны попал в английский плен как нарушитель блокады. По солидному возрасту он был признан непригодным к военной службе, поэтому его отправили в Германию, взяв письменное обязательство не занимать впредь капитанские должности на флоте. Так его на середине седьмого десятка и назначили "сухопутным капитаном" на плавучую казарму, которая стояла у пирса Оксхёфт.

А морским волком с эспаньолкой наверняка был корветтенкапитан Вильгельм Цан, которого всюду сопровождал пес Хассан. Бывший командир подлодки, не имевший ранее особенных успехов, осуществлял теперь военное командование транспортным судном, перегруженным беженцами. Кроме того, на помощь старому капитану, уже подзабывшему практические навыки судовождения, были призваны два молодых капитана, Кёлер и Веллер, которые имели хороший опыт плавания по Балтике. Их обоих взяли с торгового флота, поэтому морские офицеры, прежде всего Цан, относились к ним свысока: они столовались в другой кают-компании, разговоры с ними не клеились.

Таким образом, на капитанском мостике сталкивались противоречия, несмотря на острую необходимость консолидировать ответственность за корабль, назначение которого и без того было трудно определить: с одной стороны, это был военный транспорт, с другой — госпитальное судно с беженцами на борту. Серая камуфляжная окраска также не позволяла однозначно сказать о характере "Густлоффа" как возможной цели. В гавани он находился в относительной безопасности, если не считать воздушных налетов. Но пока запрограммированные споры между несколькими капитанами еще не разгорелись. И пока совсем другой капитан ничего еще не знал о вооруженном зенитками корабле, на борту которого находились дети и солдаты, матери и девушки вспомогательной службы ВМС.

До конца декабря С-13 стояла в доке на базе Краснознаменного Балтийского флота в Смольном. А когда лодку подготовили к боевому походу, проверив технику, заправив горючим, погрузив торпеды и провиант, и уже пора было выходить в море, то обнаружилось, что пропал командир.

Алкоголь и женщины помешали Александру Маринеско своевременно вернуться из увольнения на свою подлодку к началу большого наступления на Балтике и в Восточной Пруссии. По слухам, его выбила из колеи и довела до беспамятства понтикка, финская картофельная водка. Поиски в борделях, а также иных злачных местах, хорошо известных военным патрулям, результатов не дали; подлодка оставалась без командира.

Протрезвевший Маринеско объявился в Турку лишь 3 января. Его тут же забрали в НКВД, где принялись допрашивать, подозревая в шпионаже. Поскольку у него начисто отшибло память обо всех адресах, где он побывал во время затянувшегося увольнения на берег, Маринеско ничего не смог сказать в свое оправдание. Наконец его начальнику, капитану первого ранга Орлу, со ссылкой на последние указания товарища Ста-

лина удалось добиться отсрочки трибунала. Ему не хватало опытных командиров, поэтому не хотелось ослаблять ударную силу своего боевого соединения. А после того как экипаж С–13 вступился за своего командира, прося за него о прощении, что в глазах НКВД выглядело бунтом, Орел приказал командиру подлодки, ненадежному только при увольнениях на берег, немедленно выйти в Ханко, откуда спустя неделю С–13 отправилась в боевой поход. Фарватер был расчищен ледоколом. Курс к балтийским берегам пролегал мимо острова Готланд.

Как уже говорилось, в пятидесятые годы был снят черно-белый фильм "Ночь над Готенхафеном". В нем участвовали такие звезды, как Бригитта Хорни и Соня Циман. Режиссером был американец немецкого происхождения Франк Висбар, который до этого снял фильм о Сталинграде, а в качестве консультанта пригласили Хайнца Шёна, специалиста по "Вильгельму Густлоффу". На Востоке фильм не был разрешен к показу, на Западе же он прошел с умеренным успехом и был так же забыт, как несчастный корабль, с той, однако, разницей, что сохранился в архиве.

Будучи в ту пору старшеклассником и проживая в Западном Берлине, я по настоянию школьной подруги матери тети Йенни – "моя подруга Тулла сообщила мне, что очень хотела бы, чтобы мы посмотрели этот фильм вместе", – исполнил это пожелание и был весьма разочарован. Сюжет оказался шаблонным. Как и во всех киновариантах "Титаника", экранизация гибели "Вильгельма Густлоффа" не обошлась без душещипательной, а под конец героической любовной мелодрамы, будто катастрофа заполненного людьми корабля недостаточно захватывающая тема, а многим тысячам смертей не хватает трагизма.

Любовный треугольник в военное лихолетье. Фильм "Ночь над Готенхафеном" начинается затянутой прелюдией, действие ее разворачивается в Берлине, Восточной Пруссии и иных местах; треугольник состоит из солдата с Восточного фронта, который оказывается обманутым супругом и после тяжелого ранения попадает на борт корабля; из неверной жены с грудным младенцем, которая ищет спасения на этом корабле и разрывается между двумя мужчинами, а также легкомысленного морского офицера, который одновременно является прелюбодеем, отцом ребенка и его спасителем. Хотя во время сеанса тетя Йенни несколько раз прослезилась, однако после фильма, пригласив меня в "Парижский бар"[1] на мою первую рюмку перно, она сказала: "Твоей матери фильм вряд ли бы понравился, тем более что там ни до катастрофы корабля, ни после не показано ни одних родов..." А потом добавила: "Вообще-то из таких ужасов нельзя делать фильмы".

Уверен, что у моей матери не было на борту возлюбленного, как не было и моего возможного отца. Вполне вероятно, поскольку это соответствовало и продолжает соответствовать ее натуре, она, даже будучи беременной на последнем сроке, привлекала к себе внимание мужчин, находившихся на корабле: она обладает своего рода внутренним магнетизмом, или, как сама она говорит, "есть во мне нечто эдакое". Так, сразу после поднятия якорей один из курсантов подводников – "бледный такой, прыщавый паренек" – вызвался проводить ее, беременную беженку, на верхнюю палубу. Ей не сиделось, на душе было как-то тревожно. Наверное, этот курсант был ровесником матери, лет семнадцати, от

1. Известный берлинский бар в Кантштрассе.

силы восемнадцати; он бережно провел ее под руку по скользкой, как стекло, обледеневшей солнечной палубе. Тут-то мать и подметила своим зорким взглядом, от которого никогда и ничего не скроешь, насколько заледенело все вокруг – шлюпобалки, блоки, крепления, принайтовленные по правому и левому борту спасательные шлюпки, тросы на талях.

Сколько раз я слышал от нее фразу: "Когда я все это увидала, стало мне не по себе". Вот и в Дампе, где она, худенькая, вся в черном, стояла окруженная пожилыми мужчинами и пыталась ввести моего сына Конрада в этот мирок людей, уцелевших после той катастрофы, я слышал ее слова: "Я тогда сразу поняла, что в случае чего из-за обледенения никого не спасут. Мне захотелось на берег. Закричала я как безумная. Только было уже поздно..."

В фильме, который я смотрел вместе с тетей Йенни в кинотеатре на Кантштрассе, ничего этого не было, ни сосулек на шлюпобалках, ни обледеневших трапов и поручней, ни даже льдин в гавани. А ведь не только у Хайнца Шёна, но и в книге трех английских авторов, Добсона, Миллера и Пейна, ясно говорится, что 30 января 1945 года было страшно холодно – 18 градусов мороза. Фарватер в Данцигской бухте пришлось расчищать ледоколами. Прогнозы предсказывали сильный шторм, ураганные порывы ветра.

Если я и задаюсь вопросом, что было бы, если бы мать все-таки сумела сойти с корабля, то у этих самих по себе бессмысленных предположений есть некоторая фактическая основа: когда четыре буксира вытащили "Вильгельма Густлоффа" из гавани Оксхёфт, среди снежной мглы возник предназначенный для каботажного плавания пароход "Ревал", который двигался встречным курсом прямо на лайнер. Забитый беженцами из Тильзита и Кёнигсберга, он шел от Пиллау, последнего порта в Восточной Пруссии. Поскольку внизу мест не хватало, то беженцы сгрудились и на верхней палубе. Позднее выяснилось, что многие замерзли насмерть, но так и продолжали стоять, как ледяные столбы.

Остановившийся "Вильгельм Густлофф" спустил забортные трапы и принял часть уцелевших беженцев, которые полагали, что на океанском лайнере они будут в большей безопасности; их кое-как разместили в душном тепле проходов.

А нельзя ли было матери воспользоваться спущенными трапами, чтобы проделать обратный путь? Ведь она всегда умела своевременно сделать резкий поворот. Возможность же представилась! Почему бы не перейти с обреченного корабля на "Ревал"? Тогда бы я, если бы она рискнула, несмотря на свой огромный живот, спуститься по трапу, родился бы в другом месте, не знаю где, но уж точно не 30 января.

И вот она опять, эта проклятая дата. История, точнее – история, с которой мы соприкасаемся, похожа на засоренный клозет. Промываешь его, промываешь, а дерьмо все равно всплывает наверх. Например, это треклятое тридцатое число. Как оно прилипло ко мне, какую отметину наложило. В свое время, будучи школьником или студентом, газетным редактором или отцом семейства, я всячески уклонялся от того, чтобы праздновать собственный день рождения – с приятелями, коллегами или в семейном кругу. Я всегда опасался, что на подобном празднике – пусть хотя бы в чьем-либо тосте – всплывет треклятое значение этого дня, хотя казалось, что сия нафаршированная до отказа многими смыслами дата тощает с годами, делается безобидной, становится обычным

листом календаря среди прочих. Ведь мы, немцы, выдумали столько слов, чтобы справиться с прошлым: "искупление", "преодоление исторического наследия", "духовная работа скорби".

Однако потом обнаружилось, что 30 января вновь или все еще считается для кого-то в Сети государственным праздником, по случаю которого следует вывешивать флаги. Во всяком случае, мой сын попытался день захвата власти нацистами сделать зримой для всего мира красной датой календаря. В шверинском районе панельной застройки Гроссер Дреш, куда он в начале нового учебного года переехал к бабушке, он опять взялся вести свой сайт. Габи, моя бывшая супруга, не сумела воспрепятствовать уходу нашего сына от надоедливых материнских нравоучений с левым уклоном к источнику бабкиных откровений. Хуже того, она сняла с себя всяческую ответственность: "Конраду почти семнадцать, пора ему принимать собственные решения..."

Меня вообще не спросили. Они расстались, как было заявлено, "по обоюдному согласию". Таким образом, переезд из Мёльна к Шверинскому озеру прошел тихо. Даже смена школ не вызвала особых проблем "благодаря хорошей успеваемости", хотя я с трудом мог представить себе своего сына в затхлой атмосфере восточногерманской школы. "Все это предрассудки, — сказала Габи. — Просто Конни предпочитает тамошнюю более строгую дисциплину на уроках здешней разболтанности". Впрочем, ее мнение остается двояким: как педагог, выступающий за свободу личности и открытые дискуссии, она разочарована, однако как мать она вынуждена смириться с решением сына. Дескать, даже подружка Конни — по этому случаю я и узнал о существовании этой невзрачной ассистентки зубного врача — отнеслась к его решению с пониманием. Сама Рози остается в Ратцебурге, но намеревается навещать Конрада как можно чаще.

Сохранил ему верность и партнер по диалогу. Давид, этот выдуманный, а может, где-то действительно существующий оппонент либо просто не заметил переезда Конрада, либо не нашелся, что возразить. Во всяком случае, когда в чате моего сына вновь зашла речь о 30 января, Давид объявился вновь с прежними антифашистскими лозунгами. Остальные участники также выступали вполне обычным образом: одни с безоговорочной поддержкой, другие с тотальным отрицанием. Чат превратился в настоящий базар. Вскоре речь пошла не столько о назначении Вождя рейхсканцлером, сколько одновременно о дне рождения Вильгельма Густлоффа, ибо споры развернулись вокруг замечания Конни, согласно которому "Провидением было суждено", чтобы Мученик явился на свет именно 30 января как провозвестье будущего захвата власти.

Подобная эклектика выдавалась участникам дискуссии за перст судьбы. На что реальный или мнимый Давид разразился ехидной тирадой в адрес Голиафа, поверженного в Давосе: "Значит, Провидением было суждено и то, чтобы корабль, названный в честь твоего жалкого партфункционера, был потоплен именно в день его рождения и в годовщину гитлеровского путча; недаром же точно в ту минуту, когда родился Густлофф, то есть ровно в двадцать один шестнадцать, грохнули три торпеды, отправив на дно весь этот сброд..."

Так и шел этот диалог, словно роли были заранее отрепетированы. Однако я с каждым разом все больше сомневался в моем предположении, что Давид является фиктивным персонажем, высказывающим кли-

ширование сентенции вроде: "На вас, немцах, навечно выжжено клеймо Аушвица как знак вашей вины..." Или: "Ты сам являешься свидетельством того, как зло продолжает давать ростки в ваших следующих поколениях..." Встречались фразы, в которых Давид говорил о себе во множественном числе: "Нашим уделом остаются вечная скорбь и вечный укор"; "Мы, евреи, ничего не забудем!". Вильгельм не скупился в ответ на расистские штампы с их "засильем мирового еврейства" и особенно "сионистскими происками Уолл-стрит".

Бой шел жестокий. Но иногда противники словно изменяли своим персонажам, тогда мой сын в роли Вильгельма расточал похвалы ударной силе израильской армии, а Давид, напротив, осуждал строительство еврейских поселений на палестинской земле как "территориальную агрессию". Случалось, что оба вдруг переходили к весьма компетентному обсуждению чемпионатов по настольному теннису. Тогда их индивидуальные интонации, их реплики, порой довольно острые, порой насмешливо-приятельские, говорили о том, что в виртуальном пространстве встретились два молодых человека, которые при всей демонстративной враждебности могли бы стать друзьями. Например, Давид мог пошутить: "Привет, нацистская скотина! Еврейская свинья, которую ты хотел бы обречь на заклание, хочет посоветовать тебе, что подать к столу, чтобы отметить дату захвата власти. Поешь вчерашнего горохового супа, раз уж ты вечно вчерашний..." А Вильгельм, вторя ему, прощался после разговора: "Ладно, довольно на сегодня еврейской кровушки. В следующий раз я сам предложу тебе кулинарный рецепт, кошерную подливу хорошего коричневого цвета, а теперь – покедова!"

В остальном же по случаю 30 января они обменялись вполне традиционными посланиями. Лишь одну новую информацию сообщил Конни своему приятелю-противнику Давиду: "Знай, что на всех палубах гибнущего корабля звучала последняя речь нашего любимого Вождя".

Действительно, так оно и было. Повсюду на "Густлоффе", где имелись репродукторы, радио Великой Германии транслировало обращение Гитлера к своему народу. Даже в родильном отделении, где в это время мать по совету медсестры отдыхала на походной койке, слышался этот голос, который не спутаешь ни с чьим другим: "Сегодня, ровно двенадцать лет назад, 30 января 1933 года, в этот поистине исторический день Провидение вверило в мои руки судьбу немецкого народа..."

Потом Кох[1], гауляйтер Восточной Пруссии, выступил с призывами держаться до конца. Затем последовала трагическая музыка. Но матери запомнилась только речь Вождя: "У меня мурашки побежали от страха, когда он заговорил о судьбе и прочих таких делах..." Иногда после короткой паузы она добавляла: "Это похоже было на речи, которые произносят на кладбище".

Но я забежал вперед. Радиотрансляция состоялась позднее. А пока лайнер идет по относительно спокойной Данцигской бухте, держа курс на мыс полуострова Хела.

30 января пришлось на четверг. Несмотря на длившийся несколько лет простой, двигатели работали нормально. Волнение на море, снежная метель. На всех внутренних палубах выдавался по талонам на питание

1. Эрих Кох (1896–1986) в 1949 г. арестован британской военной полицией и выдан Польше. Осужден за убийство 400 000 поляков; позднее вынесенный смертный приговор был заменен на пожизненное заключение из-за того, что Э. Кох был признан невменяемым.

суп с хлебом. Оба торпедолова, которые должны были сопровождать корабль до Хелы, не сумели справиться с высокой волной, поэтому им дали радиограммой разрешение вернуться назад. Радиограммой же пришло сообщение о конечной цели маршрута: будущие подводники второго учебного дивизиона должны были сойти на берег в Киле, то же самое относилось к девушкам из вспомогательной службы ВМС и раненым, которых, естественно, пришлось бы нести на берег, если они не могли идти сами; беженцев предполагалось доставить во Фленсбург. Метель не стихала. Обнаружились первые пассажиры, страдающие морской болезнью. Когда наконец на рейде Хелы появилась "Ханза", также переполненная беженцами, то предполагавшийся состав конвоя можно было считать укомплектованным, хотя и не хватало трех обещанных судов сопровождения. Однако последовала команда отдать якоря.

Не буду перечислять всех причин, по которым забытый всеми, нет, вытесненный из памяти злосчастный лайнер, призрак которого неожиданно всплыл в Сети, отправился в дальнейшее плавание без "Ханзы", у которой отказали двигатели, и лишь с двумя судами сопровождения, причем одно из них было вскоре отозвано. Замечу лишь следующее: едва двигатели заработали снова, на капитанском мостике начались разногласия. Четыре капитана переругались. Петерсен и его первый офицер, также ранее служивший в торговом флоте, категорически возражали против повышения скорости сверх двенадцати морских миль в час. Обоснование: корабль слишком долго простоял у стенки, повышать скорость рискованно для двигателей. Цан, бывший командир подлодки, исходя из собственного опыта, опасался, что в таком случае противник сможет занять выгодную позицию для атаки, поэтому требовал увеличить скорость до пятнадцати узлов. Победил Петерсен. Тогда первый офицер при поддержке "ходовых капитанов" Кёлера и Веллера предложил в районе Риксхёфта выбрать дальнейший маршрут вдоль береговой кромки, по хотя и насыщенному минными полями, но зато неудобному для подводных лодок мелководью, однако Петерсен, на сей раз при поддержке Цана, предпочел чистое от мин глубоководье и в то же время отклонил совет всех остальных капитанов идти противолодочным зигзагом. Не оспаривался лишь прогноз погоды: сила ветра шесть-семь баллов, направление ветра вест-норд-вест с поворотом на вест, к вечеру ослабление ветра до пяти баллов. Штормовое волнение при ослабевающем ветре четыре балла, снегопад, видимость от одной до трех морских миль, мороз средней силы.

Обо всем этом — о непрекращающихся спорах на капитанском мостике, об отсутствии должного количества судов сопровождения, об обледенении верхней палубы, из-за которого даже не могли использоваться зенитки — мать ничего не знала. Она лишь запомнила, что после "речи Вождя" получила от медсестры родильного отделения Хельги пять сухарей и тарелку молочной рисовой каши с сахаром и корицей. Из соседней "оранжереи" доносились стоны тяжелораненых. К счастью, по радио передавали концерт популярных мелодий. Под них она и заснула. Ни намека на первые схватки. Мать считала, что идет восьмой месяц.

Не только "Густлофф" шел на расстоянии двенадцати миль от померанских берегов, советская подлодка С-13 следовала тем же курсом. Поначалу вместе с двумя другими подлодками Краснознаменного Балтийского флота она тщетно дожидалась кораблей, покидавших портовый

город Мемель, за который шли бои, или же доставлявших подкрепление остаткам Четвертой армии. Несколько дней поиск не давал результатов. Вероятно, у притаившегося в засаде командира С–13 не шли из головы угроза трибунала и предстоящий очередной допрос в НКВД.

Узнав ранним утром 30 января из радиограммы, что Красная армия заняла порт Мемеля, он, не поставив в известность командование, приказал проложить новый курс. Пока "Густлофф" принимал у причальной стенки Оксхёфта последних беженцев – и среди них семью Покрифке, – подлодка С–13 с экипажем в сорок семь человек и десятью торпедами на борту направилась к померанским берегам.

Два судна в моем повествовании уже сходятся все ближе и ближе, однако до решающих событий дело еще не дошло, поэтому есть возможность коснуться рутинного времяпрепровождения в тюрьме кантона Граубюнден. В тот четверг, как и в прочие будние дни, арестанты сидели за ткацкими станками. К этому времени убийца Вильгельма Густлоффа, бывшего ландесгруппенляйтера НСДАП, осужденный на восемнадцать лет тюрьмы, отсидел из них уже девять. Ситуация на фронтах решительно изменилась, нападение со стороны Великого германского Рейха больше не грозило, поэтому его перевели обратно в тюрьму Зенхоф кантона Кур, где он счел возможным подать прошение о помиловании, которое, однако, на период наблюдаемых нами перемещений по Балтийскому морю было отклонено Верховным федеральным судом Швейцарии. Но не только Давид Франкфуртер – корабль, названный именем его жертвы, также не получил пощады.

6

Старик утверждает, что моему повествованию более всего соответствует жанр новеллы. Впрочем, меня подобные литературные тонкости не волнуют. Я лишь излагаю факты. В тот день, который был избран провидением или иным автором календарей в качестве последнего для "Густлоффа", финал Великого германского Рейха был предрешен: британские и американские дивизии уже дошли до Ахена. Наши последние подлодки хотя и рапортовали об уничтожении трех транспортов в Ирландском море, однако рейнский фронт едва сдерживал натиск на Кольмар. На Балканах в районе Сараева активизировались партизаны. Из датской Ютландии была отозвана вторая горнострелковая дивизия для усиления Восточного фронта. В Будапеште, где снабжение ухудшалось ежесуточно, фронт приблизился к самому центру города. С обеих сторон множилось число убитых, везде собирали солдатские жетоны и раздавали ордена.

Что происходило помимо этого, если не считать отсутствия обещанного "чудо-оружия"? В Силезии под Глогау атаки были отбиты, зато в Познани ситуация обострилась. Под Кульмом советские части форсировали Вислу. В Восточной Пруссии противник пробился к Бартенштайну и Бишофсвердеру. Из Пиллау удалось в этот день, который казался довольно обычным, эвакуировать морем шестьдесят пять тысяч гражданских и военных лиц. Всюду свершались подвиги, вполне заслуживающие памятников, и впредь также можно было ожидать новых героических поступков. Пока "Вильгельм Густлофф" держал курс на запад к району Штольпемюнде, а подлодка С–13 рыскала в поисках добычи, тысяча сто четырехмоторных вражеских бомбардировщиков осуществили ночные

налеты на Хамм, Билефельд и Кассель, а американский президент уже покинул пределы США; Рузвельт отправился в Крым, где этот больной человек собирался принять участие в Ялтинской конференции с Черчиллем и Сталиным, чтобы решить вопрос о новых границах и готовить переход к миру.

На сайте моего всезнающего сына я нашел сделанное мимоходом, но от этого не менее злое замечание по поводу Ялтинской и более поздней Потсдамской конференции, которая состоялась, когда Рузвельт уже умер и президентом стал Трумэн: "Так разодрали в клочья нашу Германию!"; здесь же прилагалась карта с отмеченными территориальными потерями Великого германского Рейха. Далее он фантазировал на тему о том, какие чудеса могли бы произойти, если бы молодые, почти закончившие подготовку курсанты-подводники благополучно добрались на борту "Густлоффа" до Киля и смогли бы укомплектовать дюжину или больше экипажей новейших, удивительно быстрых и практически бесшумных подлодок класса XXIII, которые успешно приступили бы к боевым операциям. Фантазии полнились героическими делами и победными экстренными сообщениями. Не то чтобы Конни считал в этом случае возможным другой исход войны, но он полагал, что даже если бы эти чудо-подлодки были уничтожены вместе с экипажами глубинными бомбами, то смерть молодых подводников была бы все-таки не столь ужасной, как их гибель в ледяных водах у Штольпебанк. Даже Давид не смог не согласиться с ним при сравнении обоих видов гибели, хотя и заметил: "Ребятам не дано было выбора. У них все равно не имелось шанса дожить самой нормальной жизнью до взрослых лет..."

Уцелевший при катастрофе помощник казначея собрал фотографии: множество маленьких, паспортного формата, и один большой коллективный снимок всех курсантов-подводников второго учебного дивизиона, которые обычно проходили четырехмесячную подготовку; они выстроились на солнечной палубе, где после команды "Вольно!" к ним обратился с приветствием корветтенкапитан Цан. На этой большой фотографии можно насчитать более девятисот бескозырок, которые уменьшаются по мере ухода в глубину, к корме. Отдельные лица довольно хорошо различимы до седьмого ряда. Затем следует стройная масса. А с маленьких фотографий на меня смотрят мужчины в морской форме, их юные лица разнятся, но одновременно все они кажутся еще не вполне созревшими. Ребятам лет по восемнадцать. Некоторые из тех, кто снялся в военной форме в последние месяцы войны, выглядят еще моложе. Моему сыну сейчас семнадцать, он мог бы быть одним из них, хотя из-за очков его вряд ли признали бы годным для службы на подлодке.

Все они носят лихие бескозырки с надписью на ленточке "Военно-морской флот", обычно бескозырка слегка сдвинута направо. Вижу округлые, узкие, скуластые или щекастые лица этих ребят, обреченных на смерть. Они очень горды морской формой. Они смотрят на меня серьезно, как будто фотография запечатлела их тревожное предчувствие.

У меня есть фотографии лишь нескольких из трехсот семидесяти трех девушек вспомогательной службы ВМФ, оказавшихся на борту "Густлоффа"; несмотря на свои сдвинутые на бочок пилотки с имперским орлом, выглядят они вполне по-гражданski. У них аккуратные прически с модной на то время горячей или холодной завивкой. Некоторые девушки были, вероятно, помолвлены, кое-кто уже замужем. Две-три де-

вушки с прямыми волосами сразу же напомнили мне своей холодноватой чувственностью мою бывшую супругу в молодости. Такой я увидел Габи в Западном Берлине, где она усердно изучала педагогику, и она сразу же покорила меня. Почти все девушки на первый взгляд весьма недурны, даже милы, кое у кого уже есть легкий намек на второй подбородочек. Взгляд у них не такой строгий, как у ребят. Каждая смотрит на меня с улыбкой, у них дурных предчувствий не заметно.

Из более чем четырех тысяч младенцев, детей и подростков, находившихся на борту злосчастного лайнера, не удалось спасти даже сотни, поэтому и фотографий нашлось совсем мало — ведь вместе со скарбом беженцев на затонувшем корабле пропали и семейные фотоальбомы людей, уходивших из Западной и Восточной Пруссии, из Данцига и Готенхафена. Я разглядываю детские лица тех лет. Девочки с косичками и бантами, мальчики с левым или правым пробором. Фотографий младенцев, которые всегда выглядят вне времен, практически нет. Сохранившиеся фотографии тех матерей, для которых Балтийское море стало могилой, или тех немногих, которые выжили, но как правило потеряли детей, были сняты задолго до катастрофы или многие годы спустя; эти снимки "нащелкали", как говорит мать, по случаю каких-либо семейных событий; кстати, ни материнских, ни моих фотографий в младенческом возрасте, естественно, нет.

Не осталось фотографий мазурских крестьян и крестьянок, пенсионеров государственной службы, веселых вдов, вышедших на покой ремесленников, тысяч стариков и старух, которые были совершенно сбиты с толку тяготами эвакуации и которым удалось попасть на борт "Густлоффа". Всех мужчин среднего возраста отсеивали на пирсе Оксхёфта и отправляли в последние части ополчения. Среди спасенных не нашлось практически ни одного старика, ни одной пожилой дамы. Нет фотографий и тяжело раненных солдат, доставленных с курляндского фронта и размещенных в "оранжерее".

К числу немногих уцелевших стариков относится капитан лайнера Петерсен, которому было около шестидесяти пяти. Все четыре капитана находились в девять вечера на капитанском мостике и спорили о том, правилен или неправилен приказ Петерсена включить ходовые огни, поскольку вскоре после восемнадцати часов поступила радиограмма, что встречным курсом движется отряд тральщиков. Цан был против. Его поддержал второй штурман. Правда, Петерсен распорядился погасить некоторые огни, но бортовые огни справа и слева горели. Так сопровождаемый теперь только эсминцем "Лёве" лайнер, затемненный по высоте и длине, продолжал, сражаясь с высокой волной, держать заданный курс и приближался к обозначенной на всех морских картах отмели Штольпебанк. Указанный в прогнозах мороз средней силы равнялся на самом деле восемнадцати градусам ниже нуля.

Судя по рассказам очевидцев, раньше всех заметил далекие ходовые огни старпом советской подлодки С-13. Кто бы это ни был, Маринеско сразу после доклада появился в рубке подлодки, шедшей в надводном положении. Как повествуют мемуары, на нем была черная ушанка, а вместо полагавшейся для офицеров-подводников по уставу утепленной шинели замасленный овчинный полушубок.

Во время долгого плавания в подводном положении, когда лодка шла на аккумуляторах, гидроакустики докладывали командиру лишь о

шумах малых судов. В районе Хелы он дал команду на всплытие. Заработали дизельные двигатели. Теперь доложили о шумах двухвинтового корабля. Неожиданно поднявшаяся метель прикрывала подлодку, но ухудшала видимость. Когда ветер стих, удалось разглядеть очертания военного транспорта тысяч на двадцать тонн, который шел с судном сопровождения. Наблюдение велось со стороны моря в направлении угадывавшегося померанского берега, виден был правый борт транспорта. Пока дело этим и ограничилось.

Мне остается лишь гадать, что побудило командира С-13 резко ускориться в надводном положении и совершить рискованный маневр, обойдя с кормы и транспорт, и корабль сопровождения, чтобы потом искать позицию для атаки со стороны берега на глубине менее тридцати метров под днищем лодки. По его собственным словам, сказанным позднее, он был готов атаковать фашистских гадов, напавших на его родину и разоривших ее, где бы он их ни встретил; ранее ему этого не удавалось.

Уже две недели его поиск был безуспешен. Ничего не получилось ни у острова Готланд, ни у балтийских портов Виндау или Мемель. Не выстрелила ни одна из имевшихся на борту десяти торпед. Он изголодался по добыче. Кроме того, Маринеско чувствовал себя уверенным только в море, его не могла не донимать мысль о том, что при безрезультатном возвращении на базу в Турку или Ханко его ждет трибунал, которого требовал НКВД. Дело было не просто в пьянке во время последнего увольнения и даже не в запрещенном посещении финских бардаков — его обвиняли в шпионаже, а такое обвинение служило с середины тридцатых годов обоснованием для советских чисток, и оправдываться тут было бесполезно. Спасением мог стать только очевидный успех.

Примерно через два часа гонки в надводном положении обходной маневр был завершен. Теперь С-13 шла параллельным курсом с целью, которая, к удивлению наблюдателей в рубке, имела ходовые огни и не двигалась противолодочным зигзагом. Метель окончательно прекратилась, поэтому возникла опасность, что пелена туч прорвется и тогда луна осветит не только огромный транспорт с кораблем сопровождения, но и подлодку.

Тем не менее Маринеско не изменил решения атаковать из надводного положения. Помогло то, что средство обнаружения подлодок на миноносце "Лёве" — этого никто не мог предположить — обледенело и потому не сработало. Английские авторы Добсон, Миллер и Пейн пишут, что советский командир воспользовался приемом немецких подводников, успешно применявшимся ими в Атлантике, а именно атакой из надводного положения, который он долго отрабатывал и теперь смог наконец осуществить на практике: такая атака позволяла лучше видеть цель, действовать на высокой скорости и обеспечивала высокую точность попадания.

Маринеско увел лодку немного вниз, так что корпус ее был не виден, из воды при все еще высокой волне торчала только рубка. Пишут, будто с мостика транспорта перед самой атакой взлетела ракета и якобы подавались сигналы световой азбукой, но немецкие источники — свидетельства уцелевших капитанов — этого не подтверждают.

Так С-13 беспрепятственно приблизилась к цели с левого борта. По приказу командира четыре носовых торпедных аппарата были установлены на трехметровую глубину. Расстояние до цели составляло около шестисот метров. Нос корабля вошел в перекрестье прицела. По мос-

ковскому времени было двадцать три часа четыре минуты, по немецкому времени ровно на два часа меньше.

Но прежде чем Маринеско отдаст команду "Пли" и случится непоправимое, необходимо упомянуть в моем повествовании одну легенду. Говорят, будто перед уходом С-13 из Ханко старшина второй статьи Пихур сделал краской надписи на всех торпедах, в том числе и на тех четырех, что были готовы к выстрелу. На первой торпеде значилось "За Родину!", на торпеде во втором аппарате "За Сталина!", а на гладкой поверхности третьей и четвертой торпед было написано "За советский народ!" и "За Ленинград!".

После прозвучавшего наконец приказа три из четырех торпед с этими надписями – торпеда, посвященная Сталину, застряла в аппарате, и ее срочно пришлось обезвреживать – устремились к безымянному для Маринеско кораблю, на борту которого мать все еще спала под тихую музыку из радиоприемника в родильном отделении.

Пока три торпеды со своими надписями несутся к цели, попробую вообразить себя на борту "Вильгельма Густлоффа". Проще всего найти девушек из вспомогательной службы ВМФ, которые пришли последними и которых разместили в осушенном бассейне, не говоря уж о соседнем молодежном отделении, которое и раньше предназначалось для участвовавших в круизах ребят из гитлерюгенд и Союза немецких девушек. Здесь, в тесноте, одни лежат, другие сидят. Прически еще держатся. Но улыбки уже исчезли, прекратились дружеские или едкие подначки. Кое-кто страдает морской болезнью. Тут, как и в коридорах, бывших салонах или столовых пахнет рвотой. Для такого количества беженцев и экипажа туалетов не хватает, а многие из них уже засорены. Вентиляторы не справляются со спертым воздухом и вонью. После выхода в море всем приказано надеть спасательные жилеты, однако усиливаются жара и духота, люди начинают снимать слишком теплое белье и стараются избавиться от спасательных жилетов. Тихонько ноют дети, жалуются старики. Репродукторы умолкли. Все звуки приглушены. Слышны только вздохи, сдавленные всхлипы. Это еще не катастрофическое настроение, но его преддверье, крадущийся страх.

Лишь на капитанском мостике после утихнувших споров воцаряется более или менее оптимистическое настроение. Все четыре капитана полагают, что с прибытием в район Штольпебанк главная опасность осталась позади. В каюте старшего помощника ужин: гороховый суп с мясом. Корветтенкапитан Цан велел подать коньяку. Вроде бы есть повод чокнуться за благополучный ход дела. У ног хозяина дремлет пес Хассан. В качестве дежурного офицера на мостике находится только капитан Веллер. На этом отпущенное время истекло.

С детства незабываема фраза матери: "Сон у меня сразу будто рукой сняло, когда первый раз грохнуло, а потом еще и еще..."

Первая торпеда попала значительно ниже ватерлинии в носовую часть корабля, где размещались кубрики экипажа. Всем, кто отдыхал, жевал коврижки, дремал в койке и кто уцелел при взрыве, не суждено было выжить, поскольку капитан Веллер при первом же докладе о повреждениях приказал автоматически задраить все переборки носовой части корабля, иначе лайнер мог бы клюнуть носом и начать быстро тонуть; перед самым выходом в море состоялось аварийное учение с командой "Задраить переборки!". Среди матросов и хорватских добро-

вольцев, которыми пришлось пожертвовать, были как раз многие из тех, кто по аварийному расписанию должен был следить за организованной эвакуацией людей и спускать на воду спасательные шлюпки.

Никто точно не знает, что именно произошло в отрезанных передних отсеках корабля, произошло внезапно или с некоторой задержкой, но окончательно.

Незабываема и следующая фраза матери: "Когда второй раз грохнуло, я аж с постели свалилась, так сильно тряхануло..." Это торпеда, выпущенная из третьего аппарата и несшая на своей гладкой поверхности надпись "За советский народ!", взорвалась под бассейном на самой нижней палубе. Уцелели лишь две или три девушки. Позднее они рассказывали, что пахло газом и что многих девушек разорвало прямо-таки на куски осколками кафеля и мозаичного панно, которое украшало фронтон бассейна. Вода быстро прибывала, в ней плавали мертвые тела, куски человеческих тел, бутерброды и прочие остатки ужина, а также спасательные жилеты. Криков почти не было. Свет погас. Две или три девушки, малоформатные фотографии которых оказались в моем распоряжении, спаслись через аварийный выход по вертикальному железному трапу, шедшему наверх, на следующую палубу.

Затем мать добавляла: когда грохнуло опять, в родильном отделении появился доктор Рихтер. "Но тут уж началось светопреставление!" — восклицала она всякий раз, дойдя в своей бесконечной истории до третьего взрыва.

Последняя торпеда попала в среднюю часть корпуса, в машинное отделение. Сразу же не только остановились двигатели, но и погасло внутреннее освещение на палубе, отказала прочая техника. Все остальное происходило в темноте. Правда, несколько минут спустя включившееся аварийное освещение позволило кое-как сориентироваться в панике, которая быстро распространялась по лайнеру, имевшему десятиэтажную высоту и насчитывавшему в длину более двухсот метров; однако сигнал SOS подать не удалось, поскольку судовая радиостанция также вышла из строя. Один лишь миноносец "Лёве" безостановочно сигналил в эфир: "'Густлофф' тонет после трех торпедных попаданий!" Затем на протяжении часов повторялись координаты тонущего лайнера: "Район Штольпебанк. 55 градусов 07 минут северной широты, 17 градусов 42 минуты восточной долготы. Просим помощи..."

На подлодке С-13 попадание торпед в цель и вскоре установленное ее погружение было встречено сдержанным ликованием. Маринеско приказал подлодке, уже находившейся в притопленном положении, уйти на глубину, сознавая, однако, что вблизи от берега, особенно в районе отмели Штольпебанк, укрыться от глубинных бомб очень сложно. Но сначала нужно было обезвредить торпеду, застрявшую во втором аппарате; готовая к детонации, с запущенным двигателем, она могла взорваться даже от легкого сотрясения. По счастью, глубинных бомб никто не сбрасывал. Миноносец "Лёве", заглушив мотор, осматривал прожекторами смертельно раненный лайнер.

На нашей глобальной игровой лужайке, якобы служащей последним оплотом человеческой коммуникации, редактор сайта, связанный со мною родственными узами, именовал советскую подлодку С-13 не иначе как "лодкой-убийцей". И весь экипаж этой боевой единицы Краснознаменного Балтийского флота был заклеймен здесь как "свора душегу-

бов, убивающих детей и женщин". Мой сын брал на себя в Сети роль судьи. Возражения его противника-приятеля Давида, которому в голову не приходило ничего, кроме антифашистских трафаретов и ссылок на наличие высокопоставленных нацистов, военного персонала, а также тридцатимиллиметровых зениток, установленных на солнечной палубе лайнера, не могли противостоять лавине комментариев, хлынувших в чат со всех континентов. Участники дискуссии писали в основном по-немецки, вплетая нередко обрывки английского. Мой монитор захлестнули обычные злобные тирады, порой вперемежку с благочестивыми апокалиптическими заклинаниями. Восклицательные знаки под страшным итоговым счетом жертв. Для сравнения приводилось количество жертв при других морских катастрофах.

Драма "Титаника", ставшая сюжетом многих кинофильмов, претендовала на первенство. За ним следовала "Лузитания", потопленная немецкой подлодкой во время Первой мировой войны, что якобы обусловило или ускорило вступление в войну Соединенных Штатов Америки. Некий одинокий голос напомнил о судне "Кап Аркона" с заключенными из концлагерей, потопленном английскими бомбардировщиками в Нойштедской бухте за несколько дней до конца войны; эта катастрофа, повлекшая за собою семь тысяч жертв, возглавила рейтинговую таблицу в Интернете. И все-таки в конце концов победителем из этих цифровых баталий вышел "Вильгельм Густлофф". Со свойственной ему дотошностью моему сыну удалось на собственном сайте привлечь внимание особенно своих сторонников к этому забытому кораблю и его человеческому фрахту; с помощью схемы, на которой звездочками обозначались попадания торпед, он сделал эту трагедию зримой, она стала символом человеческих бедствий глобального масштаба.

Тем не менее то, что реально произошло на "Вильгельме Густлоффе" 30 января 1945 года начиная с 21 часа 16 минут, имеет лишь косвенное отношение к указанной выше конкуренции чисел в киберпространстве. Скорее уж Франк Висбар в своем черно-белом фильме "Ночь над Готенхафеном" сумел, несмотря на затянутую прелюдию, отчасти передать тот панический ужас, который охватил людей на всех палубах после того, как три торпеды поразили лайнер и он стал погружаться носом, одновременно заваливаясь на левый борт.

Упущения мстили за себя. Почему не были заранее подготовлены к спуску спасательные шлюпки, которых и без того не хватало? Почему не проводились регулярные противообледенительные работы на шлюпбалках и талях? К тому же сказалось отсутствие части экипажа, оставшейся за задраенными переборками в носовой части корабля. Ведь курсанты учебного дивизиона не отрабатывали спуска спасательных шлюпок. Доступ к спасательным шлюпкам имелся только с солнечной палубы, а она обледенела, была скользкой, как каток, к тому же накренилась, и масса людей, хлынувшая с верхних палуб, не могла удержаться на ногах. Кое-кто, потеряв опору, уже падал за борт. Далеко не на каждом был спасательный жилет. В панике на прыжок в воду отваживались и другие. Внутри корабля стояла жара и духота, поэтому те, кто выскакивал на солнечную палубу, были слишком легко одеты, а при восемнадцати градусах мороза и соответственно низкой температуре воды — плюс два-три градуса? — мало у кого были шансы преодолеть температурный шок. И все же люди прыгали за борт.

С капитанского мостика последовал приказ оттеснить толпу на застекленную нижнюю прогулочную палубу, закрыть там двери и выставить вооруженную охрану в надежде на прибытие судов, идущих на спасение. Приказ был неукоснительно исполнен. Вскоре в стеклянную витрину длиной в сто шестьдесят шесть метров, опоясывающую правый и левый борт, набилось более тысячи человек. Лишь в последний момент, когда уже было слишком поздно, в некоторых местах удалось изнутри расстрелять бронированное стекло этой западни.

Происходившее внутри корабля неописуемо. Когда мать говорит об этой неописуемости, что у нее "нету слов", то можно догадаться, что именно я смутно имею в виду. Поэтому не буду пытаться представить себе кошмарные сцены, чтобы запечатлеть их в отчетливых картинах, как бы ни подталкивал меня мой Заказчик к выстраиванию череды отдельных судеб, к эпической повествовательности, к глубокому сопереживанию и одновременно эмоциональному лексическому накалу, достойным масштабов этой трагедии.

Черно-белый кинофильм сделал попытку запечатлеть ее в кадрах, снятых в кулисах киностудии. На экране обезумевшая толпа, забитые людьми переходы, смертный бой за каждую ступеньку трапа, ведущую вверх, на экране переодетые пассажирами статисты изображают тех, кто оказался заперт на застекленной прогулочной палубе, угадывается сильный крен лайнера, внутри корабля вода прибывает, в ней барахтаются и тонут. А еще на экране дети. Дети, оторванные от матерей. Дети с куклами в руках. Дети, затерявшиеся в уже опустевших переходах. Детские глаза крупным планом. Впрочем, даже одни лишь финансовые соображения не дают возможности отразить в фильме каждого из более чем четырех тысяч погибших младенцев, детей и подростков, поэтому сама цифра была и остается некой абстракцией, как и измеряющиеся тысячами, сотнями тысяч, миллионами другие числа, которые и прежде, и теперь поддавались и поддаются лишь весьма приблизительным оценкам. Нулем на конце больше, нулем меньше — какая, собственно, разница; в статистике за цифрами прячется смерть.

Я могу лишь изложить то, что приводится в различных источниках в качестве свидетельства очевидцев, переживших эту катастрофу. Стариков и детей затаптывали насмерть на широких лестницах и узких трапах. Каждый думал только о себе. Заботившиеся о других пытались опередить мучительную смерть. Рассказывают об одном офицере-преподавателе, который застрелил в своей каюте из служебного пистолета сначала троих детей, потом жену, а затем застрелился сам. То же рассказывается и о партийных функционерах и их семьях, которые занимали спецапартаменты, предназначавшиеся некогда для Гитлера и его верного сподвижника Лея и ставшие теперь кулисами для акта самоликвидации. Вероятно, Хассан, пес корветтенкапитана, был также застрелен хозяином. Да и на обледенелой солнечной палубе применялось оружие, поскольку люди не подчинялись команде "В шлюпки — только женщины и дети!", в результате чего спаслись преимущественно мужчины, о чем сухо и без комментариев говорит подводящая итоги всему живому статистика.

В спасательную шлюпку на пятьдесят мест погрузился при спешном спуске на воду всего десяток матросов. Другая шлюпка из-за той же спешки перевернулась при спуске, повисла на тросе, все люди выпали в штормовое море, а трос лопнул, и шлюпка обрушилась на тех, кто барах-

тался в волнах. Лишь спасательную шлюпку №4, заполненную наполовину женщинами и детьми, удалось спустить по всем правилам. Тяжелораненые, лежавшие в "оранжерее", оказались в безнадежном положении, поэтому санитары постарались разместить на шлюпках хотя бы легкораненых — тщетно.

Даже командование лайнера думало только о себе. Рассказывают, как офицер высокого ранга вывел свою жену из каюты на кормовую верхнюю палубу и стал освобождать ото льда крепления мотобота, который использовался во времена СЧР для морских прогулок. Когда ему удалось выдвинуть шлюпобалку, случилось чудо — заработала электролебедка. При спуске вниз запертые за бронированным стеклом прогулочной палубы женщины и дети увидели практически пустой бот, а спускавшаяся пара на миг разглядела за стеклом эту человеческую массу. Они могли бы помахать друг другу руками. А вот то, что творилось внутри корабля, осталось незримым и потому невыразимым.

Знаю лишь, как спасли мать. "Только громыхнуло в последний раз, у меня начались схватки..." Когда ребенком я слышал ее рассказ, мне казалось, будто речь идет о некоем приключении. "Тогда дядя врач сделал мне укол..." Уколов она боялась, "зато схватки сразу прекратились..."

Видимо, это был доктор Рихтер; старшая медсестра родильного отделения помогла ему провести двух молодых матерей с младенцами по скользкой солнечной палубе, после чего всех троих женщин посадили в спасательную шлюпку, которая уже висела на шлюпобалке. Еще одну беременную женщину, а также женщину, у которой недавно произошел выкидыш, он сумел позднее разместить на одной из последних шлюпок — на сей раз уже без помощи сестры Хельги.

По словам матери, крен вскоре усилился настолько, что тридцатимиллиметровую кормовую зенитку вырвало из гнезда и она рухнула за борт, раскрошив вдребезги уже спущенную на воду шлюпку, битком набитую людьми. "Совсем рядом упала. Повезло нам..."

Итак, я покинул тонущий лайнер в материнской утробе. Наша шлюпка отвалила от него и, лавируя между плавающими живыми людьми и трупами, отошла на некоторое расстояние от кренящегося корабля, о котором — пока не поздно — мне хотелось бы поведать еще одну-другую историю. Например, о любимом всеми судовом парикмахере, собиравшем на протяжении нескольких лет все более редкие серебряные пятимарочные монеты. С этим кошелем на брючном поясе он и прыгнул в море, серебреники тут же потянули на дно... Но нет, рассказывать мне не дают...

Мне советуют быть более лаконичным, точнее, мой Заказчик настаивает на этом. Поскольку, дескать, у меня все равно нет слов для тысяч смертей в недрах корабля и в ледяных волнах, для немецкого реквиема, для этой морской "пляски смерти", то следует изъясняться менее многословно, а лучше сразу перейти к делу. Он имеет в виду мое появление на свет.

Но пока этот момент еще не наступил. Люди в той шлюпке, где сидела мать без родителей и без каких-либо вещей, но зато с приостановленными схватками, могли видеть на все большем удалении при каждом взлете волны накренившийся и тонущий лайнер. Судно сопровождения также держалось из-за сильного шторма несколько в стороне, обшаривая прожекторами палубные надстройки, застекленную прогулочную

палубу, накренившуюся солнечную палубу, поэтому со спасательной шлюпки было видно, как люди по отдельности или целыми гроздьями падали за борт. А поблизости мать и остальные, все, кто хотел это видеть, могли увидеть, как плавают спасательные жилеты, иногда в них барахтались живые люди, которые кричали пронзительно или уже ослабевшими голосами, умоляя взять их в шлюпку, а среди них качались уже мертвые, похожие на уснувших. Ужаснее всего, по словам матери, был вид мертвых детей: "Все они падали с корабля головками вниз. Так они и застряли в своих громоздких жилетах ножками вверх..."

Позднее, когда ученики бригады столяров или очередной сожитель матери спрашивали ее, отчего у нее, совсем еще молодой женщины, так побелели волосы, она отвечала: "Это произошло, когда я деток увидела, как они вниз головками плавали..."

Возможно, только тогда или именно тогда она испытала настоящий шок. В мои ранние детские годы, когда матери было всего лет двадцать, ее короткие белые волосы служили ей чем-то вроде трофея. Всякий раз, когда о них заходил разговор, она затрагивала тему, запрещенную в рабоче-крестьянской стране: "Вильгельм Густлофф" и его гибель. Порой как бы мимоходом и осторожно она упоминала и советскую подлодку с тремя торпедами, причем в этих случаях мать выражалась несколько выспренне, называя командира С-13 и его экипаж "героями советского флота, с которыми наших трудящихся связывает нерушимая дружба".

В то время, когда, по словам матери, ее волосы внезапно побелели — это было примерно через полчаса после торпедных попаданий, — экипаж ушедшей на глубину подлодки замер, ожидая глубинных бомб, однако атаки не последовало. Не приближались шумы корабельных винтов. Не было ничего, что напоминает обычные драматические сцены в фильмах про подводников. Только акустик Шнапцев, обязанный с помощью наушников регистрировать все внешние шумы, слышал звуки, доносившиеся из корабельных недр: скрежет, с которым блоки двигателей вылезали из креплений, треск, с которым после короткого скрипа рушились под напором воды переборки, а также другие звуки, плохо поддающиеся идентификации. Все это он вполголоса докладывал командиру.

Тем временем была обезврежена посвященная Сталину торпеда, застрявшая во втором пусковом аппарате, на подлодке в соответствии с приказом командира воцарилась тишина, поэтому акустик смог уловить помимо звуков, доносившихся из гибнущего и безымянного для него корабля, отдаленный шум винта — это медленно двигалось судно сопровождения. Отсюда опасности ждать не приходилось. Человеческих голосов акустик не различал.

Это был миноносец, который на малых оборотах удерживал позицию, подбирая из воды спасательными стропами, укрепленными на леерных ограждениях, живых и мертвых. Единственный маленький катер обледенел, к тому же у него не заводился мотор, поэтому им нельзя было воспользоваться для спасательных работ. Вся надежда оставалась только на стропы. Таким образом на борт подняли около двух сотен уцелевших.

Когда в свете поисковых прожекторов миноносца "Лёве" появились первые спасательные шлюпки, с трудом сумевшие отойти от накренившегося и тонущего лайнера, оказалось, что из-за высокой волны им очень трудно пришвартоваться к миноносцу. Мать, сидевшая в одной из

таких шлюпок, рассказывала: "Иногда волна подымала нас так высоко, что с гребня мы смотрели вниз на "Лёве", а затем мы падали в провал, и тогда "Лёве" взлетал над нами..."

Лишь на несколько мгновений спасательные шлюпки поднимались на уровень леерных ограждений миноносца, за это время иногда удавалось переправить туда со шлюпки нескольких человек. Если прыжок не получался, человек исчезал в прогале между бортами. Матери повезло, она попала на борт этого военного судна, водоизмещение которого насчитывало всего 768 тонн; оно сошло со стапелей норвежской верфи в 1938 году под названием "Гиллер", числилось в норвежском флоте, но после оккупации Норвегии в 1940 году отошло как трофей немецкому военно-морскому флоту.

Как только два матроса перенесли на борт миноносца с упомянутой предысторией мать, потерявшую при этом обувь, едва они закутали ее в одеяло и поместили в каюту вахтенного механика, у матери вновь начались схватки.

Хорошо бы поиграть в исполнение желаний! Нет, я не хочу уклоняться от темы, как меня в этом подозревает сами знаете кто; однако, если бы у меня был выбор, я бы предпочел не быть рожденным матерью на миноносце "Лёве", а стать тем найденышем, которого через семь часов после того, как затонул "Вильгельм Густлофф", спас малый дозорный корабль VP-1703. Это произошло, когда другие пришедшие на помощь корабли, особенно миноносец Т-36, пароходы "Готенланд" и "Гёттинген", выловили из бушующей ледяной каши, среди льдин и мертвых тел немногочисленных уцелевших.

Капитану малого дозорного судна VP-1703, находившегося в Готенхафене, доложили о получении сигнала SOS, который непрерывно давал в эфир радист с "Лёве". Капитан сразу же вышел в море на своей проржавевшей посудине, но нашел уже лишь множество плавающих трупов. Тем не менее он продолжал обшаривать прожекторами водную поверхность, пока не поймал лучом вроде бы пустую шлюпку. Спустившись в нее, обермаат Фик обнаружил рядом с окоченевшими трупами женщины и девочки-подростка свернутый шерстяной плед, превратившийся в ледяной ком; сверток перенесли на VP-1703, отодрали ледяную корку, размотали, и появился тот младенец, которым хотел бы быть я, — сирота-найденыш, последний из спасенных с "Вильгельма Густлоффа".

Случайно именно в эту ночь на малом дозорном судне находился дежурный врач флотилии, который нащупал у младенца еле заметный пульс, тотчас начал делать искусственное дыхание, рискнул впрыснуть камфору и не успокоился, пока младенец — это был мальчик — не открыл глаза. Оценив возраст найденыша в одиннадцать месяцев, врач занес все подробности во временную метрику: отсутствие имени и фамилии, неизвестное происхождение, примерный возраст, день и время спасения, фамилию и звание спасителя.

Вот чего бы мне хотелось: чтобы родился я не тогда, когда это произошло на самом деле, не в тот фатальный день 30 января, а в конце февраля или начале марта сорок четвертого года, в каком-нибудь захолустном уголке Восточной Пруссии, мать — Безымянная, папаша — Неизвестный, приемный отец — мой спаситель, обермаат Вернер Фик, который при первой же возможности, а именно в Свинемюнде, отдал меня под присмотр своей супруги. Вместе с приемными родителями, ко-

торые сами были бездетны, я переселился бы по окончании войны в британскую оккупационную зону, в разбомбленный Гамбург. Но спустя год мы перебрались бы на родину Фика, в Росток, который относился к советской оккупационной зоне и тоже был разбомблен, зато там Фик сумел найти жилье. Дальше все пошло бы параллельным курсом к биографии матери, все было бы так же — пионерский отряд с флажком, марши Союза свободной немецкой молодежи, только пестовало бы меня семейство Фиков. Мне бы это вполне понравилось. Отец и мать голубили бы меня, найденыша, пеленки которого не обнаружили никакого намека на мое происхождение; рос бы я среди панельных застроек, звали бы меня Петером, а не Паулем, я учился бы на инженера-кораблестроителя, позднее имел бы до самой "бархатной революции" надежную работу в качестве конструктора на ростокской верфи "Вулкан" и через полвека после собственного спасения, досрочно став пенсионером, принял бы участие один или с моими постаревшими приемными родителями в состоявшейся в курортном городе Дампе встрече уцелевших при катастрофе "Вильгельма Густлоффа", где меня, тогдашнего найденыша, торжественно пригласили бы на сцену для всеобщего чествования.

Но кто-то, должно быть треклятое провидение, оказался против. Иного варианта мне не дали. Не предоставилось шанса уцелеть в качестве безымянной находки. Запись вахтенного журнала гласила, что в благоприятный момент незамужнюю Урсулу Покрифке, беременную на последних сроках, удалось эвакуировать со шлюпки на борт миноносца "Лёве". Даже отмечено точное время: двадцать два часа пять минут. Пока смерть продолжала собирать на бушующем море и в недрах "Вильгельма Густлоффа" свою богатую добычу, уже ничто не препятствовало матери разрешиться от бремени.

Лишь еще одно замечание: рождение мое не было единственным. В арии "Умри и возродись!"[1] оказалось еще несколько строф. И до, и после меня на свет появлялись младенцы. В частности, на миноносце Т-36 или на пароходе "Гёттинген", который подоспел позднее; имевший водоизмещение шесть тысяч тонн и принадлежащий северогерманской компании "Ллойд", он взял на борт в восточнопрусском порту Пиллау две с половиной тысячи раненых и более тысячи беженцев, среди них около сотни грудных детей. Во время плавания родились еще пятеро младенцев, последний — незадолго до того, как этот пароход, шедший в составе конвоя, достиг усеянного трупами места катастрофы, где уже почти смолкли крики о помощи. Но именно в тот момент, когда лайнер ушел под воду, через двадцать шесть минут после торпедных попаданий, вылез из материнской утробы только я один.

"Точно в ту минуту, когда потонул "Густлофф", — как утверждает мать, а я уточняю: когда "Вильгельм Густлофф", опускаясь носом и сильно кренясь на левый борт, затонул и одновременно перевернулся, причем с верхних палуб в бушующее море посыпались люди и штабеля спасательных плотов, все, что уже не могло удержаться, в ту секунду, когда, словно по неведомо откуда поступившему приказу, среди темноты, воцарившейся вокруг после торпедных попаданий, внезапно вспыхнуло пол-

1. Знаменитая строка из заключительной строфы стихотворения Гёте "Sehlige Sehnsucht": "Und solang du das nicht hast, / Dieses: Stirb und werde! / Bist du nur ein trüber Gast / Auf der dunklen Erde".

ное освещение, включая палубный свет, как это бывало в мирные годы и во времена круизов СЧР, когда глазам каждого зрячего предстала вся торжественная иллюминация, когда наступил конец всему, состоялись мои вполне нормальные роды на узкой койке офицера-механика; я вышел головой вперед, без каких-либо осложнений, или, по словам матери: "Выскочил без задержки, и все дела..."

Всего этого мать, находясь на корабельной койке, не видела. Ни торжественной иллюминации на накренившемся и тонущем лайнере, ни гроздьев человеческих тел, падающих с задравшейся кормы. Но матери запомнилось, что моим первым криком был заглушен тот донесшийся издалека тысячеголосый вопль, тот финальный вопль, который раздался отовсюду: из недр тонущего лайнера, с треснувшей застекленной прогулочной палубы, с захлестываемой волнами солнечной палубы, с быстро уходящего под воду носа, вопль разнесся над штормовым морем, где барахтались тысячи живых людей или дрейфовали, обмякнув в спасательных жилетах, мертвецы. Вопль раздался с заполненных или полупустых шлюпок, с плотиков, где теснились люди, они взмывали вверх на гребень вала и рушились вниз, в провалы, отовсюду несся этот вопль, к которому неожиданно присоединилась, создав жуть неимоверного двуголосия, корабельная сирена, чтобы так же внезапно умолкнуть. Это был неслыханный ранее коллективный вопль, о котором мать говорила и продолжает говорить: "Этот крик позабыть невозможно..."

Воцарившуюся потом тишину нарушало только мое хныканье. Но едва мне перерезали пуповину, умолк и я. Будучи свидетелем гибели лайнера, капитан миноносца зафиксировал точное время события в вахтенном журнале, после чего экипаж вновь принялся вылавливать из воды уцелевших.

Нет, все это неправда. Мать лжет. Уверен, что не на "Лёве"... Настоящее время было другим... Ведь уже тогда, когда вторая торпеда... И при первых схватках... Доктор Рихтер не делал укола, роды начались сразу... Все прошло гладко. На накренившемся столе. Все кренилось, когда я... Жаль только, что у доктора Рихтера не нашлось времени, чтобы заполнить от руки метрику: родился во столько-то часов и минут, на борту такого-то судна... Да, случилось это не на миноносце, а на чертовом лайнере, названном в честь Мученика, спущенном со стапелей, некогда белоснежном, весьма популярном, сулящем силу через радость, бесклассовом, трижды проклятом, переполненном людьми, покрашенном в серый военный цвет, пораженном торпедами, на до сих пор тонущем корабле родился я головою вперед и в накрененном положении. И уж только потом, когда новорожденному обрезали пуповину и завернули его в казенный шерстяной плед, мать с младенцем, опираясь на доктора Рихтера и старшую медсестру родильного отделения, перешла на участвовавший в спасательной операции миноносец.

Но ей не хочется, чтобы роды состоялись на "Вильгельме Густлоффе". Поэтому она выдумывает двух матросов, которые якобы занимались в каюте механика обрезанием моей пуповины. В следующий раз она вновь рассказывает о докторе, хотя тот на это время еще не находился на борту миноносца. Сама мать, которая обычно помнит все до мельчайших подробностей, колеблется в своих свидетельских показаниях, упоминая, кроме "двух матросов" и "дяди врача, который сделал укол", еще и третье лицо, активно способствующее принятию родов, а

именно капитана миноносца "Лёве" Пауля Прюфе: в этой версии он обрезал пуповину собственноручно.

Поскольку сам я не располагаю какими-либо данными, подверждающими ту или иную версию — я бы назвал их, скорее, "фантазиями на тему" моего рождения, — мне приходится руководствоваться фактами, изложенными Хайнцем Шёном, согласно которым доктор Рихтер попал на борт миноносца только после полуночи. Лишь тогда он сумел помочь при родах другого ребенка. Во всяком случае, достоверно то, что судовой врач "Вильгельма Густлоффа" выписал мне задним числом официальное свидетельство о рождении, датированное 30 января 1945 года без указания точного времени. Своим именем я обязан капитан-лейтенанту Прюфе. Мать настояла, чтобы меня назвали Паулем, "непременно так же, как звали капитана с 'Лёве'", а фамилию мне, разумеется, дали — Покрифке. Впоследствии и в школе, и в Союзе свободной немецкой молодежи, и среди знакомых журналистов за мною закрепилась кличка "Пепе", поэтому и свои статьи я подписываю инициалами "П.П"..

Кстати, мальчика, который родился на миноносце двумя часами позже меня, то есть уже 31 января, назвали по желанию его матери Лео — в честь корабля-спасителя.

Обо всем этом, о моем рождении, о тех людях, которые ему способствовали на том или ином судне, в Интернете не спорили; на сайте моего сына Пауль Покрифке вообще не упоминался, даже в виде инициалов. Насчет меня царило абсолютное молчание. Мой сын проигнорировал меня. В Сети меня не существовало. Зато вокруг еще одного судна, прибывшего в сопровождении миноносца Т-36 на место катастрофы в ту минуту, когда "Густлофф" затонул или чуть позже, вокруг тяжелого крейсера "Адмирал Хиппер", между Конрадом и его оппонентом, называвшем себя Давидом, разгорелись ожесточенные препирательства, которые получили отголоски глобального характера.

Фактические обстоятельства, действительно, таковы, что "Адмирал Хиппер", тоже переполненный беженцами и ранеными, на краткое время застопорил двигатели, но затем продолжил движение курсом на Киль. Претендуя на компетентность в военно-морских делах, Конрад заявлял, что последовавшее с миноносца предупреждение о возможной атаке вражеской подлодки являлось вполне достаточным основанием для тяжелого крейсера, чтобы уйти с места катастрофы, однако Давид возражал: "Адмирал Хиппер" мог хотя бы спустить некоторые из своих мотоботов и оставить их для участия в спасательной операции. Кроме того, совершив маневр возврата на прежний курс, эта махина водоизмещением в десяток тысяч тонн затем полным ходом пересекла район катастрофы, отчего, дескать, десятки людей, плававших в воде, попали под водовороты кильватерной струи, а в ряде случаев их разрубило корабельными винтами.

На это мой сын заверил, что точно знает: радары судна сопровождения не только установили присутствие в районе вражеской подлодки, сам Т-36 непосредственно подвергся атаке, но сумел увернуться от двух торпед. Давид же выступил с контраргументами, излагая их с такой убежденностью, будто самолично находился тогда под водой: мол, добившись успеха, советская подлодка убрала перископ и затаилась, а потому не могла выпустить ни одной торпеды, зато глубинные бомбы, сбрасываемые миноносцем Т-36, действительно детонировали, разры-

вая в куски тех, кто держался в воде на плаву благодаря спасательным жилетам и молил о помощи. То есть уже после трагедии в качестве ее эпилога состоялось новое массовое убийство.

Далее Сеть явила безграничные возможности современной коммуникации. К спору примешались другие, как местные, так и заграничные голоса. Пришла весточка даже с Аляски. Настолько актуальной оказалась тема гибели давно забытого корабля. Сигналом "'Густлофф' тонет!", приобретшим вполне современное звучание, сайт моего сына открыл для всего мира дискуссию, которой, даже по признанию Давида, "давно пора было состояться". Вот именно! Отныне каждый должен знать, что произошло 30 января 1945 года в районе Штольпебанк, и иметь возможность судить об этом; редактор сайта отсканировал карту Балтийского моря и весьма наглядно сумел указать маршруты всех кораблей, побывавших на месте трагедии.

К сожалению, оппонент Конрада не смог удержаться в конце глобально расширившейся перепалки от напоминаний о еще одном значении злополучной даты, а также о человеке, именем которого был назван корабль, охарактеризовав убийство партийного функционера Вильгельма Густлоффа студентом-медиком Давидом Франкфуртером "как факт, с одной стороны, прискорбный для его вдовы, но, с другой стороны, перед лицом страданий еврейского народа как необходимый и провидческий поступок"; более того, он увидел в победе маленькой подлодки над громадным лайнером продолжение "извечной битвы Давида с Голиафом". Далее в его сетевом выступлении патетика усилилась, в ход пошли даже выражения "родовое бремя исторического наследия" и "необходимость искупления". Он воздал хвалы снайперскому искусству командира подлодки С-13, назвав его достойным продолжателем дела меткого студента-медика: "Мужество Александра Маринеско и героизм Давида Франкфуртера никогда не будут забыты!"

Чат тут же захлестнули злобные тирады. "Еврейское отродье" и "лжецы, плетущие небылицы об Аушвице", были далеко не самой крепкой бранью. Если актуальной сделалась тема гибели лайнера, то не менее злободневным стал для Сети и клич "Бей жидов!". Потоки ненависти, водовороты злобы. Боже мой! Сколько же этого накопилось, сколько ищет выхода наружу, стремится стать реальным действием.

Впрочем, мой сын проявлял сдержанность. Его вопрос был сформулирован довольно вежливо: "А сам ты, Давид, не еврейских ли, случаем, кровей?" На что получил неоднозначный ответ: "Дорогой Вильгельм, если тебе угодно и если тебе станет от этого легче, можешь при первой же удобной возможности отправить меня в газовую камеру".

7

Черт его знает, кто обрюхатил мать. То она утверждает, будто дело было в Лангфуре на Эльзенштрассе, где они устроились с кузеном в сарае для пиломатериалов, то речь заходит о рядовом вспомогательной службы ВВС с зенитной батареи под Кайзерхафеном — "с видом на гору костей", то она снова вспоминает фельдфебеля, который якобы скрипел зубами при акте зачатия. Неважно, кто ее трахал, для меня любой из вариантов означал лишь одно: я родился и вырос без отца, чтобы со временем самому стать отцом.

Во всяком случае Ровесник матери, имевший с Туллой якобы лишь некоторое знакомство, готов мне объяснить вкратце превратности моей судьбы. По его мнению, мой крах в отношениях с сыном хотя и вполне очевиден, однако, если мне угодно, моя родовая травма может служить смягчающим обстоятельством при признании моей отцовской несостоятельности. Тем не менее, дескать, при всем интересе к разным предположениям приватного характера не следует отвлекаться и от фактической стороны излагаемых событий.

Большое спасибо! Увольте меня от подобных объяснений. Мне всегда были противны окончательные суждения. Знаю лишь одно: моя скромная персона существует на свете случайно, ведь в каюте капитана Прюфе, где раздался мой первый крик, смешиваясь с тем воплем, который кажется матери нескончаемым, на соседней койке лежали под одеялом три замерзших насмерть младенца. Потом к ним добавились другие синюшные трупики.

После того как десятитысячетонный тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" сделал разворотный маневр, разрубая своими винтами живых и мертвых и увлекая их своей кильватерной струей, поиски были продолжены. На помощь обоим миноносцам пришли другие суда, кроме пароходов еще и несколько тральщиков, один торпедолов и, наконец, дозорное судно VP-1703, спасшее уже упоминавшегося найденыша.

На этом спасения закончились. Теперь вылавливались только мертвецы. Младенцы, ножками вверх. В конце концов море над этой братской могилой успокоилось.

Я могу назвать цифры, но они неверны. Все очень приблизительны. Впрочем, цифры мало о чем говорят. Они в принципе противоречивы. Числа со множеством нулей вообще не укладываются в голове. Подсчитанное количество тех, кто находился на борту "Вильгельма Густлоффа", колебалось на протяжении десятилетий от шести тысяч шестисот до десяти тысяч шестисот человек; количество уцелевших также постоянно корректировалось: вначале говорилось о девяти сотнях, под конец о тысяче двухстах тридцати девяти спасенных. Без надежды на ответ можно задаться вопросом: жизнью больше или меньше, что это значит?

Да, погибли преимущественно женщины и дети; в неприлично очевидном большинстве спаслись мужчины, в том числе все четыре капитана. Петерсен, умерший вскоре после войны, первым позаботился о себе. Цан, ставший в мирные времена предпринимателем, потерял только своего пса Хассана. Ни в какое сравнение с примерно пятью тысячами утонувших, замерзших, затоптанных на трапах детей не идет количество рождений, зарегистрированных непосредственно до и сразу после катастрофы; меня вообще не надо брать в расчет.

Большинство уцелевших было высажено на берег в Заснице на острове Рюген, в Кольберге и Свинемюнде. В пути умерло немало из тех немногих, кто был спасен. Некоторое количество уцелевших и погибших было возвращено в Готенхафен, где оставшимся в живых пришлось дожидаться новых транспортных судов. Бои за Данциг шли с конца февраля, город горел, истекал потоками беженцев, которые до последней возможности заполняли пароходы, паромные баржи и рыбацкие катера, отходящие от причалов.

Миноносец "Лёве" прибыл в порт Кольберга ранним утром 31 января. Вместе с матерью, которая несла на руках запеленутого младенца, на берег сошел Хайнц Кёлер. Один из четырех переругавшихся ка-

питанов затонувшего лайнера, он — едва война закончилась — свел счеты с жизнью.

Больных, ослабевших, всех, у кого были обморожены ноги, увезли санитарные машины. Характерно, что мать причислила себя к тем, кто мог передвигаться самостоятельно. Каждый раз, когда в ее бесконечной истории дело доходило до эпизода с первым сошествием на берег, она говорила: "А ведь я почти босой была, в одних чулках, пока какая-то старуха, тоже беженка, не отдала мне из своего чемодана пару ботинок. Сидела она на телеге у обочины, даже не догадываясь, кто мы и что нам довелось пережить..."

Похоже, так оно и было. О гибели любимого лайнера из флотилии СЧР в Рейхе не сообщалось. Такие сообщения могли подорвать у населения стойкость духа. Ходили только слухи. Однако и у советского Главного командования нашлись какие-то причины не упоминать в ежедневных сводках об операциях Краснознаменного Балтийского флота про успех подлодки С-13 и ее командира.

Говорят, вернувшись в порт Турку, Александр Маринеско был весьма разочарован тем, что ему не устроили встречи, достойной героя, хотя за время последнего боевого похода он потопил двумя торпедами еще один корабль — бывший океанский лайнер "Генерал фон Штойбен". Атака кормовыми аппаратами состоялась 10 февраля. Корабль водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн, имевший на борту около тысячи беженцев и двух тысяч раненых — опять эти округленные цифры, — шел из Пиллау. Он затонул за семь минут, погружаясь носом. Спаслись примерно три сотни человек. Часть тяжелораненых лежали тесными рядами на верхней палубе быстро тонущего корабля. Вместе с койками они просто выпали за борт. Атака производилась с глубины боевого порядка с выдвинутым перископом.

Тем не менее Главное командование Краснознаменного Балтийского флота не спешило представить командира, добившегося двух замечательных побед и вернувшегося на своей подлодке на базу, к званию Героя Советского Союза. Оно медлило. Командир и экипаж напрасно ждали традиционного в таких случаях банкета с жареным поросенком и большим количеством водки, а война тем временем шла на всех фронтах дальше, приближаясь на померанском участке к Кольбергу. Поначалу мать и я оставались там, получив пристанище в школе, о которой мать вспоминала позднее, выражаясь так, как говорили в Лангфуре: "Там хоть тепло было. А крышка от дряхлой парты стала твоей первой люлькой. Я даже думала: вот как рано у меня сынок за учебу взялся..."

От артиллерийских обстрелов школа перестала быть пригодной для жилья, поэтому мы переселились в казематы. Город Кольберг имел историческую славу стойкой крепости. Со своих валов и бастионов он давал отпор войскам Наполеона, что натолкнуло Министерство пропаганды на идею создать на студии "Уфа" героический фильм под названием "Кольберг"[1] с Генрихом Георге и с другими кинозвездами. Этот цветной фильм демонстрировался во всех уцелевших от бомбежек кинотеатрах Рейха: геройское противостояние превосходящим силам противника.

1. Исторический фильм об обороне города-крепости Кольберг от наполеоновских войск в 1806 г. Съемки фильма были начаты по указанию Геббельса еще в 1942 г. Премьера фильма состоялась в Берлине 30 января 1945 г. Несмотря на трудности военного времени в съемках фильма были задействованы около 200 000 статистов и 6000 лошадей.

Теперь, в конце февраля, история Кольберга повторилась. Вскоре сам город, порт, морской курорт были окружены частями Красной армии и польской дивизией. Под сильным артиллерийским огнем началась эвакуация морем гражданского населения города и заполонивших его беженцев. Опять жуткая давка на всех причалах. Мать же категорически отказалась подниматься на борт какого бы то ни было корабля. "Меня бы тогда ни на одну посудину даже палкой не загнали..." — говорила она, когда кто-нибудь интересовался, как она выбралась из осажденного и горящего города с ребенком на руках. "Ну, щелочка-то всегда найдется",— отвечала она. Во всяком случае, и позднее, например во время бригадных вылазок на Шверинское озеро, она никогда не плавала на кораблях.

В середине марта мать с рюкзаком за спиной и со мною на руках пробралась через русские позиции, но возможно, что русские патрули и сторожевые посты проявляли сочувствие несчастной молодой женщине с грудным младенцем и просто давали нам уйти. Если я и называю себя на период нашего вторичного бегства грудным младенцем, то это верно не совсем: груди у матери были пустыми. Молока у нее не было. На миноносце выручила роженица из Восточной Пруссии, у которой молока оказалось больше чем достаточно. Затем помогла беженка, потерявшая в пути ребенка. Да и потом, пока мы находились в бегах и позднее, меня всегда кормили чужие груди.

К этому времени все города на померанском побережье были уже либо заняты противником, либо это вот-вот должно было произойти: Штеттин попал в окружение, Свинемюнде еще держался. Дальше на восток все города уже сдались: Данциг, Сопот, Готенхафен. Части советской Второй армии отрезали полуостров Хела; западнее, на Одере, уже шли бои за Кюстрин. А Кобленц, находящийся на слиянии Рейна и Мозеля, захватили американцы. В конце концов союзные войска перешли по мосту Ремагена на правый берег Рейна. На Восточном фронте группа армий "Центр" сообщала, что в Силезии некоторые участки удалось вернуть, однако положение крепости Бреслау[1] становилось все более критическим. К тому же не прекращались налеты американских и английских бомбардировочных соединений на крупные и средние города. Еще дымились, к радости английского маршала ВВС Хэрриса[2], руины Дрездена, а бомбы уже падали на Берлин, Регенсбург, Бохум, Вупперталь... Целями налетов неоднократно становились плотины водохранилищ. И всюду, превращая "натиск на Восток" в "натиск на Запад", шли беженцы, которые, собственно, не знали толком, куда им идти.

У матери тоже не было определенной цели, когда, неся на руках свое самое ценное имущество, то есть меня, постоянно ноющего из-за отсутствия материнского молока, она выбралась из Кольберга и очутилась между двух линий фронта; мать двигалась ночами, иногда ее подбирала какая-нибудь повозка или армейская полевая кухня, но обычно приходилось идти пешком среди тех, кто брел с постоянно уменьшающимся скарбом, и все чаще люди бросались наземь под обстрелом штурмови-

1. 30 января 1945 г. специальным приказом Гитлера ряд населенных пунктов и укреплений переводились на крепостное положение. Крепости не подлежали сдаче противнику. Наряду с Бреслау крепостью был объявлен, например, Кёнигсберг. Из-за ожесточенного сопротивления обе крепости были разрушены на 70 %.
2. Артур Треверс Хэррис, командующий британской бомбардировочной авиацией, отдал приказ подвергнуть интенсивной бомбардировке все немецкие города с населением свыше 100 000 человек независимо от их военно-стратегического значения.

ков, проносившихся на бреющем полете; она старалась уйти подальше от побережья, постоянно ища молодых матерей с избытком грудного молока, пока не дотащилась до Шверина. О своих странствиях она рассказывала мне то так, то эдак. Вообще ей хотелось пересечь Эльбу, двинуться дальше на Запад, но застряли мы именно здесь, в неразрушенной мекленбургской столице. Это было на исходе апреля, когда Вождь покончил с собой.

Позднее, будучи столярным подмастерьем, она, окруженная мужчинами, отвечала на расспросы о своих скитаниях: "Про это целый роман можно написать. Страшней всего были штурмовики на бреющем. Летят над самой головой, и тра-та-та-та... Только нам везло. Ведь сорная трава, как говорится, живуча..."

И тут уж она переходила к своей излюбленной вечной теме гибнущего корабля. Все остальное ее не волновало. Даже на тесноту нашего временного пристанища — а нас опять разместили в школе — мать особенно не жаловалась, поскольку к этому времени уже знала, что очутилась со своим сыночком Паулем в городе, где некогда родился человек, именем которого в казавшиеся мирными времена был назван тот злополучный корабль. Имя его встречалось здесь повсюду. Даже школа, где мы жили, носила его имя. В ту пору, когда мы прибыли в Шверин, это имя можно было встретить едва ли не на каждом шагу. Так, на южном берегу озера еще был цел сооруженный из валунов Мемориал героев, там красовался огромный гранитный камень, поставленный в честь Мученика в тридцать седьмом году. Уверен, именно поэтому мать и осталась в Шверине.

Примечательно, что с тех пор как гибель лайнера привлекла к себе — пусть с запозданием — столь большое внимание, будто состоялась совсем недавно, с тех пор как начались подсчеты, округления и уточнения количества смертей и, наконец, при сравнении было выяснено, что катастрофа "Титаника" унесла значительно меньшее число жизней, в тех краях всемирной Паутины, которые я обычно посещал, неожиданно воцарилась тишина. Я уж было подумал, что сервер моего сына дал сбой или же ему самому все это просто надоело, его перестала интересовать тема вечно тонущего корабля и, соответственно, он освободился от влияния со стороны матери. Но тишина оказалась обманчивой. Так же неожиданно появился его обновленный сервер с уже известной мне направленностью.

На сей раз преобладал иллюстративный материал. Посетителям предъявлялась фотография довольно невысокого качества, зато сопровождавшаяся пояснением, данным крупным шрифтом; на ней всем любопытствующим демонстрировался огромный гранитный камень, на котором виднелась руна жизни, а под ней готическими буквами было высечено имя Мученика. Рядом с фотографией размещались материалы, характеризующие его значимость: назывались ключевые биографические даты, перечислялись организаторские свершения, приводились сопровождавшиеся восклицательными знаками цитаты, указывались день и час его убийства на легочном курорте Давосе.

Будто по приказу или иному понуждению тут же объявился и Давид. Поначалу темой их диалога стал не памятный камень, а убийца Мученика. Давид, торжествуя, сообщал, что в марте сорок пятого в судьбе Давида Франкфуртера, отсидевшего более девяти лет, произошел счастливый поворот. После безуспешных попыток добиться пересмотра дела

бернские адвокаты Бруншвиг и Раас направили Большому совету кантона Граубюнден ходатайство о помиловании. Оппонент моего сына не мог не признать, что решение простить Франкфуртеру остаток от назначенного по приговору общего восемнадцатилетнего срока состоялось лишь 1 июня 1945 года, то есть уже после завершения войны. Швейцария выжидала, чтобы убедиться, что великодержавный сосед окончательно повержен. Освободив из тюрьмы Зенхоф, Давида Франкфуртера тут же выслали из страны, и он прямо от ткацкого станка решил отправиться в Палестину с надеждой на рождение государства Израиль.

Дальше спор между сетевыми оппонентами пошел в довольно сдержанных тонах. Конни великодушно заявил: "Ничего против Израиля не имею. Там еврею-убийце и место. Может, пользу принесет какому-нибудь киббуцу". Он даже выразил восхищение израильской армией. И уж полнейшее одобрение вызывала у него решимость Израиля демонстрировать свою твердость. Дескать, израильтянам не остается другого выбора. По отношению к палестинцам и другим мусульманам нельзя идти ни на малейшие уступки. Он бы только приветствовал, если бы все евреи, как этот убийца Франкфуртер, свалили бы в Землю обетованную, "тогда остальной мир очистился бы от евреев".

К этим чудовищным заявлениям Давид отнесся спокойно, он в принципе даже согласился с моим сыном. Судя по всему, его беспокоила безопасность проживающих в Германии еврейских сограждан, к которым он причислял и себя; по его словам, ожидать тут можно самого худшего, так как антисемитизм стремительно усиливается. Он, мол, опять подумывает об отъезде из страны. "Пожалуй, придется вскоре паковать чемоданы..." Пожелав счастливого пути, Конни намекнул, что был бы не прочь до отъезда повидать своего противника-приятеля, с которым до сих пор поддерживал только сетевые контакты: "Недурно было бы познакомиться, сойтись немножко поближе, причем хорошо бы это дело не откладывать..."

Он даже предложил место желательной встречи, хотя вопрос о дате оставил открытым. Встреча должна была состояться там, где раньше в Мемориале героев возвышался гранитный камень и где сегодня ничто не напоминает о Мученике, поскольку осквернители могил убрали и камень, и мемориал; словом, речь идет о том историческом месте, где в недалеком будущем необходимо восстановить памятник.

И опять разгорелся спор. Давид хотя и выразил готовность встретиться, но только не в этом проклятом месте. "Категорически протестую против твоего исторического ревизионизма..." Мой сын отвечал не менее громкой тирадой: "Кто забывает историю собственного народа, тот не достоин ее!" С этим Давид согласился. Потом они начали дурачиться. Даже обмениваться анекдотами. Например: в чем разница между электронной почтой и обычной? Ответа я так и не узнал, поскольку вышел из Интернета.

В последнее время я неоднократно бывал в тех местах. Последний раз пару недель назад. Казался себе преступником, которого тянет на место преступления, а еще чувствовал себя отцом, идущим по следу сына.

Из Мёльна, где мы с Габи так и не подобрали верных слов для разговора, направился в Ратцебург. Оттуда двинулся на восток через Мустин,

деревушку, за которой раньше дорога была закрыта и начиналась граница с ее "полосой смерти". До сих пор ряды старых каштанов, которыми обсажено шоссе, обнаруживают трехсотметровую прореху: деревьев нет ни слева, ни справа. Можно себе только представить, в сколь глубоко эшелонированной обороне нуждалось государство рабочих и крестьян для защиты собственных граждан.

После того как прореха осталась позади, за появившимися вновь по обеим сторонам дороги каштанами до самого горизонта простерлись поля Мекленбурга. Местность равнинная, совсем мало леса. За Гадебушем я свернул на новую объездную дорогу. Мимо мелькали рынки стройматериалов, большие универмаги, плоские комплексы авторынков, которые пытались обвисшими флагами оживить покупательский спрос. Дикий Восток! Лишь ближе к Шверину по бокам шоссе возникли низкорослые деревья, а местность стала слегка холмистой. Затем пошли довольно большие участки леса, я слушал третью программу радио: классическая музыка по заявкам.

Потом я свернул на сто шестое шоссе по направлению к Людвигслусту и въехал в разделенный на кварталы район панельной застройки Гроссер Дреш, где раньше проживали около пятидесяти тысяч граждан ГДР; здесь, в третьем квартале, я припарковал свою "мазду" рядом с памятником Ленину у поворота на Гагаринштрассе. Погода была сносной. По крайней мере, дождь не шел. Вокруг стояли жилые кварталы, уже санированные и выкрашенные в пастельные тона.

Каждый раз, когда я навещаю мать, меня удивляет, что сделанная эстонским скульптором здоровенная бронзовая фигура все еще сохраняется на своем месте. Взгляд Ленина хоть и устремлен на запад, однако скульптор не удостоил его какого-либо целеуказующего жеста. Засунув обе руки в карманы, будто остановившийся, чтобы передохнуть, прохожий, Ленин стоит на низеньком цоколе, в уголке гранитной ступеньки вмурована бронзовая табличка, где крупными буквами выгравировано напоминание о событии революционного характера: "ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ". Пальто имеет следы какой-то невыразительной надписи, сделанной спреем. Плечи слегка запятнал голубиный помет. Чистыми оказались только мятые брюки.

На Гагаринштрассе я задержался недолго. С одиннадцатого этажа из материнской квартиры с балконом открывается вид на соседнюю телебашню. Без ее кофе, как всегда чересчур крепкого, дело не обошлось. После ремонта панельных домов квартплата выросла, но это повышение, по словам матери, оказалось вполне терпимым. Об этом и зашел разговор, только об этом. Больше говорить нам было не о чем. Ее даже не заинтересовало, зачем — кроме краткого визита к ней — я еще прибыл в город множества озер: "Уж, во всяком случае, не из-за дня рождения Вождя!" Впрочем, дата моего приезда давала ей возможность угадать его цель, поэтому, приоткрыв мне дверь в комнату Конни, она не пустила туда, сказала: "Не стоит. Тут уж ничего теперь не поможет".

По Гамбургераллее, которая раньше называлась Лениналлее, я поехал к зоопарку, потом к району Амхексенберг, где оставил машину и с уверенностью лунатика нашел то самое место, за молодежной турбазой. Позади серого строения ранних пятидесятых годов крутым обрывом идет вниз обсаженный деревьями высокий южный берег Шверинского озера. Внизу, у самой кромки воды, виднелась дорожка Францозенвег, которой любят пользоваться пешеходы и велосипедисты.

Погода тем временем разгулялась. Хотя на апрель было еще не очень похоже. Солнышко, если пробивалось сквозь тучи, даже пригревало. Неподалеку от входа в здание турбазы лежали, будто ничего и не произошло, поросшие мхом обломки гранитных плит, оставшиеся от разрушенного мемориала. Между посаженными тогда деревьями разросся дикий худосочный кустарник. Отчетливо выделялся квадратный фундамент мемориала, лишь слегка присыпанный сверху землей, но если этот абрис легко угадывался, то вставшее поперек здание турбазы закрывало перспективу, поэтому вообразить, как выглядело продолжение мемориала, было уже невозможно. Слева от входной двери строгим шрифтом были выведены имя и фамилия Курта Бюргера, рядом ждал игроков стол для пинг-понга. На дверях висела покосившаяся табличка: "Закрыто с 9 до 16 часов".

Я долго стоял между замшелых гранитных обломков, на одном из которых даже сохранился рунический знак. Останки, из какого века?

Когда мы с матерью нашли прибежище в Шверине, здесь все еще было целым: рядами стояли валуны построенного нацистами Мемориала героев, высился большой гранитный камень с именем Мученика. Мать застала мемориал уже не очень ухоженным, хотя он и оставался на попечении партии, которая, впрочем, и сама приходила в упадок. Она рассказывала, что зашла сюда, к низеньким тогда дубам и букам, в поисках дров: "Там, где нас власти разместили, топить было нечем..." Многие женщины и дети занимались поисками топлива.

Еще до того, как 3 мая к Шверину сначала прорвались с плацдарма на Эльбе американские танки, а потом пришли англичане – "Это были настоящие шотландцы...", – нас перевели из довольно обветшавшего к концу войны района Шельфштадт, где мы жили в школьном подвале, на Лемштрассе. Здесь нас в принудительном порядке вселили в кирпичную хибару, крытую толем, которая находилась, естественно, на заднем дворе. До сих пор эта хибара стоит. У нас были две комнатушки и кухонька. Туалет во дворе. Нам даже поставили буржуйку. Вытяжная труба выходила в кухонное окно. Чтобы топить буржуйку – мать готовила на ней, – приходилось искать дрова по дальним окрестностям.

Так она добралась однажды до Мемориала. Даже когда в июне англичане ретировались, а вместо них пришла и надолго осталась Красная армия, валуны с высеченными именами и рунами еще долго продолжали стоять; русских это не волновало.

В соответствии с соглашением победителей, достигнутым в Потсдаме, мы очутились в советской зоне, для матери это был даже добровольный выбор, поскольку однажды она увидела на самом большом камне Мемориала, обращенном к озеру, знакомое ей имя: "Камень-то поставили в честь нашего Густлоффа..."

Во время моего последнего визита в Шверин я увидел меж обомшелых гранитных обломков на расколотом валуне остатки надписи, высеченной готическим шрифтом, и сумел разглядеть у самого скола буквы "гельм", сохранившиеся от имени и фамилии Вильгельм Даль; я не удержался от искушения представить себе, как мать занимается поиском дров, как она с вязанкой хвороста на плече обнаруживает еще целый Мемориал героев и входит в него. На полудюжине валунов она видит имена незнакомых ей, но наверняка заслуженных партийцев, среди них – Даль, руководитель округа Висмар. Вот она, маленькая, к тому же исху-

давшая, стоит перед четырехметровым гранитным камнем, но ее мыслей я угадать не могу, потому, видимо, что ее сбила с толку неожиданность — прочитанная надпись на камне, воздвигнутом в честь Мученика. Во всяком случае, насколько я знаю мать, она не оробела и спокойно вошла в Мемориал.

Он был сложен на ровной земле из гранитных блоков. На отполированных колоннах, обрамлявших Мемориал, неизвестный современный скульптор высек в виде барельефов огромные фигуры штурмовиков-знаменосцев. Кроме того, внутри Мемориала, не имеющего крыши, находились восемь бронзовых табличек с именами покойников. И все восемь раз рядом с датами рождения и смерти указывалась ее причина — "убит". Пол Мемориала был загажен. Это мне рассказывала мать: "Собаки гадили..."

Памятный гранитный камень в честь Вильгельма Густлоффа стоял отдельно от выстроенных рядами валунов на особом месте, которое хорошо просматривалось из Мемориала. С этого места открывалась широкая панорама озера. Но мать, наверное, смотрела в противоположную сторону. Впрочем, она никогда не брала меня на поиски дров. Пока она занималась этим, я оставался на Лемштрассе, где меня кормила грудью женщина, жившая по соседству, по фамилии Курбьюн. У матери и грудей-то почти не было, ни тогда, ни потом, только два острых кулечка.

Такая уж у памятников судьба. Одни сооружаются слишком поспешно, а потом, когда чрезвычайная героическая пора проходит, их убирают. Другие, как памятник Ленину на углу Гамбургераллее и Платерштрассе, продолжают стоять до сих пор. А вот памятник командиру подлодки С-13 был воздвигнут в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, всего около десяти лет назад, 8 мая 1990 года, то есть через сорок пять лет после окончания войны и спустя двадцать семь лет после смерти Маринеско: на треугольной гранитной стеле установлен крупный бронзовый бюст, запечатлевший без головного убора человека, которому со значительным опозданием было присвоено звание Героя Советского Союза.

Бывшие морские офицеры, вышедшие теперь в отставку, организовали в Одессе, Москве и иных городах общественные комитеты, которые упорно добивались восстановления справедливости по отношению к капитану-подводнику, умершему в 1963 году. В Кёнигсберге, как назывался Калининград до конца войны, его именем даже была названа набережная реки Преголь за областным музеем. Так она называется и до сих пор, а вот ведущая к бывшему Мемориалу героев шверинская Шлосгартеналлее, переименованная с тридцать седьмого года в Вильгельм Густлоффаллее, носит свое первоначальное название; то же самое можно сказать и о Лениналлее, которой после "бархатной революции" вернулось прежнее название Гамбургераллее и которая ведет мимо проявившего историческую стойкость памятника к району панельной застройки Гроссер Дреш. Адрес матери также сохранил свою верность памяти космонавта Гагарина.

Тут обращает на себя внимание определенный пробел. Именем студента-медика Давида Франкфуртера нигде и ничего не названо. Нет ни такой улицы, ни школы. Нигде убийце Вильгельма Густлоффа не поставили памятника. Нет и в Сети сайта, который призывал бы соорудить скульптурную группу "Давид и Голиаф", например, на месте события — в Давосе. А если бы враг-приятель моего сына и выступил в Сети с подоб-

ной инициативой, то ему наверняка пригрозили бы с соответствующих серверов, что на уничтожение памятника высылается спецкоманда бритоголовых.

Собственно, так было всегда. Ничто не вечно. Хотя окружное руководство НСДАП и лично обер-бургомистр Шверина приложили сразу после убийства Густлоффа немало сил к тому, чтобы Мемориал героев встал навеки. Уже в декабре тридцать шестого, когда в швейцарском кантоне Кур завершился процесс над Франкфуртером и был вынесен приговор, на полях Мекленбурга начались поиски валунов, чтобы выложить из них ограду Мемориала. В распоряжении говорилось: "Для указанной цели необходимы природные камни любых размеров, таковые камни надлежит собирать на полях в окрестностях Шверина..." А из письма гаушулюнгсляйтера Роде следует, что столица округа Шверин чувствует себя обязанной оказать финансовую поддержку окружному партийному руководству "суммой до 10 000 рейхсмарок".

Когда к 10 сентября 1949 года ликвидация Мемориала и перенос праха и урн были по существу завершены, то связанные с этим расходы оказались гораздо меньше, ибо в тексте официального письма под денацифицированной шапкой обер-бургомистр сообщал: "Затраты, выставляемые в счет земельному правительству на предмет их возмещения, составили 6096,75 марок..."

Правда, здесь же указывалось, что "прах Вильгельма Густлоффа" перенести на городское кладбище не удалось, так как: "Урна Г., по свидетельству мастера-каменщика Крёпелина, вмурована в фундамент памятного камня. Изъятие урны представляется в настоящее время невозможным..."

Данное "изъятие" произошло лишь в начале пятидесятых, когда приступили к строительству молодежной турбазы, названной в честь недавно умершего антифашиста Курта Бюргера. К этому времени герой-подводник Маринеско уже три года находился в Сибири.

Вскоре после прибытия подлодки С-13 в финский порт Турку у ее капитана, который надеялся на почести, едва ли не при первом же выходе на берег начались проблемы. Хотя дело, заведенное на него в НКВД и пока не дошедшее до суда, представляло для него серьезную опасность, он, как в трезвом виде, так и разгоряченный алкоголем, продолжал сражаться за признание собственных героических заслуг. Правда, подлодку С-13 наградили орденом Красного Знамени, а все члены экипажа получили орден Отечественной войны, а также орден Красного Знамени, на котором красовались звезда с серпом и молотом, однако звания Герой Советского Союза Александр Маринеско так и не удостоился. Более того, в официальных сводках Краснознаменного Балтийского флота по-прежнему отсутствовало упоминание об уничтожении двадцатипятитысячника "Вильгельм Густлофф", ни слова не говорилось и о потоплении "Генерала фон Штойбена".

Дело выглядело так, будто носовые и кормовые аппараты подлодки безрезультатно выстрелили фантомными торпедами по несуществующим целям. Почти двенадцать тысяч душ, которые должны были бы значиться на личном счету командира, во внимание не принимались. Неужели главное флотское командование устыдилось столь большого и поддающегося лишь приблизительной оценке количества погибших детей, женщин и тяжелораненых? А может, успехи Маринеско затерялись

в победной эйфории последних месяцев войны, когда героических поступков совершалось великое множество? Во всяком случае, его шумная настойчивость не могла быть неуслышанной. Он не упускал ни малейшей возможности громогласно заявлять о своих победах. Это надоело.

В сентябре сорок пятого его лишили командования подлодкой, вскоре разжаловали в старшие лейтенанты, а в октябре уволили из военно-морского флота, обосновав эти три ступеньки последовательного унижения ссылкой на халатное отношение к исполнению служебных обязанностей.

После неудачной попытки устроиться в торговый флот – его признали якобы близоруким на один глаз – Маринеско нашел работу в качестве заведующего складом стройматериалов. Прошло совсем немного времени, и он, не предоставив достаточного количества убедительных доказательств, обвинил директора своего предприятия как в получении взяток, так и в даче взяток партийным функционерам, а также в спекуляции стройматериалами; в ответ против самого Маринеско были выдвинуты обвинения, что он, руководствуясь корыстными мотивами, раздавал материалы, пришедшие лишь в частичную негодность, чем нарушил закон. Особое судебное заседание приговорило его к трем годам лагерей.

Его отправили на Колыму, в те места "Архипелага ГУЛАГ", будни которых описаны в литературе. Лишь спустя два года после смерти Сталина Сибирь осталась для него позади, по крайней мере в географическом отношении. Он вернулся больным. Только в начале шестидесятых годов пострадавший герой-подводник был реабилитирован. Ему вернули звание капитана третьего ранга – правда, сейчас уже в отставке, – он получил право на пенсию.

А теперь мне опять придется вернуться назад. Поэтому скажу следующее. Когда на Востоке и на Западе объявили о смерти Сталина, я увидел мать плачущей. Она даже свечи зажгла. Мне было восемь лет, в школу не ходил из-за кори или какой-то другой хворобы, я стоял у кухонного стола, чистил вареную картошку, которую мы собирались есть с творогом и маргарином, и вдруг увидел, как мать при зажженных свечах оплакивает Сталина. Картошка, свечи и слезы были тогда дефицитом. За все годы моего детства и до самых старших классов шверинской школы я никогда не видел мать плачущей. Когда она выплакалась, взгляд у нее сделался отсутствующим, таким, какой хорошо известен и тете Йенни с детских лет. Во дворе столярной мастерской на Эльзенштрассе в Лангфуре говорили по такому поводу: "Опять у Туллы выбиты окошки".

Итак, вдосталь наплакавшись из-за смерти великого товарища Сталина и просидев довольно долго с отсутствующим видом, она принялась за вареную картошку с творогом и кусочком маргарина.

В ту пору мать уже стала мастером, возглавила на шверинской мебельной фабрике бригаду столяров, которая в плановом порядке выпускала спальные гарнитуры для братского Советского Союза, укрепляя тем самым дружбу народов. Хотя ее образ этих лет у меня несколько смутен, но вполне определенно можно сказать, что мать по сей день осталась сталинисткой, хотя в ответ на мои попытки в наших спорах развенчать ее героя теперь она уже только отмахивалась: "Ну и что, он тоже был всего лишь человеком..."

В ту пору, когда Маринеско знакомился с сибирским климатом и условиями пребывания в советских лагерях, мать хранила верность товарищу Сталину, а я, будучи пионером, гордился своим галстуком, Давид Франкфуртер, окончательно излечившись в тюрьме от костного заболевания, поступил на службу в израильское министерство обороны. Он женился. Позднее появились двое детей.

И еще кое-что произошло в эти годы: Хедвиг Густлофф, вдова убиенного Вильгельма, покинула Шверин. Теперь она жила на западе от внутригерманской границы, а именно в Любеке. Особняк из клинкерного кирпича по адресу Себастьян-Бахштрассе № 14, построенный супругами незадолго до убийства, был вскоре после войны национализирован. Я видел фотографию этой типичной солидной виллы, рассчитанной на одну семью, в Интернете. Мой сын додумался на своем сайте до требования вернуть несправедливо отнятое здание, чтобы устроить там "Музей Густлоффа", доступный для заинтересованной публики. Дескать, потребность в профессионально подобранных экспонатах и материалах простирается далеко за пределы Шверина. Он, впрочем, не возражал против того, чтобы слева от балконного выступа и окна сохранилась бронзовая табличка, оповещавшая о том, что с сорок пятого по пятьдесят первый год в этом национализированном здании проживал первый премьер-министр Мекленбурга, некий Вильгельм Хёккер. Не возражает он, дескать, и против окончания надписи: "после разгрома гитлеровского фашизма". Мол, это такой же неоспоримый факт, как и убийство Мученика.

Мой сын весьма умело справлялся с размещением на своем сайте иллюстративного материала, таблиц и документов. Например, я обнаружил здесь изображение как фронтальной, так и тыльной стороны большого памятного камня, установленного на южном берегу Шверинского озера. Он приложил немало стараний, чтобы рядом с фотографией камня поместить плохо различимую и потому специально увеличенную надпись, высеченную на тыльной стороне камня. Три строки, расположенные друг под другом.

Жил во имя Движения.
Убит евреем.
Погиб за Германию.

Поскольку в средней строке имя убийцы не называлось, а тем самым злодейскими убийцами объявлялись по существу все евреи, то можно предположить – и позднее такое предположение получило развитие, – что Конни отказался от односторонней фиксации на конкретной личности Давида Франкфуртера, решив продемонстрировать свою ненависть к "еврею как таковому".

Однако ни подобное объяснение, ни поиски других мотивов не смогли пролить достаточно света на событие, произошедшее 20 апреля 1997 года. Перед закрытой в эту пору молодежной турбазой, имевшей довольно запущенный вид, разыгралось нечто, чего нельзя было предвидеть, однако для такого финала замшелый фундамент бывшего Мемориала героев оказался более чем подходящей сценической площадкой.

Что подвигло виртуального Давида покинуть далекий Карлсруэ, где восемнадцатилетний гимназист, старший из троих сыновей, жил со сво-

ими родителями, чтобы во плоти отправиться на поезде в Шверин, откликнувшись на невнятно высказанное приглашение? Что подтолкнуло Конни к тому, чтобы перенести возникшую в Сети по существу виртуальную дружбу-вражду в реальность, то есть устроить настоящую встречу? Приглашение на эту встречу было так искусно запрятано среди прочего коммуникационного сора, что расшифровать его мог только извечный оппонент Давид.

После того как молодежная турбаза была отвергнута в качестве места встречи, обе стороны сумели найти компромисс. Решено было встретиться там, где Мученик родился. Неплохой вопрос для телевикторины, ибо на сервере моего сына не указывались ни соответствующий город, ни улица, ни номер дома. Однако подобного намека знатоку вполне хватило, а Давид, как и Конни, именовавший себя в Сети Вильгельмом, знал треклятую историю Густлоффа вплоть до мельчайших деталей самого идиотского характера. Во время приезда Давида в Шверин выяснилась, например, его осведомленность даже насчет того, что гимназия, где Густлофф проучился несколько лет, после смерти была названа в его честь, а во времена ГДР она стала общеобразовательной средней школой и была переименована в "Школу мира". Мой сын признавал не только значительную осведомленность своего оппонента, но и восхищался им как "фанатом точности".

Итак, погожим весенним днем они встретились на Мартинштрассе у дома № 2, на углу Висмаршештрассе. С тем, что назначенная дата имела особое значение, Давид молча согласился. Встреча произошла перед фасадом дома, недавно отремонтированного, чтобы забыть о запустении, царившем здесь долгие годы. Известно, что они обменялись рукопожатием, при этом Давид, шагнув навстречу долговязому Конраду Покрифке, назвал себя Давидом Штремплином.

По предложению Конни в качестве первого пункта совместной программы состоялась прогулка по городу. При осмотре района Шельфштадт гостю была показана как одна из достопримечательностей даже сохранившаяся на одном из задних дворов Лемштрассе кирпичная хибара, крытая толем, где мы ютились с матерью в послевоенные годы, а также частично обветшалые, частично уже отремонтированные фахверковые домики этого живописного квартала. Конни с такой уверенностью продемонстрировал Давиду все потайные уголки и места моих детских игр, будто речь шла о его собственном детстве.

После наружного и внутреннего осмотра церкви Санкт-Николаи настал, разумеется, черед Замка на Замковом острове. Экскурсия шла неспешно. Мой сын не подгонял гостя. Он даже предложил заглянуть в соседний музей, но предложение интереса не вызвало, Давид вдруг проявил нетерпение и захотел увидеть, наконец, территорию молодежной турбазы.

Тем не менее во время прогулки по городу они решили передохнуть. В итальянском кафе-мороженом каждый съел порцию мороженого. Конни гостеприимно расплатился за обоих. Давид Штремплин был также настроен вполне дружелюбно, не без некоторой иронии он рассказал о своих родителях, физике-атомщике и учительнице музыки. Готов спорить, что мой сын ни словом не обмолвился об отце и матери, зато наверняка счел важным хотя бы намеками поведать историю о том, как некогда спаслась его бабушка.

Затем разнорослые друзья-враги – Давид был пошире в плечах, но на голову ниже, – они отправились наконец через Замковый парк мимо Шлифовальной мельницы, прошлись по Шлосгартеналлее, которая благодаря ослепительно белым виллам стала весьма дорогим кварталом, затем повернули на дорожку Вальдшульвег, ведущую к месту преступления – поляне, закрытой деревьями. Поначалу все складывалось вполне мирно. Давид Штремплин похвалил вид на озеро. Если бы на стоявшем перед молодежным комплексом столе для пинг-понга нашлись ракетки, то, возможно, Конни и Давид сыграли бы партию; оба страстно увлекались настольным теннисом, поэтому вряд ли упустили бы представившийся случай. Может, перекинулись бы шариком через сетку, и события этого дня развернулись бы совсем иначе.

И вот перед ними, так сказать, кусок истории. Но даже замшелые обломки гранита и фрагмент валуна с высеченной руной и остатками имени еще не послужили поводом для столкновения. Они даже рассмеялись в два голоса над белкой, скакавшей от одного бука к другому. Лишь когда они встали на фундамент бывшего Мемориала героев и мой сын принялся объяснять гостю, где стоял большой памятный камень – позади здания турбазы, которого тогда не было, лишь тогда, когда он обрисовал жестом расположение камня, а потом сказал, где на его лицевой части находилось имя Мученика, и продекламировал все три строки, которые были высечены на тыльной стороне, Давид Штремплин якобы произнес "Мне как еврею приходит здесь в голову только вот что", после чего он трижды плюнул на замшелый фундамент, то есть на место поминовения, которое, по словам моего сына, сказанным позднее, было этим "осквернено".

Сразу же раздались выстрелы. Несмотря на солнечную погоду, Конни был в просторной теплой куртке с откинутым капюшоном. Вытащив из кармана ствол, он выстрелил четыре раза. Это был пистолет российского производства. Первый выстрел пришелся в живот, остальные в голову, в шею и опять в голову. Давид беззвучно рухнул на спину. Позже моему сыну было важно уточнить, что он попал столько же раз, сколько в свое время это сделал еврей Франкфуртер в Давосе, вот только стрелял в отличие от того не из револьвера. Подобно Франкфуртеру, он сам сообщил о происшествии из ближайшей телефонной будки, набрав номер экстренного вызова 110. Не возвращаясь на место преступления, он направился в соседний полицейский участок, где добровольно сдался со словами: "Я стрелял, потому что являюсь немцем".

По дороге туда навстречу ему пронеслась полицейская патрульная машина и "скорая помощь", обе с синими мигалками. Только помощь для Давида Штремплина уже опоздала.

8

Он, претендующий на то, что досконально знает меня, утверждает, будто я не знаю моей собственной крови и плоти. Возможно, доступ в его самые потаенные узилища мне и впрямь закрыт. Или мне самому не хватило проницательности, чтобы разгадать тайны собственного сына? Лишь начавшийся судебный процесс сделал мне сына ближе, пусть не настолько, чтобы прикоснуться к нему, но хотя бы настолько, чтобы по-настоящему расслышать его, не рискнув, однако, воспользоваться этой близостью для выкриков с места, куда вызывают свидетелей, для ободр-

ряющих слов, вроде "Отец с тобой, сынок!" или "Не надо долгих речей, объясняйся покороче!"

Вероятно, поэтому Старик настойчиво твердит о моем "запоздалом отцовстве". Все, до чего я дохожу по траектории краба, в чем я довольно искренне исповедуюсь или в чем, словно по принуждению, признаюсь, совершается, по его мнению, "задним числом и из-за угрызений нечистой совести".

И вот теперь, когда все мои усилия действительно можно перечеркнуть резолюцией "Слишком поздно!", он принялся копаться в собранных материалах, огромной кипе записок, пытаясь выяснить, что произошло с материнской лисой. Эта лиса показалась ему, моему Заказчику, вдруг чрезвычайно выразительной деталью: я, видите ли, должен не держать про себя кучу разрозненных заметок, а раскопать в них и связно изложить историю сей украшавшей Туллу лисы, хотя лично мне подобный предмет туалета глубоко ненавистен.

Все верно. У матери с давнишних времен имеется лиса, которую она носит до сих пор. Ей было лет шестнадцать, когда она, трамвайная кондукторша в пилотке и с блоком отрывных билетов, ездившая по маршрутам № 5 и № 2, получила на остановке Хохштрис этот уже обработанный скорняком целехонький лисий мех в подарок от одного старшего ефрейтора, которого дополнительно приходится также занести в список моих потенциальных отцов. "Он прибыл в Оливу с Северного фронта, получил отпуск по ранению" — вот и все, что было и остается известным о моем возможном родителе, поскольку ни упоминавшемуся выше Харри Либенау, ни какому-либо другому недорослю из вспомогательных частей ВВС никогда не пришло бы в голову подарить матери лисий мех.

Этот теплый мех был у нее на плечах, когда семейство Покрифке поднялось на борт "Густлоффа". Мех грел ее и тогда, когда лайнер отчалил от берега, а беременная Тулла, которую поддерживал молоденький матрос-новобранец, отважилась шаг за шагом одолеть обледенелую солнечную палубу. Лиса лежала у нее под рукой рядом со спасательным жилетом и в родильном отделении, когда доктор Рихтер сделал Тулле укол, чтобы приостановить начавшиеся схватки после попадания третьей торпеды. А потом у нее и вовсе ничего не сохранилось, даже рюкзак потерялся, остались только спасательный жилет да лиса, обмотанная вокруг шеи, когда мать, еще не ставшая таковой, спустилась в шлюпку, причем лису она намотала на себя даже до того, как надела спасательный жилет.

Так, без обуви, но зато с лисой на плечах, она оказалась на миноносце "Лёве". И лишь во время начавшихся родов, то есть в ту минуту, когда "Густлофф" пошел носом ко дну, а потом завалился на бок и вопль десяти тысяч человек смешался с моим первым криком, свернутая лиса лежала рядом с матерью. Но потом, когда мать, ставшая в одночасье беловолосой, с младенцем на руках, покинув миноносец, сошла в Кольберге на берег, она хоть и была в чулках, но шею ее по-прежнему петлей захлестывала лиса, которую не смог бы выбелить никакой шок.

По уверениям матери, в долгие дни бегства от русских она закутывала меня лисой, чтобы спасти от жуткого мороза. Без этой лисы я наверняка замерз бы в толпе беженцев, застрявшей перед мостом через Одер. Только лисьему меху — да еще избытку молока у участливых женщин — я обязан, дескать, жизнью. "Без лисы быть бы тебе ледышкой..." А старший ефрейтор, подаривший ей лису, выделанную якобы варшавским

скорняком, сказал матери на прощанье: "Кто знает, девочка, на что она тебе пригодится".

В мирные же времена, когда мерзнуть нам уже не приходилось, рыжий лисий мех принадлежал исключительно ей и хранился в шкафу уложенным в картонку из-под обуви. Надевала она его при каждом подходящем, а то и при совсем неподходящем случае. Например, при получении диплома мастера или при вручении почетного знака "Заслуженный активист" и даже просто на коллективных вечерах отдыха, которые устраивались мебельным комбинатом. Когда же рабоче-крестьянское государство мне осточертело и я решил удрать на Запад через Восточный Берлин, она надела лису, провожая меня на вокзал. Потом минула целая маленькая вечность, граница перестала существовать, мать вышла на пенсию, и на первую же общегерманскую встречу уцелевших после катастрофы "Густлоффа", состоявшуюся на морском курорте Дамп, мать приехала все с тем же лисьим мехом, который подлежал бережному и постоянному уходу; это весьма выделяло ее на фоне пожилых ровесниц, разряженных по последней моде.

Явившись в первый день судебного процесса на открытие, в ходе которого было лишь зачитано обвинение, а мой сын безусловно признал свое преступление, хотя ни в чем не намеревался раскаиваться ("Я сделал лишь то, что должен был сделать!"), и демонстративно заняв место не там, где Габи и я поневоле оказались вместе, а рядом с родителями убитого четырьмя выстрелами Давида, мать, разумеется, вновь пришла с лисою, захлестнувшей петлей ее шею. Остроносая лисья морда впилась в основание хвоста, поэтому очень похожие на настоящие стеклянные глаза, один из которых потерялся во время вынужденных скитаний и позднее был заменен, оказались расположенными наискось по отношению к серым материнским глазам, так что на скамью подсудимых или на судейские кресла постоянно вперялся двойной взгляд.

Я всегда испытывал неловкость, когда она наряжалась столь старомодно, тем более что лисий мех благоухал не "Тóской", любимыми духами матери, а в любой сезон источал резкий запах нафталиновых шариков, да и выглядела лиса все-таки уже довольно потертой. На второй день судебного процесса мать вызвали в качестве свидетеля защиты, она вышла к стойке и тут произвела впечатление даже на меня: поджарая, словно сидящая на диете дива, с рыжей лисой, контрастирующей с ее белыми волосами, она предварила свои первые ответы словами "Клянусь говорить...", хотя ее вовсе не собирались приводить к присяге, после чего она без видимого волнения сообщила все, что имела сказать, прибегнув, правда, к несколько выспреннему слогу.

В отличие от Габи и меня, воспользовавшихся правом не давать никаких показаний, мать проявила откровенность. Обращаясь к суду, который состоял из трех судей, то есть одного председателя и двух заседателей, а также из двух шеффенов[1] по делам несовершеннолетних, она говорила так, будто ожидала чуда. Когда прокурор по делам несовершеннолетних начал задавать ей вопросы, все прислушались: "Да, это ужасное событие болью отозвалось и в моем сердце. Ощущение такое, будто сердце рассечено огненным мечом. Или разбито огромным кулаком".

1. Общественные заседатели в судах по делам несовершеннолетних.

На процессе в большой палате по делам несовершеннолетних, который состоялся в шверинском земельном суде на Дремлерплац, мать выглядела душевно сломленной. Прокляв судьбу, она стала разбираться с правыми и виноватыми, разругала обоих родителей за неспособность к любви, зато с похвалою отозвалась о своем внуке, которого сбили с толку злые силы и эта дьявольская штуковина, компьютер, ибо сам по себе внук всегда был прилежен и вежлив, более чем опрятен, неизменно отличался готовностью помочь и пунктуальностью, которая сказывалась отнюдь не только в том, чтобы вовремя явиться к ужину. Она сказала, что с тех пор как внук начал навещать ее, а потом и жить у нее — а эта радость выпала ей, когда ему исполнилось пятнадцать, — она и сама привыкла планировать распорядок дня с точностью до минуты. Да, она признает: компьютер и всяческие принадлежности к нему были, к сожалению, ее подарком. Но не потому, что бабушка слишком уж баловала внука, совсем наоборот. Поскольку он всегда бывал очень скромен и неприхотлив, она с удовольствием исполнила его желание иметь эту новомодную штуковину. "Ведь он никогда ни о чем не просил!" — воскликнула она и заметила: "Мой Конрадхен часами возился с компьютером".

Покончив с проклятьями в адрес новомодных соблазнов, она вернулась к своей всегдашней теме. К кораблю, судьба которого до сих пор никого не волновала, а вот внук не уставал расспрашивать ее об этом. Правда, Конрадхен не только интересовался "гибелью замечательного лайнера СЧР, заполненного женщинами и детками", и не только расспрашивал об этом свою бабушку, уцелевшую в катастрофе, он затеял — не в последнюю очередь по ее желанию — большое дело, а именно принялся распространять по всему миру, вплоть до Австралии и Аляски, с помощью подаренного компьютера то огромное количество свидетельств, "все мельчайшие подробности", которые он насобирал. "Ведь это ж не запрещено, господин судья, а?" — воскликнула она и поправила лисью голову, сдвинув ее на середину.

Об убитом она лишь вскользь заметила, что ее Конрадхен познакомился с ним "через компьютер"; лично он этого мальчика не знал, однако подружился с ним, хотя оба частенько спорили; она же радовалась этой дружбе, потому что внучок ее всюду слыл нелюдимым и одиночкой. Такой уж он уродился. Даже его отношения с девочкой из Ратцебурга, которая "работает помощницей у зубного врача", были довольно деликатными, "во всяком случае никакого секса там не было", это уж ей доподлинно известно.

Это и многое другое сказала мать в качестве свидетельницы защиты, выступая сдержанно и стараясь говорить на вполне литературном немецком языке. Суд услышал от нее, что Конрад "был очень щепетилен во всех вопросах, которые касались совести", что он "отличался непреклонной приверженностью истине", а также "несокрушимой гордостью за Германию". По словам матери, она довольно безразлично относилась к тому, что компьютерный приятель Конрада был евреем; однако когда прокурор по делам несовершеннолетних тут же заметил, что согласно давно известным и приобщенным к делу документам родители убитого евреями не являлись, так как его отец, господин Штремплин, родился в семье вюртембергского пастора, а его супруга принадлежит к насчитывающему множество поколений роду баденских крестьян, мать заметно разволновалась. Она принялась теребить лисий мех, на несколько се-

кунд ее взгляд принял отсутствующее выражение, после чего воскликнула: "Это ж надувательство! Мой Конрадхен ведать не ведал, что этот Давид окажется поддельным евреем. Ведь тот себе морочил голову и нас дурачил, при любой возможности выдавал себя за истинного еврея, вечно твердил о нашем позоре..."

После того как она назвала убитого лжецом и мошенником, председательствующий судья лишил ее слова. Конни, который до тех пор выслушивал лисьи уверенья матери с легкой улыбкой, не выразил ни испуга, ни разочарования, когда прокурор по делам несовершеннолетних предъявил, по его ироническому выражению, "справку об арийском происхождении" Вольфганга Штремплина, в Сети называвшего себя Давидом. Со спокойной уверенностью мой сын прокомментировал данное обстоятельство, известное ему и ранее, так: "Сути дела это не меняет. Мне самому надлежало принять решение, говорил ли и действовал ли человек, известный мне под именем Давид, как еврей или нет". На вопрос председателя, доводилось ли Конраду когда-либо, будь то в Мёльне или в Шверине, встречать настоящего еврея, он с твердостью ответил отрицательно, но добавил: "Для моего решения это не имело значения. Я стрелял из принципа".

Затем речь зашла о пистолете, который после выстрелов был выброшен моим сыном в воду с высокого южного берега Шверинского озера и о котором ранее мать лишь коротко заметила: "Да как я могла его найти, господин прокурор? Ведь Конрадхен всегда сам убирал свою комнату. Считал это своей обязанностью".

На вопрос об оружии сын ответил, что пистолетом – ТТ калибра 7,62 с советских армейских складов – обзавелся уже полтора года назад. Это понадобилось из-за угроз, которым он подвергался со стороны молодых мекленбургских праворадикалов. Нет, никаких имен он назвать не собирался и не собирается. "Моих прежних соратников я не выдам!" Поводом для угроз послужило давнее выступление, сделанное по приглашению группы соратников национальной ориентации. Тема выступления – *Судьба лайнера СЧР "Вильгельма Густлоффа". От стапелей до гибели*, – видимо, показалась некоторым слушателям, "идиотам, которые к тому же находились под воздействием большого количества выпитого пива", слишком занудной. Особенно разозлила бритоголовых его объективная оценка весьма успешных с военной точки зрения действий командира советской подлодки, который нанес торпедный удар из очень рискованной позиции. Кое-кто из этих громил обзывал его потом "другом русских", не раз приставал к нему прямо на улице и даже нападал. "Тогда мне стало ясно, что при встречах с этими примитивными нацистами нельзя оставаться безоружным. Разговоры тут бесполезны".

Это выступление, которое состоялось выходным днем в начале 1996 года в шверинской пивной, где собиралась вышеупомянутая группа, а также два других выступления, которые не были разрешены, однако имелись у суда в письменном виде, сыграли для дальнейшего хода судебного процесса особую роль.

Что касается одного из неразрешенных выступлений, то тут мы оба дали маху. Габи и я обязаны были знать, что, собственно, творится в Мёльне. Однако мы оставались слепыми. Ей, как учительнице, пусть в другой школе, наверняка стало известно, что сыну не позволили сделать доклад на рискованную тему, аргументировав это "вредной тенденциозностью";

да, признаться, и мне следовало побольше интересоваться собственным сыном.

Например, хотя по профессиональным причинам мои визиты в Мёльн стали нерегулярными, однако их можно было бы спланировать так, чтобы задать кое-какие вопросы на родительском собрании, даже если бы разгорелся спор с каким-либо тамошним узколобым педагогом. Мог бы спросить: "В чем смысл такого запрета? Где же ваша терпимость?" или что-нибудь в этом роде. Пожалуй, доклад Конрада, озаглавленный *Положительные аспекты в деятельности национал-социалистической организации "Сила через радость"*, несколько оживил бы скучные уроки обществоведения. Но я родительских собраний не посещал, а Габи оправдывалась нежеланием осложнять и без того непростую ситуацию своих коллег-учителей субъективными материнскими протестами, тем более что она сама "решительно возражала против любой недооценки коричневой псевдоидеологии" и всегда отстаивала перед сыном свои левые взгляды, хотя, правда, и не проявляла должного терпения.

Ничто нас не оправдывает. Нельзя все спихивать на мать и косность школьных учителей. Пока шел судебный процесс, моей бывшей супруге и мне — она, впрочем, нередко ссылалась на ограниченные возможности педагогики — пришлось признать, что мы допустили серьезную ошибку. Ах, лучше бы мне, безотцовщине, вообще не становиться отцом!

Такими же упреками в собственный адрес терзались и родители несчастного Давида, настоящее имя которого было Вольфганг и который явно провоцировал нашего Конни своим юдофильством. В перерыве между судебными заседаниями Габи и я завели с приехавшими на процесс родителями поначалу несколько скованный, потом все более откровенный разговор, и господин Штремплин сказал мне, что, видимо, его сугубо научные интересы, связанные с работой в ядерном исследовательском центре, а также известная индифферентность при оценке исторических событий привели к отчуждению в отношениях с сыном, а затем и к утрате контакта с ним. Особенно претил сыну довольно сдержанный подход к периоду национал-социализма. "А в результате отчуждение между нами все больше возрастало".

По словам госпожи Штремплин, Вольфганг всегда был эксцентричен. Правда, настольный теннис помогал ему найти контакт со сверстниками. О каких-либо более серьезных отношениях, например о наличии девушки, ей ничего не известно. Довольно рано, лет с четырнадцати, он решил называться Давидом, а чрезмерное внимание к проблеме военных преступлений и массовых убийств, о которой, видит Бог, говорено уже предостаточно, настолько зациклило его на мыслях о покаянии, что все, связанное с евреями, стало казаться ему чуть ли не святыней. К последнему Рождеству он, как ни странно, захотел себе в подарок семисвечник. Было весьма нелепо видеть его сидящим перед компьютером, который заменял ему едва ли не все на свете, в ермолке, какие носят ортодоксальные евреи. "Он постоянно требовал, чтобы я готовила ему кошерную еду". Во всяком случае, только так она может объяснить то обстоятельство, что для своих компьютерных игр он взял себе имя Давид и утверждал, будто исповедует иудаизм. Она не раз говорила ему, что пора покончить с вечными огульными обвинениями, но он пропускал все это мимо ушей. "В последнее время к

мальчику вообще нельзя было подступиться". Поэтому для нее остается загадкой, почему сыну пришла в голову идея заняться этим ужасным партийным функционером и убившим его студентом-медиком по фамилии Франкфуртер. "Может, мы слишком рано отказались от педагогического воздействия на сына?"

Госпожа Штремплин умолкала и принималась говорить опять. Ее муж согласно кивал головой. Постоянные разговоры о Давиде и Голиафе были, конечно, вздором, но сам сын относился к ним всерьез. Младшие братья Йобст и Тобиас часто подтрунивали над ним из-за этой темы, ставшей для него поистине культом. На столе Вольфганга даже стояла в рамке фотография того студента, который был совсем молодым человеком, когда произошло убийство в Давосе. Вольфганг собрал также множество книг, газетных вырезок, компьютерных распечаток. Все это было связано с Густлоффом и кораблем, названным в его честь. "Катастрофа, конечно, ужасная", — сказала госпожа Штремплин, — погибло столько детей. И ведь ничего про это не было известно. Даже моему мужу, хотя он любитель новейшей немецкой истории. Но он, к сожалению, тоже ничего не слышал о Густлоффе до тех пор, пока..."

Она зарыдала. Габи тоже заплакала и, чувствуя свою беспомощность, положила руку на плечо госпожи Штремплин. Да и я готов был расплакаться, но отцы лишь обменялись взглядами, которые должны были выразить взаимопонимание. Потом мы еще несколько раз общались с родителями Вольфганга, и не только в здании суда. Люди либеральных взглядов, они винили в произошедшем скорее себя, нежели нас. Неизменно старались понять причину. Мне показалось, что во время процесса они очень внимательно прислушивались к Конни, который бывал весьма многословен, будто надеялись услышать от него, убийцы их сына, нечто такое, что могло послужить ключом к разгадке.

Чета Штремплинов показалась мне довольно симпатичной. Ему было около пятидесяти. В очках и с ухоженными седыми волосами, он являл собою тип интеллектуала, для которого все относительно, даже установленные факты. Ей было лет сорок пять, но выглядела она моложе и отличалась, пожалуй, склонностью считать любые вещи в той или иной мере необъяснимыми. Когда зашла речь о матери, она сказала: "Бабушка вашего сына личность, конечно, незаурядная, я ее как-то побаиваюсь, потому что не понимаю..."

По ее словам, характер у младших братьев Вольфганга совершенно иной. А еще она с беспокойством говорила о том, что старший сын слабоват в математике и физике, будто Вольфганг оставался для нее "все еще" живым и ему вскоре предстоят экзамены на аттестат зрелости.

Мы сидели в одном из новых кафе на вертящихся табуретах вокруг слишком высокого стола. Не сговариваясь, все заказали "капуччино". Печенья никто не попросил. Иногда мы уклонялись от темы, например когда нам показалось, что придется иначе признаться Штремплинам, которые были примерно нашими ровесниками, в причинах раннего распада нашего брака. Габи лишь коротко заметила, что сегодня развод, если он становится необходимым, является делом вполне нормальным и винить тут никого не следует. Я промолчал, уступив бывшей супруге подобные полуобъяснения, после чего сменил тему и не слишком ловко завел разговор о несостоявшихся выступлениях в школах Мёльна и Шверина. Тут же между мной и Габи произошла перепалка, как это бывало в давние времена. Я утверждал, что беда нашего сына — со всеми ее

ужасными последствиями — началась с того, что ему запретили изложить его собственный взгляд на события 30 января тридцать третьего года, а также на социальную значимость национал-социалистической организации "Сила через радость", однако Габи перебила меня: "Ведь ясно же, что учитель в таких случаях должен сказать 'нет'. В конце концов, эта дата связана с захватом власти Гитлером и лишь случайно совпадает с днем рождения некой личности, о значении которой собирался распространяться наш сын, касаясь еще одной своей темы 'Пренебрежение к памятникам истории'..."

Судебный процесс продолжился: вызванные в качестве свидетелей два учителя, сказавшие о хорошей и даже отличной успеваемости обвиняемого, отвечали на вопросы о докладах, которые не состоялись в Мёльне и Шверине. Оба учителя единодушно — в данном случае вполне можно было говорить об общегерманском единстве — заявили, что тексты предполагавшихся и не разрешенных выступлений были проникнуты национал-социалистической идеологией, которая преподносилась, однако, весьма интеллигентным и хитроумным образом, например с помощью пропаганды так называемой "бесклассовой народной общности", а также посредством ловко сформулированного требования "обеспечить свободную от идеологии охрану исторических памятников", подразумевавшего восстановление Мемориала в честь бывшего нацистского функционера Густлоффа, которого в своем втором неразрешенном докладе ученик Конрад Покрифке намеревался представить "великим сыном города Шверин". Пропаганду столь опасного бреда пришлось запретить из педагогических соображений, потворство было бы безответственным, тем более что в обеих школах растет число учеников и учениц со склонностью к правому экстремизму. Восточногерманский педагог подчеркнул в конце "антифашистские традиции" своей школы; западногерманскому педагогу пришла в голову лишь довольно избитая фраза "Противодействуй в начале!"[1].

В целом допрос свидетелей носил непредвзятый и спокойный характер, если не считать эмоциональных всплесков со стороны матери, а также выступления свидетельницы Рози, которая со слезами твердила, что всегда будет хранить верность своему "соратнику Конраду Покрифке". Заседания судебной палаты по делам несовершеннолетних являются закрытыми, поэтому любое заявление, рассчитанное на публику, осталось бы без соответствующего резонанса. Наконец председатель суда, который иногда позволял себе легкие шутки, будто хотел разрядить смертельно серьезную атмосферу процесса, предоставил моему сыну слово для изложения мотивов совершенного преступления, чем Конни, истомившийся ожиданием возможности высказаться, поспешил воспользоваться в полной мере.

Начал он, конечно, от Адама и Евы, что в данном случае означало — от рождения будущего ландесгруппенляйтера НСДАП. Подчеркнув его организационные достижения в Швейцарии и охарактеризовав излечение легочного заболевания как "победу силы над слабостью", он постарался создать достоверный портрет героя. Наконец-то для него нашелся повод воздать должное "великому сыну Шверина". Если бы в зале

1. Цитата из Овидия ("Principii obsta").

присутствовала публика, с задних рядов, вероятно, раздался бы одобрительный шум.

Когда черед дошел до подготовки и осуществления убийства в Давосе, Конрад, переставший заглядывать в записи и листочки с цитатами, особо отметил легальное приобретение оружия и количество произведенных выстрелов: "Я, как и Давид Франкфуртер, попал четыре раза". Постаравшись провести параллель со словами Давида Франкфуртера, который сказал суду кантона Кур, что стрелял, потому что является евреем, мой сын повторил это заявление, несколько переиначив и расширив его: "Я стрелял, потому что являюсь немцем и потому что в Давиде говорил Вечный жид[1]".

Не задерживаясь на процессе в суде кантона Кур, он, однако, заметил, что в отличие от профессора Гримма и партийного оратора Диверге не разделяет мнение о еврейских подстрекателях, которые якобы стояли за Франкфуртером. Справедливости ради необходимо признать: как и он сам, Франкфуртер руководствовался "исключительно внутренними побуждениями".

После этого Конрад живописал государственную траурную церемонию, состоявшуюся в Шверине, сообщил о погодных условиях того дня, "легкий снегопад", не забыл перечислить названия улиц, по которым проходила траурная процессия. Затем, когда даже терпеливым судьям надоел занудный трактат о целях, задачах и успехах национал-социалистической организации "Сила через радость", Конрад перешел наконец к закладке лайнера на стапеле.

Эта часть показаний доставляла моему сыну явное удовольствие. Оживленно жестикулируя, он сообщил данные о длине, ширине и осадке лайнера. При рассказе о спуске корабля на воду и его торжественных крестинах, совершенных, по выражению сына, "вдовой Мученика", он счел уместным воскликнуть с обвинительной интонацией: "Здесь, в Шверине, имущество госпожи Хедвиг Густлофф после падения Великого германского Рейха было противоправно национализировано, а саму ее позднее изгнали из города!"

Затем он принялся описывать устройство лайнера. Дал подробные характеристики салонам и столовым, указал точное количество кают, рассказал о бассейне на нижней палубе. Подводя итог, он отчеканил: "Бесклассовый лайнер 'Вильгельм Густлофф' был и остается живым свидетельством национального социализма, он служит образцом для подражания в наши дни и на все времена!"

На последних словах мне почудилось, будто мой сын ждет аплодисментов от воображаемой публики; но в то же время он заметил и адресованный ему взгляд судьи, призывавший его к сдержанности и краткости. Относительно быстро, как сказал бы, вероятно, господин Штремплин, он дошел до последнего плавания лайнера и до торпедной атаки. Он назвал ужасающие цифры утонувших и замерзших людей, ставших жертвами этой катастрофы, "лишь грубыми оценками", после чего сопоставил их с гораздо меньшим количеством жертв при других крупных морских катастрофах. Он назвал также число спасенных людей, с благодарнос-

1. "Вечный жид" — так назывался, в частности, часовой документальный фильм Фрица Хиплера, снятый в 1940 г. по указанию Геббельса и служивший идейным оправданием "окончательного решения еврейского вопроса". Запрещен в Германии к показу как один из наиболее опасных пропагандистских материалов. В неонацистских кругах он стал культовым антисемитским фильмом.

тью отметив роль капитанов, участвовавших в спасательной операции; обо мне, своем отце, он не сказал ни слова, зато упомянул свою бабушку: "В зале находится семидесятилетняя госпожа Урсула Покрифке́, ради этой женщины я и свидетельствую здесь", после чего мать, беловолосая, с рыжей лисою на плечах, поднялась с места и встала в позу. Она тоже вела себя так, будто выступала перед публикой.

Словно желая заглушить слышимые только ему одному аплодисменты, Конни заговорил подчеркнуто сухо, он с одобрением отозвался о "добросовестной скрупулезной работе" Хайнца Шёна, бывшего помощником казначея на лайнере, и с сожалением отметил, что в послевоенные годы продолжалось разорение затонувшего "Вильгельма Густлоффа" различными водолазами, охотниками за сокровищами: "Однако, по счастью, этим варварам не удалось обнаружить ни золота Имперского банка, ни легендарной Янтарной комнаты..."

В этом месте весьма терпеливый председатель суда, как мне показалось, одобрительно кивнул, однако тут же речь моего сына, словно по инерции, пошла дальше. Теперь он обратился к командиру советской подлодки С-13. Александра Маринеско после многих лет сибирских лагерей наконец реабилитировали. "Но, к сожалению, радость его была недолгой. Вскоре он умер от рака..." Позднее он все-таки был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ни слова обвинений в его адрес. Ни намека на то, что говорилось ранее в Сети о "русских нелюдях". Сын даже удивил судей и заседателей суда по делам несовершеннолетних, а также прокурора тем, что попросил прощения у своей жертвы — Вольфганга Штремплина, именовавшего себя Давидом. Мол, слишком долго сам он расценивал на своем сервере уничтожение "Вильгельма Густлоффа" исключительно как убийство женщин и детей. Но Давид помог ему понять, что командир подлодки С-13 с полным правом счел безымянный для него корабль военным объектом. "Уж если говорить здесь о чьей-то вине, — воскликнул он, — то следует предъявить обвинение главному командованию военно-морского флота и гросс-адмиралу лично. Именно он несет ответственность за то, что на борту лайнера наряду с беженцами оказалось большое количество военного персонала. Имя преступника — Дёниц!"

Конрад выдержал паузу, словно пережидая волнение в зале и прислушиваясь к выкрикам с мест. Но, возможно, он всего лишь подбирал заключительные слова. Наконец он сказал: "Я не отрекаюсь от содеянного. Однако я прошу Высокий суд рассматривать осуществленную мною смертную казнь как нечто такое, что может быть понято только в более широком контексте. Я знаю — Вольфгангу Штремплину вскоре предстояли экзамены на аттестат зрелости. Мне очень жаль, что я не мог принять это во внимание. Речь шла и идет о большем. Шверин, столица федеральной земли, должен наконец воздать должное своему великому сыну. Я призываю воздвигнуть на южном берегу озера, там, где я по-своему почтил память Мученика, мемориал, который сохранил бы для будущих поколений напоминание о Вильгельме Густлоффе, который был злодейски убит евреем. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге появился наконец памятник командиру-подводнику Александру Маринеско, поэтому и здесь настала пора воздать почести человеку, который отдал 4 февраля 1936 года свою жизнь ради того, чтобы Германия в конце концов смогла освободиться от еврейского ига. Я готов признать, что и у еврейской стороны есть основания, чтобы либо в Израиле, где Давид

Франкфуртер умер в восемьдесят втором году, либо в Давосе был установлен монумент в честь того студента-медика, который четырьмя меткими выстрелами намеревался дать символический знак своему народу. Ладно, пусть это будет даже бронзовая табличка".

Тут председательствующий судья не выдержал: "Хватит, довольно!" В зале стало тихо. Заявления моего сына, а точнее его словоизлияния, не остались неуслышанными; впрочем, ни смягчить приговора, ни ужесточить его они не могли, поскольку суд усмотрел в потоке красноречия, которым разразился сын, своего рода безумие, хотя по-своему достаточно логичное; теперь дело было за экспертами, которым надлежало это проанализировать и дать более или менее убедительные заключения.

Вообще-то я придерживаюсь не слишком высокого мнения о подобной наукообразной писанине. Но, пожалуй, один из экспертов, указавший в качестве психолога на неблагополучную обстановку в семье, был не так уж далек от истины, когда, охарактеризовав поступок Конни как "выходку отчаявшегося одиночки", объяснил его тем, что обвиняемый рос практически без отца, а первопричиной этого счел мою безотцовщину, что явно было притянуто за волосы. Оба других экспертных заключения пошли по той же наезженной колее. Сплошь охота по семейным заповедникам. В конце концов виноватым всегда оказывался отец. А ведь право на воспитание ребенка оставалось закрепленным исключительно за Габи, которая не сумела воспрепятствовать переезду своего сына из Мёльна в Шверин, где он окончательно попал в силки матери.

Она, только она во всем виновата. Эта ведьма с лисой на плечах. Она вечно сбивала с толку, это известно каждому, кто знает ее с давних лет и у кого с ней наверняка что-то было. Ведь как только он начинает говорить о Тулле... Начинаются фантазии... Мистика... Вспоминаются кашубские и кошнадерские легенды... Имя связано якобы с кошнадерским водяным духом Туля, Дуллер или Тул.

Склонив голову набок, так что взгляд ее серых глаз повторил положение лисьих стекляшек, мать внимательно следила за речами экспертов. Сидела неподвижно и слушала, как мой крах в роли отца становится лейтмотивом бумажного шелеста зачитываемых страниц, и похоже, эта музыка пришлась ей по вкусу. Сама она оказалась затронута в экспертных заключениях только мимоходом. Отмечалось лишь следующее: "Сердечная забота, проявленная бабушкой, не смогла заменить трудному подростку отца и мать. Вместе с тем можно предположить, что тяжелая судьба бабушки, катастрофа, пережитая ею на последних сроках беременности, а также роды в момент гибели корабля, с одной стороны, произвели на ее внука Конрада Покрифке сильное эмоциональное воздействие, а с другой стороны, интенсивное сопереживание при наличии развитого воображения оказали дестабилизирующее влияние на психику..."

Защитник постарался развить тот мотив, к которому склонялись все эксперты. Примерно мой ровесник, этот адвокат, которого наняла моя жена, проявлял немалые старания, однако ему не удалось завоевать доверие Конрада. Каждый раз, когда он говорил о "спонтанном и непредумышленном деянии" и пытался найти смягчающие обстоятельства, мой сын сводил все его усилия на нет добровольными признательными показаниями: "Нет, я не торопился и был вполне спокоен. Чувства ненависти не испытывал. Все мысли носили практический характер. К сожале-

нию, первый выстрел пришелся в живот, слишком низко, поэтому следующие три выстрела сделал более прицельно. Жаль, что у меня был пистолет. Мне бы хотелось иметь револьвер, чтобы все было как у Франкфуртера".

Конни брал на себя всю ответственность за свой поступок. Долговязый, кудрявый, в очках, он выступал в суде как обвинитель, только обвинял самого себя. Он выглядел моложе своих семнадцати, но говорил словно человек, умудренный опытом, будто жизненный опыт можно набрать где-то на курсах ускоренного обучения. Например, он отверг утверждение о том, что часть его вины ложится на родителей. С немного снисходительной улыбкой он сказал: "Мать у меня вполне в порядке, хотя часто действовала мне на нервы своими постоянными разглагольствованиями насчет Аушвица. А об отце суд и вовсе может позабыть, как это сделал я сам несколько лет назад, просто забыть".

Может, сын меня ненавидел? Но способен ли он вообще ненавидеть? Свою ненависть к евреям он не раз отрицал. Я склонен полагать, что ненависть Конни носит рациональный характер. Ненависть, подогреваемая постоянно. Рассчитанная надолго. Бесстрастная, самовоспроизводящаяся.

Возможно, защитник не так уж и ошибался, когда объяснял, что превращение Густлоффа под влиянием бабки в идею фикс стало для Конрада своего рода компенсацией отсутствующего отца. Защитник напомнил, что брак четы Густлоффов был бездетным. Конрад Покрифке, переживая стадию духовного поиска, попытался заполнить открывшийся ему пробел. Наконец, современные средства коммуникации, вроде Интернета, дают возможность неожиданного выхода из юношеского одиночества.

В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что, когда судья предоставил Конраду возможность отреагировать на данный момент судебных прений, он с большой теплотой заговорил о Мученике. Он сказал: "Когда мои расследования показали, что Вильгельм Густлофф воспринял социальные идеи скорее от Георга Штрассера, нежели от Вождя, Густлофф сделался для меня образцом для подражания, о чем неоднократно и со всей определенностью сообщалось на моем сервере. Мои внутренние установки сформировались под его воздействием. Отомстить за него я считал для себя священным долгом!"

Вслед за этими словами прокурор по делам несовершеннолетних стал настойчиво выяснять у Конрада причины его презрительного отношения к евреям, на что тот ответил: "Тут вы сильно заблуждаетесь. В принципе я ничего не имею против евреев. Однако, как и Вильгельм Густлофф, я считаю, что евреи остаются чужеродным элементом среди арийских народов. Пускай едут в Израиль, их место там. Здесь они нестерпимы, там же они крайне нужны, чтобы сражаться с враждебным окружением. Давид Франкфуртер избрал совершенно верное решение, когда сразу после выхода из тюрьмы отправился в Палестину. И было абсолютно правильно, что позднее он пошел в израильское министерство обороны".

В ходе судебного процесса у меня не раз возникало ощущение, что среди всех выступавших только мой сын был до конца откровенен. Он сразу же переходил к делу, не терял нити рассуждений, на все имел конкретный ответ и давал четкое объяснение своему поступку, в то время как вся троица экспертов, председатель суда, остальные судьи и шеффе-

ны терялись в поисках мотивов, обращаясь за помощью к различным авторитетам, от Бога до Фрейда. Они постоянно стремились представить, как выразился адвокат, "бедного мальчика" жертвой то современного общества, то распавшейся семьи, то узости педагогических программ, то распространившегося безбожия, а моя бывшая супруга даже осмелилась в конце концов сделать утверждение, что "во всем виноваты гены, унаследованные Конрадом от бабки".

О подлинной жертве трагического события, об убитом накануне экзаменов на аттестат зрелости Вольфганге Штремплине, представшем в Сети в образе еврея Давида, речь на суде почти не заходила. О нем как бы стыдливо умалчивали либо упоминали только в качестве объекта преступления. Защитник даже счел возможным указать, что предъявление ложных данных сыграло провоцирующую роль. Хотя заключение "сам виноват" осталось невысказанным, однако оно вполне явственно слышалось во фразах "Жертва буквально подставляла себя" или "Было крайне опрометчиво переносить споры из Интернета в реальность".

Во всяком случае, преступнику досталась более значительная порция сочувствия. Возможно, поэтому супруги Штремплины уехали еще до оглашения приговора. Однако перед отъездом мы вновь встретились в кафе по соседству со зданием суда, и они заверили Габи и меня, что не настаивают на суровом наказании для нашего сына, так как этого наверняка не захотел бы и Вольфганг. "Мы далеки от какой-либо мстительности", — сказала госпожа Штремплин.

Если бы меня допустили на процесс в чисто профессиональном качестве, то есть в качестве журналиста, я, вероятно, разразился бы критикой по поводу "совершенно недостаточной меры наказания" или даже "судебного скандала"; однако в данном случае профессиональный долг можно было оставить в стороне и сосредоточиться на сыне, поэтому я ужаснулся, услышав приговор — семь лет заключения в исправительном заведении для несовершеннолетних, — который сам Конни выслушал с полной невозмутимостью. Потерянные годы. Если придется отсидеть полный срок, то на свободу он выйдет только в двадцать четыре года. Повседневное общение с преступниками и настоящими правыми экстремистами лишь ожесточит его, поэтому на свободе ему будет тяжело, возможны рецидивы и опять тюрьма. Нет! Такой приговор принять нельзя.

Однако Конни отказался от предложения адвоката добиться пересмотра дела с помощью кассации. Могу лишь повторить то, что он сказал Габи: "Просто трудно понять, что мне дали всего семь лет. Еврея Франкфуртера осудили в свое время на восемнадцать, правда, отсидел он только девять с половиной..."

Повидаться со мной, до того как его увезли, он не захотел. А в зале суда он обнялся не с матерью, а с бабушкой, которая едва доставала ему до груди. Перед уходом он обернулся; возможно, он искал Давида или его родителей, которых ему теперь не хватало.

Потом мы стояли перед зданием суда по делам несовершеннолетних на Дремлерплац, я сумел наконец закурить, и тут мать впала в ярость. Она сбросила с себя лису, этот аксессуар для парадных выходов, а вместе с нею и литературный стиль выражений: "Нету справедливости!" В гневе она вырвала сигарету у меня изо рта, растоптала ее, будто сигарета служила символом чего-то, что подлежит немедленному уничтоже-

нию, закричала, потом запричитала: "Сволочи! Нету больше справедливости! Меня надо было сажать, а не мальчика. Это же я подарила ему сначала компьютер, а потом и пистолет на прошлую Пасху. Ведь лысые ему угрожали. До крови избили. А он пришел домой, и ни слезинки. Пистолет-то у меня давно в комоде лежал. Когда власть переменилась, так я его на русском рынке и купила. По дешевке. Только на суде меня никто не спросил, откуда пистолет взялся..."

9

Этот запрет был установлен им изначально. Мне ни в коем случае не позволялось фантазировать насчет того, что могло твориться в голове у Конни, какие мысли якобы посещали его, не разрешалось ссылаться на них, аргументировать ими, тем более цитировать в письменном виде.

Было сказано: "Никто не знает, о чем он думал и продолжает думать. Каждый лоб заперт наглухо, и не только у него. Это секретная зона. Ничейная земля для охотников до чужих тайн. Бесполезно пытаться проникнуть под черепную коробку. К тому же никто не говорит того, что он думает на самом деле. А если и говорит, то лжет с первых же слов. Любая фраза, которая начинается так: "В этот момент он подумал..." или "В мыслях у него промелькнуло...", — служит негодным приемом. Ничто не хранит свои тайны так надежно, как голова. Никакая пытка не гарантирует абсолютно честных признаний. Лгать себе можно даже в минуту смерти. Поэтому нам не дано знать, о чем думал Вольфганг Штремплин, когда у него созрело решение взять на себя в Интернете роль Давида, или что именно происходило у него в голове перед зданием турбазы имени Курта Бюргера, когда его друг-противник, называвший себя в Сети Вольфгангом, а на самом деле бывший Конрадом Покрифке, вытащил из правого кармана куртки пистолет и после первого выстрела, пришедшегося в живот, трижды выстрелил в голову и поразил навсегда погребенные в ней мысли. Мы замечаем лишь то, что видим. На поверхности явлено немного, но достаточно. Не нужно размышлений, которые выдумываются задним числом. Итак, чем лаконичнее рассказ, тем скорее мы доберемся до конца".

Хорошо, что он не подозревает, какие мысли невольно лезут из моих правых и левых извилин, наполняются ужасным смыслом, выдают тщательно скрываемые тайны, разоблачают меня, пугая настолько, что я тут же стараюсь подумать о чем-нибудь другом. Например, о том, что бы принести с собой в Нойштрелиц, что бы такое выдумать для моего сына в качестве маленького подарка, который можно было бы передать ему при моем первом визите к нему.

Я заказал в службе вырезок сбор всех газетных материалов о судебном процессе, поэтому мне прислали напечатанную в "Бадише цайтунг" фотографию Вольфганга Штремплина. Приятное, но не особенно выразительное лицо. Выпускник школы, во всяком случае юноша призывного возраста. На губах улыбка, но глаза немного печальны. Темно-русые волосы чуть вьются, пробора нет. Молодой человек в рубашке с открытым воротом, голова слегка наклонена налево. Возможно, мечтатель, полный каких-то своих идей.

Кстати, комментарии судебного процесса над моим сыном оказались удручающе скудными даже по объему. К этому времени в обеих частях объединенной ныне Германии правые экстремисты совершили це-

лый ряд преступлений, например, в Потсдаме они едва не забили до смерти венгра бейсбольными битами, а в Бохуме дело дошло до убийства пенсионера. Снова и снова скинхеды повсеместно устраивали побоища. Насилие с политической подоплекой стало вполне бытовым явлением, таким же, как и призывы дать отпор правым или заявления политиков, выражающих свое сожаление по поводу подобных событий, но с оговорками, которые лишь подливали масла в огонь. А возможно, все дело было в том несомненном факте, что Вольфганг Штремплин не являлся евреем; это снизило интерес к судебному процессу, ибо сразу после убийства центральные газеты пестрели аршинными заголовками "Застрелен наш еврейский соотечественник!" и "Ненависть к евреям привела к гнусному убийству!". Соответственно и подпись к вырезанной газетной фотографии гласила: "Жертва нового антисемитского преступления".

Таким образом, при моем первом визите в тюрьму для несовершеннолетних – довольно ветхое здание, давно созревшее для сноса, – в моем нагрудном кармане находилась газетная фотография Вольфганга Штремплина. Конни даже поблагодарил меня, когда я пододвинул к нему вдвое сложенный листочек. Он разгладил его, улыбнулся. Разговор шел с запинками, но, главное, сын говорил со мной. Мы сидели в комнате для посетителей друг напротив друга; за остальными столиками тоже проходили свидания.

Поскольку мне запрещено вторгаться в мысли моего сына, скажу лишь, что по отношению к отцу он вновь проявлял обычную замкнутость, но от себя не отталкивал. Даже удостоил меня вопроса о моей журналистской работе. Когда я рассказал о шотландском исследователе, который клонировал овечку Долли, Конни опять улыбнулся. "Маме это наверняка будет любопытно. Она ведь все объясняет генами, особенно когда речь идет о моих".

Я услышал, что в тюремной комнате отдыха можно поиграть в настольный теннис, а камеру Конни делит с тремя другими подростками: "С законом ребята не ладят, но вообще-то довольно безобидные". У него есть собственный уголок со столом и книжной полкой. Возможна заочная учеба. "Каков прогресс! – воскликнул он. – Буду сдавать экзамены на аттестат зрелости за тюремными стенами, так сказать в затворничестве". Мне не слишком понравилось его желание острить.

Когда я уходил, на смену мне появилась Рози, уже заплаканная, вся в черном, будто у нее траур. Посетительский день, одни приходят, другие уходят, всхлипывающие матери, смущенные отцы. Надзиратель, проверявший передачи довольно небрежно, пропустил фотографию Вольфганга, называвшего себя Давидом. У Конни до меня наверняка побывала мать, вероятно, вместе с Габи; или, может, они навестили его по очереди?

Летело время. Я перестал кормить газетной бумагой чудо-овечку Долли, на смену ей подоспели другие сенсации. Почти незаметно и бесшумно закончилась одна из моих мимолетных интрижек, на сей раз это была специалистка по фото, которая интересовалась формированием облаков. На очереди в моем календаре вновь оказался посетительский день.

Едва мы уселись напротив, сын принялся рассказывать, что изготовил в тюремной мастерской несколько рамок, поместил туда под стекло фотографии, которые висят теперь над его книжной полкой: "Есть среди них, конечно, и фотография Давида". По его просьбе мать принесла

еще две фотографии с его прежнего сервера, которые теперь также находятся в рамках под стеклом. Это два портрета капитана третьего ранга Александра Маринеско, хотя, как уверяет сын, между портретами нет никакого сходства. Он скачал их из Интернета. Два поклонника Маринеско, опубликовавшие каждый из портретов на своих сайтах, утверждали, что именно их портрет является настоящим. "Дурацкий спор", — сказал Конни и вытащил из-под своего неизменного норвежского пуловера две фотографии, помещенные в рамки, как это делается с семейными реликвиями.

Он деловито пояснил: "Вот эта фотография, где у него лицо округлое и где он снят возле перископа, находится в музее военно-морского флота в Петербурге. А здесь лицо угловатое, он стоит на башне своей подлодки — это и есть настоящий Маринеско. По крайней мере, существуют письменные свидетельства о том, что оригинал фотографии он подарил финской шлюхе, которая не раз обслуживала его. Ведь командир подлодки С-13 был заядлым бабником. Интересно, что остается после людей такого пошиба..."

Мой сын еще долго рассказывал о своей маленькой галерее, куда входил также один ранний и один более поздний фотопортрет Давида Франкфуртера; на позднем он выглядел старым, и к тому же было видно, что он вновь пристрастился к табаку. Одного портрета не хватало. Я уж было возлелеял надежду, однако Конни, словно способный читать отцовские мысли, сказал, что начальство запретило ему использовать в качестве настенных декораций для камеры "очень качественную фотографию Мученика, снятого в форме".

Чаще всего его навещала мать, по крайней мере чаще, чем я. Габи нередко ссылалась на занятость профсоюзными делами, поскольку вела общественную работу в секции "Воспитание и наука". Да, а что касается Рози, то она приходила довольно регулярно и уже не с заплаканными глазами.

В этот год мне пришлось столкнуться с весьма шумной избирательной кампанией[1], которая началась очень рано и охватила всю страну, то есть, как и остальная журналистская братия, я пытался гадать на кофейной гуще постоянных социологических опросов; от криков же толку было в содержательном отношении еще меньше. Во всяком случае, можно было угадать, что этот святоша Хинце со своей пропагандистской затеей против "красных носков" лишь сыграет на руку ПДС, но не спасет Толстяка[2], который потом действительно проиграл на выборах. Мне приходилось много разъезжать, интервьюировать депутатов бундестага и — хотя и не самых крупных — предпринимателей, даже нескольких республиканцев[3], поскольку предсказывалось, что правые радикалы получат больше пяти процентов. В земле Мекленбург — Передняя Померания они проявляли особую активность, правда с весьма умеренным успехом.

1. Речь идет об избирательной кампании в связи с выборами в бундестаг, состоявшимися в сентябре 1998 г.
2. Евангелический теолог Петер Хинце с 1992-го до 1998 г. являлся генеральным секретарем ХДС и одним из руководителей избирательной кампании. "Красные носки" — шутливое прозвище социал-демократов, ПДС — партия демократического социализма, Толстяк — намек на Гельмута Коля.
3. Основанная в 1983 г. Францем Шёнхубером политическая партия право-консервативного или даже право-радикального характера.

В Нойштрелиц выбираться не удавалось, но по телефону я узнал от матери, что дела у ее Конрадхена идут неплохо. Даже поправился слегка. Кроме того, он получил, как она выразилась, "повышение", поскольку стал вести компьютерные курсы для несовершеннолетних правонарушителей. "Сам знаешь, в этой области он всегда был докой..."

Я представил себе, как мой — ныне потолстевший — сын помогает сотоварищам по заключению освоить компьютерную грамотность, исходя, впрочем, из того, что доступ в Интернет им не разрешен; в противном случае кое-кто из заключённых сумел бы под руководством сетевого корифея Конрада Покрифке найти виртуальную лазейку и устроить коллективный побег в киберпространство.

Узнал я и о том, что нойштрелицкая команда по настольному теннису, в которую входил мой сын, выступила против сборной тюремного заведения для несовершеннолетних в Плётцензее и обыграла ее. Короче: объявленный судебным приговором убийцей и теперь уже достигший совершеннолетия сын весьма занятого журналиста проявлял удивительное прилежание. К началу лета он заочно сдал экзамены на аттестат зрелости с хорошими и отличными оценками; я послал телеграмму: "Поздравляю, Конни!"

А потом пришла весточка от матери: она больше недели провела в польском Гданьске. При следующем визите в Шверин я услышал ее рассказ о поездке: "В Данциге я, конечно, много чего обошла, но дольше всего была в Лангфуре. Там все переменилось. Зато дом на Эльзенштрассе до сих пор стоит. Даже балконы с цветочными ящиками сохранились..."

Это путешествие она совершила на туристическом автобусе. "Вышло совсем дешево!" Группа бывших беженцев, мужчины и женщины в возрасте матери или постарше, откликнулась на предложение одного турагентства, которое устраивало "ностальгические путешествия". Мать сказала: "Хорошо там было. Надо признать, что поляки многое восстановили, все церкви и прочее. Нету только больше памятника Гутенбергу, которого мы в детстве называли Куттенпех и который стоял в Йешкентальском лесу, сразу за горой Эрбсберг. А вот в Брезене, куда мы ездили кататься на санках, опять открылась настоящая купальня, совсем как раньше..."

За этим последовал ее отсутствующий взгляд. Но вскоре опять заиграла старая заезженная пластинка: о том, как все было раньше, давным-давно, во дворе столярной мастерской или в лесу, где лепили снеговика; что было летом в морских купальнях, "когда я девчонкой-сорванцом..." С компанией мальчишек она заплывала к остову затонувшего корабля, надстройки которого торчали из воды с начала войны. "Мы ныряли на самую глубину, залезали в трюмы той ржавой посудины. А один из ребят нырял глубже всех, Йохеном его звали..."

Я забыл спросить мать, не находилась ли среди ее багажа во время ностальгического путешествия, несмотря на летнюю погоду, ее треклятая лиса. Зато поинтересовался, не побывала ли в Данциге-Лангфуре и тетя Йенни. "Нет, — сказала мать, — она с нами не поехала. Дескать, ногам тяжело, да и вообще не захотела. Побоялась сильных переживаний. Зато я сама несколько раз прошлась по тем улицам, по которым мы тогда обычно ходили с моей подружкой в школу. Теперь мне этот путь показался намного короче..."

Сразу после возвращения она, видимо, поделилась свежими впечатлениями с моим сыном, поведала ему гораздо больше подробностей, чем мне, и даже шепотом призналась: "В Готенхафен я тоже съездила, одна. Была на том месте, где шла посадка на корабль. А потом представила себе деток, как они плавали в ледяной воде головками вниз. Поплакать хотела, да не смогла..." И опять ее отсутствующий взгляд. Затем она опять заговорила о лайнере СЧР: "А ведь до чего хорош был корабль..."

Неудивительно, что при моем следующем посещении Нойштрелица, которое состоялось сразу после выборов в бундестаг, сын продемонстрировал мне итог кропотливейшей работы. Это была модель, собранная из деталей специального конструктора, который он получил в подарок, оплаченный наверняка из кошелька моей матери.

Такие конструкторы продаются в универмагах, в отделах игрушек, где на полках выставлен богатый ассортимент моделей, воспроизводящих самые знаменитые прототипы всего того, что некогда летало, плавало и ездило. Не думаю, что покупка совершалась в Шверине. Скорее ее искали и нашли либо в гамбургском универмаге "Альстерхаус", либо в берлинском "КаДеВе". В Берлин мать наведывалась часто. Сейчас она приобрела себе "гольф", много времени проводит за рулем, причем ездит весьма рискованно; мать всегда идет на обгон из принципа.

Раньше, когда она приезжала в Берлин, то совсем не затем, чтобы погостить у меня, в моей холостяцкой квартире в Кройцберге, где вечно царил хаос, а чтобы навестить свою подругу Йенни и "поболтать о старых временах", выпить по бокалу знаменитого во времена ГДР шампанского "Красная шапочка", к которому подавалось песочное печенье. После "бархатной революции" они виделись часто, будто старались наверстать упущенное за долгие годы существования Стены. Они были особенной парочкой.

Когда мать навещала тетю Йенни — а мне доводилось присутствовать при их встречах, — то вела она себя робко, словно маленькая девочка, которая недавно набедокурила. Словно хотела искупить вину. Тетя Йенни, напротив, простила, видимо, все то зло, которое было причинено ей много лет назад. Я заметил, как, хромая, она подходила к матери, гладила ее по плечу. "Ну будет, Тулла, будет", — шептала она. Потом обе молчали. Тетя Йенни пила свой горячий чай с лимоном. Кроме утонувшего брата Конрада и совершившего преступление Конни, мать если и любила вообще кого-нибудь, то свою школьную подругу.

В шестидесятые годы я жил в мансардной комнатушке в берлинском районе Шмаргендорф, с тех пор там ничего не изменилось. Множество расставленных всюду фарфоровых безделушек выглядят ужасно старомодно, хотя пыль с них аккуратно стирают. Все стены у тети Йенни, включая косую мансардную стену, обклеены балетными фотографиями, которые запечатлели ее, тонкую, как былинка, выступающей под псевдонимом Ангустри в роли Жизели и Коппелии, танцующей в "Лебедином озере", исполняющей сольные партии или снятой со своим таким же грациозным балетмейстером; вот и мать словно вся обклеена изнутри воспоминаниями. Если правда, что воспоминаниями можно обмениваться, то квартирка на Карлсбадерштрассе служит обменным пунктом для подобных предметов самого длительного пользования.

Вероятно, во время одной из своих поездок в Берлин — до визита к тете Йенни или после — мать и наведалась в "КаДеВе", где отыскала среди огромного ассортимента различных конструкторов то, что хотела. Но для подарка ей не подошла ни модель гидроаэроплана "Do X" фирмы Дорнье, ни танк "Королевский тигр", ни линкор "Бисмарк", который был потоплен уже в сорок первом году, ни тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер", который пошел на металлолом после войны. Она не желала ничего военного, выбор ее остановился на пассажирском лайнере "Вильгельм Густлофф". Наверно, она даже ни с кем не консультировалась, мать всегда сама хорошо знала, чего хочет.

Судя по всему, сын подал заявку на то, чтобы принести в посетительскую комнату необычный предмет, и получил разрешение. Во всяком случае, надзиратель благожелательно кивнул, когда заключенный Конрад Покрифке появился с громоздкой моделью корабля в руках. При виде этой модели невольно стал разматываться клубок старых мыслей, чтобы опять запутаться. Неужели этому не будет конца? Неужели старая история повторится сначала? Неужели мать не может остановиться? О чем она только думала?

Однако Конни, ставшему уже совершеннолетним, я сказал: "Недурно. Но разве ты уже не вырос из подобных игр?" Он даже согласился: "Сам знаю. Вот если бы ты подарил мне "Густлоффа" лет в тринадцать или четырнадцать, тогда мне не пришлось бы теперь впадать в детство. В общем, было занятно. Да и времени у меня хоть отбавляй".

Упрек попал в цель. Пока я его переваривал и задавался вопросом, не удержал ли бы я моего сына от худшего, если бы в свое время он занялся всего лишь сборкой модели этого треклятого корабля, да еще под отцовским присмотром, он сказал: "Попросил у бабушки Туллы в подарок. Хотел наглядно представить себе, как выглядел лайнер. Неплохо получилось, а?"

Лайнер СЧР во всей красе от носа до кормы! Бесклассовый корабль, мечта отпускников, собранный моим сыном из множества деталей. Просторная солнечная палуба, освобожденная от каких-либо мешающих надстроек. Как элегантно смотрелась в средней части труба, слегка склоненная назад! А застекленная прогулочная палуба! Под командным мостиком зимний сад, прозванный "оранжереей". Я прикинул, где на нижней палубе должен был находиться бассейн, пересчитал спасательные шлюпки: все до единой на месте.

Конни соорудил в качестве подставки для белоснежного лайнера специальную проволочную конструкцию. Она не закрывала корпус корабля, включая киль. Пусть не без некоторой иронии, я выразил восхищение кропотливой работой. Сын отреагировал на комплименты смущенной усмешкой, вытащил из кармана коробочку, где, как оказалось, лежали три красные наклейки величиной с небольшую монетку. Этими наклейками он отметил на корпусе те места, куда попали торпеды: одна метка пришлась на носовую часть левого борта, следующая приклеилась туда, где внутри корабля предполагался бассейн, а третья метка предназначалась для машинного отделения. Конни производил свои манипуляции с торжественным выражением лица. Он стигматизировал корабль. Закончив операцию, остался, судя по всему, доволен, сказал: "Тонкая работа!", после чего резко сменил тему.

Моего сына интересовало, за кого я голосовал на выборах в бундестаг. Я ответил: "Во всяком случае не за республиканцев!" — и признался, что уже несколько лет ничто не может заманить меня на избирательный участок. "Стало быть, настоящие убеждения отсутствуют, весьма характерно для тебя", — заметил он, однако не сообщил, за кого голосовал письмом он сам на своих первых выборах. Я высказал предположение, что под влиянием бабки он сделал выбор в пользу ПДС. Но Конни только улыбнулся и принялся укреплять на лайнере, — на носу, корме и обеих мачтах, — видимо, самодельные флажки, которые достал из другой коробочки. Он изготовил даже миниатюрную эмблему СЧР и знамя Германского трудового фронта; не забыта была и свастика. Корабль под всеми флагами. Полный порядок. Только с ним самим опять было в порядке далеко не все.

Что делать, если сын прочитывает запрещенные, находящиеся годами под домашним арестом мысли отца, неожиданно делает их своими собственными и даже превращает их в поступки? Я всегда по крайней мере старался соблюдать политическую лояльность, не делать больших ошибок, вести себя корректно. Это называется самодисциплиной. Работал ли я в газете Шпрингера или в "taz", я неизменно пел по чьим-то нотам. Даже в общем-то верил в то, что писал. Раздувать пожар и цинично приспосабливаться к победителю — вот две вещи, с которыми я поочередно справлялся лучше всего. Только я никогда не становился острием копья, не я задавал курс в газетных передовицах. Это делали другие. Я же предпочитал держаться середины, старался не слишком скатываться ни вправо, ни влево, избегал столкновений, плыл по течению, держался на плаву; возможно, это было связано с обстоятельствами моего появления на свет — впрочем, так можно объяснить что угодно.

И вдруг эскапады сына. Собственно, удивляться тут нечему. Этого следовало ожидать. Ведь все, что Конни публиковал в Сети, о чем он болтал в чате, что пропагандировал на своем сервере, было в конечном счете не менее убийственно, чем те выстрелы, которые прозвучали на берегу Шверинского озера. И вот теперь он сидел в тюрьме для несовершеннолетних, пользовался авторитетом благодаря победам в настольном теннисе и своему руководству компьютерными курсами, мог гордиться хорошим аттестатом зрелости, даже получил, как шепнула мне мать, ряд интересных предложений от некоторых предпринимателей: речь шла о работе, связанной с новыми электронными технологиями. Похоже, он видел для себя будущее в новом веке, выглядел бодрым, говорил довольно разумные вещи, продолжал держать свое знамя, пусть даже в виде маленьких флажков. "Все это плохо кончится", — сумбурно думал я и стал искать, к кому обратиться за советом.

Пребывая в полном замешательстве, я начал с тети Йенни. Старая дама, слегка подрагивая головой, внимательно выслушала в своей игрушечной квартирке все, о чем я более или менее искренне поведал ей. С ней можно было выговориться. К подобного рода откровениям она привыкла, видимо, с юных лет. После того как я прокрутил мою шарманку, она, явив свою примерзшую к губам улыбку, сказала: "Это скверна ищет выхода наружу. У твоей матери Туллы, подруги моих детских лет, такая же проблема. Как часто, будучи ребенком, я страдала от ее выходок. И мой приемный отец, удочеривший меня — а ведь, говорят, я чистокровная цыганка, что было тогда большим секретом, — этот чудаковатый

штудиенрат Бруннис, фамилию которого я теперь ношу, тоже пострадал от Туллы. С ее стороны это было всего лишь озорством. Только кончилось оно плохо... По ее доносу папу Брунни забрали... Он попал в концлагерь Штутхоф... Правда, потом с Туллой почти все поправилось. Ты бы поговорил с ней о своих проблемах. Тулла на собственном примере знает, до чего сильно способен измениться человек..."

Итак, я махнул из Берлина по магистрали А-24 до развилки, где повернул на Шверин. Да-да, состоялся разговор с матерью, насколько с ней вообще можно говорить о моих размышлениях, вечно расходящихся с ее мнением. Мы сидели на балконе одиннадцатого этажа отремонтированного панельного здания по адресу Гагаринштрассе, с балкона открывался вид на телевизионную вышку; внизу все еще стоял бронзовый Ленин, устремивший свой взор на Запад. В квартире ничего не переменилось, хотя за последнее время мать вновь вернулась к вере своих детских лет. Она сделалась католичкой, устроила в уголке гостиной подобие домашнего алтаря, где между свечами и искусственными цветами — белыми лилиями — стояли иконки Девы Марии, а рядом в странном соседстве находился портрет товарища Сталина в белом кителе, мирно покуривающего свою трубку. Пялиться на алтарь и ничего не говорить было трудно.

Я принес матери ее любимые лакомства — миндальное пирожное и маковый рулет. Едва я уселся, не зная, с чего начать, она сказала: "За нашего Конрадхена особо не беспокойся. Пусть отсидит свое за то, что натворил. Когда выйдет, станет настоящим радикалом, какой я была когда-то, когда мои же товарищи по партии обзывали меня единственной правоверной сталинисткой. Ничего страшного с ним больше не случится. Над нашим Конрадхеном всегда парил ангел-хранитель..."

Последовал "отсутствующий взгляд", потом этот взгляд сделался вполне нормальным, и она подтвердила слова своей подруги Йенни, которая опять обнаружила верное чутье: "То, что у нас в голове, внутри таится, вся скверна должна выйти наружу..."

Нет, от матери в этом деле совета ждать не приходится. Ум у нее короток, как ее белые волосы. Так к кому же обратиться? Может, к Габи?

Я вновь отправился по уже привычному маршруту из Шверина в Мёльн, где меня, как всякий раз, когда я приезжал сюда, поразила скромная прелесть этого городка, история которого связана с Тилем Уленшпигелем, чьи проделки вряд ли пришлись бы нынешним горожанам по вкусу. У моей бывшей благоверной теперь завелся друг, по ее словам, "очень милый, деликатный и ранимый человек", поэтому мы встретились с ней в соседнем Ратцебурге, чтобы отобедать — она заказала вегетарианское блюдо, я шницель — в ресторане "Зеехоф" с видом на озеро с его лебедями, утками и неутомимым нырком.

Предварив разговор фразой "Видит Бог, я не хочу тебя обидеть" и возложив затем на меня всю ответственность за произошедшее с сыном, она сказала: "Сам знаешь, я уже давно не могу достучаться до него. Он замыкается. Он просто невосприимчив к проявлениям любви и подобным вещам. Сейчас я пришла к убеждению, что он вконец испорчен до самого нутра, до самого мозга костей. Достаточно взглянуть на твою мать, чтобы догадаться, какое наследство он мог получить от нее через ее сынка. И тут уже ничего не изменишь. Кстати, во время моего последнего посещения твой сын отказался от меня".

По ее намекам, она собиралась начать новую жизнь со своим другом, "добросердечным, умным и вполне нормальным человеком". Она, дескать, "заслужила этот шанс" после всего, что ей пришлось пережить. "Представь себе, Пауль, я наконец даже нашла в себе силы бросить курить". От десерта мы отказались. Проявив чуткость, я не стал доставать сигарету. Бывшая супруга настояла на том, чтобы каждый расплатился за себя.

Попытка переговорить с Рози, преданной подружкой моего сына, хотя и представляется мне задним числом смешной, однако кое-что она мне прояснила в дальнейших событиях. Уже на следующий день, который совпал с посетительским днем, мы встретились с ней в одном из кафе Нойштрелица сразу после того, как она повидалась с Конни. Глаза ее уже не были заплаканы. Распущенные волосы она теперь собрала в пучок. Ее постоянная готовность к самопожертвованию сочеталась с внешней собранностью. Даже руки, которые раньше тщетно пытались найти себе место, теперь спокойно лежали на столе, кулачки были сжаты. Она сказала: "Что вы будете делать как отец — это ваша проблема. Я же всегда знала, что Конни хороший, и не разуверюсь в нем, что бы ни произошло; он очень сильный, с его силы нужно брать пример. Не я одна твердо, очень твердо верю в него, причем речь идет не только о его взглядах".

Я согласился с тем, что в Конни есть хорошая основа. Я, мол, и сам верю в это. Мне хотелось сказать больше, но прозвучали слова, как бы завершавшие разговор: "Зло не в нем, а в самом нашем мире". Но тут подошло время подавать заявку на мое посещение тюрьмы для несовершеннолетних.

Мне впервые разрешили посетить его камеру. Было сказано, что за хорошее поведение и образцовую социальную активность для Конрада Покрифке сделано исключение. Его сокамерники отсутствовали; они, как мне пояснили, работали в саду. Конни ожидал меня в своем уголке.

Тюрьма была довольно ветхим сооружением, но, по слухам, сейчас разрабатывался проект современного здания. Я вроде бы подготовился к любым неожиданностям, но все-таки опасался от сына каких-либо сюрпризов.

Войдя, я увидел поначалу только заляпанные стены; он сидел за столом в своем норвежском пуловере, сказал, не поднимая глаз: "Ну что, папа?"

Неопределенным жестом сын, вдруг назвавший меня "папой", указал на книжную полку, рядом с которой — чего я не заметил сразу — было пусто, исчезли все заключенные в рамки фотографии: снимок Вольфганга, называвшего себя Давидом, оба портрета молодого и старого Франкфуртера, обе фотографии, приписываемые командиру подлодки Маринеско. Я пробежал глазами по корешкам книг на полке: как и следовало ожидать, много истории, кое-что о новых электронных технологиях и между ними два томика Кафки.

Насчет исчезнувших фотографий я ничего не сказал. Да и он, похоже, не ожидал никаких комментариев. То, что потом случилось, произошло очень быстро. Конрад встал, снял помеченную тремя красными наклейками модель лайнера "Вильгельм Густлофф" с проволочной подставки, которая находилась посреди стола, положил его на левый борт и начал, причем не лихорадочно или яростно, а скорее размерен-

но и планомерно, крушить голым кулаком результат своего кропотливого труда.

Наверное, ему было больно. После четырех-пяти ударов на правой руке появилась кровь. Должно быть, поранился о трубу, спасательные шлюпки и обе мачты. Но он продолжал бить кулаком по корпусу лайнера. А тот будто не поддавался, тогда сын взял поврежденный корпус двумя руками, поднял на уровень глаз, размахнулся и швырнул его на проолифленные половицы. Затем он растоптал ногами то, что осталось от корабля, не пощадил даже спасательных шлюпок, выскочивших из креплений.

"Доволен, папа?" Потом — ни слова. Его взгляд скользнул к зарешеченному окну, уперся в решетку. Я что-то говорил ему, нес какую-то околесицу. Что-то ободряющее. "Нельзя сдаваться" или "Давай попробуем начать все сначала", какие-то фразы, заимствованные из американских фильмов: "Я горжусь тобой, сынок". Даже когда я уходил, у него не нашлось для меня ни единого слова.

Спустя несколько дней, нет, это было уже на следующий день, мой Заказчик, по заданию которого я двигался траекторией краба, настойчиво попросил меня порыскать по Сети. Дескать, нужно найти там что-нибудь подходящее для финала. До этих пор я воздерживался от блужданий по Паутине, смотрел лишь то, что нужно было по работе, иногда поглядывал порнуху, вот и все. С тех пор как Конни посадили, споры в Интернете прекратились. Ведь Давида тоже не было.

Искать пришлось долго. Правда, имя треклятого корабля появлялось на мониторе часто, но не попадалось ничего нового, ничего похожего на финал. А потом вдруг выскочило нечто такое, чего я даже не опасался увидеть. Особый сервер на немецком и английском языке с адресом "Соратничество имени Конрада Покрифке" — www.kameradschaft-konrad-pokrifke.de — агитировал поддержать того, кто служит образцом идейной стойкости, за что и брошен в тюрьму ненавистной системой. "Мы верим в Тебя, мы ждем Тебя, мы идем за Тобой..." И так далее и так далее.

Никогда этому не будет конца. Никогда.

Уильям Джей Смит

“Недвижное средоточие”

Стихи и эссе

Перевод с английского Г. Кружкова

Велосипедистка

I

Сквозь деревья мелькнули серебристые спицы колес,
    рассыпающих блики;
и золотоволосые нимфы — голоногие, смуглые, в легких
    туниках
выехали из дубовой рощицы, пересекая бордюр ободами
    своих колес (колесниц), отражающих солнце...

и покатились по обочине... Старик сквозь мерцание
    ветрового стекла
глядел на двух девушек, катящихся друг за другом по
    темной горячей дороге
жарким полднем в Чилмарке, у “Виноградника Марты”... и
    думал,
что пора их объехать, взяв левее... но, пока он собрался так
    сделать,
передняя велосипедистка со скрежетом затормозила
(заклинило тормоз), а задняя,

© William Jay Smith, 1998
© Г. Кружков. Перевод, 2002

чтобы на нее не наехать, вильнула — и с разгону, как
ослепленная лань,
метнулась под колеса машины...

Он запомнил внезапный
сполох света, мелькнувшую тень... золотистые волосы,
искореженные колеса,
вздрог машины, удар, крик, пульсирующий в ушах, вой
сирен, тишину...
он стоял над багровой лужей крови, обнимая за плечи
побитую о бордюр
нимфу, рыдающую по своей подруге, отправленной на
вертолете
в госпиталь, где она умерла в тот же день.

II

Сидя за круглым деревянным столом на зеленой лужайке
под ярким навесом от солнца,
следуя за завитками чернил, скользящими по холодному
глянцу тетради,
то притормаживая, то останавливаясь надолго, старик
сочинял
письмо родителям погибшей велосипедистки и, когда он его
подписал, оказалось,
что он держит в руках совсем другое письмо,
пришедшее к нему двадцать лет назад в такой же солнечный
день —
неуклюжие строки, как изрытая колеями дорога, —
соболезнование от родителей молодого водителя,
уцелевшего в катастрофе,
в которой погибла его дочь (в возрасте этой самой
велосипедистки); была бы она жива,
стояла бы рядом сейчас в окружении русоволосых своих
ребятишек;
а может быть, она и сейчас была рядом, как всегда из
своей рамочки застекленной шепча
(или это ему лишь казалось, что он ее слышит):
“Все, что случается, возвращается снова, а понять значит
простить; ты видишь, отец, что круг замыкается?”

Он сложил лист бумаги
и поглядел на солнце — пылающее колесо в безоблачных
небесах —
и увидел на вершине скалы серый камень с приникшей к
нему охапкой роз
и море вдали — в виде синей нервущейся нити.

Большие поэты

Размышление в День великой годовщины – 4 июля 1976 года

В этот день тысяч реющих в небе знамен — звездных и
полосатых —
и ликующих толп, состоящих из праздничных граждан —
простых и усатых,
под большим и прославленным артишоком великой Свободы,
смело солнцу подставив свои мощные лбы, подбородки и
бороды,
вот они
гордо плывут по Гудзону
навстречу теченью,
эти Большие Поэты — по титулу и по значенью,
вот они гордо
движутся с видом торжественно-бычьим:
даже яркий Гудзон меркнет рядом с подобным величьем.

В их рядах — вся ирландская мафия,
югославская мафия и еврейская мафия вместе
(сицилийская мафия тут осрамилась),
легкий бриз раздувает оснастку их надутых верлибров,
рядом с ними Большие плывут Поэтессы —
простите, Поэты Равноправного Женского Пола —
в компанейских штанах и рубахах почти что до пола,
устремляя вперед своих бюстов могучих бушприты:
вот они перед вами, Большие Поэты —
как есть, знамениты,
вот они неуклонно, как стадо бизонов,
и торжественно
движутся вверх по Гудзону.

В этот час в мондриановском пестром
скрещенье манхэттенских линий,
в синкопическом гуле его площадей красно-синих,
рядом с фикусом глянцевым и кустом черных лилий,
в дивном кресле ампирном,
напротив комода Людовика Солнца,
моя леди, прекрасная Лебедь
высовывается из оконца
(Лафайет, не завидуй!) и с грацией своей всегдашней
мне кричит с высоты комфортабельной башни:

"Почему тебя нет в этой флотилии, Уильям?
Подними выше всех к небесам горделивый свой вымпел,
распусти повольней нескончаемые верлибры
и займи свое место
среди Самых Больших из Больших!
Что ты там ковыряешься в своей нелюдимой речушке —

в час, когда уже грянули юбилейные пушки,
и готовят столы к юбилейной пирушке,
и поэт заряжает в жерло
самый крупный свой стих?"

Так она меня кличет, моя дивная, чудная Лебедь,
со своей комфортабельной башни с кондиционером,
и из влажного пекла, из клубящегося болота
я кричу, утирая со лба капли едкого пота:
"О моя Лебедь,
я и рад бы присоединиться
в этот час,
когда над Гудзоном встает молодая денница,
и возликовать вместе с вами,
гордо выпятив грудь;
но моя борода,
наследье индейского предка, —
вот беда! —
растет так удручающе редко:
лишь под носом и на подбородке чуть-чуть,
что, боюсь, меня могут принять за Хо Ши Мина
или, в крайнем случае, за Мао Цзедуна,
скажут:
"Что это у него под губой за клочок паутины?
И почему его личность так *дынна* и *лунна*?"
Лучше уже не вылезать, не срамиться —
все равно мне никогда не сравниться
(и нету резона!)
с этой Плеядой Великих Поэтов Гудзона...

Да и тошнит, прямо сказать, от этих Поэтов,
от натужных октав и кособоких сонетов,
от бесчисленных конкурсов и творческих мастерских,
от заслуженных циников и ханжей молодых —
их обсосанных шуток, слюнявого дадаизма,
их словесного садизма и мазохизма,
их исповедальности со слезою в сироп,
их безудержного академического поноса взахлеб;
я устал от блуждания по журнальчикам и журналам,
от копания в этом дерьме, которого всюду навалом.
Дайте мне просто стихотворение,
чтобы в нем был
искренний пафос,
осмысленный пыл!..
Трудные времена...
Сам напиши-ка попробуй...
Вот и тычусь туда-сюда со своею пирогой
по лабиринту узких протоков и заросших озер...
бородатый мох свисает со старых стволов,
серый, как пепел бесчисленных сигарет,

и корни кипарисов похожи на скрюченные артритом
пальцы, старые, над заржавленным алфавитом
пишущей машинки... и в сумрачной тишине
слышу голос, который вещает во мне:
“Уолт Уитмен жив и здоров, он живет
в Бронксе, преподает в Стони-Бруке —
вы не знали? Это Америки рупор...”
Впрочем, я шучу... Не волнуйся, Уолт!
У бедняги Смита обычный ступор:
он уныло размышляет о том о сем,
его мысли — не мысли, а лежебоки —
шевелятся вяло, как сонный усатый сом,
которого он вытащил со дна протоки”.
Так вещает внутренний голос, пока
свет зари пробивается сквозь розетку
кипарисовой кроны, и с потолка
слышен стук: дятел долбит сухую ветку...

Но твердит моя Лебедь с башни своей:
“Не глупи. Хватит спать посреди затона
в своей жалкой пироге. Возвращайся скорей
на величественные берега Гудзона!
Предъяви свой могучий, гремучий стих
и займи предназначенное тебе, как собрату
по перу, положенье среди Больших
Поэтов, — и не строй из себя Гайавату”.

“О моя леди, — я говорю, —
моя страсть, моя Лебедь из Страсбурга! Вижу,
понимаю, о чем ты мне говоришь.
Знаю, прадед твой строил дворцы в Париже.
Елисейскими Полями украшен Париж
по его величественным проектам.
Но я сам в этот величественный момент
почему-то не чувствую себя монументом.
Оторвись от ампирного кресла, встань
и спустись ко мне, моя прелесть и недотрога,
в это утро, сверкающее как филигрань,
я тебя жду внизу со своей пирогой.
От юбилейного грохота и торжества
уплывем в тихий мир моей родины — в страну моих предков —
через бесчисленные луизианские русла и рукава,
сквозь лабиринт струй журчащих, лиан, паутины, веток,
мимо дубов бородатых и покосившихся белых колонн,
вилл плантаторских, ветшающих одиноко,
мимо изящных чугунных решеток аллеи Бурбон,
мимо старого джаза, доносящегося из окон,
мимо Côte joyeuse, мимо устья Красной Реки,
до широкого берега величественного Залива,
где жемчужные краски неба, как чаячьи перья, легки,

и зеленое море, как поле маиса, красиво;
и мы достигнем места, которого нет
ни на одной карте, и я скажу словами Расина:
“Ясен день сей до дна, и душа моя так же ясна”.
И вернется ко мне в то мгновение то настроенье,
под которое начал я целую вечность назад
над великой рекой свое первое стихотворенье –
в безмятежное утро на фиалковом берегу:
те стихи о любви и надежде, что я до сих пор дописать не
могу...

А Большие Поэты – пускай их под клики “ура”
по Гудзону плывут в этот день, как могучие боги,
и проходят вдоль скал,
где господствуют профессора,
и вплывают торжественно
в важную сень антологий!

Кораблекрушение

Старость – это кораблекрушение: целыми днями
мы растерянно бродим по незнакомому пляжу;
ветер, свистя, гнет одинокие сосны,
и очертания скал, отороченных мхом,
зыбки, как на рисунках у старых китайцев.

Целыми днями мы бродим по кромке прибоя,
слушая непрестанный гул набегающих волн,
и собираем обломки кораблекрушенья,
чтобы, как в детстве, построить из них шалаш
и укрыться в нем от брызг и холодного шквала.

Движущийся клубами с моря туман –
как острова, которые мы посещаем
и покидаем нечаянно и снова хотим
найти, но ветром соленым морским
их уносит: и мы их навеки теряем.

Но иногда выпадают счастливые дни –
солнцем пронизанные, ясные и благие,
словно мы снова средь прежних друзей молодых
пиво пьем и смеемся, беспечные и молодые,
и университетские башни в лучах золотых,
как на картине Вермера город заречный –
миг, сбереженный от времени в памяти вечной.

В*глубь*

Он ушел в себя, как в лес,
гневным духом обуянный,
в лабиринте троп исчез,
в гуще веток и бурьяна.

Позабыв дорогу вспять,
он ушел в глуши скитаться,
гнилостью грибной дышать,
горечью коры питаться,

погружаться в дебри хвой,
в безнадежность, мрак и бездну,
чтобы вдруг над головой
небо пасть свою разверзло

и, разламывая мглу,
грянуло тысячекратно,
чтобы кануть в эту глубь
безвозвратно, безвозвратно.

С*редоточие*

Я вспоминаю три эпизода из разных эпох моей жизни, которые ныне, когда мне уже под восемьдесят, являются передо мной в четкой последовательности, словно связанные единым смыслом. Первый из них я уже описал в своих мемуарах "Армейское отродье"; он относится к 1922 году, когда мне было четыре года и я жил на деревенской улице в Лемее возле Сент-Луиса на реке Миссисипи, неподалеку от "Казарм Джефферсона", где мой отец служил военным кларнетистом в оркестре Шестого пехотного полка:

"У нашего дома было маленькое крыльцо, боковая веранда, передняя комната и задняя, граничащая с большой кухней, замыкавшей дом сзади. Под кухней был подвал с единственным в доме водопроводным краном. И было еще маленькое заднее крыльцо, пристроенное к стене подвала. Под этим крыльцом, где можно было укрыться от беспощадного летнего солнца, мы с братом играли. Там мы лепили из глины пирожки, которыми потом угощали девочек, живших в соседнем дворе, просовывая их сквозь прутья изгороди. Однажды я слепил из глины человеческую головку и, повинуясь какому-то наитию, раскрасил ее в ярко-красный цвет. Она стала моим самым большим сокровищем, своего рода мистическим талисманом, который я всюду носил с собой".

Вспоминаю, с каким удовольствием я лепил эту голову в жаркий послеполуденный час, когда темно-зеленая листва соседнего персикового дерева клубилась от зноя; вспоминаю запах нагретой дворовой пыли и то облегчение, которое давала мокрая глина, разминаемая в моих руках.

© William Jay Smith, 1996

В те времена мы не знали никаких игрушек — ни машинок, ни кукол, и теперь, когда я раздумываю над этим, мне представляется странным, с чего бы это я вдруг сам, без чьей-либо подсказки, слепил эту голову и — что всего странней — раскрасил, едва она подсохла, ярко-красным мелком и так гордо носил ее с собой повсюду.

Второй эпизод случился десятью или двенадцатью годами позже, таким же жарким днем в глубине огромного леса, покрывавшего большую часть резервации "Казармы Джефферсона". Я собирал чернику и задержался у ручья Олд-рок-спринг (который потом стали звать Сильванспрингс), обтекавшего склон холма и орошавшего маленькую тенистую поляну. В "Армейском отродье" я воскрешаю в памяти это место, которое я посетил вновь через много лет: "Помню, как в детстве я лежал часами на берегу этого ручья, погрузив пальцы в его холодные чистые воды, струящиеся, как складки длинного прозрачного шарфа над разноцветным галечным дном. Помню, как осторожно я касался их губами и пил большими глотками эту ледяную хрустально-чистую влагу, казалось, текущую из самого сердца земли".

До сих пор я ощущаю вкус этих чистых холодных струй, не сравнимый ни с чем, что я пил потом; до сих пор вижу эти вспыхивающие струи и эту мерцающую гальку на дне — рядом с крапчатыми стволами платанов, росших на берегу ручья. Я не знал тогда, что на этом самом месте в 1826 году капитан Стивен Уоттс Кирни разбил свой лагерь и построил первые бревенчатые дома и что задолго до него индейцы считали эту часть своего леса заповедной и священной.

Третий эпизод относится уже к середине пятидесятых годов. Я сидел перед пишущей машинкой в своей нью-йоркской квартире на Перри-стрит в районе Гринич-виллидж. И снова была летняя послеобеденная жара. За открытым окном колыхались ветви огромного китайского ясеня, и сквозь эти ветви откуда-то сверху доносился непрерывный перестук, словно там долбил ствол какой-то чрезвычайно энергичный дятел. Но это был не дятел, а машинистка, которая долбила на машинке этажом выше. Сделать ничего было нельзя; я злился, злился — но в конце концов развеселился и сочинил стихотворение, которое начиналось так:

Птица Пишмашинка с пестрым хохолком!
Будем мы с тобою весело вдвоем
Весело чирикать день за днем,
Пока не заманим песенкой в наш дом
Другую Пишмашинку!

Перепечатывая это стихотворение, я поспешил, и из-за плохо вставленного листа бумаги строчки поползли вкривь и вкось. Мой четырехлетний сын, вертевшийся рядом, сказал, что у меня получилась птичка. Он попросил меня сделать еще одну, и я для его удовольствия сотворил еще несколько птичек, а также человечков. Картинки очень понравились моему сыну — ему даже показалось, будто он сам их нарисовал. Я ликовал вместе с ним. Я почувствовал, что мне удалось победить механическую косность печатной машинки, этого тотемного знака цивилизации, и вновь пробиться к чему-то первозданному и девственному. То, что моя победа выросла из шутки, делала ее не менее серьезной в моих глазах.

Эти три эпизода — своего рода духовный триптих — кажутся мне относящимися к чему-то глубинному в душе, к тому средоточию, где рождается мир, к сокровенному сердцу творения, откуда берет начало таинственная тропинка поэзии. Я думаю, что никакое искусство, тем более никакое эмоциональное искусство, способное породить то, что Федерико Гарсиа Лорка назвал "темными звуками" (sonidos negros), не возникнет, если его создатель не приникнет к этому тайнику земли. Мой триптих, прикасаясь к этому средоточию, напоминает о родстве со стихиями, о той чувственной и духовной связи с землей и небом, что позволяет индейцам-могавкам с изумительным чувством равновесия расхаживать по самому краю высочайших небоскребов. Красная тотемная фигурка, слепленная мною в раннем детстве, и мой священный ручей как будто явились прямиком из индейской легенды, а фигурки птиц и людей, возникшие из моей пишущей машинки, честное слово, очень напоминают петроглифы, что коренные американцы оставляли на каменных стенах своих пещер как отражение живого мира, с которым они были в неразрывной связи, и как благодарную дань этому миру.

Каждый настоящий художник исходит, я полагаю, из этого недвижного средоточия; был ли он, в моем случае, усилен той скромной долей индейской крови (крови *чокто*), что течет в моих жилах, не могу судить. Как я уже рассказывал в "Армейском отродье", еще задолго до того, как я узнал об индейском происхождении моей матери, я уже ощутил родство с первыми обитателями тех мест, где я вырос: "В течение всего детства я отождествлял себя с индейцами — не кочевыми индейцами вестернов, фальшивость которых я ощутил очень рано, а оседлыми индейцами лесов, встречавшими первых белых поселенцев; не индейцев с томагавками и боевыми воплями, а следопытов и охотников, скрытно движущихся по лесу. Я находил в пещерах наконечники их стрел; я представлял себя индейцем, когда бродил по окрестным лесам, сооружал шалаш из ореховых веток на берегу илистого ручья и когда осторожно крался в кустарнике, прислушиваясь к малейшему звуку, зловещему шороху змеи или внезапному всплеску перепелиного выводка:

> Как в темной туче солнечные всплески,
> Так перепел скрывается в подлеске.
> Хруст ветки — и внезапных крыл сверканье,
> Земли и неба бракосочетанье.

И теперь, полвека спустя, я все еще могу в глубине души ощутить этот внезапный взлет перепела, что, как меткий удар кисти или безошибочный росчерк пера, соединяет землю и небо в единой гармонии, без которой нет поэзии.

Петер Эстерхази

H*armonia cælestis*

Главы из романа

Перевод с венгерского и вступление В. Середы

Петер Эстерхази, пожалуй, самый знаменитый из современных венгерских прозаиков, автор двух десятков романов, за последние четверть века не раз приводил читателей в изумление. Некоторые книги этого мастера тотальной иронии и эвристического письма — как, например, "Производственный роман" (в прошлом году, через двадцать два года после публикации в Венгрии, он вышел в русском переводе) или "Введение в художественную литературу" (1986), само название которого говорило о заявке на собственную эстетику, — давали критикам повод говорить о смене эпох в венгерской словесности, о включении ее в мировой литературный контекст, о появлении оригинальной, не эпигонской версии постмодернизма центральноевропейского образца.

Сюрпризом стал для читателей Эстерхази и опубликованный в 2000 году роман "Harmonia cælestis" ("Небесная гармония"), над которым писатель работал без малого десять лет. У многих после прочтения этой книги возникло даже ощущение, что все написанное автором прежде было лишь подготовкой к ее созданию. Согласиться с этим, конечно, трудно. Но роман, безусловно, для Эстерхази итоговый, и беспрецедентный успех, выпавший на долю этого внушительного 700-страничного тома, не случаен. Около 100 тысяч проданных за два года экземпляров — в десятимиллионной Венгрии! Публикация романа на немецком, французском и готовящиеся переводы на ряд других языков. Довольно единодушное признание со стороны как обычных читателей, так и высоколобой критики. Присуждение ряда престижных литературных премий... В чем причина такого успеха, свидетельствующего, среди прочего, о том, что и в наше время, вопреки

© Péter Esterházy, 2000
© В. Середа. Перевод, вступление, 2002
Публикация подготовлена при финансовой поддержке Переводческого фонда им. М. Фюшта и фонда "Венгерская книга".

распространенному мнению, высокая литература не тождественна элитарной и вовсе не обречена на внимание только узкого круга интеллектуалов? Причина, я думаю, в том, что Эстерхази, не отказываясь от современного понимания сочинительской работы как работы прежде всего с языковой реальностью, сохранив в снятом виде предшествующий опыт, создал подобие классического романа, объявленного невозможным "большого повествования" или, как выразился один из венгерских критиков, "выбрасывая в дверь все атрибуты традиционного романа, тайком возвратил их через окно". Таким образом, "Harmonia cælestis" обозначила, можно сказать, послепостмодернистскую ситуацию в литературе, давно уже ощущаемую, но не манифестированную весомыми художественными достижениями.

Это новое качество отражается и в структуре романа, состоящего из двух, приблизительно равных по объему, взаимодополняющих, хотя и не слишком тесно связанных между собой частей.

Книга первая называется "Нумерованные фразы из жизни рода Эстерхази". В центре ее — Отец, каждый фрагмент начинается словами "мой отец". Но "мой отец" в данном случае — фикция, условное имя, заменяющее имена самых разнообразных героев, среди которых — как реальные предки автора, носители одной из самых громких и знаменитых венгерских фамилий, так и вымышленные (или невымышленные) персонажи, от самого Господа Бога до вора, убийцы, бомжа, а также литературные герои венгерских и невенгерских авторов. Этот прием и объединяет повествование в целостную, организованную по законам музыкальной композиции структуру, помогает уловить, придать форму и смысл тщете и анархии, бесконечно многообразной панораме человеческого бытия и истории.

Книга вторая (фрагменты которой публикуются в этом номере) носит название "Исповедь семьи Эстерхази". Это частный случай большой Истории, эпопея конкретной семьи: родителей автора, его деда, бабушки, ближних родственников, складывающаяся из частных и общих событий (от прихода к власти венгерских коммунистов в 1919 году и Второй мировой войны до депортации всей семьи в провинцию после 1945 года, революции 1956-го и кадаровской "консолидации" 60-х годов); это сага о диктатуре, с потрохами пожирающей человека, о распаде казавшегося когда-то прочным миропорядка. В центре "Исповеди...", как и в первой книге, — фигура отца. Но, показывая трагизм бытия, одиночество, постепенную деградацию этого так до конца и не понятого человека, Эстерхази повествует, конечно, не только о нем, и не только об аристократии, к которой принадлежала его семья. "...В нашей истории, — писал автор еще до выхода в свет романа, — речь идет не о том, что некая безответственная и циничная власть (коммунистов) растоптала, унизила, уничтожила бедных графов... а о том, что эта самая безответственная и циничная власть растаптывала, унижала и уничтожала графов — заодно с неграфами, с интеллигенцией и рабочим классом, выступающим в нерушимом единстве с крестьянством, то есть речь идет о ликвидации целой страны".

Если в первой книге романа господствует надысторический взгляд, "небесный" регистр, то во второй — земная конкретика, небесное здесь уступает место профанному. Взятые вместе, обе части романа — мистерия семьи, познавшей на протяжении веков рай и ад, в которой травестийно пародируются и высокие устремления, и несчастья, обрушившиеся на семью, самим Богом словно бы созданной для того, чтобы послужить моделью крайних полюсов бытия. Но назвать роман Эстерхази биографическим можно только условно: граница реального и воображаемого здесь размыта, подвижна, доподлинные истории, явно достоверные эпизоды из жизни семьи перемежаются со столь же явным вымыслом, заимствованными текстами и трансформированными цитатами. Книга в целом — плод

художественной фантазии, содержащий и подлинные события, детали и факты из истории Венгрии и семейной истории Эстерхази последних четырехсот лет.

Название "Harmonia cælestis" роман получил от музыкального произведения эпохи барокко — цикла кантат, автором которого является один из предков Петера Эстерхази. Перенесенное на обложку книги, название это символизирует не только связь поколений, но и передает определенное состояние духа, пронизывающее текст романа, да и всей прозы Эстерхази, в которой игра, веселость, экзистенциальный оптимизм всегда неуловимо присутствуют, окрашивая даже самые трагические страницы повествования.

Упрощая, идею романа можно назвать попыткой упорядочения неуловимого и хаотического многообразия истории, во многом пересекающейся с историей рода Эстерхази, создания художественной "структуры мира", модели бытия (в первой части романа) и отображения в зеркале этой модели судьбы конкретной семьи на фоне трагических катаклизмов XX века (во второй части). Постмодернистская деконструкция и традиционная реконструкция сопрягаются здесь вполне органично, в чем и состоит главное достижение и загадка романа.

"Чертовски трудно врать, когда не знаешь правды", — этой эффектной фразой, вложенной в уста одного из своих именитых предков, начинает роман "Harmonia cælestis" Эстерхази, и, хотя из текста прямо не вытекает, что речь — о трудностях повествования ("вранья", сочинительства), становится ясно, что автор подводит нас к кардинальному для прозы XX века вопросу, который, собственно, и породил пресловутый кризис романа и бесконечные по этому поводу дискуссии. Тем не менее роман до сих пор существует, что время от времени, иногда даже с блеском, демонстрировала литература закончившегося века. Одним из примеров такого рода можно считать и книгу Петера Эстерхази, который не стал пытаться опровергать трудно опровержимые данности нашей эпохи, а нашел компромисс между художественной формой и временем, создав великолепную иллюзию необходимой роману завершенности и полноты.

P. S. 16 мая 2002 года, когда эта публикация была уже полностью подготовлена, в Будапеште директор издательства "Магветё" Геза Морчани представил журналистам новую книгу Петера Эстерхази под названием "Исправленное издание" с подзаголовком "Приложение к роману 'Harmonia cælestis'". Как выяснилось, уже после завершения работы над романом Эстерхази получил возможность ознакомиться с архивными материалами бывшей службы венгерской госбезопасности, имеющими отношение к его отцу. Писатель, привыкший считать фантазию сферой компетенции искусства, столкнулся с реальностью, которая, как нередко бывает, превзошла всякое воображение. Еще одно, на сей раз документальное, повествование об отце, каким является "Исправленное издание", у всех, кто его прочитал, вызвало потрясение, шок, настоящий катарсис. Но это отдельная история, к которой, надеюсь, у нас будет возможность обратиться в одном из ближайших номеров журнала.

Исповедь семьи Эстерхази

Персонажи этой беллетризованной биографии выдуманы автором и имеют постоянное место жительства и собственное лицо лишь на страницах книги; в реальной жизни их нет и никогда не было[1].

1

— НЕ знаю, ваше сиятельство, как и сказать, но вроде как... коммунисты нагрянули. — Меньхерт Тот, старик Менюш, даже не произнес, а скорее выдохнул эти слова, будто бы уповая, что если чего не сказать, так того может и не случиться. Но то, что он увидал, напугало его еще пуще: на строгом лице госпожи — чего отроду не бывало — он заметил смятение. (Все у нас начинается с испуга и коммунистов и, по-моему, тем же и кончится.)

2

Моей бабушке было тогда двадцать три — она только что вышла замуж, была молода, такой ее трудно представить. Хотя на желтеющих фотографиях я легко узнаю ее: в лице бабушки различимы черты моего отца; отец и бабка (да еще моя тетя, отцова сестра) — будто карикатуры друг на друга: *тот же* разительный лоб, открытое, достойное пейзажиста пространство, местами изрезанное трещинами морщинок, тот же самый, с горбинкой, нос — такой профиль, в зависимости от культуры, вкуса и политических убеждений, называют кто римским, а кто еврейским — и тот же постоянный прищур вечно смеющихся над чем-то глаз.

Но тщетно пытаюсь я узнать бабушку в этой молодой, чаще всего нелепо одетой женщине ("твоя бабушка обладала таким выдающимся антивкусом, что на ней устраивали рандеву самые безобразные, шарахающиеся друг от друга вещи, но всегда умопомрачительно дорогие"); глядя на эти семейные фото с застывшими в заданных позах фигурами или в позах, наоборот, несуразных, случайно схваченных объективом, видя бабушку то в обществе младших сестер, картинно выставивших головки в распахнутое окно, цветущих, красивых, юных, с букетиками в руках, то рядом с детьми и мужем на ступенях парадной лестницы (тут она — настоящий, пусть и неявный, глава семьи), то об руку с красавцем дедом (уже играя роль второстепенного действующего лица), то в тени (гениальный снимок, потому как буквально: в тени!) своей грозной свекрови, княгини Шварценберг, то с граблями в руках, с засученными по-мужски рукавами, в окружении перепуганных и смущенных крестьян, — на всех этих снимках я вижу скорее какую-то незнакомую родственницу или знакомую, но чужую, какую-то загадочную кузину, которая, судя по "декорациям", жила почему-то лет на шестьдесят раньше "положенного". Свою бабушку я способен представить лишь старой, даже старой-престарой. Не все бабушки таковы, но она (была) такова, и такою она мне видится.

1. Эпиграф заимствован автором из книги известного венгерского прозаика Шандора Мараи "Исповедь буржуа" (1934—1935). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вечно старой и — хотя с нею рядом на снимках всегда кто-то есть — одиноко стоящей. Не сиротливой, а ни к кому не привязанной. Никто ей *не подходил*, ни дети, ни взрослые, ни мужчины, ни женщины. Никто не был *нужен*, а если кто и оказывался рядом с нею, это выглядело такой же случайностью, как погода. Мог бы дождь идти, а могло бы и солнце светить.

3

То же самое я думал потом об отце. Что есть люди, которые ни в ком не нуждаются. Я, к примеру сказать, не такой, а вот он — я был в этом уверен — такой. Но я ошибался. Хотя почти на всех его снимках присутствует это едва уловимое отчуждение — Краус и сыновья, город Тата; Bildstelle Wachtl, Wien[1]; фотостудия Лернера, "Офотэрт"[2] — братья лесенкой, на всех бриджи а-ля Prince de Galles[3], отец в очках от Симона Вальдштайна, какой-то отдельный, не причастный ни к детству, ни к мировой войне, а затем и подавно уж ни к чему: новая, чужая страна; у него ничего, кроме нас; действительно — ничего. Граф по имени Ничего.

4

На фотографии у отца из уголка рта, как во французском (еще черно-белом) фильме, лихо свисает сигарета, вечный "Мункаш"[4]; отец улыбается всем лицом, взгляд его странноват и чуть смазан, будто он малость поддал, а может, отец просто молод, неузнаваемо молод; на нем видавшая виды роба и вытянутый, чем-то заляпанный свитер; фон едва различим, привалившись к какой-то саманной стене, он гордо показывает перед камерой черчиллевскую викторию — два пальца, расставленных буквой V. Значит, что б ни случилось — а оно, разумеется же, случится, — так просто нас не возьмешь? На голове у отца, словно каска, лихо сдвинутая набекрень белая эмалированная ночная ваза. Горшок. Обыкновенный ночной горшок.

8

В тот момент, когда Меньш Тот, войдя в гостиную, обставленную бабкой моего деда, маркизой де Руазен, доложил о приходе коммунистов, мой отец нанес бабушке ошеломляющей силы удар в живот. Только без паники: он пнул ее изнутри.

Младенец, пинающий материнское чрево изнутри, — каков кич, а ведь вполне оправдан! Съезжают с живота (какое с живота, с брюха!) разложенные на нем карты, в более душещипательном варианте — на пол шлепается козырный туз, отцовская рука с трепетом ловит толчки; словом, нет на свете банальности, которая не сгодилась бы для описания сей картины. Иное дело — снаружи: такое деяние подлежит осуждению в духе четвертой из десяти заповедей.

Лично я — против без всяких заповедей. Правда, бить человека мне доводилось нечасто. Сосчитать подобные случаи хватит пальцев одной руки и больше привычных пяти, пожалуй, и не понадобится... Даже ес-

1. Фотография Вахтла, Вена (*нем.*).
2. "Офотэрт" — объединение фотостудий и магазинов фототоваров в Венгрии.
3. Принц Уэльский (*франц.*).
4. Дешевые венгерские сигареты без фильтра.

ли учесть всех тех, кого мне только хотелось ударить, и не просто в фантазиях: вот бы здорово залимонить как следует Хусару-старшему или Брежневу дать по морде... Но когда из бессильного унижения остается, казалось бы, один выход, когда мышцы напряжены до предела, то и в этом случае наберется не многим больше. Ну а чтобы на мать с отцом поднять руку — такого, естественно, не было и в помине. Точнее, однажды было. Я ударил отца. Но это было давно. К тому же, он был в сильном подпитии, так что можно считать, это был не он. То есть нельзя, конечно. Когда прозвучала пощечина — не пощечина, хуже: я лупцевал его, бил ногами, бодал его, как шпана, — мы с отцом, замерев, как в стоп-кадре, уставились друг на друга: то был он, то был я, увы. Меня сбила с толку уверенность, что я прав. Был прав. Тогда.

15

Подобно всякому человеку, разглядывающему свое семейное древо, я понимаю, как мало известно мне о своих предках. Но ведь и все мы о них мало знаем, много знать о них — независимо от семьи, от архивов — никогда не дано; и любой из нас может выяснить к примеру только, что дед был серьезный, с козлиной бородкой, седой господин строгих нравов и благородных принципов, чему свидетельством служат семеро его отпрысков.

И еще кое-что не мешает иметь в виду... Если бы мы могли спокойно воссоздавать наше прошлое, разгуливать по нему, объективно оценивать... Нет, этого мы не можем, настоящее всегда агрессивно... всегда погружается в мутные воды минувшего, чтобы выудить из него то, чего ему не хватает для лучшего, более полного оформления его нынешнего обличья. Может быть, свое прошлое я не столько воссоздаю, сколько пожираю, то есть я — тот, каков я сейчас, — экспроприирую и обкрадываю самого себя.

Существовать — значит фабриковать себе прошлое. (Изречение моего деда.)

17

Пинок отца был рассчитан точно, и бабушке показалось, будто бы Менюш Тот объявил, что коммунисты явились к ней прямо во чрево, отсюда и смятение на ее лице. Да, еще: как об этом узнал слуга? "Этим каналь-ям всегда все известно". Моя бабушка всегда четко знала свою задачу и того же требовала от других. Потому-то она и казалась мне одинокой: принадлежала она не людям, а делу. И еще одно отличало ее от известных мне представителей рода людского — набожность. Она верила в Бога неколебимо, как умели лишь в старину, много веков назад. Откуда я это знаю? Знать, конечно, не знаю.

19

Мысли бабушки, таким образом, обратились сперва ко Всевышнему, потому что она всегда сначала обращалась к нему, а потом — к задаче. Которая в данном случае пиналась в ее животе.

— Вы с ума сошли?! Менюш?! — Когда она гневалась, невозможно было понять, спрашивает она или утверждает. — Вам померещилось?!

Верный слуга, не желая еще раз осквернять уста жутким словом, показывал себе за спину, сопровождая свой жест гримасами.

— Ну точно, с ума сошли, — кивнула бабушка. — Жаль.

Менюш Тот отчаянно, чуть ли не раздраженно потряс головой, как будто играл с госпожой в "горячо-холодно" и та никак не могла угадать верное направление. Сообщение Менюша было столь фантастичным, что бабушка не могла ему не поверить. Даже если он и сошел с ума, то *не настолько же.* Выдумать такое немыслимо, даже если начисто забыть о руке рацио. *Рука рацио,* я часто потом это слышал.

Она подошла к окну, отсюда, из задних покоев, был виден парк, который, по всей ширине подступив к тыльной части дворца (или фронтальной, тут боролись друг с другом различные школы), какое-то время как бы топтался перед громадным, в классическом стиле, несимпатичным зданием и затем не спеша — по-английски — растворялся в предгорьях Вертеша. Хозяйкой во дворце была не бабушка, а "матушка-княгиня", бабушкина свекровь, которую — по временам депортации — знал и я. В ссылке она и скончалась, несколько недель пролежав перед смертью в параличе. Было только одно движение, которое старуха сохранила до самого конца: желая зевнуть, она прикрывала ладонью рот. Что значит дрессура!

Рождение моего отца — а родиться ему все равно придется, как бы он, криптокоммунист своего времени, ни барахтался, ни сопротивлялся, находясь там внутри, — принесло бабушке независимость: они отселились в Майк, в охотничий замок, приспособленный под усадьбу.

Характер у бабушки был неласковый, и оттого ее твердость казалась суровостью, ее просьбы воспринимались как распоряжения, правда, распоряжения никогда не звучали командами. Зато последовательность бабушки делала ее предсказуемой и надежной, и это, в сочетании с постоянной готовностью оказать помощь, иногда создавало видимость сердечности.

Что касается видимости, то, во всяком случае внешне, в ней не было ничего аристократического, хотя и мать и отец ее были из рода Каройи[1] ("твоя бабушка — дважды Каройи!"), и вообще, если вести речь об ее изъянах, бабушке чуждо было стремление к наслаждениям (так что викторианскому наставлению относительно половой жизни — close your eyes and think of England[2] — ей было следовать нетрудно), мир красоты, запахов, чувств оставлял ее равнодушной, у бабушки вообще тела не было — только когда рожала.

— Вы рожали когда-нибудь, Менюш? — Менюш залился краской. Бабушку он любил, хотя и не знал еще, что второго ребенка, младшего брата моего отца, назовут тем же именем, что и его. Впрочем, слово "любовь" не годится, любить он не смел, скажем так: чувственно уважал. — А я вот рожаю. Сейчас.

— Нет-нет, барыня, вы еще не рожаете.

— А что же я делаю?!

— Со мной изволите разговаривать. — Он снова покраснел. — Извините. Пожалуйста, не извольте пока рожать, потому как не время. — И

1. Каройи — один из известных аристократических родов Венгрии, давший многих крупных политиков, дипломатов, например графа Михая Каройи (1875–1955) — в 1918–1919 гг., до установления в Венгрии коммунистической диктатуры, премьер-министра, а затем президента страны.
2. Зажмурься и думай об Англии (*англ.*).

опять стал показывать за спину, на этот раз головой — будто лошадь, которую дергают за узду.

— Да что вам дались эти коммунисты! — раздраженно махнула рукой бабушка.

— Мне, барыня?! — изумился слуга. И хотел было добавить, что сейчас речь совсем не о нем, но смолчал, потому как о нем речи быть вообще не могло. Моя бабушка в глубине души, как мне кажется, была коммунисткой, во всяком случае во всех сферах жизни стремилась к равенству. Впрочем, это звучит двусмысленно — революционеркой моя бабушка не была, а была она барыней, ее сиятельством, но людей мерила одной меркой. Хотя, наверно, она все же не думала, что бытие определяет сознание — да и правда, если бы бытие определяло сознание, то она и не могла бы так думать.

— Менюш, — положила конец непривычной для нее болтовне моя бабушка, — велите скорей закладывать, я должна успеть на скорый до Таты, и перестаньте мотать головой. А ты, сын, потерпи, — строго бросила она младенцу-отцу, точнее, она сказала ему то же, что говорил счастливому мгновению Фауст: остановись, крошка, тебе лучше побыть пока там, и, неся перед собою огромный живот, выкатилась из гостиной, которая в семье так и называлась — Руазеновская.

22

В нашем селе диктатором стал каменщик по прозванию Дюла Халнек, чьи предки из поколения в поколение рождались в наших поместьях и умирали у нас на службе. И только отца Дюлы Халнека по причине его беспробудного пьянства мой прадед вынужден был от службы освободить. Когда грянула революция, каменщик уже возглавлял социалистическую ячейку Чаквара, которая рекрутировалась тогда из сплошных тунеядцев да болтунов обоего пола. Не мешкая ни минуты, эта шатия-братия развернула борьбу против "графьев да попов".

И хотя характер и поведение Халнека заслуживали всяческого презрения (заявил мой прадед, удивляясь тому, что умудрился запомнить фамилию Халнека), агитатор он был отменный. Загадочно улыбаясь, он ходил по селу:

— Графу лучше поостеречься, не то мы ему покажем.

Халнек правильно понимал, что власть, опирающаяся на народ, должна руководствоваться древним лозунгом "panem et circenses"[1], а потому организовал духовой оркестр, который по разным торжественным случаям оглушительно и, может быть, даже с чувством, но чертовски фальшиво дудел "Марсельезу".

За добрую неделю до событий, которые добрую неделю спустя действительно воспоследовали, прадеду доложили, что на митинге социалистов решено было, как бы прадеду в пику, провести марш протеста с музыкальным сопровождением и под красными флагами. Последнее обстоятельство весьма удивило прадеда.

— Халнек, стало быть, исповедует уже не социалистические, а коммунистические принципы?

— Насчет этого, ваше превосходительство, мы не в курсе.

1. Хлеба и зрелищ (*лат.*).

Прадед, пользуясь его — прадеда — выражением, убедительно попросил своих подчиненных из числа членов партии участвовать в демонстрации, притом так, чтобы в каждой шеренге был хотя бы один человек, способный пресечь возможные безобразия. Особого беспокойства прадед не испытывал, рабочих манифестаций он повидал немало ("более того, любопытства ради я и сам в разных городах помаршировал с народом") и знал, что такое железная дисциплина, которая исключает любые эксцессы — если таковые не входят в расчеты организаторов. Но тут прадеду в панике доложили, что демонстрацию планируется завершить во дворе усадьбы, где Халнек намерен провести митинг.

А это касалось нас уже непосредственно.

23

"С населением Чаквара отношения мои складывались довольно своеобразно. Люди в массе своей видят в барине, независимо от его личных качеств, нечто мистическое, причину всего — и хорошего, и плохого, — что творится в Чакваре. Поистратился человек — идет в пенсионную кассу просить под умеренный процент ссуду; беда какая нагрянула или случился пожар — обращаются к барину за кирпичом и прочими материалами; если кто-то неизлечимо болен — опять же у барина просят поддержки. Иной раз даже складывалось впечатление, что если кто помирал, то и в этом винили меня, будто сам я собираюсь жить вечно, по-моему, они так и думают, но уж тут-то, любезные, придется мне вас разочаровать! Или взять, к примеру, по сю пору бытующее целование ручки. Если "милостивый барин" паче чаяния откажется подать ручку — из прогрессивных ли взглядов или заразы какой испугавшись при виде сопливых носов, его тут же осудят: "Возгордился! Уж и к ручке не подойди!" И только во времена коммуны враги и друзья перестали именовать меня барином, а владенья мои — поместьями, но когда, слава милости Божией и здравому смыслу людей, 2 августа 1919 года коммунизм потерпел фиаско, то первыми, поджав хвосты, пришли целовать мне ручку самые отъявленные смутьяны. Барин и барский дом считались в селе неприкосновенными. Словами это не объяснишь, но даже во время коммуны мне доводилось слышать от возмущенных егерей и охранников, такой-то, мол, — ужасный коммунист, потому как осмелился громко свистеть или кричать рядом с усадьбой. Нечего и говорить, что по поводу свиста никаких указаний я не давал. Но чтоб кто-то без разрешения вторгся в усадьбу — такое казалось настолько невероятным и невозможным, что многие на селе в это запомнившееся мне утро со смехом и недоверием восклицали: "Слыхали? Халнек надумал идти к усадьбе!" Это было равносильно тому, как если бы кто-то сказал, будто Халнек собрался взлететь или что он — папа римский".

24

Решив, что уж лучше пусть их укокошат дома, чем в другом месте, прадед с семьей спокойно дожидались событий. На всякий случай кое-где у дверей он расставил слуг, рассовал по карманам деньги и драгоценности и посоветовал членам семьи сделать то же самое — вдруг придется покинуть усадьбу. На обед в этот день званы были графиня Элеонора Лам-

берг, свояченица прадеда, и ближний сосед-помещик граф Фюлеп Меранский. Поскольку у них в имениях агитации не было, здешний переполох весьма удивил их.

— А я и не знала, что у нас революция, — рассмеялась графиня. Моя бабушка отошла к окну. Бывали минуты, когда ей не хотелось видеть людей. (Впоследствии она в этом покаялась.)

По неуклонному своему обычаю после обеда прадед всегда отдыхал на балконе, а посему, откланявшись, пожелав остальным приятного времяпрепровождения и попросив строго соблюдать установленные им меры предосторожности (которые в основном были связаны с понятиями "хладнокровие", "спокойствие" и "миролюбие"), он улегся в шезлонг, изготовленный для него в Коложваре, и погрузил стопы в привычный старый ножной мешок. С балкона он ничего не видел, зато вполне отчетливо слышал характерный рокочущий и невнятный гомон толпы, который на сцене — как было известно прадеду — имитируют, заставляя статистов, изображающих народ, повторять бесконечно: "рабарбер, рабарбер"[1]. Мне кажется, что для прадеда революция означала не больше, чем это слово: "рабарбер".

28

Назвать хоромами нашу будапештскую квартиру, находившуюся у подножия Крепости, было бы преувеличением и дилетантским бахвальством, но, чтобы колоть глаза, она была достаточно велика — случаются времена, когда глаза может колоть что угодно, не только 50 000, но и 50 хольдов[2], тут все дело, видимо, в глазомере, а потому комнаты первого этажа, служившие апартаментами прадеда, реквизировали немедленно, их получил, якобы для приема рабочих, какой-то дантист, а деду и бабушке пришлось ютиться в трех-четырех комнатах наверху. Что тоже вопрос глазомера (ютиться).

Стоило бабушке ступить в квартиру, как у нее начались родовые схватки, а стоило начаться родовым схваткам, как в гостиной остановились огромные, с гирей на цепочке, маятниковые часы, хотя дед заводил их (то бишь подтягивал гирю) не далее как во вторник, а завода обычно хватало на две-три недели. Было в этом что-то загадочное. Гиря, не опустившись и на треть цепочки, застыла на месте и дальше не продвигалась. Как вскоре установил дедушка, одно из звеньев — непонятно как и по какой причине — встало поперек цепочки, и зубец шестеренки не мог его захватить. Г-н Шатц — Оливер Томас В. Шатц, как он обычно рекомендовался, — часовой мастер из Брашшо, которого дедушка вызвал тогда же, в субботу после полудня ("пештские" часы обслуживал он, жил он где-то поблизости и являлся всегда столь быстро, будто дни и месяцы напролет проводил в ожидании вызова), заявил, что с подобным он сталкивается впервые, что в звене даже при рассмотрении через *стеклышко* не заметно никаких дефектов и что сей феномен противоречит элементарным законам физики, ибо гиря и собственный вес цепочки удерживают ее на зубчатом колесе в натянутом состоянии, а значит, для того чтобы звенышко вот так развернулось, какая-то (или чья-то) сила на мгновение должна была приподнять гирю. Шестеренка в том мес-

1. Rhabarber — ревень (*нем.*).
2. Хольд — венгерская мера площади, равная 0,57 га.

те, где застопорилась цепочка, в порядке. Угол оси и фиксация безупречны.

Подозрение, все равно что наследство, имеет обыкновение переходить — но тут перейти ему было не на кого, ну разве на деда, ведь ключ от футляра часов лежал у него в кармане, однако представить, что он бы мог... Чего не бывает на свете! Г-н Шатц, укладывая стеклышки, как он называл свои лупы, в черный чемоданчик с фиолетовой бархатной подкладкой и золоченой надписью "1706—1856. LEIPZIG", бормотал про себя:

— Стыдно признаться, но иной раз склоняешься к мысли, будто рядом бесчинствуют домовые.

Дед взглянул на него подозрительно, г-н Шатц полагал, что за часами надо понаблюдать и попросил разрешить ему в течение пяти дней, включая и воскресенье, в одно и то же время — тут он в свою очередь подозрительно глянул на дедушку, — после полудня, между тридцатью и сорока пятью минутами третьего, проверять состояние часов. Дед кивнул в знак согласия, после чего распорядился отправить бабушку в акушерскую клинику на улицу Р.

30

— Скажите, любезный, — обратился мой дед (напрямую, быть может, впервые) к собравшемуся уходить г-ну Шатцу, — это все же вопрос для специалиста: что, у нас началось новое летосчисление?

Г-н Шатц сделал вид, что не понял вопроса, но все же ответил:

— Остановилось не время, а только часы, — и с тем распрощался. Но проверить часы ему так и не пришлось, ибо дедушку в тот же вечер арестовали. Его вытащили из постели, когда он, по обыкновению, просматривал свой любимый "Спектейтор".

Мне кажется, сам Господь сотворил дедушку для того, чтоб его арестовывали. Он и выглядел как-то не так, точнее, у деда все было на месте, он был вылитый аристократ, рафинированные черты лица, благородство жестов, вековая уверенность, воспитание, энциклопедизм, надменность, мой дедушка был не просто самим собой, а воплощал собой "все", старый мир, его квинтэссенцию от барских мерзостей до завораживающего очарования, во всяком случае презирать его снизу вверх было затруднительно, потому на протяжении века время от времени его не раздумывая арестовывали и сажали, не успевал он и рта открыть. А когда успевал, это только усугубляло дело.

Если дед подымал на кого-нибудь свой холодный тысячелетний взгляд, человек этот обращался в камень.

31

Кстати, камни мы изучали в школе; во время экскурсий нам их непременно показывали. А надо учитывать, что завуч Варади, тетка очень партийная, применяла теорию классовой борьбы ко мне и моему братишке.

А также к Мамочке. Но с мамой было сложнее, так как мама ничего не боялась, точнее, боялась, конечно, кто тогда не боялся, но испугать ее было трудно. Запас стойкости исчерпался у мамы лишь к 60-м годам. Она снова стала пугливой, только когда мы выросли. Ее страхи бесили нас, но в принципе это было уже не в счет, будто мамина старость относилась не к настоящей маме, а была чем-то вроде довеска. Мне казалось,

что больше с ней ничего не случится. И, что хуже всего, так казалось и ей самой.

Школьная экскурсия: горы Баконь-Вертеш-Герече, старинный замок.

– Вот пример ужасающих феодальных порядков! – с гневом указывала на камни училка Варади.

– А твой дед был нехилый мужик, – прошептал кто-то рядом со мной.

– Ага.

Мы не очень-то ужасались; я уже надоел всем до чертиков, надоела моя фамилия и что Варади беспрерывно меня поминает (правда, при этом она на меня не глядела, за что я был ей признателен). Понятно, во время прогулки по Вертешу обойтись без таких упоминаний невозможно. Но чтоб там – а, видимо, именно это и выяснялось по ходу экскурсии – все кругом было наше, в такое никто не верил. Никто. Только Варади, клокотавшая пролетарским гневом.

Приближаясь к очередному охотничьему замку, мальчишки ехидно подмигивали; ну что, это тоже твой?! – на что я отвечал, ну понятно, не Терешковой же, и мы, с гоготом согнув руки в локте, дружно показывали нечто, не меньшее, чем у коня, причем – сами себе.

32

Не было человека ни среди учителей, ни среди родителей, который не боялся бы этой Варади. Что учитель – какое-то должностное лицо, мы знали, но Варади олицетворяла само государство, как будто ее к нам направил непосредственно Янош Кадар или еще Бела Кун, – она была коммунистка до мозга костей, человек той породы, которой для меня не существовало, а если она и существовала, то как воплощение террора, гнусности и коварства, как нечто, о чем и думать не следует, человек не может быть коммунистом, коммунист не может быть человеком, он не такой, как мы, а бандит, уголовник, продажный наймит, и нечего им заниматься, а если и заниматься, то только по одной причине: он тоже ведь занимается нами, хочет нас погубить, в этом лишь смысле он и заслуживает внимания – как бешеная собака, как крыса или, допустим, вошь.

Не сказал бы, что этому меня научили дома.

Скорее додумался сам. С ними все ясно – изменники родины.

Отец молчал, высказывания же матери – крайне редкие – никак не противоречили моим выводам.

Училку Варади презирали все, из чего я пришел к заключению, что все разделяют мою "концепцию личности" коммуниста. Естественно, это было не так, но поскольку мне все было ясно как "дважды два", то не было ничего естественнее и проще, чем подгонять под теорию факты – к примеру, отца Йожи Бора, который, считая себя коммунистом, был все же порядочным человеком и, кроме того, ненавидел тех коммунистов, с которыми нам приходилось сталкиваться, – словом, на деле я следовал старой как мир практике коммунистов, о чем, разумеется, не догадывался, полагая недостойным вникать в то, что я отвергал. И даже не отвергал, а выблевывал. Вы мне в глотку силком? Так я выблюю! Чем в основном и решил для себя проблему великого искушения интеллектуалов XX века. Бедный Сартр, если б он только знал...

Товарищ завуч изъяснялась фразами, которые можно было вычитать только в газетах. Другие тоже говорили нечто подобное, но нехотя, словно из-под палки. Г-н Хелмеци, которого мы обожали, тот плакал, читая Ади[1], – старая школа, в которой еще ценили литературу, словесность; некоторые слова он сопровождал подмигиванием: грубый натурализм оскорбляет наш трудовой народ – подмигивание! – хотя, возможно, подмигивал он только под градусом; когда же был трезв, что в принципе тоже случалось, то начинал заикаться, со-со-со, мучительно выговаривал он, со-циа-листи-ческая наша ро-ро-ро, бедняжка, думали мы, наша родина. Учительница физики тетя Марта, убеленная сединами старушка, казалось, была единственной представительницей подевавшегося куда-то среднего класса, элегантная, утонченная пожилая дама, и притом страшно умная, таких я еще не встречал, или-или (понятия "средний класс" я, конечно, тогда не знал, средним классом для меня были "бэшники", ребята из 7/b, ну а тетушка Марта казалась мне просто родственницей по материнской линии); когда ей приходилось произносить подобные фразы, она съеживалась от боли, вся темнела, не только лицом, но всем телом, словно надевала траур.

Мы жалели ее, но боли не разделяли. Ведь фразы те были ненастоящие.

Настоящими говорила училка Варади. Они вызывали страх. И если б мы знали, что значит слово "диктатура", то понимали бы, что это язык диктатуры. Фразы были пусты и, казалось бы, ничего не значили, но в них чувствовалась угроза. Швыряя в нас этих словесных монстров, эти пудовые мыльные пузыри, она наблюдала, не пикнет ли кто из нас, и, если такой обнаруживался, набрасывалась коршуном и волокла в директорскую.

Но директриса, ее звали тетя Шари, была человек порядочный и защищала нас как могла. Она была строгая, что пыталась маскировать еще большей строгостью. И если писала в дневник замечание, мама воспринимала это прямо как похвалу.

39

Мой отец дождался, пока пробьет час социальной справедливости, и только тогда решил появиться на свет. В этот день был подписан декрет о создании в Венгрии Красной армии. Правительственный совет указом № 4 заменяет старорежимный суд революционными трибуналами, членом которых может являться любой – какой угодно! – рабочий, а указом за № 5 распоряжается привлекать к суду паникеров; трибуналы работают в упрощенном порядке, приговоры их окончательны и обжалованию не подлежат. Приговор к смертной казни выносится только единогласно. Наказания приводятся в исполнение безотлагательно. С 21 марта советский нарком иностранных дел Чичерин и Бела Кун ежедневно обмениваются телеграммами: "Бела! Есть классный рецепт борща тчк"! Включая и этот день.

В этот день в гостиной остановился маятник огромных часов, но не время, во всяком случае по словам г-на Шатца, – а также арестовали предназначенного судьбой для арестов дедушку. После полудня отец мой

1. Эндре Ади (1877–1919) – венгерский поэт-символист.

чуть не родился, но поскольку "чуть" не считается, дед вернулся домой ни с чем. Сын огорчил его, еще не успев родиться. В два часа он высунул было головку (или макушку) на этот свет, а в действительности — в темноту, ибо когда *дело* должно было только начаться, то есть осклизлый от крови отец должен был оглянуться по сторонам (или дети рождаются, как кутята, — слепыми?), отключилось электричество, что можно спокойно поставить в вину коммуне, и бабушка, думая, что они умерли или в данный момент умирают, издала оглушительный вопль.

Свет — конечно, не из-за вопля — мгновенно зажегся, но тут завизжала сестра-акушерка по имени Дёрди Карас (для нас впоследствии — тетя Дюри), поскольку на голове отца видна была необычно густая для новорожденного растительность, серебристо блеснувшая в этом неровном свете, короче, на Дёрди Карас из бабушкиной промежности взглянул старичок со щеткой седых волос.

— Чародей! — завопила она и тут же — на всю жизнь — влюбилась в отца. (Позднее она ходила готовить и убираться к другой моей бабушке. Одно время у нее и жила. Она была родом из Трансильвании. И иногда приносила халву, которую мы ненавидели. Ведь это *деликатес*, качала она головой. Однажды мы с младшим братом поставили ей подножку, но не за то, что она была влюблена в отца, а за то, что осмеливалась любить в столь преклонном возрасте. Получилось это у нас якобы не нарочно. Одиннадцатиметровый! Братишка, всегда горой стоявший за мать, с серьезным видом взглянул на меня. Родительское расследование ничего не дало — мы легко отвертелись. В глазах матери мы заметили странный блеск.)

Словом, женского визгу было более чем достаточно, и отец решил временно отступить в укрытие.

40

— Что это было? — спросил отец в темноте у Боженьки.

— Как что, белый свет.

— А вопли?

— И это тоже.

И нечего моему отцу брюзжать, ведь это прекрасно, когда женщины так кричат, и со временем он познает: слаще этого в белом свете ничего нет. Слаще этих испуганных и животных криков.

— Все это как-то неубедительно — то, что вы говорите.

44

Хотя с экспроприаторами тетя Мия и бабушка были на "вы", вели они себя будто члены семьи. В самом деле, поди отличи их от родственников: приходят когда им вздумается, и, рады мы им или нет, в любом случае встречаем с хорошей миной, потому как это в наших же интересах. Гляньте-ка, еще один родственничек, встречали очередных незваных гостей бабушка с тетей Мией.

И началось разграбление наследства моего батюшки. Впрочем, были они достаточно вежливы, отвечали на шутки дам, а один из них на полном серьезе даже пригласил тетю Мию на променад. Так она и пошла! Другой помогал припрятать кое-что от "товарищей" (и, стало быть, от самого себя). Поди разбери. Женский страх обычно лишь провоци-

рует и усугубляет жестокость, но бабушка с тетей Мией пришельцев только побаивались, не догадываясь, что имеют дело с жестокостью, скорее, рассказывали они потом, в их поведении им виделась всего лишь некоторая армейская неотесанность.

О том, что такое армейская неотесанность, мог рассказать мой дед: взломать ворота усадьбы, потребовать у хозяйки, беременной женщины, драгоценности, расстрелять не задумываясь ее мужа, вышедшего в ночной рубашке узнать, что за шум, расстрелять четырехлетнего малыша, также вышедшего в ночной рубашке на шум, а затем, двумя выстрелами, и женщину, которая чудом все же спаслась и столь же чудесным образом родила младенца, раненного в утробе, — поэтому когда дед неожиданно, прямиком из кутузки, целый и невредимый, но обовшивевший и мечтающий только о ванне, вошел в гостиную, он сразу понял, что в доме беда.

Но беда, она оттого и беда, что в ней нет рациональности: головорезы могли бы стрелять, но они только гоготали.

— О, папаша освободился! — взвизгнул один из них, и стало ясно: эта шайка знала, куда идет; они даже не смутились, а скоренько погрузили, что подвернулось под руку (дед смотрел на них молча, то был чистый страх, это его молчание), и умчались с трофеями на своих авто.

45

Улепетывали авто, улетали аэропланы... Бела Кун, например, бежал из страны по воздуху. Во второй половине дня — часов около пяти — от Дома Советов, который помещался в гостинице "Хунгария", взлетел самолет, перемахнул через Дунай, через Крепость на горе и, заложив лихой вираж, повернул к площади Вермезё[1]. Аппарат вел сам народный комиссар. Летел он низко, метрах в двадцати от земли: даже лицо можно различить. Было оно, по обыкновению, бледное и заросшее щетиной. Скаля зубы, злодей поглядывал на стоявших внизу, а иным с озорной издевкой даже ручкой делал на прощанье. Карманы у него оттопыривались, набитые шоколадными конфетами, бриллиантами графинь, баронесс, драгоценностями, похищенными из храмов, дароносицами и разными другими сокровищами. На руки намотаны были толстые золотые цепочки.

Когда аэроплан, взмыв, исчез в голубом пространстве, одна такая цепочка, сорвавшись, брякнулась прямо посередине Вермезё, где ее и подобрал пожилой господин, добрый знакомец моего прадеда, кристинский[2] старожил и чиновник налогового управления, что на площади Святой Троицы в Крепости, некто Патц, Йожеф Карой Патц. А поскольку на той цепочке висел медальон с нашим фамильным гербом — грифоном, в одной лапе которого — меч, а в другой, нет-нет, не орало, как можно подумать, а три розы, то старик Патц, доставил цепочку прадеду, и моя мать — от бабушки — получила ее в подарок на свадьбу. Цепочку и эту историю. Мать цепочку так ни разу и не надела, за что отец поначалу сердился на нее.

1. Вермезё (Кровавое поле) — парк у подножия будайской Крепости, в прошлом — плац и место военных парадов, где в 1795 г. были казнены руководители заговора так называемых венгерских якобинцев во главе с Игнацем Мартиновичем.
2. Кристина — район Буды, примыкающей к Крепостной горе.

— Неужели ты думаешь, милый, что я буду носить ее после убийцы? — Но отец полагал, что с подобными принципами нельзя надевать ни одно старинное украшение, ибо, в сущности, все драгоценности так или иначе прошли через руки насильников.

— Так ведь те хоть были не коммунистами, — последовал неотразимый довод.

Красивая вещь. Теперь она у меня.

46

Тетя Мия куда-то пропала на целые сутки. Семья деда, которая жила в Пеште, была в полной уверенности, что она в Чакваре, прадед же, находившийся в Чакваре, думал, что она в Пеште. Где она пропадала, что делала, доподлинно неизвестно и по сей день. У бабушки она объявилась вскоре после полудня, в то время, когда обычно приходит поезд из Таты.

На звонок ей открыла горничная.

— Добро пожаловать, контесса. Надеюсь, вы хорошо доехали?

— Вполне, — кивнула ей тетя Мия, застыв на пороге. Горничная приняла у нее багаж и двинулась вверх по лестнице. Но тетя Мия продолжала стоять как вкопанная.

— Что-то случилось, контесса? — испуганно обернулась девушка.

— Ничего, друг мой. Пожалуйста, помогите войти.

Тут на месте застыла горничная, не понимая, чего от нее хочет барышня.

— Вы еще здесь? — окликнула ее тетя Мия. Та с перепугу выронила из рук саквояж. — Значит, здесь. Так помогите же. Обнимите меня за плечи, как пьяную, и ведите наверх.

Но тетя Мия была не пьяна, а слепа. Тетя Мия ослепла. Следов насилия на лице ее было не видно. Так рассказывал мне отец, а ему, в свою очередь, моя бабушка. Когда тетя Мия в обнимку с горничной поднялась в гостиную, бабушка вместо приветствия показала ей моего отца.

— Ты посмотри, посмотри, как он чмокает! — Она сама кормила его грудью, что по тем временам было редкостью.

Золовка повернулась на звук.

— Уже видела, — глухо проронила она, на что бабушка чуть было не обиделась, но заметила, что с золовкой не все ладно, заметила черные очки, которые тетя Мия, будто кинозвезда, будто Грета Гарбо, хранящая инкогнито, носила с тех пор до конца жизни. Она не снимала их даже на ночь, как мы убедились однажды, подсматривая за нею. Но тогда — может быть, в честь отца? — она в первый и последний раз их сняла и, опять-таки, в первый и последний раз произнесла слова:

— Я слепая.

Именно так: "слепая", а не "ослепла". Будто имя свое назвала. От врача она отказалась, рассказывать о случившемся не хотела. Интересно, что ни старший брат, ни отец ее так и не добились, чтобы она разрешила врачам себя обследовать. И, самое интересное, оба они примирились с мыслью, что тетя Мия вдруг стала сильнее их. Она познала такое, чего они не знали и не желали, не смели знать.

О запрете нам было известно, но наша сестренка однажды полюбопытствовала:

— Тетя Мия, а как вы ослепли? — Танти сделала вид, будто не расслышала. — А вы, *что ли,* не только слепая, но еще и глухая? — Тетя Мия вле-

пила сестренке наотмашь, без размышлений, и не какую-нибудь моргушку, а полновесную оплеуху.

— Не *что ли*, а *разве!*

66

Этот Вилмош — родители, когда мы однажды заглянули к нему во время семейной экскурсии, называли его "отец Вили" — был приходским священником в Гестеше, а когда-то, еще молодым капелланом, здесь же прятал в конце войны отца. Нашего отца он почтительно величал графом, что нас весьма забавляло — мы думали, это игра такая; конечно, училка Варади в два счета раскусила бы их и тут же разоблачила бы заговор клерикального мракобесия и феодальной реакции. Мать он тоже называл графиней, хотя ей это было как-то не к лицу, мы видели, что Мамочку подобное обращение нервирует и смущает, кажется перебором, анахронизмом. Иное дело — отец.

Наш визит застал отца Вили врасплох, но о том, чтобы отпустить нас неотобедавшими, не могло быть и речи. Его преподобие тут же велел кухарке поймать пару квочек и — кр-р-р! — смеясь, показал, что с ними сделать.

— Огуречный салатец, картошка с петрушечкой! — завершил он, подмигивая. Сам сходил за вином, наполнил стаканы. — Баричу тоже, — и опять подмигнул. Мать пыталась протестовать, имея в виду главным образом не меня, а отца.

— Может, потом, за обедом, — предложила она.

Но уж если мужчины решили выпить, то нет силы, которая их остановит. Мы выпили. Поп пошел к себе переодеваться. До этого он был в светском платье, и я даже не хотел здороваться с ним: "Слава Христу!" — как положено со священниками. Едва мы остались одни, родители, будто школьники, зашушукались. Особенно выделялась Мамочка.

— И что нам тут до обеда делать?

У отца настроение было развеселое.

— Маловеры, не беспокойтесь! Ужо отец ваш святой... — и он указал на дверь, за которой скрылся священник. Мать махнула рукой и глянула на часы: мы могли бы еще успеть осмотреть до обеда замок.

— О, майн готт! — воздели мы очи горе. — Знаем, знаем: сарай в стиле ампир!

Дело в том, что экскурсии эти устраивались с четкой педагогической целью: наша матушка хотела прогнать нас по всей истории отечественного зодчества — Оча, Лебень, Як, Жамбек, Эстергом, эгерский минарет. Уж такая у нас страна, с грустью в сердце думали мы, на каждом шагу попадается что-нибудь замечательное. На что нам, бедолагам, непременно следует обратить внимание. Вот эта-то неожиданная бессердечность жизни и была сконцентрирована в произносимой со стоном формуле "сарай в стиле ампир".

— Отличная мысль! — безответственно ухмыльнулся отец. Видно было, его несет по течению. Такой же ребенок, как мы, только без прикрепленного к нему взрослого. Мамочка снова махнула рукой. А хитрюга сестренка тут же влезла к ней на колени.

Если квочка, подумал я, то же самое, что и курица, дело дрянь, потому как сегодня пятница, а по пятницам не едят мясного. Цыплята в те времена были дороже говядины и ценились выше, доставались они нам

нечасто, я их очень любил, но все-таки не задумываясь задал вопрос. Моим родителям в детстве разрешалось говорить, только если их спрашивали, нельзя было говорить о себе, задавать взрослым вопросы, в особенности — о еде (еду нельзя было даже хвалить, ибо это уже означало свободу мнений, а следовательно, и возможность критики).

Услышав мой недоуменный вопрос, отец Вили расплылся в улыбке.

— Очень правильно, совершенно верно, — проговорил он, застегивая сутану, — блестящее наблюдение со стороны молодого барича, проблема поставлена архиважная!

Мне не нравился этот поп. Не нравилось уже то — вот она, феодальная спесь! — что меня он графом не величал. На каком основании, спрашивается? Или — или. Мы вон бывший фамильный замок идем осматривать! Ну, я ему покажу! Придется поговорить с епископом. Ишь, порядки забыли!

Священник, как фокусник перед демонстрацией стопроцентно надежного фокуса, с елейно-благоговейным видом выдержал паузу. (Елейно-благоговейным мы звали одного гимназического учителя, человека весьма достойного, преподававшего нам историю искусств; от безмерного количества красоты, которой он с благоговейной усладой заполнял наши черепушки, у него иногда занималось дыхание, и он молча хватал ртом воздух.)

— Наш юный друг, — лысый черт тебе друг! — благодаря заботливому воспитанию... — тут последовал кивок в сторону моей матери, лицо которой исказилось в скрипучей улыбке (запасы неприязни, как и лайковых перчаток, у Мамочки достигали временами промышленных масштабов, и для демонстрации оной использовались самые разнообразные средства, все, какие только возможны, проявления языка тела: жесты, мимика, включая богатейшую игру взгляда, — о, это матовое потускнение зрачков! жить не хочется, как заглянешь в них, эти ее "о, да", от которых веяло таким холодом, что все планы умирали в момент рождения, эти паузы, умолчания, немота...), — справедливо обратил внимание на обстоятельство, которое, разумеется, мы и сами держали в уме.

И тут фокусник выхватил кролика из цилиндра (хотя, учитывая пятницу, карп, наверное, был бы уместнее), заявив, что имеет возможность и данное ему свыше право, при наличии веских причин, освобождать верующих от поста, каковое установление, кстати сказать, на юных господ в строгом смысле вообще не распространяется, но коли совесть их того требует, то см. выше.

Я не верил священнику, ему просто охота полопать мяса, и мы для него только повод.

— Сегодня пятница, а по пятницам я мясного не ем, — высокомерно сказал я и подумал, что наверняка попаду в рай, в отличие от таких вот! И вообще, надо еще проверить, настоящий ли он священник. (Одним из любимых словечек Мамочки было произносимое с неподражаемым прононсом "agent provocateur"...) Я взглянул на отца, тот молчал.

— Ну-ну, нельзя быть таким суровым, — подошел ко мне отец Вили и погладил меня по вихрам.

Отец наполнил стаканы (вино белое натуральное из погребов винодельческого хозяйства "Мори"), а мать стала торопить нас, не пора ли, мол, осматривать замок.

Она постоянно считала нас, как гусят, проверяя, все ли на месте, раз-два-три-четы... пятым был отец, она указывала на него пальцем, но никогда не произносила "пять". Раз-два-три-четы... тс-с-с.

Милая, милая моя... тс-с-с!

67

Кстати, замков, именовавшихся Гестеш, в стране было три: один — в Гёмёре, один — в комитате Тренчен и один здесь, в Комароме[1]. Но даже Кестхей близ Балатона, хотя и седьмая вода на киселе, тоже родственник Гестеша. Когда-то он назывался Гестел. А само слово "гест" означает сердцевинную, твердую часть древесины. Не исключено, что первый строитель крепости обнес ее деревянными стенами, прочными, как сердцевина бука.

Наш отец, как отцу и положено, знал все на свете. К примеру, наперечет знал венгерских королей, а это уже "почти" все. И не только знал конкретные вещи, но и видел их место в мире; когда там, у них, был Карл V, здесь, у нас, был такой-то, а Карл этот был племянником Екатерины Арагонской, с которой супруг ее, король английский Генрих VIII, затеял бракоразводный процесс, когда ("Именно тогда"? "Не именно, а тогда"), наш король Лайош[2] утонул в речке Челе, где воды было воробью по колено. А когда умер Фердинанд I[3], то сразу на свет появился Шекспир. Нормальная рокировочка! Рассказывал он не по-учительски и вовсе не для того, чтобы мы что-то запоминали (мать, напротив, словно по мановению волшебной палочки, прямо-таки преображалась от счастья, стоило нам произнести, проорать ей в лицо какого-нибудь Гирландайо или Поллайоло), отец от нас ничего не хотел, а просто рассказывал — не столько для нас, сколько для себя, хотя, разумеется, не будь нас, он ни о чем не рассказывал бы. И от этого все, о чем он говорил, становилось реальностью. В школе единственным реальным предметом я считал математику, все прочее казалось мне — иногда любопытной по форме, но чаще скучной — дрессировкой животных. Рассказывал он таким тоном, каким говорят "дождь идет", когда на улице действительно дождь. При этом не думая ни о зонтике, ни о посевах, которые ждут не дождутся, когда же их оросит благодатная влага.

68

Если фатер говорил с нами так не всегда — да он с нами вообще не очень-то разговаривал, — то для бабушки этот тон был естественным. Ей ничего не стоило в любое время, будь то утро или среда, охватить взглядом сразу триста-четыреста лет, не говоря уж о вечности, которая даже больше четырехсот лет. Такова была перспектива, в которой она смотрела на все: на события, на людей, а особенно на потери и поражения.

1. Гёмёр и Тренчен — исторические области Верхней Венгрии, ныне в Словакии; Комаром — область на севере современной Венгрии.
2. Лайош II (1506—1526) — венгерский король в 1516—1526 гг.; погиб, спасаясь бегством после сражения при Мохаче, в котором венгерская армия потерпела поражение от войск султана Сулеймана I.
3. Фердинанд I (1503—1564) — император Священной Римской империи, эрцгерцог Австрии, с 1526 г. король Чехии и Венгрии. Первый венгерский король из династии Габсбургов.

Как-то раз ее пригласили на радио, какой-то там социологический опрос, прошлое и настоящее, господа и слуги в зеркале современности — несколько неожиданно, но в общем-то в соответствии с характером кадаровского режима. Правда, характер этот приоткрывал себя постепенно, точнее, именно в силу его специфики страна не спешила характер сей узнавать. Люди жили закрыв глаза, слишком много чего уже навидались и теперь говорили себе: что есть, то есть, чему быть, того не миновать, но только не надо в это вникать, обсуждать, узнавать, что оно такое. К тому же, и в самом деле, понять, что тут что, почему, отчего, было невозможно, ибо белое, оборачивающееся черным, и черное, подменяющее собой белое, — это уже не белое (черное) и не черное (белое) и даже не серое (сèрое), и вообще, рассуждали люди, никогда так не было, чтобы как-нибудь да не было, вот оно и стало — черно-белое, серое.

К концу передачи участников попросили назвать три заветных желания. Здоровья, прибавки к пенсии, отвечало разумное большинство, ну и войны чтоб не было. Моя бабушка ответила нестандартно.

— Во-первых, желаю семье доброго здравия. Во-вторых, единственному оставшемуся в живых сыну своему желаю доброго здравия, преуспеяния в делах и радости в детях. А третье, и самое главное: желаю всяческого преуспеяния Венгрии в осуществлении ее исторического призвания.

По-моему, кроме моей бабушки, в те времена не сыскать было человека, которому пришло бы в голову пожелать благополучия стране. Страна принадлежит коммунистам, рассуждал народ, и надо быть дураком или циником, чтобы думать о достоянии коммунистов, пропади они пропадом, и коль уж нельзя отобрать, так мы у них украдем все, что можно.

Моя бабушка видела дальше, так устроены были ее глаза.

Например, она воспринимала всерьез, то есть понимала буквально слово "временно" в употребительном тогда выражении "советские войска, временно дислоцированные на территории Венгрии". Категории эти, постоянное и временное, она соизмеряла иначе, в другом масштабе. Венгрия была триста лет назад и через триста лет тоже будет существовать, ведь страна — это не кондитерская, где можно сожрать за полдня все пирожные; захватить и присвоить страну совсем не так просто, и припадки вроде этого коммунизма — который, впрочем, сам по себе, по исходному принципу, дело правильное, *благое*, — в силу своей природы долго длиться не могут. Правда, и это "долго" она понимала по-своему, не мерила его своей жизнью, потому что какой-то особенной важности своей жизни она и не придавала. (Мне казалось это небезобидным, так как бабушка тем самым не придавала особого значения и моей жизни, подтверждением чему служили для нас беспримерно суровые наказания, претерпеваемые от ее рук.) Тридцать лет для нее были тридцатью годами, а не бесконечностью (отец, говоря о знаменитой Тридцатилетней войне, называл ее самой длинной войной в истории человечества), под игом турок страна пребывала не бесконечно долго, а сто пятьдесят лет, что много, нехорошо, неприятно и прочее, но что делать, такова судьба стран, временами им приходится полтораста лет тянуть ярмо или надевать его на шею другой стране; быть страной — не подарок, а суровая доля, потому как все тяжело для страны — и неволя, и слава, и униженность, и триумф. Так что страны достойны всяческого сочувствия, в особенности та из них, которую мы называем своей. Как бы то ни было,

невозможно думать о людях, о собственном, конкретном сыне, о наших внуках, не думая о своей стране, которая — наша, даже если на самом деле не наша, даже если дела ее обстоят скверно, и чем дальше, тем отвратительней, но не потому, что становится все труднее жить, нет, жить легче, кое-что уже начинает людям перепадать, а потому что страна, ее состояние, атмосфера потакают самому мерзкому, что есть в людях, и в мерзости этой живет страна, в нашей собственной, но при этом безличной и постоянно растущей, общенародной мерзости, вот почему мы должны желать всяческого преуспеяния стране — в своих собственных интересах, а вовсе не из какого-то полуискреннего (полупритворного) преклонения перед умозрительными и возвышенными идеями.

74

В Майке нам разрешалось многое — например, разрешалось вести себя как положено, разрешалось работать, помогать по хозяйству, играть, когда наступало время для игр, заполнять каждый миг каким-то осмысленным делом. Не разрешалось только одно — лгать. Ложь считалась тягчайшим грехом в любой ее форме и степени. И как бы мы ни хитрили-мудрили, как бы ни выкручивались, мобилизуя весь свой немалый уже детский опыт, но если кто-то из нас заслуживал разоблачения, то оно было неотвратимо. У майкской бабушки час истины бил перманентно, круглые сутки — ку-ку, ку-ку, ку-ку.

Наказания были суровыми. И, естественно, справедливыми. Но это последнее обстоятельство нас не интересовало, хотя обычно ребенку такие вещи не безразличны, но бабкина строгость была столь ошеломляющей и безмерной, что от неожиданности у нас всякий раз перехватывало дыхание. Мы только рты разевали, как рыбы. И потому для нас оставалась незамеченной та железная логика, знать о которой нам было бы вовсе не лишне.

Ну кто мог подумать, уразуметь, что ежели некто (иль нечто) является тварью Божией, то факт сей имеет последствия столь серьезные, что эту тварь нельзя, например, перекинуть через забор? Про забор следует непременно заметить, что построен он был из камня (патрон-основатель монашеского скита, который когда-то существовал в Майке, позволил использовать для строительства даже находившиеся поблизости римские руины, а также "забирать невозбранно из замка нашего, Гестеша, камень тесаный, что в строении свален привратном, чуть подале от внешней стены", иными словами, забор был для взгляда непроницаем, что когда-то служило определенной цели — изолировать кельи братии от внешнего мира, а ныне — уже не целью, а следствием сего обстоятельства было то, что траекторию твари Божией, которую зашвырнули через забор, проследить можно было только до середины, а дальше о ней можно было только догадываться, к тому же мы не могли получить подтверждение расхожему представлению, будто тварь сия приземляется непременно и обязательно на четыре лапы; зато мы имели возможность с замиранием сердца биться об заклад, сколько времени проведет в полете это бескрылое существо, ибо волнующий момент приземления поддавался все же определению — достаточно было закрыть глаза и с благоговейной сосредоточенностью, как это делают минометчики, считать: двадцать один, двадцать два, двадцать три, ба-бах! (в данном случае: шмяк!)

Непревзойденным асом в этом деле была сестренка — меня почему-то смущала конкретность кошки, то, что у нее (у кошки) было имя, иначе говоря, именно то, что они — твари Божии. Сестренку это не волновало, ее занимал только сам процесс метания, изящество траектории и подсчет секунд.

Постепенно воздушное пространство двора, будто пташками певчими, заполнилось летающими кошками. Разоблачение было уже только делом времени. И оно наступило. Бабушка без лишних слов пригласила нас к себе в комнату. Она не спрашивала, что случилось, она это знала, не спрашивала кто — знала, что мы, все вместе, не важна была для нее и мера участия, "кто выше кидал" ее тоже не интересовало, как не интересовали и смягчающие обстоятельства наподобие угрызений совести, короче, в детали она не вдавалась. В руках она держала арапник.

— Это что? — спросила сестренка, которая всегда задавала вопросы.

— Арапник, собак лупить, — доходчиво объяснила бабушка, что подействовало на нас успокаивающе, так как мы собаками не были, хотя отец нас и называл так порою, когда был в хорошем расположении духа. Лицо бабушки, на первый взгляд, тоже не предвещало того безумного урагана, который вскоре на нас обрушился. Но тогда мы уже не смотрели на бабушкино лицо — оно, может, и к лучшему, — а съеживались, как могли, под ударами, пытаясь как-то защититься. На каждого пришлось по две плети, и когда мы очухались, ураган уже миновал.

Спины наши сладко чесались, по ним, оставляя приятное ощущение, занятно бегали мурашки. Мы засмеялись. Все, кроме бабушки, которая не сердилась на нас из-за этого смеха, она вообще не сердилась на нас, по-видимому, она легко и с глубоким внутренним убеждением следовала принципу: ненавидеть не нас, а наши недостатки. Не знаю... Зато она знала, что ощущение сладкой щекотки скоро сменится жгучей болью и ломотой, и на спинах наших набухнут кровавые рубцы шириною в палец. Тело словно разрезали по рубцам — того и гляди развалится на куски. Так что мы и пошевелиться не смели. Что было самое странное — новая, крадущаяся походка, словно мы пытались незаметно скрыться. От бабушки, от закона, от самих себя? Отвратное ощущение.

После этого случая кошачий полет состоялся в Майке всего один раз. Но что это был за полет! Невольно начнешь понимать Икара! К нам приехал отец (вот был праздник!), и мы вместе обедали — по старинке, как было заведено у крестьян, бабушка стояла у плиты, мы же, мужчины, как полагается, восседали за столом, точнее по сторонам стиральной машины, служившей у нас столом. Нежданно-негаданно какая-то жалкая кошка, а в доме их обитало множество, сунула морду в отцову тарелку. Я, в кошачьих делах уже искушенный, помалкивал. Отец тоже не проронил ни слова, а только сверкнул глазами, схватил поганку и, размахнувшись, швырнул ее с такой силой, что она долго-долго летела по длинному коридору и приземлилась уже во дворе. Если не ошибаюсь, схватил он ее за хвост и, прежде чем бросить, лихо покрутил ею над головой. И полетела тварь Божия вдоль коридора, из тьмы на свет, отчаянно мяукая и растопыривая все четыре конечности. Зрелище было прекрасное, ничего не скажешь, и, взглянув на отца, я с гордостью подумал о том, какой он большой и сильный, мой Папочка.

Но тут у плиты возникло некое черное завихрение.

— Матяш! — леденящим голосом воскликнула бабушка. — Кошка, Матяш, — это живая душа, тварь Божия!

И так отчихвостила сына, что он стал совсем маленьким, таким же, как я. Это тоже было неплохо, двое мальчишек в одной компании у стиральной машины. Арапником ему не досталось, однако пришлось попросить у кошки прощения. Не знаю даже, что лучше (хуже).

В арапнике — задним числом — виделось нечто героическое. (Если отвлечься, что им бьют собак...) Не то что домашний арест! Мы сначала и слова такого не знали — арест. Но потом узнали. А началось все весьма легкомысленно. Моя бабушка, по совести говоря, стряпуха была никудышная, но какое это имело значение! Когда нам хотелось есть, а есть нам хотелось всегда, мы мели все подряд. За исключением чего-то такого из щавеля, потому что еду эту не смогла бы съесть даже корова Катька, а если бы проглотила, то сразу бы выплюнула. Как делали мы. Но пускаться в детальные объяснения мы не могли, а потому объявили о том, что у нас болят животы, у всех — этакая пузонедомогательная эпидемия.

Бабуля окинула нас пристальным взглядом.

— Болят животы? — спросила она бесхитростно, но вопрос был столь важен, что мы не посмели ответить словами и только кивнули.

— В таком случае марш в постель.

Для нас это было развлечение — валяться весь день в постели. Наутро мы только собрались встать, как головой замотала бабушка. Это было уже не так весело. На третий день, в воскресенье, в соседнем Кечкеде, где расположен аэродром, намечался парашютный праздник. Но нам не то что в Кечкед не разрешили отправиться, нам запретили даже торчать во дворе, откуда парашюты все же как-то просматривались. И тогда мы заплакали, заревели, стали виниться во всех грехах и прочее.

— Перестаньте, — негромко сказала бабушка.

И мы перестали.

76

Молилась бабушка постоянно. Если только не была чем-то занята, тут же начинала молиться. Или даже наоборот, молитву она прерывала только из-за неотложных дел. Если вообще прерывала!.. Мы часто видели, как она сидела в кресле у себя в комнате или на стуле у печки, сгорбленная, с закрытыми глазами, в своем черном платье, с четками или молитвенником в руках. Руки ее были очень похожи на руки отца — мужские, широкие, только с узловатыми шишками.

— Бабуля сейчас молилась?

— Верно, бабуля молилась, — отвечала она, прищурившись, иронично посмеиваясь, точь-в-точь как отец. Хотя ирония была ей чужда — она никогда ничего не комментировала, а без этого нет иронии; она всегда действовала. Делала что-то доброе, или что-то полезное, или то и другое одновременно. Из всей нашей семьи неожиданное "расставание" с прежней жизнью затронуло ее меньше всех, и, наверное, больше, чем все остальные, она сохранила одну из существенных черт семьи — это самое "делание" ("семья делателей"). Аристократизм же не сохранила, потому что ни капли аристократизма в ней никогда и не было. Трудно даже представить, как они уживались с дедом. Наверное, правда, что бабушка с дедушкой жили не ради друг друга. Но все же столько совместных дел... Наверное, именно по этой причине, а также из-за мадьярской своей истовости и не уехала она в 1956 году вместе с дедом в Австрию.

— А о чем вы молились?

— О чем? Хороший вопрос... Умеешь ты задавать вопросы. Смотри, наступит время, придется на них отвечать. — Я покраснел, чувствуя, что бабушка знает обо мне все, а такое всеведение обо мне я не одобрял из принципиальных соображений. — Между прочим, я о тебе, о тебе молилась, дружочек, — и окинула меня пристальным взглядом.

Мне нравится, да и раньше нравилось, когда за меня молились, — я представлял себе этакий банковский счет в Швейцарии, который, не поймешь, существует ли вообще, но, есть ли он или нет, счет этот пополняется. О нем можно вовсе не вспоминать, он все равно растет. В конце мессы я никогда не упускал случая получить благословение, benedicat vos omnipotens Deus, крестное знамение, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen[1]. Это я тоже коллекционировал. Классический фарисейский подход. Суть фарисейства, стремление обеспечить себе страховку, я усвоил достаточно рано, усвоил, стало быть, что не любовь правит миром, но заповедь любви, заповеди вообще, заповеди Господни, и если мы будем их соблюдать или соблюдать значительную их часть (процент!), то, согласно неписаному договору, обретем спасение — в отличие от других, кто эти конвенции не соблюдает или соблюдает, но — в процентном отношении — недостаточно, а вместо того предается неумеренным возлияниям, лени, прелюбодейству и по этой причине попадет в ад.

"Да благословит вас всемогущий Бог". Когда священник говорил это *мне*, я всякий раз краснел. Каждое слово этой фразы я воспринимал, не мог не воспринимать всерьез, я отдавал себе отчет, что действительно получил благословение, и краснел оттого, что это настолько доступно, надо только явиться на мессу, и всемогущий Боженька в этот воскресный утренний час умудрится выкроить время, чтобы заняться мною, и не проверив даже, хотя бы через своих суровых посредников, достоин я или нет, вот так, запросто благословит меня.

Все это казалось мне столь поразительным и грандиозным (потрясающим небеса!), что я вынужден был защищаться, моя плоть, мой рассудок, мой ум (который тоже есть плоть) искали защиты, и наступил момент, когда я перестал понимать, что значит "благословить". Так бывает, когда очень долго повторяешь какое-то слово, пока из него неожиданно не исчезнет, не испарится смысл и оно не станет пустым заклинанием, бредом.

Я попросил у отца толковый словарь. Благословить: просить благословения для кого-либо. На слово "благословение" я нашел то, на что и надеялся: "помощь Божия, милость Господня". Полистав словарь, я заглянул в статью "милость", где поначалу с испугом прочел: "милость" — это "пощада, помилование" — иначе говоря, меня великодушно простят и не будут четвертовать? — но ниже было еще и другое: "благосклонность, расположение", что меня успокоило.

Итак, я коллекционировал и копил благосклонность и расположение Божье на далеком воображаемом счете, полагая, что даже если я и смешон в этом своем усердии, что если такой подход к делу и противоречит самой сути божественной благосклонности, все же я на каждой мессе получаю благословение, то есть помощь Божью, и никто не то что не собирается меня четвертовать, но мне дарują благосклонное всепрощение, которое распространяется, надо полагать, и на это самое фари-

1. Да благословит вас всемогущий Бог... Отец, и Сын, и Дух Святой, аминь (*лат.*).

сейское накопительство, а значит, в конечном счете все более или менее в порядке.

Впервые в жизни я держал в руках *словарь*. И поглядывал на отца в ожидании похвалы. Но ее не последовало. Почему — этого я так и не понял (по сей день).

— Посмотрел?

— Да, папа, посмотрел.

— Положи на место.

90

Мой отец, по собственному признанию, в футбольной команде играл правым крайним.

— Бегал-то я о-го-го!

В этом плане мы смело могли подшучивать над отцом, быстроногий правый крайний сносил наши шутки с достоинством. В перерывах между матчами (мы проводили их на лугу) игра продолжалась около дома; играли в "малый" футбол или били по импровизированным воротам, куда ставили в качестве вратаря сестренку. Что было сопряжено с так называемым "риском тетушки Голиат" — мяч временами неотвратимо залетал к соседям, и нам приходилось идти к их калитке и там канючить: "Те-туш-ка Голиат! Те-туш-ка Голиат!" Для обозначения улетевшего не туда мяча возник даже специальный термин: "тетушка Голиат". Мы немного ее побаивались. Тетка она была неприветливая, не способная — надо же! — даже мячу порадоваться, ходила, с трудом переставляя ноги, и вот так, едва переступая, она отправлялась на поиски мяча, потом тащилась к калитке и, словно арбуз, передав нам мяч, с укоризной смотрела на нас. Она никогда не ругала нас, на лице ее не было видно никаких эмоций. Казалось, она постоянно следила за нами. И если вступала с нами в беседу, то разговаривала, как со взрослыми, что внушало нам страх. Поэтому установленный нами лимит составлял две "тетушки Голиат" за вечер. Когда же мы его превышали, то отправлялись к отцу (если он был дома) и просили его нас выручить. Отец выручал нас беспрекословно, как будто это входило в его обязанности.

Голиаты соседями были хорошими, но о них говорили, что они коммунисты. Дядюшка Голиат был коммунистом *старым*, из металлистов, бывших социал-демократов, а тетушка Голиат — коммунисткой *новой*, сделавшей карьеру уже после 1956 года. Понятия "хорошие" и "коммунисты" совместить было очень трудно, поэтому матери, которая призывала нас быть осторожными при Голиатах, мы не верили. Какие они коммунисты, если известно, что коммунисты бывают либо с копытами, либо такие, как наша училка Варади. (Позднее до меня доходили слухи, что они постоянно закладывали нас. Хотя при этом могли мирно судачить с родителями о состоянии тротуара. Доходили, правда, и слухи обратные: о том, что они на нас не стучали. Более того, поговаривали, что стучали на тетушку Голиат, которая была шишкой, а у шишек, известное дело, врагов всегда хоть отбавляй.)

И если уж отец выходил из дома, то непременно включался в игру, мы снисходительно позволяли ему, хотя и давали понять, что у всякого великодушия есть пределы (мы ждали, когда он уйдет, чтобы продолжить игру *нормально*), но фатер и не настаивал, понимая, что в смысле профессионализма он не очень-то вписывается в команду.

Как это ни банально, мне врезалась в память минута, когда отец словно бы между прочим бросил (куда, кому, зачем?), что я играю лучше, чем он когда-то. Чем он когда бы то ни было. Я попросил его повторить. И он повторил.

— Старик, ты играешь лучше, чем я когда-то. Чем я когда бы то ни было. — И гордо расправил плечи.

Чем это он гордится, не понял я, ведь гордиться должен был я, перешагнувший через его труп. Никогда, ни до этого, ни потом, мне и в голову не приходило, что я должен превзойти отца, но в эту минуту я подумал именно так: я превзошел отца.

— Я тебя победил.

Щемящее, сладкое чувство.

Но все испортил задумчивый взгляд отца, каким он окинул меня, заметив, как я напыжился; я с испугом подумал, что отца победить невозможно. Потому что нет поля. Или есть поле, но нет игры. Или есть игра, но в ней не забивают голов. А если и забивают, то нет судьи, который их засчитал бы. А если и есть судья — то это он сам.

Словом, вся эта ерунда насчет соперничества с отцом никогда не лезла мне в голову, лишь в тот день, когда прозвучала отцовская фраза и когда, между прочим, на ногах у меня впервые в жизни были бутсы с шипами — какое-то музейное старье, подаренное мне Ламби Фишером, в свое время игравшим вместе с отцом; не бутсы даже, а, можно сказать, ботинки, высокие и тяжелые; их прежний владелец входил, кажется, в руководство "Фради", во всяком случае считался в футбольном мире фигурой и обещал как-нибудь взглянуть на меня, оценить, на что я гожусь, а ведь я уже превзошел отца, и, стало быть, жизнь моя на подъеме, ведь если в одиннадцать лет я достиг определенного уровня, уровня моего отца, по поводу которого мы, разумеется, не испытываем иллюзий, то это уже кое-что; я хотел навсегда запомнить этот момент: грязную, пыльную улицу, нетерпеливое лицо сестренки, стоявшей в воротах, и незнакомое ощущение тяжести от бутс дядюшки Ламби.

Играя в футбол, мы могли позволять себе что угодно. На поле командовали мы, и отец безропотно подчинялся столь непривычному порядку вещей.

— Скажите, Папочка, а что полагалось тому, кто не пасовал мяч его сиятельству быстроногому правому крайнему? Феодальная секира безжалостного палача?

Мы набивали мяч, перебрасывали его друг другу — это был наш файф-о-клок, — а он с удовольствием наблюдал за маленькими "графьями". Я не помню, чтобы он любовался нами в другие минуты. Только когда мы играли в мяч. И мы никогда не были так близки с ним, как в эти мгновения у нашего дома, между двумя "тетушками Голиат". Легкость, преисполненная любви, и стихийная радость связывала нас всех, хотя в конечном счете мы ждали, когда он оставит нас и вернется за пишущую машинку. Правда, ждали без нетерпения. Ждали естественно. Родители никогда не рассказывали нам о том сказочно-прекрасном мире, который у нас стащили тетушка Голиат и К°, поэтому мы и не мечтали о нем. Молчали они об этом не из-за опасений (понравится, мол, еще!), не из-за безответственности, напротив, традиция эта (семейная), наверно, казалась им такой прочной, что не стоило на нее тратить слова. Зачем ухаживать, к примеру сказать, за дубом с тем же тщанием, какого требует какой-нибудь хилый кустик. От спокойного небрежения можно в любой

момент перейти к спокойной заботе, суть остается в слове "спокойный"; хочешь говори, хочешь молчи, от этого все равно ничего не изменится. Хотя между "неговорением" отца и матери ощущалась разница — если отец молчал, то матушка наша умалчивала.

Единственной изо всей семьи, кто вспоминал иногда о минувшем блеске, была Мамочкина сестра Боди, носившая на шее бархатную ленточку à la Винтерхальтер[1] (мы никогда не называли ее тетей Боди, а только Бодицей, Бобикой), но ее высказывания были всегда весьма нестандартными; поскольку дед мой по материнской линии служил у деда по отцовской линии в должности управляющего, то все намеки (никогда не складывавшиеся в целостную историю) обычно сводились к смелости и достоинству дедушки Апика, с которыми он противостоял дедушке "графу Морицу", но понять что-либо в хитросплетении их отношений нам было нелегко.

Зато когда мы играли у дома в футбол, то в этом вечернем общении с отцом нам очень хотелось выяснить два вопроса: о праве меча, то есть о праве помещика казнить и миловать, ну и главным образом — а как обстояло с правом первой ночи, с jus primae noctis. ("Что-что, а это вы выучили! А о семи смертных грехах и битве при Лепанто, поди, не слыхали!", "А битва при Нандорфехерваре!"[2], "Глупцы!") Вообще-то, с отменой этого права народная демократия явно поторопилась. Отец усмехался, и потому нам казалось, что если права эти и отменили, то все же *не полностью*. Неужто и правда может случится, что голова училки Варади будет отделена от тела? Все село от мала до велика мы заставили бы присутствовать при казни! Или, может, достаточно просто плетей? Прежде всего нам нужны были зрители, все село. Или школа уж на худой конец! Седьмой класс — уж во всяком случае! А там посмотрим, право меча или ночи... Не все ли равно.

Историческая констелляция сложилась так, что родители тех парней, вместе с которыми играл наш отец, служили у нас в поместье, то есть всецело от нас зависели. И ситуации получались весьма забавные! Потому что, естественно, правый (быстроногий, как было сказано) крайний был на "ты" с левым полузащитником (как тогда говорили, хавбеком), сыном глухого портного Кнаппа (который в 1949 году пошил моей тетушке Карле извозчицкие портки из вельвета — "материалец еще довоенный, контесса, не от коммуняк, слава богу"; моя тетушка, дабы как-то помочь родителям, занималась развозкой дров и угля, и, поскольку ей было лишь двадцать лет, все уверены были, что ей не справиться, но она все же справилась, и старый словак, дуайен этих самых возчиков, удовлетворенно взглянув на портки, заявил: ну вот, наконец-то оделись как полагается, а то все форсили, матросские блузы и прочее; но власти решили по-своему, и когда танти Карлу, как положено, отправили в ссылку, то обвинили ее среди прочего в том, что, одеваясь таким вот образом, она пыталась вызвать в народе сочувствие и "коварным образом замаскировать свое графское происхождение"). Короче, друг друга они называли по имени: Мати, Додо. А зимой, во время охоты на зайцев,

1. То есть как на картине Франца Винтерхальтера (1805—1873) — знаменитого немецкого портретиста, кисти которого принадлежат изображения почти всех королевских семей его времени, включая австро-венгерскую.
2. Битва при Лепанто (1571) — морское сражение на Ионическом море, в котором испано-венецианский флот одержал победу над турками; в битве при Нандорфехерваре (современном Белграде) в 1456 г. было остановлено турецкое вторжение в Венгрию.

тот самый хавбек, здесь и теперь — загонщик, сорвав с головы шапку, почтительно приветствовал сурового старшего егеря г-на Келемена (для других — просто Пишту), который и нанимал, а точнее сказать, приглашал, загонщиков, после чего, посмеиваясь, хлопал по плечу *того* моего отца, перед которым в это же самое время с еще большим почтением снимал шапку упомянутый старший егерь. Шапки были весьма подвижны (за исключением головного убора отца).

Словом, я лучше. Мне захотелось еще раз услышать слова отца. И отец легко повторил:

— Ты лучше.

А немного спустя произнес красивую, навсегда впечатавшуюся мне в память фразу, за небрежным остроумием которой скрывалось... да много чего скрывалось.

— Достаточно долго я был сыном своего отца, — сказал он, — теперь же все больше и больше становлюсь отцом своих сыновей.

— А я? А я? — лицемерно заверещала сестренка.

— Твоим тоже, конечно, — кивнул отец и, с коварной внезапностью пнув по мячу, отправил его в ворота.

Удар был сделан носком ботинка. Оценивать его с точки зрения техники я не буду.

94

Итак, мой отец с моей матерью прогуливались по сомлевшему от жары перелеску (предгорья Вертеша), и ни один из них не думал о том, что все вокруг, насколько хватает глаз, достанется моему отцу. Отец — потому, что когда человеку принадлежит все, то думать обо всем этом ему *не с руки*, да к тому же и незачем; а мать об этом не думала, потому что подумала еще накануне вечером, когда из замка неожиданно прибыл Менюш.

Менюш Тот, или Менюш-младший, бывший слугой отца с тех пор, как он стал совершеннолетним, нагрянул с вопросом, не угодно ли будет барышне Лили прогуляться с баричем Матяшем. Вот об этом она и задумалась, попросив Менюша подождать, пока она взглянет на расписание уроков, — о том, что все вокруг, насколько хватает глаз, принадлежит молодому отпрыску графской семьи, а также о том, нужно ли ей, ее глазам, это "все вокруг".

— Ладно, Менюш, скажите, что я приду. — Парень не шелохнулся. Моя мать вопросительно наклонила головку, и слуга, чувствуя, что кровь бросилась ему в лицо, кинулся наутек, как заяц или другое какое не шибко смелое существо.

Наша мать была на четыре года старше отца, что долгое время от нас скрывали, конкретней, скрывала Мамочка и правильно делала, потому что, когда мы про это узнали, то крайне изумились и осудили ее за столь неожиданное постарение, которое, ко всему, она *устроила* у нас за спиной. Супруги должны быть одного возраста, полагали мы, это естественно, а все прочее — извращение. Что дедушка наш на пятнадцать лет старше бабушки — в это мы не вдавались, лишь фарисейски пожимали плечами. Но чтоб женщина была старше мужа, такого не может быть. Вот в это "не может быть" мы и въехали, когда тайна в конце концов вышла наружу. Может, она просто родилась раньше, а не старше его, выдвинул версию младший братишка; это было еще до того, как мы начали изучать математику.

В тот год, когда отец получил аттестат зрелости, Мамочка окончила педагогическое училище. Папочка, по словам Бодицы — она тоже иногда называла его Папочкой, что независимо от смысла звучало мило, — постоянно торчал у них, в доме управляющего, и скорей даже не из-за Мамочки, а из-за царившей в доме душевной атмосферы, что мне следовало понимать (я и понимал) таким образом, что *наверху*, то бишь в замке, жизнь была холодная и бесчувственная, не то что у них. В доме управляющего частенько устраивали танцы, потому что дед Апик выписал из Дьёра проигрыватель. *Грам-мофон* — говорила Бодица; все иностранные слова она, как и Мамочка, произносила по-особенному: *та-а-кси, атэлье.*

— Матяша дома не очень-то баловали, твой дед, высокородный граф — уж ты не сердись на меня, сынок, — вообще никого не любил, а бабушка — разве что мертвых, вот в чем правда-то.

Я, естественно, не верил ни единому слову своей очаровательной тетушки.

У отца в манере одеваться это самое "насколько хватает глаз", мягко говоря, было незаметным.

— Да ведь вы уже выросли из этих брюк, — изумилась девушка. Она сказала это серьезно, и не думая высмеивать моего отца. Тот с любопытством окинул себя взглядом. Действительно, упомянутый предмет одежды заканчивался выше щиколоток, и даже верх грандиозных высоких ботинок, смахивающих на солдатские башмаки, не стыковался с низами брюк.

— Сойдет, — пожал плечами отец.

Мы знали эту его черту, это его практичное безразличие, небрежное равнодушие к вещам. До красоты (даже собственной) ему не было дела; тут отец продолжал линию своей матери, бабушки из Майка.

Как-то одна милицейская дама, лейтенант, урожденная графиня N., рассказывала, что однажды танцевала с моим отцом и что танцевал отец отвратительно и одет был ужасно... при этом она запустила руку в мою шевелюру. Мне тогда было восемь лет и, в отличие от отца, я всегда, при любой возможности, пользовался своей красотой — пусть даже тусклой, унаследованной только частично. Графиня N. (лейтенант милиции) была без ума от моих волос.

— Сколько раз мы подшучивали над твоим отцом! А он все отбрехивался! Мол, в деревне ботинки с высокой шнуровкой очень даже практичны, ну а что городской моде *не адекватны*, я буквально его цитирую, так в соответствующих закупках маменьки это не играет никакой роли! Бог ты мой, ну и спартанка твоя бабушка!

— Брюки как брюки, — констатировал мой отец, — их еще папенька мой носил.

Мать не выдержала, рассмеялась.

— У него, никак, помер портной, — прыснула она.

— Как помер? Что значит помер?! — покраснел отец, с которым редко случалось, что он чего-то не понимал.

— Вот-вот, преставился славный швец, не успев завершить сие величественное творение, которое, как вы изволили заметить, на протяжении поколений служит верой и правдой вашей семье, с честью пережив не одну вельможную задницу; скончался бедняга, так и не доведя до конца славное произведение под названием брюки с напуском!

— Вы надо мной смеетесь! — с радостью осознал отец.

— Если и так, милостивый государь, то самую малость.

И молодая учительница печальным взором окинула моего отца. Юноша нравился ей, и гордый профиль его, и большие очки в роговой оправе, придававшие ему какую-то беззащитность, и стройная фигура, и игривый, кажущийся ненадежным взгляд. Даже горестной судьбы портняжку она записала ему в актив. И сердце ее сжималось от мысли, что, возможно, судьба сведет ее с этим молодым мужчиной, а еще больше сжималось, когда она думала, что, возможно, и не сведет. Мой отец, ничего по обыкновению не замечая, непринужденно болтал.

— А вы знаете, что это только на первый взгляд — лес, на самом же деле — скорее парк, маскирующийся под лес.

— Ну, это все какие-то католические представления... То, да не то, но именно благодаря этому как раз то. Вот мы, протестанты...

— Знаю, знаю, вам бы только протестовать!

Мать взглянула на него с изумлением, к подобному легкомыслию, несерьезности она не привыкла. У них дома, в семье, даже шутка всегда имела глубокий и, по возможности, поучительный смысл. Всякого рода дурачество, игра слов были запрещены. Но не юмор — напротив, людей без юмора они опасались. В семье же отца, в отличие от них, никогда никого и ничего не боялись, хотя распространяться на эту тему и не любили. Все, что было им не по нраву, для них просто не было темой, так что этого как бы не существовало. Существует лишь то, что выражено словами. В семье матери говорить можно было обо всем, и в этом была их смелость. В семье отца говорили только о том, о чем говорить хотелось, и в этом тоже была своя смелость.

В сердце матери, вместо того чувства, от которого оно минуту назад сжималось, вспыхнуло вдруг презрение. Лицо ее пылало от волнения, тело горело, а внутри... глубоко, глубоко внутри пульсировало что-то крохотное, ледяное. Она испуганно потянулась к груди, помассировала, словно пытаясь растопить эту льдинку. Тогда ей было еще невдомек, что эти два чувства будут сопровождать ее всю жизнь, что все в ней изменится, изменятся ее краски, слова, запахи, и только два эти чувства будут сопровождать ее до конца: восторженность и презрение, а также некое их производное — жалость.

— Мы, протестанты, — моя мать, впрочем, протестанткой и не была, а только ее отец, — смотрим на вещи прямо, а не с изнанки!

Они стояли друг против друга. Мой отец относился в эту минуту к миру, ко всему, что раскинулось "насколько хватает глаз", весьма благодушно. Мать не обращала внимания на взгляд отца, хотя он смотрел на нее в упор, ей нужно было высказаться до конца. Это тоже было у нее семейное, не упрямство, а стремление к полноте. В семье отца полнотой обладал и фрагмент, ибо фрагмент является таковым не оттого, что в нем не хватает чего-то, а оттого, *что* в нем есть. Мать страдала, если что-то было неполным и фрагментарным — обрывком, остатком, обломком, клочком, лоскутком, осколком, кусочком, обрезком, шматком, чем-то незавершенным и неоконченным, а в семье Папочки интересным, заслуживающим внимания считалось все. Все сущее.

— Лес есть лес, — строгим тоном заключила учительница.

Отец рассмеялся. Этого смеха в чистом виде мы уже не слыхали, мы знали только его улыбку, чаще всего смахивавшую на усмешку, а громкий, раскованный, производимый всем телом хохот... конечно, мы его слышали, но только когда отец был навеселе, и, конечно, боялись его,

ибо он, этот хохот, потому и казался страшным, что выражал и передавал бесстрашие. Словом, то был гомерический хохот.

— Лес есть лес... да, конечно, моя дорогая, прелестная барышня, — и пожал матери локоток, которая в ярости от пошлости этого жеста, но не менее — оттого, что жест этот нравится ей, хоть она и ненавидит всяческую пошлятину, побледнела. — Лес есть лес, разумеется, но слова... являются ли они лишь словами, вот в чем, как я полагаю, вопрос...

Мать моя не понимала юного графа, не понимала его беззаботной веселости, не понимала странного кружения вокруг слов. У них говорить о словах было не принято, словами пользовались, использовали их по прямому назначению — в речи, сам же по себе язык для них никогда не являлся предметом речи (благодаря чему и миновали их многие неприятности). Они пользовались словами, как пользуется своим инструментом мастеровой, относились к ним уважительно, как каменщик — к мастерку, как маляр — к своей кисти, лелеяли их, содержали в порядке, трепетно (или, как говаривали когда-то, с чувством) перебирали их, случалось, с брезгливостью или гневом, с трезвой практичностью или же, наоборот, страстно, с любовью, с нежностью; они чувствовали ответственность за слова, так как им было что терять, а при пользовании словами всегда что-то стоит на кону.

В семье отца, а точнее сказать, в семье деда, напротив, никогда не было ощущения, что им есть что терять, ибо было у них — повторюсь — всего столько, что они справедливо чувствовали: потерять это невозможно, ведь нельзя же, в конце концов, потерять *все*, потерять можно *много*, но ежели от *всего* отнять *много*, опять же останется *все*, а значит, останется то, что и было, короче, при таких обстоятельствах вдаваться в этот вопрос не было никакого смысла. Когда же они удостоились исторического счастья потерять все, что было, мысль эта получила логическое завершение: если у человека нет ничего, то сколько бы он ни терял, у него останется ровно столько же и положение его не изменится, и на самой вершине великого "ничего", куда моим предкам пришлось приземлиться, им оставалось лишь констатировать, что горевать о своем положении, опять же, нет никакого смысла, и они либо отправлялись на арендуемый исполу участок окучивать картошку, либо усаживались на террасе поразмышлять о превратном ходе истории.

К словам они тоже относились иначе. Если слова, сообразно сказанному, — это инструменты, то такими же инструментами они считали и самих себя: мастерком или кистью. И наоборот, если себя они почитали за мастеровых, ремесленников, то точно так же, как к равноправным, подходили они и к словам, во всяком случае в том смысле, что они (мастеровые и инструменты) друг от друга неотделимы. Поэтому ни рука, возводящая стену, ни рука маляра, эту стену красящая, для них были не видны, как не видна была, разумеется, и божественная рука, творящая этот мир. Мир строился, красился сам собой; словами они не пользовались, а сражались, боролись с ними (кто кого?), короче, не было для них ни лесов, на которых они, как мастеровые, стояли бы, ни стремянки, на которую, как маляры, они бы взбирались, и не было у них тех метафизических очков (то есть они все же обладали не всем?), через которые можно обозревать яркий и полный звезд небосвод (моя бабушка здесь — исключение), словом, между ними и миром не существовало дистанции, они постоян-

но вмешивались в этот мир, неотъемлемой частью которого являются и описывающие мир слова, и даже паузы между словами.

Юноша думал о том, что все рядом, в то время как спутница его — о том, что все далеко.

95

Оса не думала ни о чем. Оса действовала, причем действовала с лету. Своими фасеточными глазами она давно уже заприметила парочку; а пуще всего внимание ее привлекала раздувавшаяся на ветру юбка, ярко-желтый, плывущий меж зеленых деревьев гигантский колокол с двумя мелькающими языками — бим-бом, бим-бом. Лето 1938-го обещало быть благодатным, жаркий июль поторапливал к созреванию фрукты, и оса-сангвиничка энергично сбирала сладкий нектар. Но грушу такого размера, как эта, она еще не видала, хотя уже облетела весь (неправильный) треугольник между Насыпью, хутором Жемье и хутором Биборка, слетала также на хутор Эдит, где земли лежали в этом году под паром, наведалась в прямую, будто стрела, знаменитую липовую аллею, что вела прямо к замку (по которой как-то проехал даже сам Меттерних — правда, по ошибке, ибо "в Азии" он ориентировался гораздо хуже, чем в политических салонах Европы; позднее проследовали здесь и русские войска, о которых сказать, что они заблудились, довольно трудно; точнее, немцы и русские в сорок пятом занимали замок поочередно, причем первые вывозили мебель, предметы искусства, картины и вазы весьма аккуратно, с пиететом к культурному достоянию, по реестру, последние же поступали больше по велению сердца, блюли чистоту — к примеру, нужду справляли не на полу, а приспособив для этой цели разбитые, раскуроченные печи с херендскими, в стиле рококо, изразцами, украшенными вензелем Эстерхази с зелеными веточками, а когда обнаружили во дворе нужник, то грязную глинистую дорожку к нему опрятно выложили фолиантами в толстых кожаных переплетах подходящего для сей цели формата — томами Энциклопедии, а кроме того, неделями, изо дня в день, жарили в горящих роялях барашков, тщательно укладывая полутуши на струны), словом, жизнь была полна романтических приключений (я имею в виду жизнь осы).

Была ль то оса-песчанка, оса листовая иль складчатокрылая — мне во всяком случае это неведомо. Судя по последующим событиям, оса была безусловно шустрой.

К людям она относилась амбивалентно. Оса-мать истерически умоляла сына-осенка остерегаться их, по всей видимости, путая свой осиный род с пчелами, которые могут ужалить всего один раз — ужалят и умирают, и все-таки жалят. В пчелах есть что-то от японцев: тоже рисковые. Когда, соблазняемая пирожными, медами и соками, оса подлетала к людям, те смешно махали руками и изображали на лицах ужас и отвращение. Это было занятно. Размахивание руками не могло успокоить ни одну из сторон, решение оставалось в членистоногих руках осы: либо отлететь элегантно в сторону в поисках новых песен, новых пирожных, медов и соков, либо не размышляя — з-з-з-з — спикировать, как бомбардировщик, точнее сказать, обрушиться — з-з-з-з, — как бомба.

И тут мой отец неожиданно для обоих (и даже для всех троих), крепко взял мою мать за запястья и, как заправский танцор, закружил ее; юбка матери разлетелась на весь белый свет; карусель, да и только, где он

и она — это всё, и ярмарка, и карусельщик, и сама карусель с болтающимися на цепях сиденьями, и даже опьяненно кружащиеся на карусели Имре Шоош с Мари Тёрёчик[1], о которых в то время они еще не могли и слышать, — тоже он и она.

Отец был тогда в самой силе; он играл с учительницей, играл серьезно, как умеют играть только молодые. Мать же играть не любила. Точнее, любила, но — в карты и прочие общие игры, за которыми можно было сидеть на просторной веранде с отцом и мальчиками — двумя ее очаровательными и многообещающими братцами, старшим и младшим, любила всякого рода головоломки и викторины, игру в города, в "монополию", способна была забыть во время игры обо всем на свете — но только в том случае, когда сознавала, что в данный момент находится *там*, в том мире, в мире игры, а не здесь, на веранде; но если она попадала в тот мир неожиданно или ее неожиданно, без предупреждения, вталкивали в него, в ситуацию с неизвестными, непроясненными правилами, а может, и вовсе без правил, тут Мамочку кидало в жар. (В графском семействе рассуждали об этом иначе: наш мир — это мир, где есть *все* и *ничто*, иными словами, игра; не мир зазеркалья, где ничто не имеет веса, где нет дня и нет ночи, не мир предзеркалья, но и не зеркало.)

— Если я вас сейчас отпущу, вы улетите в другую галактику! — воскликнул отец.

Так не отпускай же меня, дурачок, подумала девушка, вслух же, хотя из нее и вырвалось нечто вроде восторженного вскрика, лишь попросила его прекратить это баловство. Она явно разделяла довольно расхожее представление, будто игра — это дело пустое и несерьезное, некое шутовство, инфантильность, незрелость, детская забава.

З-з-з-з, оса и представить себе не могла этакого скандала. Желтый колокол словно летал над миром, и язычки колокольные так мотались в сладостной полутьме, что у осы пресеклось дыхание. Хотя говорить о дыхании в данном случае не совсем... но пуще всего осе было жалко, что, как у всякого перепончатокрылого, у нее нет настоящего сердца, которое в испуге внезапного счастья могло бы зайтись сейчас в сумасшедшем биении. Когда же отец грубоватым движением оторвал мою мать от земли, больше того, взяв за талию и не прекращая танца, крутанул ее вкруг оси, то есть вращал в кружении (получалось что-то вроде космического аттракциона в городском луна-парке), мать в испуге внезапного счастья взвизгнула, и оса, воспользовавшись суматохой — з-з-з-з, шмыгнула внутрь колокола: бим-бом, бим-бом! — что за сладкий, благословенный звон, в котором смешались земля и небо, тьма и свет; сквозь просвет в кроне летнего дуба мелькнула голубизна небесной гармонии, чтобы тут же уступить место земной, этой влажности, густоте, этой плоти, в которую захотелось вонзиться, выкусить, поглотить, пожрать частицу ее, присвоить и слиться, окунуться в нее, раствориться, сгинуть, сделать своей, быть ею, и вообще — быть!

И погрузив торжествующее жало в тот нежный холм, точнее в спускающуюся с холма лесистую лощинку — ближе к самому краю темнеющего, будто долина ручья Порколаб, овражка, глубоко, как еще никогда ни в одну субстанцию, погрузившись в душистую пряную плоть, бурно, яростно, молекула за молекулой продираясь сквозь чуждую эту материю и

1. Мари Тёрёчик и Имре Шоош сыграли юных героев известного фильма Золтана Фабри "Карусель" (1955).

тем самым делая ее своею и обжитой, — оса ощутила одновременно и жажду смерти, и жажду вечного бытия. Но выбрать меж тем и другим, если это вообще возможно, было уже не дано — не успела она вырваться из этой пульсирующей магмы сладкой погибели, как одна половина тельца ее оторвалась от другой (предположим здесь, что жало осы было спереди, как клык хищника, нападающего в открытую, face to face, а не выпускающего убийственное орудие сзади, из кончика брюшка, тайком, недостойно и словно бы между прочим), крылышки, еще подвижные, шелестящие, вынесли на свет божий... что и кого? В последний момент опьяненная оса почувствовала себя раздвоенной — она была одновременно сказуемым и подлежащим, была и внутри и снаружи, ее вечное и неодолимое желание исполнилось, и она упала на землю.

Лето кончилось.

Мать моя была вовсе не плаксой, нет, но тут исторгла такой сумасшедший визг, что отец, голова у которого тоже кружилась, едва не отпустил ее, и тогда, словно выпущенная из пращи, моя мать полетела бы, как мы знаем, в другую галактику; взмыв высоко-высоко над дубравой, поднявшись над Кечкедом, Кёмлёдом, Надьигмандом, она летела бы, оставаясь в воздушном пространстве фамильных владений, в сторону Торньо, Чордакута и прочих и прочих местечек, раскинувшихся окрест, насколько хватает глаз.

Наследник Чаквара и Майка растоптал кружащуюся на месте осу, точнее остаток осы, и взял инициативу в свои руки. Уложив мою мать, одурманенную после укуса осы, словно после наркоза, на мягкую, застеленную тенью траву под деревом, он повернул ее на бок и, откинув юбку, столкнулся нос к носу с другой половинкой осы, с ее столь трагичной, но, как мы видели, тоже счастливой частицей.

— Лили, дорогая, — прошептал он с мрачной серьезностью, — я должен сию же минуту нейтрализовать этот яд, — и сделал все то, что сделала и чего не смогла сделать бедняжка оса.

Не знаю, много ли было в их жизни подобных звездных мгновений, но думаю, что их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Вот, пожалуй, и все, что я знаю о сексуальной жизни своих родителей.

Отец возвращался в замок довольный, мать — в усадьбу — с бледностью на лице. На развилке дороги, у прудов, где когда-то стояла мельница, она резко, отрывисто бросила:

— Нет.

— Что — нет? — усмехнулся юноша.

— Нет.

Отец не придал этому особого значения; о, знаем мы, знаем, как упрямое "нет" тихой ночью превращается в "да", как непокорные вечером губы наутро становятся мягким податливым ротиком, — такие мысли, точнее, такие глупости роились в голове отца. Вдохнув же поглубже воздух, он понял, что образ и запахи этой долины, где струился ручей Порколаб, будут искушать его до конца дней. И в этом отец оказался прав.

Но ни на следующий, ни на третий день с моей матерью он не встретился. Она вышла замуж за какого-то Хорвата или Сабо — от нас она это скрывала, как и свой настоящий возраст, как будто вычеркнула из жизни

несколько лет, — которого на следующий день после свадьбы призвали в армию, и он сразу погиб смертью храбрых на русском фронте. Впоследствии мы расценили это как весьма героический и очень тактичный поступок — сей неизвестный мужчина решил все же не навязываться нам в отцы, ведь ясно же, что своего отца мы не променяем ни на какого другого.

А когда десять лет спустя отец с матерью снова встретились, то разве только слепой мог еще утверждать, что все кругом, насколько хватает глаз, принадлежит моему отцу.

106

В связи с войной мы как-то поинтересовались у отца, приходилось ли ему убивать. Убивать человека. Как обычно, от имени коллектива выступала сестренка. Остальные стояли рядом. Лесенкой.

— А скажите, пожалуйста, Папочка, вы когда-нибудь убивали людей?

Сестренка умела разговаривать со взрослыми. Она, например, никогда не говорила "целую ручки", как полагалось детям, а, здороваясь со взрослыми, произносила с серьезностью пародиста: "доброе вам утро", "добрый вам день". Взрослые старались реагировать на это улыбкой, но избежать последствий все равно не могли и с сестренкой общались не так, как с другими детьми. Разговаривая с нею по телефону, многие не осмеливались говорить ей "ты".

— Всего доброго, барышня!

— Всего добгово, — отвечала она, будучи еще не в ладах с буквой "р".

Сестренка всегда как-то выделялась. Отец — никогда. К примеру, если он входил в пивную, то сразу вписывался в среду, и, хотя в крутолобом лице его и в осанке было что-то *такое*, люди спокойно вступали с ним в разговор, видно было, что он свой, не чужак, словом — абсолютная мимикрия. Когда мы ехали к бабушке, на маленькой пересадочной станции Фелше-Галла нам приходилось ждать поезд в привокзальной корчме. Переступая порог, отец как-то съеживался, разбирал себя по частям, перекраивал наново и уже преспокойненько тянул пиво из горлышка, по-приятельски разговаривал с корчмарем и шутил с официанткой. Как-то раз в корчме на сдвинутых у стены ящиках из-под пива сидели два пьяненьких мужичка — не старые, но с выщербленными зубами, небритые, из тех, что не просыхают годами. Икая и скалясь, они дружелюбно и по-своему ласково приветствовали сестренку:

— Привет, муха.

Та ответила без тени заносчивости и даже не холодно, а формально и вежливо, то есть самым не подходящим в данной обстановке образом.

— Добрый вам день, — сказала она без улыбки.

Мужчины на ящиках переглянулись и посерьезнели. Уж не знаю, о чем напомнила им эта худенькая стрекоза, но на лицах у них появилась какая-то робость.

108

— А скажите, пожалуйста, Папочка, вы когда-нибудь убивали людей?

Мы притихли, ожидая, что будет. Но он не убивал, во всяком случае так он сказал и окинул нас понимающим ласковым взглядом. Когда мы задавали отцу хорошие вопросы, то он иногда замечал нас, он снова нас замечал. И тогда в глазах его опять появлялось это радостное изумле-

ние, как будто он неожиданно обнаруживал, и сюрприз этот был для него приятен, что мы — его дети, а он — наш отец.

Ответом отца — что он никого не убивал, мы были разочарованы. Что же тогда он делал на войне? Вон Пал Кинижи[1] убивал ведь, иначе как бы он мог спасти родину! Может быть, ему удалось отвертеться по дедушкиной протекции?

— А вам, значит, хотелось бы, чтобы я убивал, резал, гробил, мочил?!

Мы не стали вникать в это "резал, гробил, мочил", да и насчет убийства вопрос волновал нас лишь потому, что нам очень хотелось, чтобы в фильме "про войну", который существовал в наших головах, у нашего отца тоже была какая-то важная роль.

Словом, ответить мы не посмели, а только усердно закивали головами.

— А вы не подумали о том бедолаге, которого я — чисто предположительно — мог бы убить?

Это "предположительно" мы опять же не поняли, но показали всем своим видом: нет, об этом мы не подумали.

— А о детях его, которые, может быть, ваши ровесники?! — Мы, толстокожие, мотали головами: нет, о них не подумали тоже. — Но ведь вполне может быть... что они сейчас изучают в школе то же самое, что и вы! — с горечью крикнул отец. Странно: Папочке, похоже, казалось, что если у нас в головах то же самое, что у них, то в нас должно пробудиться сочувствие и нам легче будет понять абсурдность всей ситуации. Но у нас в головах были вещи еще более странные.

— Дети фашиста могут быть только фашистами! — воскликнул я неожиданно.

Отец ошарашенно уставился на меня, как будто я врезал ему под дых. Мы поняли, что допустили оплошность. Обидели его глубочайшим образом — вот только не знали чем, как.

— Что такое фашист, по-твоему. — Отец был, видно, в таком отчаянии, что не мог даже задавать вопросы, заменяя вопросительную интонацию утвердительной.

— Фашисты — это фашисты! — отчеканил я не задумываясь.

— Немцы то есть, — выручил меня младший братишка.

— А мы что же... мы разве не на стороне немцев были?!

От тона отца мы несколько оробели — с одной стороны, он говорил с нами, как будто мы взрослые, с другой же — было заметно, что в этой взрослой дискуссии дела его плохи, и это было ужасно. А конкретно, больше всего нас обескураживало, что, оказывается, мы сражались в одном лагере с немцами, то есть фашистами! Миклош Хорти, тот, может быть, и сражался, но мы, венгры? Такого не может быть! Ничего себе шуточки! Как это может быть, чтобы дедушку немцы арестовали и посадили в тюрьму, а его сын, то бишь наш отец, находился в военном союзе с теми же самыми немцами!

— Вот именно так и было! — воскликнул отец и даже капризно притопнул ногой, как какая-нибудь принцесса.

Но это нас уже не интересовало. Все имеет свои пределы, и глупость тоже.

1. Пал Кинижи (ум. 1494) — легендарный венгерский воин времен антиосманской борьбы.

111

Когда я поспорил с братьями Хусарами о том, кто такие лабанцы, поскольку они утверждали, что лабанцы — это мы (в то время как я полагал, что это вовсе не так), а они, дескать, куруцы[1], и на мой вопрос, с какой это они стати куруцы, они мне сказали: с такой, что они — бедняки, на что я ответил, мы тоже бедные, и добавить нечего было ни Хусарам, ни мне самому, — я, вернувшись домой, спросил у матери, а правда ли, что мы — бедные?

[160]
ИЛ 10/2002

— А то ты не видишь?! — ответила она, даже не взглянув на меня.

В ответе ее мне послышалось раздражение, как будто я усомнился в нашем бедственном состоянии и вытекающих из него неимоверных тяготах, которые ложились на ее плечи. Тот же вопрос я задал отцу. Но он неожиданно для меня над вопросом задумался. И с интересом оглянулся по сторонам, словно бы для того, чтобы взвесить и оценить наше положение.

— М-да... по нынешним временам богатыми нас назвать трудно. — И добавил, что противоположность "богатого" не есть "бедный" и что если кто не богатый, то это не означает, что человек этот бедный. Бедный — это гораздо хуже, то есть обездоленный, неимущий, горемычный, бедолага, короче. — Нет, сынок, мы не бедные, мы просто в данный момент живем в бедности.

Отца нашего всегда отличала рассеянность, которую он пытался маскировать подчеркнутой предупредительностью и внимательностью. Он постоянно пребывал не совсем там, где в данный момент находился. Мы тянулись к нему и хватали руками воздух. Иногда воздух имел очертания нашего отца. Мне казалось, что этим противопоставлением — *бедность не то же самое, что жить в бедности,* — он как бы давал понять, что нам по каким-то неясным причинам жить легче, что жизнь эту мы избрали сами, просто так, чуть ли не из желания поиграть и развлечься и что состоянию этому можно в любой момент положить конец.

— Ну, это, пожалуй, преувеличение, — благодушно качал головой отец. Ему нравилось видеть мою растерянность, но все же он согласился: во время ссылки нам было легко от постоянного ощущения, что с нами творится несправедливость. За внешними атрибутами поражения скрывалась нравственная победа.

— Легко не легко, а трудно, — отозвался женский голос из кухни.

117

Семья моей матери была не в восторге от этого брака. Хотя в то время, в 1947—1948 годах, трудовые отношения между дедом моим по отцу и дедом по матери уже прекратились, забыть обо всем, разумеется, было невозможно. Но невозможно было и обвинить мою мать в желании сесть кому-то на шею. Такому обвинителю явно бы изменяло чувство исторического ритма. Отца в это время можно было уже любить разве что за красивые глаза. Младший брат моей матери дядя Эндре (все звали его дядя Плюх, потому что в Сент-Яноше был огромный сад, а в саду том —

1. Куруцы — участники борьбы за независимость Венгрии под руководством трансильванского князя Ференца II Ракоци в начале XVIII в.; лабанцы — их антиподы, выступавшие на стороне Габсбургов.

скороспелая груша, к которой якобы дядя Плюх, будучи еще совсем мальцом, подтаскивал свой детский стульчик и сидел там часами, наблюдая за грушами, пока какая-нибудь из них не срывалась с ветки; малыш тогда кивал головой, произнося: "плюх", что до четырехлетнего возраста оставалось единственным словом его лексикона), так вот, дядя Эндре, вернувшийся с войны в октябре 1947-го, тоже не одобрял этот брак, хотя отца моего он любил, они были с ним одногодки, в один год попали в Будапешт, записавшись в университет, а затем — в офицерскую школу "Людовика". Вместе они познавали и ночной Будапешт, и бар "Табан", что на улице Хаднадь, а в том баре — официантку Мицике!

— Как-то мы просадили там пенге десять или пятнадцать. А руки наши встретились на коленке Мицике! Ну и смеялись же мы все втроем. А что еще нам оставалось?

Дядя Плюх говорил своей милой сестрице:

— Запомни, семейство аристократов скорее потерпит, чтобы отпрыск их взял в жены продажную девку, чем девицу из захудалого рода. Семья у них щедрая, да щедрость свою они обращают лишь друг на друга. И что бы они ни говорили, тебя всегда будут презирать. И в первую очередь — твой будущий свекор. Помни, всяка сосна своему бору шумит, — говорил он.

Дядя Плюх был не то чтобы строг, а скорей педантичен, у него были свои принципы, которых он придерживался неукоснительно. Свои принципы — причем самые что ни на есть принципиальные — имелись у дяди Плюха и в области педагогики, и матушке от него часто доставалось за наше в корне ошибочное воспитание. Самое странное, что она не восставала против его желания как-то поправить дело, не высмеивала его, не гнала прочь, а давала — пусть минимальный — простор для его деятельности.

В качестве первого шага дядя Плюх завел в доме так называемый Черный гроссбух — черного цвета тетрадку, куда заносились все наши упущения и провинности, а также разнообразные проявления нерадивости, и в той же строке — наказания (запреты и отработки), а также отметка об исполнении наказания.

Этот новый, неведомый нам армейский порядок мы переносили с каменными физиономиями и без малейшего признака возмущения. Мать следила за нами с изумлением, просто не узнавая нас: к такой *помощи* с нашей стороны она как-то не привыкла.

Хотя мы всегда помогали ей, регулярно ходили в магазин за покупками со списком того, что купить и — в скобках — что купить, если нужного нет, мы знали все наизусть, бояться за нас было нечего: десять булочек, два кило хлеба, двести грамм "паризера" (она никогда не писала — вареной, что то же самое). Салями, наоборот, мама всегда записывала как "Пик"[1] (но в магазине мы все же спрашивали салями). Правда, этот деликатес покупали мы редко и всегда не нарезанным, а кусочком, потому что салями резала мама. К этому делу не допускался даже отец, потому что все, кроме Мамочки, резали (бы) слишком толсто. Как-то раз я втихую, по-воровски смолотил кусман толщиной в палец, словно это был ломоть хлеба или домашней колбасы, но вкус салями оказался совсем другим; нечистая совесть и колдовские чары греха, как видно, воз-

1. Так, по имени владельца фабрики, называлась венгерская колбаса салями до 1945 г.

действует на вкусовые рецепторы. Таких тоненьких кружочков салями, как у Мамочки, я никогда не видал. Чудо, а не кружочки, через них даже солнце просвечивало. Мы знали, сколько кружков полагалось класть на ломоть хлеба. У дяди Плюха, наверное, был бы установлен даже процент: какую часть поверхности хлеба должна покрывать колбаса, и он заставлял бы нас этот процент вычислять. Позднее, уже в гимназии, я ходил к нему совершенствоваться в высшем, как он выражался, матезисе. Склад ума у него был скорее инженерный, а не математический, но в его голове царил редкостный порядок, что оказывало на меня благотворное влияние. Он спокойно — в отличие от меня, в таких случаях изумлявшегося, — относился даже к тому, что некоторые задачи мы не могли с ним решить.

Что касается салями, то (к сожалению) количество полагающихся кружочков известно было и без математических вычислений. Во-первых, кружочки не должны соприкасаться или перекрывать друг друга. А во-вторых, нельзя отрезать куски хлеба, на которых могло поместиться больше трех ломтиков колбасы. Сестренка, которая обожала загадки и вообще любила мыслить и над всякой всячиной ломать голову (если полторы белки съедают полтора ореха за полтора дня, то сколько орехов съедят девять белок за девять дней), предложила определить идеальный размер ломтя хлеба, при котором достигается наилучший коэффициент использования салями, но думать над этим было бессмысленно, потому что идеальный вариант — половинка булочки, разрезанной вдоль и слегка, чтобы ямочки только закрыть, намазанная сливочным маслом, а сверху — кусочек зеленого перца и целый кружок салями.

Наряду с Черным гроссбухом одним из выдающихся педагогических изобретений дядюшки Плюха было соревнование "Как правильно вести себя за столом". Дядя Плюх подробнейшим образом расписал правила этикета и систему оценок. Как держать в руках нож и вилку (не за шейку, естественно), рука с ложкой движется к голове, не наоборот, руки всегда на скатерти, а не под столом, локти прижаты к туловищу (для тренировки нас заставляли есть, держа под мышками книги), воду пить только после обеда. Члены жюри в полном составе, родители и автор идеи со строгими лицами ходили вокруг стола, что-то записывали, строили гримасы, кивали и явно развлекались, не замечая наших мучений. Нам было не по себе, да и победить хотелось, между тем как единственное удовольствие во время еды — от души поесть.

127

Как-то раз мне пригрезилось (или приснилось), что я расспрашиваю Господа Бога о своем отце. Допытываюсь, вытягиваю из Него, словом, навожу справки. Какой он? Хотелось знать, что он за человек. Быть хоть в чем-то уверенным. Так я проводил время, находясь в животе у Мамочки. Но Господь, сколько я из Него ни вытягивал, никак не мог толком ответить на мой вопрос. Дескать, он не гадалка (кстати, говорил Господь Бог голосом молодого Шинковича[1]). Но ведь я и не спрашиваю о своей судьбе, мне главное — об отце узнать, что он за человек. Тут Господь по-девчоночьи захихикал и сказал: ужели? Насколько я понимаю задним

1. Имре Шинкович (1928–2001) — известный венгерский актер театра и кино.

числом, хитрец Боженька говорил со мной в стиле отца — это чтобы я привыкал, наверное. Привыкал к тону. Мне же хотелось, чтоб Он рассказывал безо всяких намеков да экивоков о моем отце и о той самой Венгрии, которую называют Венгрией, хотелось знать, на что я могу рассчитывать.

Так нет же. Он выдвинул предложение, чтобы я представил себе отца. На что я пожал плечами, подумаешь, буря в стакане околоплодной жидкости, как будет, так пусть и будет. Тем не менее Он настоял, чтобы я представил себе отца, нарисовал на холсте своего воображения, слепил из папье-маше и раскрасил. (Так возникла этимологическая связь между папье-маше и моим папашей.) Вырезал из бумаги силуэт à la Goethe. Не бойся Гёте, малыш, он не кусается. Или вот — пластилин! Пожалуй, это самое лучшее. Конечно, конечно, материал не классический. Но насколько он многопланов. Какие возможности! Давай, малыш, лепи, ваяй. Кого? Да отца, кого же еще? На пьедестал его! Изображай его. Фотографируй. Собери по клочкам его фотографии, разодранные твоей матерью, и склей. Когда? Ну когда-нибудь. В ходе времен.

Делай с него наброски, эскизы, пиши картины.

Мой отец как гравюра, как акварель, как офорт, как карикатура, пейзаж и батальная сцена. Батальная сцена особенно хорошо смотрелась бы в кинофильме, когда в час рассвета суровые всадники показываются в тумане на опушке волос моего отца и с несуетливым достоинством рассредоточиваются по всей необъятной ширине его лба; я осторожно, испытывая не гордость, а ликование, приподнимаюсь в седле Зульфикара, которого подарил мне вельможный Пазмань[1], умнейший и больших притязаний исполненный кардинал венгерский, подарил из любви и лукавства, что сливаются у него в одном русле — расчета, интриги и неподдельной святой доброты.

129

Когда в мае 1951-го в Будапеште началась пресловутая депортация, родители ничуть не обеспокоились и не взволновались; чего, собственно, было им волноваться? Уж коли потеряно все, то терять больше нечего, и это можно было даже назвать свободой или, во всяком случае, ощущением оной. Лично я, правда, к тому времени еще ничего не потерял, но тоже не беспокоился и не волновался, полагая (а что еще мог бы я полагать?), что это естественно, что так устроена жизнь: человека выдергивают даже из колыбели, являются по ночам неизвестные, крики, шум, тюки и корзины, беготня, темнота, грузовик, вонь солярки, опять незнакомцы, опять крики, шум, бесстрастное лицо отца, слезы матери, которая после этого не плакала уже никогда, почти никогда, словом, я полагал, что это и есть нормальный порядок вещей, а коль так, то нечего беспокоиться, нечего волноваться.

Я не знал, что когда я впервые узрел родной город, Будапешт был вместилищем страха; мой город был целиком в его власти, был полон им до краев; всё, от тесных улочек и дорожек будайской Крепости до грязных предместий и ласкающих взор аллей ("названных в честь твоих дядюшек"), задыхалось, как выразился поэт, под "огромной прыщавой и

1. Петер Пазмань (1570—1637) — писатель и проповедник, глава католической церкви Венгрии, последовательный сторонник Габсбургов.

омерзительной задницей" страха. Из моей колыбели открывался фантастический вид на Кровавое поле и Крепость. Мы жили в прекрасном месте; моим первым пристанищем была вилла в Буде, неподалеку от лестницы, названной в честь нашего короля Чабы, на крутом склоне — словно дом вырастал прямо из холма, носившего имя несчастного предателя Мартиновича.

Прабабушка Шварценберг и тетя Мия тоже жили у нас — женский монастырь, приютивший их (а он, помнится, финансировался нами, нашей семьей), был закрыт. Неизменные черные очки только подчеркивали красоту тети Мии, которая выглядела как знаменитая актриса, сохраняющая инкогнито. Между тем ничего от актрисы в ней не было, да и красота ее уже как-то пожухла (или такою была всегда, хотя это нелогично); никто из мужчин никогда не интересовал ее как мужчина, и единственный, к кому она испытывала чувства, был ее брат, наш дедушка, ему она готова была служить всю жизнь, но в этом ей было отказано. Дед этого не позволял. Оставалось стать монахиней, однако Христовой невестой ей тоже быть не хотелось, ей и для этого не хватало чувств. Пришлось ограничиться финансовой помощью монастырю. Свою холодность тетя Мия отчаянно, но не слишком успешно, пыталась скрывать, маскируя ее любезностью. В свою очередь мы, детвора, столь же отчаянно демонстрировали ей свою любовь. И мне кажется, то и другое отчаяние вполне уживались друг с другом. Но главное, и это не вызывало сомнений, у тети Мии были самые шелковистые в мире руки. Мы брали их, как берут обмирающую пташку, тетя при этом не сопротивлялась, и водили ими по своим мордашкам, пока она (во всяком случае так ей казалось) занималась с нами немецким.

130

Был у нас один родич, далекий, фантастический и загадочный дядюшка по имени Миклош Себек, которого все звали просто Роберто, как какого-нибудь итальянского сутенера; исключение составляла лишь моя мать, которая называла его всегда серьезно — Миклош ("послушайте, Миклош, прошу вас, Миклош"), а впоследствии и отец, который с определенного времени не называл его никаким именем ("не хотел осквернять уста").

Временами Роберто тоже живал у нас, был у него даже свой матрац ("настоящий матрац! конский волос!"), и поначалу Роберто располагался на нем в моей комнате, но мать вечно переживала, как там я вдалеке от нее, в другой комнате, или просто скучала, не желая, чтобы время мое текло без ее участия (позднее, когда нас прибавилось, мое время стало течь как попало и наблюдать за его течением у матери не было ни сил, ни желания, да и переживать она перестала, ведь если переживать сразу за четверых, то недолго и помешаться, с четырьмя карапузами можно только надеяться, что тоже немало), во всяком случае моя мать перебралась ко мне на матрац, а Роберто — к отцу, в супружескую постель. Над этим много смеялись — все трое. Поскольку на свадьбе родителей Роберто исполнял роль свидетеля, то поначалу предполагалось, что он будет мне крестным отцом. Но он отказался.

— Крестным должен быть не такой человек, — сказал он холодно и покраснел.

— Прошу прощения, ваше сиятельство, тут дядюшка Нусбаум явился, хотел бы поговорить с вашим сиятельством, — доложила г-жа Артур, пештская экономка дедушки. Мой дед был прописан в Пеште, поэтому его депортировали вслед за нами. А бабушка осталась на месте, в майкской усадьбе. [165] ИЛ 10/2002

— Я *вообще-то* из рода Гёргеи[1], — сообщила как-то дедушке шепотом г-жа Артур, не догадываясь, что деду нашептывать ничего нельзя, во всяком случае в мире не было человека, который в силу своего положения пожелал бы, осмелился бы или смог бы нашептывать ему что бы то ни было. Дед отпрянул.

— Гёргеи? Как вам будет угодно.

Г-жа Артур была от дедушки без ума и старалась во всем ему угодить (яйцо в мешочек и прочее). И теперь, в день высылки, глаза ее были на мокром месте.

— Что еще за Нусбаум?

— Бакалейщик с улицы Лёвёхаз. Не изволите знать?

— Нет.

— Он очень хотел бы поговорить с вами, ваше сиятельство. Позволите пригласить?

— А что, если пригласить его в другой раз? Скажем, в следующий четверг, на файф-о-клок к тому кулаку из Хорта, куда я переношу свою резиденцию?

— Ах, опять вы об этом! — всхлипнула экономка. — Бедняга очень взволнован. Позвольте его впустить.

Дед соглашается, г-жа Артур впускает Нусбаума, тот, низко поклонившись, входит, здоровается, на что дед отвечает недоверчивым кивком.

— Рад приветствовать.

— Мор Нусбаум. Вы, конечно, меня не знаете. Оно и понятно, с какой стати графу Эстерхази знать какого-то там Нусбаума?

Когда дед, вернувшись из плена, стоял в очереди у пункта, где раздавали пособия "Джойнта", ему пришлось показать документы. Имя — Мориц. Понятно. По матери — Шварценберг. Тоже ясно. А где же, дядюшка Мориц, вам удалось раздобыть такую роскошную фамилию?

— Слушаю вас, господин Нусбаум.

— Так вы меня все-таки знаете?

— Вы сию минуту представились.

— Ах да.

— Чем могу быть полезен, господин Нусбаум?

— Чтобы не подъезжать к вам через ахрем[2]...

— Ахрем? Погодите... В Первую мировую я несколько лет прослужил в Галиции. И брат мой младший, Алайош, там же пал смертью храбрых. Но что-то я не припомню такого города...

— То не город, ваше сиятельство. Ахрем — это вот что! — И Нусбаум, заведя правую руку за голову, выразительным жестом почесал себе левое ухо. — Вы меня понимаете.

1. Артур Гёргеи (1818–1916) — верховный главнокомандующий венгерской национально-освободительной армии, который в августе 1849 г. во избежание бессмысленного кровопролития капитулировал перед превосходящими силами русских войск, пришедших на помощь Габсбургам. Многие венгры расценивали этот шаг как предательство революции 1848 г.
2. Через ахрем — здесь: не прямо, издалека (*идиш*).

— Положим, — ответил дед с некоторым раздражением.

— Так вот, чтобы не подъезжать к вам через ахрем...

— Да хоть бы и через ахрем! Но только уж подъезжайте! — нетерпеливо воскликнул дед, оглядывая еще не совсем упакованные чемоданы.

— Кто такой есть Нусбаум, спрашиваю я? Отвечаю: никто, и звать никак — по сравнению с Эстерхази, как вы понимаете. Ну скажите мне откровенно, разве это не так?

— Не понимаю, куда вы клоните, — напрягся дед.

— Я слышал, какая беда обрушилась на ваше сиятельство. Большая беда, уж кто-кто, а я знаю! У меня ведь это в крови, пять тысяч лет. Вся эта беготня, то туда, то сюда, барахлишко в охапку и бегом неизвестно куда. Мы-то знаем, уже мой дед, когда бежал из Галиции... а вспомнить Ветхий Завет — сорок лет по пустыне, все эти странствия и гонения, ваше сиятельство, у меня в крови...

— А нельзя ли, любезный Нусбаум, ближе к делу, ежели таковое имеется?..

— Вот видите, я говорю, говорю, задерживаю, старый болтун, ваше сиятельство.

— По совести говоря...

— Но прежде чем перейти к делу, разрешите сказать вам: не извольте о нас судить по этому Матяшу Ракоши. Мы не любим его... — и Нусбаум, допуская ту же оплошность, что и г-жа Артур, перешел на шепот. — Он — азес[1]!

— Ах вот как, — произнес дед, и оба погрузились в тягостное молчание. — Ну что ж, господин Нусбаум, рад был познакомиться...

— Постойте, постойте! Ведь я еще не сказал, что меня привело сюда.

— Тогда, если можно, коротко.

— Постараюсь, но должен признаться, что, когда я к вам шел, был уверен, что ваше сиятельство выставит меня вон.

— Ну, коль скоро вы сами упомянули...

— Дело в том, что когда я услышал, что ваше сиятельство отправляется завтра в ссылку, то собрал кое-что. Вот этот пакет. Не извольте меня прогонять с ним!

— Что еще за пакет? — поразился дед.

— Я прошел через все круги ада. Вместе с семьей. И знаю, что́ больше всего пригодится человеку в такой ситуации. Тут как раз все, что нужно. Я сам собирал. Уж можете положиться на мой большой опыт.

Дед взорвался. Общаться с людьми, неравными по общественному положению, мой дед не привык. И именно этого — новой субординации — он в ту пору не мог простить новым временам.

— Уж не думаете ли вы, что я нуждаюсь в подачках?..

— Ваше сиятельство! Я вас умоляю, примите! — Они молча уставились друг на друга. — Рассказать вам? Когда в сорок четвертом нилашисты гнали нас с желтыми звездами на груди по улице Лёвёхаз, навстречу шли вы, ваше сиятельство. В костюме "с искрою", с тростью в руках, в серой шляпе. (Этот костюм, серую шляпу и трость запомнил и я: в таком виде дед ходил в Хорте по воскресеньям в церковь. Местный партсекретарь только и мечтал, как бы ему это запретить, перво-наперво — трость, да не мог по причине свободы вероисповедания. Я побаивался деда, осо-

1. Наглец, проходимец (*идиш*).

бенно опасался коснуться его пиджака с искрами, казалось, дотронешься — и шарахнет током. Или огнем опалит.) Так вот, ваше сиятельство остановились тогда на краю тротуара и, когда мы шли мимо по мостовой... незабываемым, потрясающим жестом сняли перед нами шляпу!

— Не припомню... впрочем, это такой пустяк, право слово...

— Как пустяк! Никогда этого не забуду! Да знаете ль вы, что тогда, в том моем состоянии, означал для меня этот жест? Я снова почувствовал себя человеком! Человеком! Представьте себе! Я тогда вскинул голову и взглянул прямо в рожу конвойному с автоматом!

— Что говорит лишь о силе вашего духа, господин Нусбаум...

— Это не так, уверяю. Во всех ужасах, которые я затем пережил, мне придавал силы этот ваш смелый жест. Я потерял всю семью. До последнего!

Это самое "до последнего", вдруг подумал мой дед, что-то чисто еврейское. В семье аристократов, к примеру, обычно не погибают все "до последнего". Уж кто-нибудь да останется. Чтобы четверо в одной битве, на одном поле и в один час пали смертью храбрых — случалось, но все же не "до последнего". Такая вот арифметика.

— До последнего! Но знает ли ваше сиятельство, как часто я вспоминал вашу снятую шляпу? Что кто-то тогда, на улице Лёвёхаз, вернул мне человеческое достоинство! — от волнения г-на Нусбаума бросило в жар. Он отер носовым платком испарину на лице и устало добавил: — Я всего лишь хотел сказать, что я ваш должник, ваше сиятельство.

— Но почему вы сказали об этом теперь, через столько лет?

— Хотел, много раз хотел, да все с духом не мог собраться. А тут вдруг... почувствовал... что мы стали ближе. — Уже в дверях он оглянулся. — Да благословит вас мой бог, ваше сиятельство!

Воображаемый занавес.

— Право, было бы лучше, ежели богом был этот Нусбаум. Эка не повезло мне.

133

Товарно-транспортная накладная серии X за № 0111263 Комбината грузовых перевозок заполнена карандашом. Номер автомобиля: YT-404. Грузоподъемность: 4 тонны. Грузоподъемность прицепа: —. Номер путевого листа: 013601. Номер заявки: 31252. Условия перевозки регламентируются Правилами эксплуатации а/т средств и действующими тарифами. Пункт погрузки: Будапешт. Пункт разгрузки: Хорт, область Хевеш. Заказчик (грузоотправитель) — мой отец (в фамилии две орфографические ошибки), проживает по адресу: XII р-н и прочее, зарегистрирован (?): там же. Грузополучатель: здесь следует фантастическая и неподражаемая подпись отца, начинающаяся с "Dr.". Звездочка, внизу примечание: заполняется только при междугородных перевозках. Стало быть, перевозка была междугородная. Здесь же, внизу, указано: то, что в рамке, заполняется заказчиком (грузоотправителем), то бишь моим отцом.

Вид упаковки: не обозначен; количество: не проставлено; наименование груза: движимое имущество; заявленный вес в центнерах: не указан; фактический вес (это уже за пределами жирной рамки): не указан.

Дополнительные услуги, прочие записи (о погрузо-разгрузочных работах, маршруте следования, необходимых погрузочных механизмах): не заполнено; приложения: не заполнено. Лицо (предприятие), произ-

водящее расчет: то же. Место жительства, регистрации: то же. Номер р/с: наличные. А ниже — вновь подпись дорогого Заказчика (грузоотправителя), революционный, можно сказать, автограф, бумага на первой букве местами прорвана, с этой "D", грандиозной и необузданной, шутки плохи, хотя это всего лишь первая буква "доктора", неотделимая, впрочем, от следующей за нею фамилии. Она словно бы замещает "графа"; однако когда позднее я как-то упомянул об этом, отец уставился на меня как на сумасшедшего, как будто семья наша и в самом деле без роду без племени и в истории подвизалась исключительно в крестьянских восстаниях. Кто хотя бы однажды сталкивался с этой "D", смотрел на отца уже другими глазами, мол, такой далеко пойдет... Подделывать подпись отца было бесполезно, я бился над этим годами, но в лучшем случае у меня получалось лишь жалкое подобие. Я завидовал отцу и порой просто так, удовольствия ради, просил его начертать на бумаге свою, то есть нашу, фамилию; перо отца долго ездило по бумаге, вверх-вниз, петля вправо, влево, сальто-мортале, двойной тулуп, причем не как бог на душу положит, а в соответствии с отработанным энергичным сценарием (после 45-го он два года служил в Коммерческом банке, занимаясь зарубежной корреспонденцией, где "набил себе руку"), и вот уже передо мной феноменальный яростный росчерк, даже отдаленно не напоминающий тот, что вынужден оставлять на бумаге я, хотя имя, естественно, то же самое — но в его экстатической, неземной, божественной ипостаси. Под конец к роскошной начальной букве — которая к "нам" отношения не имеет — отец небрежно прилаживает утончающийся жалкий крючок буквы "r": так теряющая уверенность в себе воля наносит кинжальный удар изначально грандиозному замыслу.

Дата и время подачи автомашины: 16 июля 1951 г., 21.00; сопровождающие груз лица: мой отец, моя мать, я (с двумя орфографическими ошибками в фамилии); возраст: 30, 30, 1, что не соответствовало действительности, отцу было 32, матери — 35. В качестве сопровождающего фигурирует также милиционер, место жительства Гёдёллё, ул. Тёрёк, 35 лет.

За пределами жирной рамки — расчет стоимости услуг. По документу, пробег автотранспортного средства составил 71 км, за что начислено 484 форинта; пробег прицепа: не заполнено; оплата за обратный пробег и простой под погрузкой: не заполнено. Горных дорог (полагаю, имелся в виду холмистый участок старой дороги близ Гёдёллё с его печально известной, ныне не существующей "подковой смерти"): 10 км, за кои начислено 40 форинтов. Зато не пришлось платить за проселочные дороги, за санобработку и надбавку за снегопад, а вот за незапланированный простой деньги взяли — 34 форинта. Итого подлежащая оплате сумма составила 558 (пятьсот пятьдесят восемь) полновесных венгерских форинтов. Получение каковой подтверждает: водитель Ласло Месеш. Печать грузоперевозчика, подпись, место и время оформления накладной. Тов.-трансп. накл. № 1 — Зак. 511133. Типогр. "Атенеум".

На обратной стороне накладной нечто вроде заглавия: Заказ выполнил. И подзаголовок (жанровое определение): Ласло Месеш. Документ представляет собою копию; бумага покрыта блекло-голубыми разводами от копирки — похоже на сумерки, когда не поймешь, то ли небо перед глазами, то ли земля. Как видно из накладной, гараж (кстати, в верхней части листа напечатано: от гаража до гаража; почти как от сердца к сердцу) грузовик покинул в 19.40; показания спидометра: 37 620. В половине

девятого, пройдя 14 км (без груза, как отмечено в соответствующей графе), машина прибыла к нам. За два часа вещи были погружены (нами), и без четверти одиннадцать мы отправились в путь.

После недолгого совещания отец принял решение вызвать для (пра)бабушки с тетей Мией такси. Интересно, что даже впоследствии никому это не казалось странным. В ссылку — но все-таки на такси!.. Сохранить хоть толику гордого превосходства! Однако ничего подобного в этом не было, только здравый смысл да еще понимание, насколько абсурдно путешествие двух преклонного возраста дам на грузовике! Странно было бы представить в кузове тетю Мию. Поездка же на такси — не странно, а просто дорого.

Милиционер сел в кабину водителя и вел себя очень пристойно, даже лучше того — сухо, невозмутимо, как какой-нибудь butler[1], английский слуга; помогал при погрузке, разговаривал деловито, тихо, бросая иногда матери короткие реплики:

— Это оставьте, там не понадобится... это берите.

И все же говорилось это немного противным голосом, так что милиционера не то что не за что было благодарить, но при желании можно было даже возненавидеть. Мать садиться в кабину не захотела, и рядом с милиционером уселся отец, а меня взял к себе на колени. До сих пор ощущаю запах грузовика "чепель" и вонь солярки. (Для меня это то же самое, что для Пруста — вкус размоченного в чае кусочка бисквита.)

Расположившись в кузове, под безмятежным куполом ночного летнего неба, Мамочка откинулась в кресле из красного кедра, закурила — мы любили, когда она это делала, всегда ждали, подкарауливали этот миг, с восторгом следили за тем, как, блаженно прикрыв ресницы, она затягивалась, как выпускала с веселым вздохом дым, за этой сомнительной и предосудительной церемонией нам рисовался мир буржуазной роскоши, которого никогда и не было, — и скрестила длинные и красивые, как у Бодицы, ноги, словно сидела в огромной (передвигающейся на колесах!) небесной гостиной.

Она что-то напевала себе под нос.

Усталость, которая уже не покинет ее до конца дней, навалилась ей на плечи, но Мамочка была довольна собой, она удачно упаковала вещи, и теперь, carpe diem[2], наслаждалась минутой досуга. Время от времени она задорно махала сидевшим в такси, на что прабабка отвечала разъяренной жестикуляцией. Мать на это не обращала внимания. Она вообще, как полагали в родне, вредила всем Эстерхази как только могла; но это было не совсем верно, ведь детям своим, которые тоже *того поля ягоды*, она никогда не вредила, хотя и всыпала им иногда не без удовольствия.

Словом, княгиня Шварценберг отчаянно жестикулировала, требуя остановиться, ей нужно было что-то сказать, но мать и бровью не повела до самого Хатвана. Грузовик наконец-то затормозил, милиционер знал один кабачок, который еще был открыт, и мужчины опрокинули по рюмке дешевого рома. Милиционер — Андраш Юхас — по-прежнему маскировался под молчаливого английского камердинера. Хотя прабабушке стукнуло уже девяносто, она была еще крепкой и властной старухой — и большой, как барочный буфет. Говорила она в основном по-немецки.

1. Дворецкий (*англ.*).
2. Здесь: пользуясь случаем (*лат.*).

И была, насколько я понимал, кем-то вроде чешского короля, точнее, когда-то была, но теперь эту должность временно отменили. Я боялся ее, потому что меня она никогда не замечала. Лишь однажды, споткнувшись взглядом о мою руку, она подняла ее и презрительно повертела перед глазами.

— Что за пальцы! Ими разве что немцев играть. Уж никак не Шопена! — И отбросила мою кисть, как ненужный предмет.

По прибытии в Хорт, укутанная во все черное, в большие, как у крестьянок, шали с кистями, она днями просиживала на веранде, на солнышке, и примерно раз в час, когда к ней подбиралась тень, приходилось передвигать ее вместе с креслом. Мой страх прошел, когда как-то в моем присутствии прабабка громко испортила воздух. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Я рассмеялся и убежал. А король чехов размахивал мне вслед клюкой. Я понятия не имел, кто такие эти самые чехи. Тем более что в ту пору я уже (или, может, еще) был крестьянским ребенком, то ли стряхивавшим, то ли уже стряхнувшим с себя вековое ярмо феодального гнета.

— Мати! Bitte! — повелительно призвала она моего отца в ту ночь, во время стоянки в Хатване, и, стараясь не привлекать внимания, указала бровями на стража порядка. Все, естественно, наблюдали за ними. — Говорят, — зашептала прабабка, — что султан своих слуг мужеского достоинства, — она снова кивнула в сторону Андраша Юхаса, — оказавшихся при его дворе по причине своей красоты, а имя таким легион, отпускает на все четыре стороны по достижении 22 лет.

Прабабка в упор посмотрела на моего отца. Тот кивнул. Тяжело вздохнул. И еще раз кивнул. Прабабка же, неожиданно сменив тему, выразила изумление и неудовольствие тем, что отец умудрился устроить экскурсию при столь отвратительном освещении; такие веселые пикники ей, конечно, всегда были по душе, но тут — она указала рукой окрест — ей ничего, Matyi lieber, nichts[1], ничего не видно, никакого пейзажа, хотя, насколько ей помнится, этот холмистый северо-венгерский ландшафт весьма живописен, в свое время ей довелось принимать участие в императорской охоте, хотя нет, императора, кажется, не было...

— Короля[2], — пробурчал отец.

— ...а только несчастная Эржебет[3]. Словом, явное упущение, может быть, бедной Мие это не так и важно, о, вечное царство тьмы, да еще этот грузовик, воняющий прямо под нос.

Понуря голову, отец принес бабушке чистосердечные извинения за то, что и правда вышли кое-какие *накладки*.

— Простите меня, бабушка.

И грозная госпожа Шварценберг, вдруг улыбнувшись, погладила моего отца по вихрам.

— In Ordnung, bist ein braver Bube![4] — После чего задумчиво добавила: — Ein ruhiger Ehemann ist eine schöne Sache[5].

1. Ничего, дорогой Мати (*нем.*).
2. Имеется в виду Франц Иосиф, австрийский император и венгерский король; многие венгры, противники империи, признавали его лишь в последнем качестве.
3. Эржебет — императрица австрийская и королева венгерская Елизавета, жена Франца Иосифа, погибшая в 1898 г. от руки итальянского анархиста. Любительница путешествий и охоты, Елизавета часто бывала в Гёдёллё — городке в 30 км от Будапешта, где находилась королевская резиденция.
4. Все в порядке, ты славный малый! (*нем.*)
5. Какое счастье — спокойный муж (*нем.*).

Мать, напевая, продолжала сидеть наверху в красном кедре, ей тоже досталось выпить — один из тех редких случаев, когда мать пила вместе с отцом, который — рука об руку с алкоголем — становился все более и более одиноким.

— А что это вы здесь пьете? — потянула поздрями прабабушка. — Отец попытался спрятать от нее рюмку. — А ну, покажите!

— Вам, бабушка, это не понравится, — смущенно пробормотал отец.

— Ну, это, сынок, я сама решу. Кстати, что делает здесь этот милиционер? Терпеть не могу милиционеров!

— О, бабушка!

— Не шепчи, это неприлично. Я и прежде их не любила, жандармов этих, а нынешних и подавно не перевариваю. — Забрав у отца стаканчик, старуха понюхала его содержимое. — Mein lieber, какой кошмар!

— Кошмар, бабушка, кошмар.

Но старуха, что тот извозчик, уже опрокинула в себя рюмку.

— В самом деле, кошмар. Спасибо, сынок. — Оглянувшись по сторонам, она уставилась на машину, груженную домашним скарбом, как будто впервые ее увидела, затем — на мать, тихонько напевавшую в кузове.

— Лили, — изумленно проговорила старуха. Наступила неловкая пауза.

— Поехали, не то опоздаем, — сказал шофер.

— Это исключено, молодой человек. Как правило, на ужин я не опаздываю. Как правило, это другие являются слишком рано. — Она поглядывала то на милиционера, то на водителя, то поднимала глаза на мать. — Я понимаю, конечно, что время от времени возникает необходимость конфисковывать чью-то землю, реквизировать мебель, сажать кого-то в тюрьму или наказывать иным способом. — Она понюхала рюмку. — Но меня всегда удивляет, как по-скотски, независимо от законов, от правосудия, от всякого рода необходимостей, обращаются люди с себе подобными. По-скотски.

Мужчины хранили молчание.

— Ну да ладно, делу время — потехе час, поехали!

Только на этот раз впереди поедут они, мол, от них все же меньше вони, чем от грузовика. А в стае впереди идет тот, кто меньше воняет.

Так мы и сделали, правда, такси временами отрывалось от нас, мы сигналили фарами, но они поначалу думали, что тем самым мы подгоняем их, и жали на газ, грузовик из последних сил поспевал за такси, мать со смехом повизгивала у нас за спиной, а я судорожно цеплялся за колени отца; взрослые, казалось, затеяли игру в догонялки, и наша машина, нещадно трясясь на колдобинах, уносила нас в бесконечность алфельдской ночи. Или то был не Алфельд?

С дёндёшского шоссе нам нужно было свернуть налево, такси взвизгнуло тормозами, и прабабка Шварценберг яростно замахала нам, вперед, мол, за нами, коли поспеете. Она хохотала. Такой я ее не видывал. И заметил:

— Баушка в ударе.

— Попридержи язык, сынок. — От слов отца пахнуло палинкой, что меня, в отличие от Мамочки, никогда не смущало, скорее наоборот. Иное дело — утренний перегар, затхлый, кислый, холодный. А свежий аромат палинки — всегда опьяняет, он горячий и крепкий. Как сам отец.

К селу вела длинная и прямая дорога. Подъезжая, мы обратили внимание, что небо мерцало то багровыми, то голубыми всполохами. Как

будто в честь нашего прибытия устроили фейерверк. Но, как выяснилось, в селе горел дом. Даже птицы загомонили, решив, что уже наступил рассвет.

— Это огненная геенна? — спросил я.

— Нет, — пробурчал отец.

В фантастическом освещении я заметил в поле забавных животных, которые глазели на нас.

— Папа, кто это?

— Коровы, сынок.

— А что такое корова?

— Корова — это корова.

Проехав еще немного по все более освещенной дороге, мы увидели других животных — мохнатых, светлых, четвероногих.

— А это кто, папа?

— Это овцы, сынок.

— А что такое овца?

Отец в сердцах притиснул меня к коленям, как будто хотел меня раздавить, и рявкнул: да кончатся ли когда-нибудь эти вопросы?

— Овца это овца, корова это корова, а там вон — коза. Коза есть коза. Коза дает молоко, овца — шкуру, а корова — и то и другое. Какого дьявола ты хотел бы еще узнать?

Я ударился в рев. Мой отец еще никогда, никогда не говорил со мной таким грубым тоном. Возможно, он был очень сильным, но в тот день он изрядно устал.

Наверное, он устал, но стоило нам подъехать к площади, как он выскочил из кабины, махнул шоферу и, пользуясь тем, что наш милиционер молчал, тут же встал в цепочку, по которой передавали из рук в руки ведра с водой.

— А ты кто такой? — вскоре подскочил к нему неизвестный в милицейской форме.

— Дом горит! — отмахнулся отец и хотел уже передать ведро, но тот ухватил его за руку, вода расплескалась. — Пожар! — И отец, поясняя, добавил: — Огонь не спрашивает, кто какой.

Стоявшая рядом женщина с длинными волосами, наспех перехваченными резинкой, вдруг засмеялась. Нагрянувшая беда — пожар — раскрепостила людей, они забыли о страхе. Бросив ведра, они хохотали, повторяя слова чужака: огонь не спрашивает, ха-ха-ха, кто какой. Страж порядка смущенно топтался на месте. Его звали Лайош Тюз[1] — вот народ и смеялся. Наконец, наш милиционер подошел к коллеге, они пошушукались. И с нами все прояснилось.

К месту назначения мы прибыли в 1.30, на спидометре в это время значилось 37 705 км. Наименование груза: движимое имущество, вес: 40 ц. Количество рейсов: 1. Время убытия из Хорта: 3.00. Общее время в пути: 6.30. Внизу справа: Грузоотправитель, м. п., подпись. И здесь снова перед глазами размашистый, начинающийся с гигантской "D" умопомрачительный росчерк отца — не сдающийся скорпион, воздевающий хвост к собственной голове.

1. Tüz — по-венгерски — огонь, пожар.

134

Старик Шимон дожидался нас у ворот.

— Шимон? — спросил у него водитель.

— Он самый, — ответил крестьянин, во все глаза уставившись на отца. [173] ИЛ 10/2002

— Кулак Иштван Шимон? — уточнил милиционер, на сей раз с настоящими милиционерскими нотками в голосе.

— Называют и так, — пожал плечами старик, продолжая смотреть на отца. Тот спустился из высокой кабины, но не успел еще сделать ни одного движения (например, снять с сиденья меня или лучше того — посадить на плечи), как к нему подбежал дядя Пишта.

— Добро пожаловать, господин граф! — прокричал он и, ухватив отцову руку, звучно поцеловал ее. От изумления отец не сумел помешать ему. Старик же знай продолжал свое, он, мол, рад несказанно, и какая это для него честь (потом он с гордостью хвалился по деревне, самолучший столичный гость — самолучшему хозяину), и что в толк не возьмет, чем же он заслужил таковую милость, и что с барином столь знатным отродясь не здоровался, не встречался. Отца все это вконец смутило.

— Хорошо, хорошо, дядя Шимон! — сказал он, взяв старика за плечи, как будто пытался удержать на ногах пьяного, и негромко добавил: — Мы не одни.

В кухне, у плиты, стояла женщина, тетя Рози; она что-то жарила и, когда мы вошли, даже не обернулась.

— Ну что, приложился? — проворчала она про себя, но так, что нельзя было не расслышать. Вся процессия замерла на месте. — К ручке-то приложился?!

— Приложился, — сдавленно, в никуда, со злостью проговорил дядя Пишта, — так уж заведено!

— Ну и дурень! — И тетя Рози еще решительней отвернулась от нас. Она готовила нам поздний ужин: яичницу с луком, зеленым перцем и колбасой. Из яиц, желтки у которых — желтые.

Меня и двух дряхлых дам тотчас же уложили спать. Уже лежа в постели, прабабушка призвала отца.

— Ты все ловко устроил, внучек. Hort... das ist wirklich schön, einen richtigen Hort zu besitzen...[1] (Дело в том, что Хорт в переводе с немецкого означает: сокровище, а также приют, убежище.) Надежный приют! Хорошо, друг мой.

— Лучше некуда, — пробормотал отец, чувствуя, как усталость снова одолевает его. — Здесь, бабушка, все будет не на немецкий — здесь все-все будет на венгерский лад.

138

Хитроумный расчет диктатуры пролетариата на то, что депортация социально чуждого элемента побудит крестьян — в союзе с рабочим классом — еще пуще, и теперь уже в соответствии с предписаниями, ненавидеть своих вековых угнетателей и прогнивших насквозь господ, явно не оправдался.

1. Хорт... а все-таки это прекрасно — иметь надежный приют... (*нем.*)

Крестьяне, наоборот, прониклись к ним социально никак не дифференцированным чувством солидарности. ("Не угодно ль пройти ко второй скамье от исповедальни, там оставлено кой-чего на один *отче наш*". "Что, малец, столько кур отродясь, поди, не едал?") Ну а то досадное обстоятельство, что в собственном доме им приходилось спотыкаться о посторонних, крестьяне, во-первых, спокойно списывали на коммунистов, а во-вторых, почитали за честь.

Сообразно чему нам была предоставлена лучшая в доме комната, горница, хотя по бумагам положено было нас разместить в лепившейся к дому, практически не отапливаемой и загаженной курами сараюшке. При проверке сей факт был поставлен на вид хозяину.

— В тесноте — не в обиде, — сказал дядя Пишта, не глядя в глаза сельсоветчику.

— Как знаете, Шимон, — вскипел молодой активист, — только смотрите не пожалейте!

Наверное, не было фразы, которую эти люди могли бы произнести без угрозы. Подай соль. У меня болит голова. Отведи в детский сад ребенка. Сегодня казнили твоего дядю. Скорее это был знак последовательности, нежели злой натуры, ведь и впрямь угрожали они постоянно, независимо от того, что говорили, что думали, о чем врали. В этом вся диктатура: безотчетная угроза и безотчетный страх, у + с, угроза плюс страх — формула диктатуры; но не в том смысле, что одна половина страны угрожает другой или так называемая власть угрожает всем остальным, а в том, что все это непременно окутано душераздирающе жуткой неопределенностью, когда тот, кто угрожает, тоже боится, а запугиваемый — пугает, когда четко прописанные роли до крайности перепутаны, все угрожают, и все дрожат, но притом есть палач, и есть жертва, отличимые все-таки друг от друга.

Какое-то время на двадцатипятиметровых просторах горницы дяди Пишты нам приходилось ютиться всемером. Большое серое одеяло делило комнату надвое, и дальняя половина за одеялом была империей, (тридевятым) царством деда, принадлежавшим ему безраздельно. Все считали, что это в порядке вещей. Сам он тоже. Мамочка, по-моему, так не считала, однако помалкивала. Бунтовать против деда было бессмысленно. (Впрочем, что считать бунтом! Иные великие человеческие извержения, напротив, бессмысленно сдерживать.)

Никто из Шимонов (включая бунтующую тетю Рози) не смел рта перед ним раскрыть. Боялись слово молвить. Хотя тот, по своим, правда, меркам, стал стариком сердечным и милым; но, когда он заводил беседу с хозяевами, обычно по общепонятным и конкретным вопросам аграрного производства, те попросту обращались в бегство, стыдливо пряча от него лицо. Дед качал головой, не в силах уразуметь, в чем он допустил оплошность.

К матери все обращались по имени, не считая ее ни барыней, ни графиней, ни дамой (а уж ею-то она была несомненно!), но в первую очередь матерью. Напоминал о том восклицательно-голосистый знак — я, да и младший мой брат был уже в проекте, а может, и на подходе.

Отца называли господином доктором. Дядя Пишта непременно хотел величать его господином графом, но тот все же отговорил его. Старик подумал-подумал и с ухмылкой кивнул, будь по-вашему.

— Вы почему улыбаетесь, дядя Пишта?

— Просто так, господин *доктор*, — и при слове "доктор" подмигнул отцу.

— А я слыхал, будто смех без причины — не от большого ума. Или как, дядя Пишта?

— Верно, господин *доктор*, — и снова мигнул, — смех без причины — признак дурачины.

— Никак смешинка попала в глаз, дядя Пишта! — воскликнул отец. Они помолчали. — Так, стало быть, просто так, да не просто так? Иначе выходит... ну вы меня понимаете?!

Старик, прикрывая ладонью рот, захихикал:

— Понимаю... чего тут не понимать... хе-хе... господин... до-ох-тор...

Они разговаривали, словно бы опасаясь, что их подслушивают, дяде Пиште говорить намеками-экивоками доставляло явное удовольствие, отец тоже, пытаясь настроиться на некий мужицкий лад, видимо, ощущал себя в зачарованной атмосфере секейских[1] анекдотов — как понимают их и рассказывают пештские горожане. Старый кулак потешался над тем, как он ловко обвел вокруг пальца гэбэшников, ведь когда он говорил "господин доктор", то имел в виду "граф".

— Ну а раз вся деревня в курсе — вся деревня ведь величает вас доктором! — он опять подмигнул, — то выходит, что "доктор" на самом-то деле не "доктор", а "граф"! А ущучить — поди попробуй, ведь говорят-то все "доктор"!

С лингвистической точки зрения дядя Пишта был, несомненно, прав. Безупречный замысел, безупречное исполнение, никого не ущучишь. Но со временем народ, среди прочего, осознал, что ущучить можно кого угодно и возможность сия без употребления не останется. Посадили вскоре и дядю Пишту по пустячному ложному обвинению — заметим, впрочем, что диктатура нуждается не столько в ложных обвинениях — они ей нужны крайне редко, — сколько в ложных законах, исполнять которые невозможно, ну а уж контролировать их исполнение... тут простор открывается необъятный.

Дали ему год, и когда дядя Пишта вышел, то уже не смеялся, а плакал:

— Поглядите-ка, господин доктор, что со мной сотворили... — вытянул старик руки, показывая их отцу. Тот ничего особенного не заметил, руки как руки, крестьянские, крепкие. — Посмотрите, как побелели... Это ж надо, такой позор!

Целый год он сидел без дела, что сказалось и на руках, вот это, этот позор, он отцу и показывал. Зато у отца к тому времени руки стали, как у заправского работяги — заскорузлые, мощные, загорелые. В каждом пальце гнездилась такая сила, что на нем можно было качаться, как на качелях. Мы цеплялись за его указательный палец, еле обхватывая его ручонками, и отец нас качал.

В сентябре появился на свет мой братишка, да с такой пребольшой головищей, что люди ходили дивиться. А в декабре, на девяносто первом году, умерла прабабушка.

У прабабки была трость, увенчанная головой бегемота, из чистого серебра (которую, по преданиям, привез из Африки дядя Чарли, получивший ее в подарок, вкупе с хронической лихорадкой, от какого-то вице-короля), и, когда старуха стучала ею, полагалось бежать к ней и па-

1. Секеи — венгерская этническая группа в Трансильвании, отличающаяся своеобразным юмором.

дать ниц (или как уж там); восседала она на троноподобном высоком стуле. А еще нужно было целовать ей руку.

— Что ты щупаешь мою руку, не померла еще!

Дело кончилось тем, что прабабку хватил удар, она все понимала и помнила, но связь между мыслями и словами была утрачена. Она очень мучилась. Как-то раз за обедом, повернувшись ко мне, говорит:

— Подай соль! — Я протягиваю ей соль, на лице ее выступает испарина, дрожащие руки жестикулируют, в глазах слезы. — Да нет же, дай соль, дай соль! — повторяет она.

Содрогнувшись от страха и жалости, я беспомощно оглянулся на тетю Мию, которая опекала прабабушку. Тетя Мия, кусая губы, смотрела перед собой, остальные, не зная, как быть, протягивали старухе кто зубочистки, кто паприку, кто суповую тарелку.

— Да нет же, соль, соль!

Тут я грубо, по-идиотски вместо слез прыснул смехом.

— Mistvieh!.. — заорала на меня тетя Мия. — Schweinehund! Marsch hinaus![1]

Много дней я не смел никому посмотреть в глаза. А тетю Мию я просто ненавидел, потому что она была права. Траур и вообще все трагическое до сих пор возбуждают во мне скорей смех, чем слезы. Может, это какой атавизм? Может, родом я из такого племени, которое от радости плакало, а от боли смеялось? У меня никогда не бывает более развеселого и игривого настроения, чем в минуты, когда я несчастен.

После этого случая прабабушка больше не говорила, забыла и слово "соль". Когда к ее стулу подкрадывалась тень, она взвизгивала, и тогда кто-нибудь подвигал ее ближе к солнцу. Под вечер с веранды, выложенной кирпичом, ее переносили во двор, на траву. Об землю не постучишь, и она больше не стучала нам своей тростью. От этого, как мне представляется, и умерла. Оттого, что лишилась последней власти. Что будет с бедными чехами, что с короной? Не знаю. Может, Папочке достанутся. Хотя ему теперь некогда. Уходит чуть свет, возвращается без сил, усядется на веранде и сидит одиноко в вечернем сумраке, долго-долго сидит, и никто, даже дедушка, не смеет к нему подойти, разве только Мамочка. Он один, как король, угнетенный заботами о государстве, правда, выглядит он таким королем, который одновременно и собственный подданный, а от этого настроение у короля, понятное дело, портится. Но вот он внезапно вскакивает, куры, как напуганные царедворцы, бросаются врассыпную, горностаевая мантия подметает прохладный кирпич веранды, и король, еще не дойдя до постели, уже спит.

Случалось, он засыпал даже раньше меня. Отчего я испытывал чувство гордости.

143

— Не надо, господин доктор, только пуще испачкаетесь! — кричали отцу, когда он, приостановившись (а останавливаться на молотьбе нельзя!), пытался утереть лицо. — Пускай остается как есть, кочемазое!

Столичных переселенцев определили в особую бригаду — для слабосильных (плохая работа, плохая оплата, да и работали они плохо), но отца очень быстро перевели в нормальную бригаду, для своих. Работать

1. Дрянь!.. Скотина! Пошел вон! (*нем.*)

отец умел, хотя никогда этому не учился. Он умел адаптироваться. Точнее, адаптировалось его тело. Но не он сам.

Мой отец, подавальщик, стоит на верху молотилки, от снопов мириадами мелких жучков летит труха, гнется ладное, стройное тело молодого отца, гнется, как на ветру камыш, но не от ветра, от тяжести гнется, от тяжести непривычной работы; вот он распрямляется, разминает затекшую поясницу, на нем холщовые штаны и клетчатая фланелевая рубаха, коричневый берет, словом, одет как все (исключение составляет обувь, которой отец всегда уделял особенное внимание), и все-таки впечатление, будто отец мой — на капитанском мостике, пускай и не капитан, что было бы явным преувеличением, а только силуэт, изящный, неосязаемый раскачивающийся силуэт на громадном, дрожащем, пыхтящем, окутанном пылью, громыхающем корабле молотилки, элегантном океанском лайнере в море пшеницы, своего рода "Титанике", без устали пожирающем раскинувшееся под ним море. Работа уравнивала его с крестьянами, но эта непонятная, нездешняя стройность фигуры обрекала на одиночество.

Позднее ему пришлось заниматься едва ли не самой трудной работой — скирдованием, для которой мало было обычной выносливости, силы, отчаянной смелости, а требовался еще особенный дар, если не сказать талант: с огромным навесом пшеницы на вилах нужно было с разбегу подняться по лестнице на вершину скирды. И отец делал это так ловко, с поразительной легкостью, что окружающие только диву давались. Он же, посмеиваясь, взбегал на вершину скирды с таким видом, будто к этому только и готовился всю свою жизнь; в это время он как раз достиг христова возраста.

А еще была бахча. "Зардецкие полосатые" — так красиво назывались арбузы. Потом, уже в Будапеште, арбузы всегда выбирал отец, подолгу перебирая, постукивая их, он прослыл грозою зеленщиков! Бригады бахчевиков забирались порою в такую глушь, что жить приходилось в отрытых на месте землянках. Несколько раз мы их навещали; землянка мне очень нравилась — уж очень похожа была на игрушечный домик. Но, приближаясь к бахче, мы всегда дрожали, поскольку представления не имели, что нас ждет: пили там по-черному.

— Пали Надь — вот кто папеньку вашего с пути сбивает.

В 1954 году бахчу затопил разлившийся Дунай, и арбузы плавали по воде, как футбольные мячи.

145

Впервые Роберто назвал меня майореско[1] 5 марта 1953 года, что мне показалось понятным, поскольку тогда я вынужден был много времени проводить на хуторе Майор, поблизости от которого, между пригорком Андриша и пашней Келлера, находился участок, который испольно арендовали родители. Хутор лежал к северу от села в направлении Дёндёша, и там я подолгу вынужден был играть в одиночестве, меня привязывали довольно длинным шпагатом к дереву, что вовсе не означало безжалостного или бесчеловечного обращения, а было скорее практичным решением — но я, по принципу "лучше перегнуть, нежели недогнуть", пытался все же давить на совесть родителей и по вечерам, скорчив жа-

1. Майореско — искаженное испанское "mayorazgo", обозначавшее наследника майората.

лобную мордашку, гладил лодыжку, мол, распухла и очень болит, но все было напрасно, ибо к этому времени родители были настолько усталыми, что ни о давлении на них, ни об их угрызениях просто-напросто не могло быть и речи.

Майореско, от самого этого слова веяло силой. Неожиданной силой. Я впервые почувствовал, что слово может вмешаться в мир. Называя меня майореско, Роберто говорил со мною иначе, и как будто я сам становился иным: иное имя — значит, и человек иной. Товарищи по детским играм издевательски обзывали меня "графом", но неожиданностью для меня это не являлось. Поначалу мы даже защищались: "Сам ты граф, и мамаша твоя графиня!" — потому что нам было известно, что дедушка в самом деле граф, а в молодости графом был и Папочка, но впоследствии то ли ему самому надоело, то ли другим, но, короче, все кончилось; однако в мире детей это не имело значения, ни шансы мои, ни авторитет от этого не менялись, просто это было неким отличием, а между отличием и клеймом граница всегда весьма условная.

И все-таки многое, начиная от столового серебра и кончая кулинарными изысками Мамочки, подсказывало, что с семьей, к которой принадлежу и я, что-то не в порядке. Но чтобы имя мое было знаком, да к тому же еще зловещим — об этом мне долго не приходилось задумываться. Да, на лбу у нас красовалось клеймо, но мы не считали его зловещим, полагая, что таков порядок вещей, что у всякого человека должно быть клеймо и что каждого за что-то должны подвергать экзекуции — одного за то, что его зовут Ковачем, другого за то, что он, скажем, посещает уроки Закона Божьего. Несколько позже в нашем классе было четыре Ковача, и почему-то преподаватели находили удовольствие в том, чтобы сказать: а теперь послушаем, что ответит нам Ковач, и при этом дьявольски улыбались, тянули время, меж тем как бедняги Ковачи, включая самого умного из всех Ковачей, дрожали как осиновый лист.

147

По умению сидя набивать каштан ("набивать" на футбольном жаргоне — подбрасывать мяч ногой, не давая ему упасть) в нашей школе мне не было равных. Стоя — может быть. Но не сидя. Уж не знаю, откуда это взялось, но, казалось, даже берцовая кость у меня обладала чувством мяча: достаточно было выставить ногу, разумеется, оттянув носок, как та Лепешинская, и подбросить каштан — хоть очищенный, хоть в кожуре, — как он сам начинал подпрыгивать.

Играл я на ерунду — не на деньги, а на школьное молоко, на плюшки, какао — словом, на то, чего в данный момент хотелось (так, летом на балатонском пляже мы играли на овощное рагу). Выигрывал я не всегда, но — как правило. На большой перемене я сидел на скамейке у школьной ограды, поджидая клиентов; Хусар-младший исполнял при мне должность секретаря, которая требовала большого профессионализма и такта: ведь ему приходилось подыскивать или отбирать желающих, договариваться об условиях, что было делом щекотливым, особенно когда речь шла о старшеклассниках; словом, должность у него была ответственная, нужно было придерживаться согласованных принципов, а именно: на первом месте для нас — состязательность, а не выигрыш, но при том надо все же быть реалистами, не работать себе в убыток и прочее. Как паук, я сидел в ожидании жертвы.

Кстати сказать, коммерческую сторону этого безобразия желательно было не афишировать перед учителями. Хуси брал ее на себя, за что ему полагалось 40 процентов навара, что казалось мне долей вполне достаточной. Правда, поначалу из-за этих процентов у нас были с ним разногласия; я как-то не обратил внимания, что Хуси, во-первых, не понимал, что такое 40 процентов, а когда я ему объяснил — мол, четыре из десяти, на лице его выразилось изумление, граничащее с замешательством: почему *именно* четыре, и какое, хотелось бы знать, отношение четыре имеют к сорока; а во-вторых, ему хотелось делить все поровну. Но я не считал это справедливым, к чему побуждала меня отнюдь не алчность, а исключительно уважение к таланту; и потом, если разобраться, 40 процентов — и так почти половина.

Во избежание недоразумений скажу: Хуси-младший не состоял при мне в денщиках или лакеях, в наших отношениях ничто не напоминало отношения хозяина и слуги, мы были партнерами, каждый вносил в общее дело свои знания и умения, вся разница между нами состояла лишь в том, что я сидел, а он, по понятным причинам, стоял. А умей я хорошо набивать каштан стоя, то, понятное дело, я тоже стоял бы.

Итак, в начале шестидесятых, на большой перемене, я сидел как ни в чем не бывало у школьной ограды, представления не имея о насущных заботах Никиты Сергеевича Хрущева по поводу хлеба и братьев-китайцев, когда надо мной распростерлась густая и длинная, по-осеннему мягкая тень, отбрасываемая Хусаром-старшим; я смекнул, что забот сейчас прибавится у меня, хотя и не знал еще, по какому конкретно поводу.

Хусара-старшего в школе боялись все, включая учителей и Хуси-младшего. Я, понятное дело, тоже. Парень он был необузданный, дикий и кровожадный, темный, как подвал, но при том жутко изворотливый и непредсказуемый. Его трижды оставляли на второй год, и терять ему было нечего — совсем как моим родителям.

Короче, он был свободен, что в младших классах явление редкое. На подбородке у Хусара уже пробивалась растительность, он пил, прогуливал (без всяких справок!) — якобы разгружал на Южном вокзале уголь; родители их развелись, но жили под одной крышей, мать была беспробудной пьянчужкой (я знал ее, тетя Илике, сухая, как мумия, словно на голову ей натянули тесный чулок из коричневой кожи, всегда приветствовала меня неожиданно низким осиплым голосом и с какой-то странной, немотивированной любезностью, "день добрый, сынок", раскланиваясь при этом, как будто я не мальчишка, а взрослый), в общем, Хусару-старшему, когда было туго, приходилось зарабатывать на хлеб самому. Но в то время ясно было одно: что Хусар — большая скотина.

Кстати, за пятьдесят филлеров он мог съесть муху, за форинт позволял сфотографировать ее труп на кончике языка, а за пять форинтов и одно яблоко (старкинг!) откусывал голову живой мыши. При этом работал он не с материалом заказчика, а ловил мышей самолично.

Я трусил, но продолжал сидеть — большая перемена безраздельно принадлежала мне, каштану, который я набивал, да еще Хуси-младшему. Который, не очень-то испугавшись, стоял поодаль и, чего еще никогда не бывало в моем присутствии, набивал каштан. Интересненько. Лишь теперь я заметил, насколько они похожи. Разговор начал Хусар-старший, как будто он состоял при Хуси-младшем секретарем. В эту минуту мне тоже хотелось быть чьим-то секретарем, но, увы, это было невозможно.

Закавыка, как выяснилось, состояла не в пресловутых 40 процентах, а в том, из чего они образуются. Мол, чего это я не даю развернуться братишке, одергиваю его, не давая ходу его гениальным идеям — например, набивать каштан на пари, устраивая что-то вроде тотализатора, и тогда ставки могли бы разом взлететь до небес.

— До самой Большой Медведицы! До вечерней звезды! — добавил он угрожающе.

Мне было непонятно, что ему нужно. Какие такие ставки и чего они там забыли, на небесах?

— Идиот, — тоскливо вздохнул Хусар-старший, для которого я был фигурой слишком ничтожной, чтобы меня лупить. Но чего-то он все же от меня хотел. Я решительно покачал головой, не видя особых причин считать себя идиотом. Вот именно, что идиот, капитальный к тому же, раз швыряешь деньги на ветер. Способность к буквальному восприятию образных выражений я обнаружил в себе достаточно рано, и теперь был не в состоянии думать ни о чем, кроме этой картины: я стою у окна и пригоршнями швыряю купюры на ветер, хожу по домам, исполняя заказы по расшвыриванию купюр. Неплохое было б занятие. Род занятий: швыряльщик купюр.

Прочесть что-нибудь по лицу Хуси-младшего, а тем более что-нибудь обнадеживающее, было трудно. Но я все же сказал, обращаясь скорее к нему, чем к брату, да ведь это игра!

— Ты это... кокосами своими играй! — взорвался старший и, поймав на лету, как теннисный шарик, шипастый каштан, сжал его в кулаке. Я ойкнул. — Что значит игра?! — спросил он.

Не уверен, что он ждал ответа, но я ответил. Потому что об этом я думал много — об игре, о недоразумении, в результате которого игра слывет занятием несерьезным, неполноценным, *всего лишь* игрой, в то время как опыт меня убеждал в обратном. С некоторым преувеличением я мог бы сказать, что играл я всегда. Ведь я либо гонял в футбол, либо сидел за книжками. И тогда, как оно и положено, погружался в мир книги всем существом, хотя редко отождествлял себя с тем или иным персонажем, мне никогда не хотелось быть ни Герге Борнимиссой, ни Вицушкой из "Звезд Эгера", ни Бокой или же Немечеком из "Мальчишек с улицы Пал", ни Дэвидом Копперфилдом — материей, в которую я погружался, была не эпоха туретчины или Пешт рубежа веков, а сама книга, неведомое пространство, которое состояло из целого ряда вещей: во-первых, из книги как таковой, конкретной, со своим особенным шрифтом, бумагой, потрепанным или новеньким переплетом, с оттиснутым на обложке портретом автора (особенно важен был взгляд!), затем, разумеется, из того, о чем в книге повествовалось, — из дымящихся конских крупов, рассветных туманов, насупленных взглядов лиловосутанных католиков, льдов зимнего Балатона, трущоб Лондона, призрачных островов, затерявшихся в океане, ну и, конечно, из той ситуации, в которой читалась книга, а читать ее можно было и стоя в автобусе, и лежа больным в постели (черешневый компот и батончики "Спорт"!), поутру, до будильника, и вечером, перед сном, и на уроке под партой, одновременно переживая то, что происходит внутри и вовне, совмещая негодяя Феджина с нашей училкой Варади, — но нет: "совмещать" в данном случае слово неточное, уводящее нас от сути, потому что "внутри" и "вовне" сливались, их сливала игра, не важно, гонял ли я мяч, читал или предавался грезам (в разнообразных опасных перипетиях — лев, раз-

бойники, восьмиклассники — я, в сущности, всегда спасал одну и ту же девчонку, Эви Катона-Рац), словом, эти события помещались не где-то внутри реальности, четко отграниченным от нее островком, то внутри, то снаружи, — они сами и были реальностью, полноценной, безоговорочной, ибо, кроме реальности, ничего нет.

По этой причине — из чистого, так сказать, эгоизма — к игре я относился серьезно. Я знал, разумеется, что проигранный матч — еще не конец света, но во время игры утешать себя тем, что это все понарошку, что после свистка мы забудем, что было на поле, ведь нужно будет делать уроки, ужинать, — подобное отношение мне представлялось смешным, да и просто немыслимым. Следовательно, воображение, констатировал я, вещь сугубо серьезная.

Кое-чем из этих своих наблюдений я поделился с Хусарами. В том смысле, что когда я сижу у стены, набивая каштан, я — всего лишь тот человек, который сидит у стены и набивает каштан, и только! — вам понятно?! — и только, ну а прочее — выигрыш, барыши, — по сравнению с этим дело второстепенное, производное и неинтересное, а главное — это игра, игра — это *всё*, и помимо *всего* в мире нет *ничего*.

— Увы и ах! — рассмеялся я им в лицо.

Хусар-младший хранил молчание. У старшего по лицу змеилась болезненная ухмылка, как будто мои слова причиняли ему физические страдания. От этой боли он походил теперь на ребенка. Я вскочил. Оба брата отпрянули. Младший быстро заговорил — он был парень неглупый, я знал.

— Что увы-то, что ах, — затараторил он. Да именно в том и дело, что я сижу у стены, а он не сидит, что я набиваю каштан, а он этого не умеет, но ему нисколечко не обидно, и он вовсе не хочет сказать, что было бы лучше сидеть, чем стоять, сидеть у стены и делать мою работу, чем стоять и делать свою, но в том-то и дело, да, да! дело в том, что ежели все это называть игрой, то он должен категорически заявить — волнуясь, Хуси-младший, как и брат его, говорил оборотами взрослых, — что каждый из нас играет в свою игру, и в его игре *всё* — не есть то же самое *всё*, что в моей; оно верно, помимо *всего* в мире нет *ничего*, да только то, что выходит за грань *моего* всего, то есть не существует, очень запросто может существовать *для него*, и, стало быть, сей вопрос требует пристального внимания, или, пользуясь моим выражением (этот хмырь еще издевается, подумал я, ощутив, что сейчас я сильней их обоих вместе и каждого по отдельности), есть дело сугубо серьезное.

Старший брат при слове "игра" всякий раз содрогался, как от удара. Но Хуси был прав, и это меня смущало: между *всё* и *ничто* была пропасть, изнутри одного невозможно увидеть другое. Как же быть?

Хусар-старший давно уже собирался что-то изречь, напрягаясь, приоткрывая и вновь закрывая рот, и вот выплюнул наконец с хриплой яростью, добела раскаленной бессилием:

— Зато вы предатели, лабанцы!

Я знал, что это не так, потому что мой дядя Плюх снимался в "Поручике Ракоци"; он скакал там на лошади вместо поручика князя Ракоци, которого играл Тибор Бичкеи, и понятно ведь, что дублировать патриота-куруца может тот, кто и сам патриот. Но что значит "вы"?

— Да вся ваша семейка! Не отвертитесь! Мы по истории проходили, что вы угнетали народ! Ты и сам проходил.

— Это кто угнетал? — разъярился я, хоть и чувствовал некоторую неуверенность, так как дома у нас разговоров об этом не было и я опасался: вдруг и впрямь угнетали? А с другой стороны, с какой стати?..

— Кто, кто... — старший, кажется, был и сам не уверен. — Ну вы, а то кто же!

— Кто? Я, что ли?! — Он молчал, что придало мне храбрости. — Или, может, моя сестренка, которая еще в садик ходит? Это мы угнетали народ?

В перепалку спокойно и как-то опять по-взрослому вмешался Хуси.

— Да не сестренка, речь не о ней. А отец твой. А также его отец и отец отца твоего отца!

— А вы сами? Отец твоего отца тоже мог угнетать!

— У нас этого нет, — разом сказали братья.

— Как так? Семья есть у каждого!

— У нас — нет. Только мы да родители, и те разведенные.

— Так и у нас то же самое: я, братишки мои, сестра и родители. Они, правда, не в разводе. Но все же ругаются иногда.

В поведении братьев вдруг появилась уверенность, как будто (по ходу дела и незаметным образом) обстоятельства повернулись в их пользу.

— Да нет, все не так! Вы ведь — это не только вы, сегодняшние, но все вместе, со всеми князьями и прочими! — Хусар-старший вдруг прыснул: — Вот это, старик, и есть то, что ты называешь "всё".

— А вы тогда кто такие?

— Мы никто, — сказал Хусар-младший.

— Мы куруцы, — сказал Хусар-старший.

— С какой стати вы куруцы?

— А с такой, что мы бедные.

— Ну а мы что, не бедные?

На это никто — ни они, ни я — не мог ничего сказать. Взяв у Хусара покалеченный им каштан, я отошел к забору и сел на скамью.

161

В нашей матушке таились неиссякаемые запасы усталости и столь же неиссякаемые запасы неутомимости. В ней ключом била неожиданная энергия. Быть матерью четверых детей — сил для этого требовалось всегда чуть больше, чем было. А когда их появлялось чуть больше, то требовалось еще чуть больше. Но делать из этого какие-то заключения относительно веры или отчаяния вряд ли возможно.

Силы матери охватывали безграничный спектр, в ней было все: и девичья непредсказуемость, и смешливая легкость, и молчаливая выдержка, и игривость, и дисциплина, и надежность тяглового скота. Лишь позднее нам было дано убедиться, что бесконечные ее силы все же не бесконечны.

Вечерние представления матери не предварялись какой-то особенной подготовкой, собственно говоря, даже предыдущее представление не предваряло последующее, все всегда было в первый раз, было премьерой, чем-то нежданным, поразительным и загадочным, но при этом естественным, как естественно чудо, закономерным, однако же не следующим ни из чего, и меньше всего — из конкретного, только что прожитого нами дня.

Причиной их была сама мать, ну а мать — понятное дело! — причин не имела.

Она ни к чему не готовилась, не агитировала, не убеждала, не занималась организацией — массовик на каком-нибудь предприятии из нее получился бы аховый, — а просто, когда наступало время, ставила нас в известность. По очереди обходила всех, подкрадывалась и, что-то шепча на ушко, сперва приглашала хозяев, дядю Пишту и тетю Рози, Анну и Пишту-маленького, потом собиралась с духом и подходила к свекру (с ним она не шепталась, а, кивнув, говорила тихонько: "Прошу, папа..."), а затем уже следовали тетя Мия, прабабка, пока она еще не слегла, и мы, детвора.

Папочке она тоже что-то шептала, но, похоже, не совсем то, что другим; сияющее лицо мужчины в начале пятидесятых годов!

Так же, шепотом, мама просила нас прихватить с собой стулья, скамеечки, табуретки, подушки, циновки, троны и садиться, куда она скажет. Никому и в голову не приходило нарушить ее указания, дом подчинялся ей молча, даже дед, хотя и без признаков воодушевления на лице, раскуривал трубку и со стоическим доброжелательством отстраненно следил за происходящим.

По дому, как позднее, в шестидесятые, когда собирались смотреть телевизор, начиналось волнующее перемещение стульев и прочих сидений. Когда публика наконец рассаживалась и после непродолжительного гомона наступала благоговейная тишина, Мамочка начинала свое представление. Это могло быть чтение или кукольный спектакль. Если чтение, то и тут в одной руке ее была кукла, которая и "читала". Что читали, я помню лишь приблизительно. Диккенс, Конрад. "Маленький принц". Представления проходили всегда в разных местах — то у нас, то на кухне, а то и в конце двора (неподалеку от навозной кучи). Если дело происходило на нашей половине, то ширмой для кукольного представления служило серое одеяло, отделявшее "владения" деда. Но чаще всего использовался "тюремный коврик" дяди Пишты. Камера, где он сидел, была длиною 2 метра 70 сантиметров, и старик часами прогуливался взад-вперед по проходу. Все тело его, ноги, сердце настолько привыкли к этой дистанции, что, когда его выпустили, он купил себе коврик точно такой длины (по мнению матери, не самый ужасный) и по вечерам перед сном полчаса прогуливался по нему взад-вперед. Тетя Рози рыдала в голос.

Представления длились не более получаса, а в конце все смеялись, как дети, включая и нас, детей.

162

Вечер еще не настал, но было уже темно в эти проникнутые густой синью часы на пятый день марта 1953 года; публика угомонилась, старухи Шварценберг с нами уже не было, но я все так же боялся ее. Или уже не боялся? Если не знаю, боялся ли, значит, боялся. Сумерки наступили раньше обычного, небо покрыли набухшие снегом тяжелые облака, и над селом повисло какое-то странное марево, как на сцене, когда осветители с помощью хитроумных трюков создают эффект темноты.

Мы ждали снега. Мамочка на этот раз устроила так, что сценой было окно. Она молчала, неподвижно уставясь во мрак, и только когда неожиданно — хотя именно этого все и ждали — за окном вдруг хлопьями

повалил снег, она скромно, с притворной скромностью постановщика, довольного игрой актеров, склонила голову. Снег падал наискосок, ближе к нам — в одну сторону, а поодаль — в другую, образуя не то ромбы, не то тетраэдры и придавая пространству дополнительное (третье) измерение. Снежинки таяли у нас на глазах.

Мы были довольны этим прекрасным, своеобразным, непостижимым спектаклем матери — снежной бурей.

Роберто был мастером неожиданных появлений, то был не человек, а сам праздник, и стоило ему только ввалиться, как сразу же наступало воскресенье. Родители любили его; не знаю даже, кто больше, отец или мать. Мать при нем молодела, они хохотали, как дети, и чем-то смахивали на брата с сестрой. Отец же смотрел на друга скорее по-стариковски, с любованием и радостью. Они никогда не разговаривали на людях, а шептались о чем-то, уединившись подальше от посторонних глаз. На сей раз он ввалился — точнее сказать, ворвался — вместе со снежной бурей и, словно тормозя, ухватился за дверной косяк. Окинув взглядом присутствующих, он неожиданно тихо и коротко бросил:

— По местам.

Роберто был пьян. Хозяева удалились в мгновение ока. Снегопад перестал, представление мамы закончилось; на сей раз никто не смеялся.

— Прошу прощения, дядя Мориц, — кивнул Роберто в сторону дедушки, который терпеть не мог пьяных и тут же скрылся в своих "апартаментах" за одеялом. Родители смотрели на друга с большим изумлением. Роберто же плюхнулся в дедово кресло и, будто очнувшись, вдруг стал успокаивать нас, в особенности же почему-то меня, майореско: как изволю, мол, жить-поживать и задумывался ли я о собственном будущем, а оно ведь вполне может повернуться к лучшему в связи с изменением политической констелляции? Теперь наступают мои времена. Времена майореско!

Из чего я сделал вывод, что отныне на хуторе мне придется торчать еще больше, отползая не дальше, чем позволяет привязанная к моей ноге бечевка. Вот почему известие о смерти Сталина я встретил без особого энтузиазма. Да я и не знал, кто такой этот Сталин.

— Закрыл шельма бельма, — осклабился Роберто и картинно смежил глаза, перед этим шепнув мне, подмигивая: — Непереводимая игра слов.

— Царствие ему небесное, великий был негодяй, — кивнула мать. Но возбуждение Роберто все же было им непонятно. Они не слушали ежедневно "Свободной Европы" и не ждали американцев, а ждали вечера (ежедневно). Они были с головой в заботах и тяжких трудах, откуда Сталина было не видать.

— Поймите же, диктатура только тираном и держится! — возбужденно жестикулировал Роберто.

— Ну что же, — усмехнулся отец, — доброму делу я не противник.

163

Самым азартным игроком в "Mensch ärgere dich nicht"[1] была тетя Мия. Она никогда никому не прощала, а уничтожала чужие фишки с агрессивной, какой-то языческой радостью; при этом она сначала покачивала

1. "Не расстраивайся, дружище" (*нем.*) — популярная настольная игра.

свою фишку над фишкой противника, как бы еще раздумывая, как бы давая надежду (а ребенок, он только надеждами и живет!), после чего резким взмахом, как встряхивают колокольчик, безжалостно сбрасывала фишку с поля, как сбрасывает с помоста палач обезглавленную жертву, и торжествующе поворачивалась к проигравшему. Она почему-то всегда выигрывала, сопровождая финал словами:

— Mensch ärgere dich nicht. — И еще добавляла: — Ärgere, с умляутом. — Мой младший братишка не раз ударялся в слезы; уж слишком много было умляутов.

Роберто передвигал фишки, бросал кость, делал, казалось бы, беспорядочные ходы, но всякий раз получалось, что вылетала красная фишка.

— Ну-ка, где у нас красные? Вот они! А ну, пошли вон! — И красные фишки слетали с доски одна за другой. — Вот вам! Пшли прочь! Надоели нам красные!

Мать с отцом наблюдали за этим со смехом.

— Мы тоже хотим!

И, включившись в игру, тоже принялись молотить красных. Этот "Mensch" по-венгерски называется "Кто будет смеяться последним?" В связи с чем отец пустился в рассуждения, почему у немцев эта игра называется так, а у венгров иначе. Запад, извечный победитель, может позволить себе смотреть на ситуацию глазами проигравшего, с беззлобным великодушием утешая его, проигравшего: не расстраивайся, мол, старина, ärgere dich nicht, это только игра, и вообще, счастье непостоянно, нынче ты проиграл, а завтра, может, и выиграешь. На первый взгляд, вопрос, заключенный в венгерском названии, как будто не совсем ясен. Как будто это всего лишь невинное любопытство, попытка прикинуть: кто будет радоваться в финале? Но это не так! Вопрос этот — типичный вопрос проигравших, ибо лишь проигравший связывает все надежды с будущим — что было, то было, что есть, то есть, но когда-нибудь я посмеюсь над вами, посмеюсь от души, потому что по-настоящему смеется тот, кто смеется последним.

— Что-то, Матика, вы нынче разговорились, — с грустью сказала Мамочка. А Роберто расхохотался.

— Вот именно, старина! — вскричал он. — Ты прав! Кто будет смеяться последним? — Он с презрением отшвырнул от себя красные фишки. — Я! Мы! Последними будем смеяться мы, а не эта гнусная банда!

Отец по (дурному) обыкновению своему задумался.

— А что, разве все уже кончилось?

164

Через два с половиной года, в октябре 56-го, кое-что в самом деле кончилось, но смеяться особенно никто не смеялся (точнее, в конечном счете посмеялись "они"); красные фишки действительно слетали с доски, как это нам демонстрировал когда-то Роберто. Мы в то время — уже и еще — жили в Чобанке; место жительства спецпоселенцы могли уже выбирать свободно (отмененное когда-то, еще в XIX веке, крепостное право, было снова отменено), но исключением был Будапешт, поскольку в столице требовалась прописка, и проблема состояла как раз в том, что спецпоселенцев оттуда в свое время выселили, так что, не будь этой мелкой проблемы, то и не было бы никаких проблем.

Когда в мае 1954 года мы впервые ступили в полуподвальное, вечно темное помещение в Чобанке, где вдоль стен приходилось расставлять тазы, которые к вечеру наполнялись водой, — об этом я думал впоследствии с особой гордостью, *полный* таз был мерой страдания и нужды, — в дверях нас ждала Мамочка; вцепившись с обеих сторон в отца, мы замерли на пороге, ошарашенно глядя в комнату, заполненную сказочными игрушками: посередине восседал говорящий (облезлый слегка!) медвежонок, рядом лежал настоящий резиновый мячик в горошек, а кроме того — он оказался потом самой лучшей игрушкой — поезд, леской связанный из пустых (желтых, датских) баночек из-под сардин; его можно было возить по опилкам и по песку, в результате чего возникали рельсы, которых затем уже приходилось придерживаться (свобода и несвобода: невероятное ощущение!).

При виде подобной роскоши, а также торжественных лиц родителей, мы решили, что пришло Рождество. Правда, было тепло, но нас это не смущало, нас смущало отсутствие елки. А где елка? — раздраженно оглядывались мы по сторонам. Мать как раз закончила стирку и развешивала белье на ели, как раз напротив окна: цветные рубашки, трусики, красные, синие, желтые, белые маечки.

— Да вот же она! — показала она на ель.

Мы с братишкой переглянулись. Слово взял я.

— В таком случае, Мамочка, передайте, пожалуйста... Боженьке, что он мог бы поставить елку в комнате, как положено!

Но ведь она такая большая, красивая.

Это верно, но Боженька все равно мог бы *продумать* этот вопрос заранее.

Но ведь у нас еще никогда не было такой огромной елки.

Это верно, но все же нам непонятна подобная *безответственность* Боженьки.

Тут отец хрястнул кулаком по столу, на котором еще долго-долго дребезжали приборы. Ему было тридцать пять; свой путь земной пройдя до половины, он оказался в сумрачном, беспросветном лесу.

170

Деревня участвовала в революции с настороженностью и опаской, зато, когда дело дошло до репрессий, получила свое сполна — так, будто события, ожидаемые ею со страхом, она приняла ликуя, размахивая знаменами с вырезанными гербами. Возможно, конечно, что волнения были и здесь, только мы их не замечали. В датированной 9 февраля 1959 года автобиографии моего отца записано: "Относительно моего поведения в период контрреволюции компетентные органы неоднократно меня допрашивали и каких-либо нареканий не высказали". Не высказали нареканий. Неоднократно. Вашу мать!..

Родители все эти дни провели дома, мать то и дело всхлипывала, не понимая, где она и что вокруг происходит, отец не отходил от радиоприемника. Однажды заехали дядя Вадас с приятелем и, на ходу сказав матери какие-то ободряющие слова, стали с жаром, взволнованно уговаривать отца ехать с ними, бороться за перемены в судьбе страны, которая — в смысле судьба — в это время как раз решалась.

Видно было, что у отца ответ был готов заранее; нет уж, кому-кому, а ему в это дело вмешиваться нельзя, ни при каких обстоятельствах; но не

потому, что он не согласен — с революцией этой он согласен на сто процентов и считает ее своей, а самое замечательное, самое сенсационное в этой революции — что восстали именно те, от чьего имени в последние годы творились все эти ужасы, что восстал народ; он, разумеется, хотя его и не спрашивали, воленс-ноленс стал тоже народом, принадлежит к народу и отныне будет принадлежать всегда, он, если угодно, теперь сын народа (вот дедушка, например, так и не стал народом, и не стал бы, даже если бы захотел, но он этого и не хотел), но даже если б отец, пользуясь своим новым статусом, пожелал участвовать в народной революции, то тут же опять превратился бы в графа, в магната, в представителя свергнутого господствующего класса и бросил бы тень на это святое дело; кардиналу Миндсенти сейчас бы тоже лучше всего молиться за революцию, сосредоточившись не на земных, а на небесных делах.

Дядя Шани и его приятель — с явным нетерпением — выслушали рассуждения отца и, крепко, по-мужски обняв отца с матерью, умчались на своем мотоцикле. Что с ними стало? Бог весть.

Кстати, у нашего дома тоже как-то остановился пресловутый автомобиль с красным крестом. На водителя, предлагавшего подбросить нас до границы, отец даже не взглянул, а молча отослал его. И только потом произнес ту фразу, которую впоследствии, когда мы, играя в футбол, ошибались при передаче, он орал нам: "Куда? Кому? Зачем?" Но в тот раз, в хмурый рассветный час одного из ноябрьских дней, он сказал ее совсем тихо и немного иначе:

— Куда. К кому. Зачем.

171

Но кое-что этой осенью в деревне все же произошло: ни с того ни с сего в школе изменилась система оценок, и самой лучшей оценкой, то есть пятеркой, стала единица, как это было в довоенные времена. На доске учительница написала: 1 — отлично, 2 — хорошо, 3 — удовлетворительно (интересно, что эта оценка не изменилась, везет же середнякам, у них всегда — удовлетворительно!), 4 — слабо удовлетворительно, 5 — неудовлетворительно.

Но все равно, над тем, что пятерка есть "неуд", мы могли только ржать. Надо мной тоже ржали: пятерочник-позорочник, ха-ха-ха! И тыкали в меня пальцами, хотя я к тому времени уже не менее двух минут был не пятерочником, а как минимум двоечником, и, чтобы понять это, достаточно было взглянуть на доску, но одноклассники, хотя и глядели на доску, нововведение принимали в штыки и были правы, потому что нельзя же с бухты-барахты вот так менять слова. К словам нужно привыкать.

Учеником я и в самом деле был жутко прилежным, выполнял все задания в полной уверенности, что для того школа и существует; серьезно учиться я начал уже в начальной школе, что, вообще-то, не принято и за что мои братья меня даже презирали, считая это неким признаком недоразвитости, хотя умней и сообразительней меня, пожалуй, была лишь сестренка, выбившаяся в отличницы, не занимаясь вообще, на что я, видимо, был не способен и даже не пытался, ибо мне никогда не приходило в голову не сделать на совесть то, что было задано в школе.

В результате описанных здесь страстей и наивных воззрений я частенько получал пятерки, так было и в первые дни после разразившейся

23 октября революции, то есть тогда еще были "пятерочные" пятерки, а когда пятерку заменили на единицу, то удобства ради о пятерках этих забыли, не стали менять их на единицы, иными словами, можно было считать, что я их не получал. И вот в воскресенье, 4 ноября, с помощью тети Клотильды я весь вечер пытался исправить эту несправедливость. Мы жили у них на квартире; что касается дяди Варги, то про него я помню только, что он был бригадиром гвоздильщиков, но что это значит, до сих пор не имею понятия. Тетя Клотильда была ровесницей Мамочки, но выглядела старушенцией, зубов у нее не хватало, а носить протез она почему-то стеснялась, из-за этого шепелявила и лишний раз боялась открыть рот. Словом, я обратился за помощью к ней, потому что просить Мамочку было бессмысленно, она целыми днями молчала, без слов ставила перед нами еду и в одежде ложилась в постель. Утешать ее тоже было невозможно, да мы и не смели. Иногда к ней подсаживался Папочка, но он тоже все больше молчал.

У нас в школе было заведено, что ученик, получивший подряд три пятерки, получал "большую" пятерку — картонку, на которой наша учительница с помощью некой волшебной пурпурной краски изображала заветную цифру "пять". Вот я и решил, что для восстановления мировой справедливости взамен "пропавших" моих пятерок нарисовать, изготовить с чьей-либо помощью картонную единицу. Тете Клотильде я объяснил, что картонку я просто-напросто потерял. Она развела восхитительную пурпурную краску. А когда дело было сделано, погладила меня по вихрам и ласково произнесла название одного небезызвестного детского рассказа Ференца Моры:

— Петер-лгунишка.

Творение наших рук я должен был отнести в школу на следующий день, в свете известных исторических фактов не совсем, так сказать, *a tempo*[1]. Мое счастье, что пурпурная единица-пятерка до школы в тот день так и не добралась, потому как если бы добралась, то превратилась бы вновь в самый заурядный "кол", несмотря на свою пурпурность.

172

На рассвете нас разбудил дикий стук.

Папочка зимой встает в шесть утра, чтобы растопить две печки (кокс и брикетный уголь), и мы в полудреме видим, как он без пальто, подняв воротник пижамы, будто на дворе буйствует легкомысленная весна, надвинув на брови барашковую шапку и беспрерывно пыхая сигаретой, летает по комнате. (Кстати, у нас с братишкой тоже были барашковые шапки, у братишки — мягкая и пушистая, которая ему нравилась, моя же на ощупь была неприятная, и я ее не любил, голова от нее все время чесалась.)

— Спите, собаки, — рычит отец, обнаружив шевеление под одеялом.

Растопку он никогда не готовит загодя, оставляя это на утро. А дело меж тем непростое. Одной рукой держа топор у самого лезвия, он, будто перочинным ножом, обстругивает полено. Все равно что грубой малярной кистью выписывать тонкую акварель. Через какое-то время полено теряет устойчивость, и тогда твой любимый, умелый, всезнающий,

1. Своевременно (*итал.*).

ловкий Папочка, уравновесив полено левой, отпускает его и в этот длящийся целую вечность момент, оп-ля, наносит легкий, но полный решимости удар, вся сила которого сосредоточена в запястье. Потом, оставив в покое вечность, он либо придерживает полено указательным пальцем левой руки и строгает лучину с еще более близкого расстояния, либо обхватывает полено левой рукой около основания и откалывает щепу размашистыми ударами, следя лишь за тем, чтобы лезвие не скользнуло до самого низа, до его руки.

Мамочка просыпается в половине седьмого (летом — в шесть), все остальные — в семь, в теплой комнате, к завтраку. Когда я буду большим, то, наверное, тоже буду готовить растопку, пока остальные дрыхнут, пока все сопят и не ведают — и ведать не будут до того, как проснутся, — что я заготавливаю тепло. (Через несколько лет на дровяных базах стали продавать фабричную растопку, а затем появился газ. И по утрам тепло уже *есть*.)

Нашу дверь, казалось, пытались размолотить топором.

— Открывайте! Открывайте, вам говорят!

Казалось, какие-то падшие ангелы-великаны собрались изготовить из нас растопку. Папочка в пижаме направляется к двери, волосы у него, как всегда по утрам, торчат во всех мыслимых направлениях, но мы его видим таким только по воскресеньям, сегодня же понедельник ("папашка-растрепашка", — смеялись мы над ним впоследствии; "но-но", — бурчал он, тоже впоследствии, нам в ответ), по бокам волосы дыбятся кверху, как два крыла, сзади — полный хаос, примятый подушкой стог сена, а спереди, что самое невероятное, волосы спадают на лоб, будто зачесанные под "я у мамы дурачок" или римского императора. Заметив, что мы за ним наблюдаем, он останавливается.

— Открывайте, или взломаем дверь!

— Не бойтесь, собаки!

— Мы не боимся, папа! — хором кричим мы, видя в этот момент только его, смешного, потешного, заспанного императора в болтающейся пижаме, он заслоняет собой весь мир — так что бояться нам нечего. Мы взираем на него боевито и ободряюще — раз уж мы ничего не боимся, то он тоже пускай не трусит! И тут, несмотря на все нарастающий грохот, отец поворачивается и подходит к нам (пожалуй, никто на свете, включая и Мамочку, не отважился бы на такое, не нашел бы для этого времени, а давно уже кинулся бы к дверям), он гладит нас — меня по щеке, братишку по волосам — и, неожиданно рассмеявшись, бросает:

— Что, не боитесь?! Ну, это вы загибаете.

Солдаты захватывают наш дом, как в кино. Наверно, их специально учили, как нужно овладевать особо опасными спальнями и детскими комнатами, они ловко и грамотно прыгают по квартире, распластываются по стене, прикрывая идущих вперед. На меня и братишку, следящих за операцией с вытаращенными глазами, она производит неизгладимое впечатление, и, когда им без крови и трупов удается в считанные секунды захватить квартиру и подавить противника, мы с братом награждаем их бурными аплодисментами, за что получаем по голове от Мамочки.

— Ну-ка, цыц! — шипит она, нервно запахивая на себе халат.

Отец застыл у двери, таким мы его никогда не видели, он бледен, лицо осунулось и осыпает с себя черты, как будто они не его, а чужие, взятые напрокат. Подобное — королевское — лицо бывало у него в Хорте, когда после работы он сидел вечером на веранде, но теперь оно было еще более мрачное, почти черное. Однако когда он после вторжения

выглядывает за дверь, то физиономия у него, можно сказать, веселая, а если и перепуганная, то испуг этот — из веселой комедии.

Вслед за солдатами, словно отбившийся от своих, в дом проникает какой-то гражданский тип, молодой очкастый блондин, вроде учителя, только более вежливый. Действие по-прежнему напоминает комедию: он деликатно постукивает по плечу отца, который все еще выглядывает за дверь, и поясняет:

— Дом окружен, — как будто Папочка хочет выяснить именно это или ищет пути к отступлению. Отец распрямляется.

— Молодцы, так держать, — кивает он. Эту фразу, концовку какого-то анекдота, мы слышали от него много раз.

— Осторожнее, Матика, — шепчет Мамочка, но это признание в любви доносится только до нас, Папочка не слышит его (и вообще, никаких признаний в любви мы ни раньше, ни позже, никогда от них не слыхали).

Молодой человек с изумлением, потом с жалостью окидывает взглядом отца и тихо, совсем не официальным тоном говорит:

— Вы не бойтесь, советские товарищи проверяют подряд все дома. Они ищут в селе контрреволюционеров.

— Правильно, так держать, — снова кивает отец.

— Chto, chto? — вскидывает голову один из русских. По всей видимости, он старший, хотя все они молоды и отличить друг от друга их невозможно, но все же понятно, кто из них командир. До сих пор мы разглядывали в основном их форму, оружие, а не лица.

— Это китайцы, Мамочка! — с удивлением вдруг восклицает мой братец.

— Chto, chto? — обращается к нам командир.

Мать трясет головой, трясет так отчаянно, что того и гляди, голова отвалится, ничего, дескать, ничего, никто ничего не сказал, никто ни о чем не подумал, нас здесь нет, нас вообще нет на свете, так что извольте спокойно заниматься делом, обыскивать помещение, мы не будем на вас смотреть.

Нам тоже приходится выбраться из постели, и мы, как на физкультуре, выстраиваемся в шеренгу вместе с родителями. Младший братишка мой не боится, но я все же говорю ему: не бойся, на дому казни не устраивают.

— Chto, chto?

Эти слова я уже понимаю и говорю командиру, что сказал братишке — вот это мой младший брат, — чтобы он не боялся, потому что домашняя казнь — такого понятия нету, есть только домашний арест. И поворачиваюсь к очкарику, дескать, переведи. Тот неожиданно повинуется, переводит мои слова. Командир смеется, потом, уже серьезным тоном, что-то спрашивает.

— Есть ли в доме оружие? — переводит мой переводчик.

— Нет, — не задумываясь отвечает отец.

— Есть, — не задумываясь отвечает мой брат.

Его ответ странным образом перевода не требует, всем все ясно, и солдаты, не дожидаясь приказа, направляют на нас автоматы. Я недоумеваю: неужто домашняя казнь все-таки существует? И расстрельную команду можно выставить где угодно? Солдаты явно перепугались братишки. Спокоен теперь только наш отец, точнее, судя по желвакам на его лице, он в бешенстве.

— Idi siuda, — с серьезным видом говорит командир.

Слова эти вызывают у Мамочки содрогание, она прижимает нас к себе, и теперь мы боимся все трое.

— Не извольте беспокоиться, сударыня, это рядовая проверка, так что никаких проблем, — говорит переводчик. Он лжет. Ему тоже страшно. Значит, порядочный человек.

— Idi siuda, — повторяет китаец.

— Нет! Он никуда не пойдет! — визжит Мамочка прямо мне в ухо. И обнимает нас с братом.

— Хоть автоматы-то опустите, — тихо замечает отец, отчего атмосфера вдруг накаляется. Он и нам всегда говорил: хотите играть с ружьем — играйте, но только не наставляйте его друг на друга.

— Нельзя направлять оружие на человека! — это звучало как правило этикета. Вечером принято чистить зубы, днем не принято направлять на человека ружье.

— А если на родину нападут басурмане или еще какие-то нелюди? — в лоб спрашивала отца сестренка.

— Ну, это другое дело, — недовольно отвечал отец.

Мой младший братишка, которого хлебом не корми — дай повыпендриваться, освобождается из отчаянных объятий матери и направляется к шкафу, сестренка, вечная бунтовщица, разражается торжествующим воплем, командир делает знак рукой, и один из китайцев как-то странно, на цыпочках, следует за крадущимся к шкафу братишкой. Брат останавливается.

— Здесь!

— Кто здесь? — испуганно вскрикивает очкарик.

— Цыц! — орет вдруг китаец, он, похоже, уже освоил это словечко на нашем родном языке.

Братишка мой оборачивается, и я замечаю в глазах бедняжки неподдельный ужас; он быстро наклоняется, солдат ныряет за ним и извлекает на свет из-под шкафа *мое* пробочное ружье. Мое. Вот гаденыш. В этот момент солдат закатывает брату пощечину, точнее, дает легкую оплеуху, ничего особенного. Но командир реагирует весьма строго, рявкая на солдата, а переводчик облегченно вздыхает и чуть ли не благодушно обращается к отцу:

— Русские товарищи обожают детей.

— Молодцы, — кивает отец, и я с радостью вижу, что относительно моего младшего братца он явно придерживается другого мнения.

— Chto, chto?

— Deti, deti!

— Da, da.

Солдаты обыскивают дом, потом сад (потом всю страну). На всякий случай одного из китайцев оставляют на кухне. Мать дает нам поесть, отец от еды отказывается и, сжимая в руках чайную чашку в горошек, стоит у стены. Желваки на скулах ходят ходуном. Он стоит, как какой-нибудь младший школьник из группы продленного дня. Мамочка протягивает солдату кусок хлеба с маслом.

— Voulez vous[1] немного хлеба?

Жест любезности, и — горький, сдавленный голос. Отец, как ужаленный, резко поворачивается к матери.

1. Не угодно ли? (*франц.*)

— Вы что, еще и кормить его собираетесь? Его?

Китаец все понимает. Похоже, они овладевают венгерским не по дням, а по часам.

— Но ведь он голоден, — тем же мрачным и горьким тоном отвечает Мамочка.

В этот момент снаружи доносится автоматная очередь. Наш голодный китаец вздергивает свой автомат, продолжая изумленно взирать на застывший в руке моей матери бутерброд, и движением автомата велит нам снова построиться вдоль кровати. (Не китаец, а азиат, поправила нас потом мать, но мы посмотрели атлас, Китай оказался в Азии. Мать, качая головой, вынуждена была с этим согласиться. Сестренка, конечно, пыталась умничать. Китай — это Азия, но Азия — не Китай. Что за глупость! А вот и не глупость: все китайцы — азиаты, но не все азиаты — китайцы. Этого мы не поняли. Ну как же, все, кто находится в комнате — люди, но не все люди находятся сейчас в комнате, например тетя Клотильда сейчас у себя наверху, хоть это-то вам понятно? Понятно, соврали мы.)

Мы стоим вдоль кровати.

В моей руке — рука младшего брата, я клянусь никогда, никогда не забыть теплую эту ладошку, которую он протянул мне, чтобы я его поддержал. В комнату врывается запыхавшийся переводчик и что-то говорит солдату, тот начинает ржать (он *вообще-то* приятный парень), после чего переводчик объясняет нам, что ничего страшного не произошло, просто по ошибке застрелили козла.

— Молодцы, так держать, — кивает отец.

Я чувствую, как рука братишки выскальзывает из моей.

— Кого застрелили, Гезу?!

Его возмущенный голос переходит в рыдания. Отец сладострастно кивает, мать гладит братишку по голове, котелок у него для этого самый подходящий, большой и круглый; он вырывается и, как Геза, пригнувшись, с разгона бодает в пузо очкарика. Солдат смотрит, стоя на месте, гогочет.

Уже несколько дней как отец не работает; из Помаза, куда пришлось ехать на велосипеде, он вернулся ни с чем ("диктатура пролетариата, граф, временно не функционирует"). Ну а мне пора в школу. И я отправляюсь. У калитки меня останавливают солдаты. Венгры. Что в портфеле? Я показываю, стараясь не раздражать их, схлопотать от них оплеуху — проще пареной репы; или автоматную очередь, как вонючий бедняга Геза. И все же, показывая учебники и тетради, я испытываю некое превосходство.

— Это что? — спрашивает солдат, ростом даже повыше Папочки, что бывает нечасто, и, будто таможенник, с подозрением берет в руки мою картонную, раскрашенную пурпуром единицу, то есть пятерку, изготовленную с помощью тети Клотильды. Я краснею, как будто на этом куске картона все-все написано. Солдат буравит меня недоверчивым взглядом, я сбивчиво объясняю, что это пятерка, "большая" пятерка", потому что за три обычные пятерки полагается одна большая, а поскольку мои три обычные пятерки...

— Да погоди ты, малец. Успокойся. Не трону я твою пятерку. У меня самого такой же пацан. А ну-ка, — и он подымает картонку над головой, улыбаясь, как клоун Родольфо, наверно, сейчас ему хочется искупить все свои прегрешения перед собственным сыном... Но что же это полу-

чается, какая это пятерка, когда это единица, обыкновенный "кол" (Да нет же!..), и поскольку ему как солдату приходится иногда делать то, чего он не сделал бы как отец, то он сию же секунду уничтожит, порвет этот самый "кол", вот, пожалуйста...

— Ой-ой-ой! — кричу я, вспоминая, сколько многообразных усилий потребовалось для осуществления этой маленькой хитрости, сколько решимости, концентрации и находчивости, возни с красками, ювелирных движений ножниц... Но все поздно, увы.

Отцу и солдату надоедает возиться со мной. На всякий случай он все же велит мне разуться — не спрятано ли чего в ботинках. Но в ботинках — лишь мои ноги. Он делает знак, проваливай, и шипя добавляет:

— С-сученок!

Я почему-то пугаюсь и даю деру, оглядываясь на бегу: не летит ли мне вслед это слово; я бегу, точно спасаясь от выпущенной в меня пули. И не знаю, сон ли это или и в самом деле меня настигает смерть. Происходит последнее.

Обычно, когда у меня начинала болеть голова, я мчался домой, блевать всегда лучше в родных стенах. И обычно каким-то образом успевал донести *все* до дома. На этот раз получилось иначе.

В церквах звонят полдень, на главной площади собралась толпа. Мужчины. Я стою за широкими черными спинами, далеко, как в кино на галерке, когда не досталось билета поближе. Что происходит на сцене, не видно. Висит тяжелая необычная тишина, как будто никто не дышит. Все смотрят на сцену, ни аплодисментов, ни свиста. Нет даже волнения. Просто стоят. Я пытаюсь протиснуться между черными спинами — безуспешно. Насколько разным бывает черный цвет, я знаю с тех пор. Бывает настолько черный, что это уже вороной.

— Иди домой, сынок.

Но поздно, мне не дойти. Пошатываясь, я дохожу до дворика почты, утыкаюсь в стену, вижу пятна селитры перед собой; на меня накатывает ужасающий приступ рвоты, я выблевываю всего себя, изо рта текут слюни, приходится сжимать даже задницу, того и гляди потечет и оттуда, носом тоже течет, в нем застревает кусочек морковки.

Вонь вокруг. Вонь от меня.

Вернувшись на площадь, я вижу: толпа начинает рассеиваться. Ее разгоняют.

— А ну расходитесь!

Смотрю в середину и не верю своим глазам. Отныне, кроме того, что такое "черный", я знаю также, что значит "окаменеть". Застыв камнем, словно под взглядом деда, я наблюдаю, как с земли соскребают отца и, встряхнув, кидают в милицейский фургон. Следом, будто еще одного арестанта, швыряют его пальто. Машина делает круг по площади и поворачивает в мою сторону. Мне страшно. Посреди площади один из милиционеров подымает с земли очки, я хорошо вижу их, он делает знак машине, та останавливается в двух шагах от меня, за стеклом, устремив взгляд вперед, сидит мой отец, лицо у него такое, каким бывает воскресным утром, когда мы играем, — голое, без очков, немного чужое, немного моложе обычного. Я стою, охваченный страхом, не в силах выдавить из себя ни звука, прости меня, Папочка, сейчас у меня не получится спа-

сти тебя, но обещаю, я сделаю это, я тебя выручу, я проскользну в своих невесомых мокасинах за спину шофера и беззвучно перережу ему гортань, одним ударом свалю с ног напарника, простите за опоздание, сэр, но меня задержали дела, скажу я тебе, ты кивнешь, наденешь очки, спасибо, сынок, ты — настоящий мужчина, лошади будут нас поджидать поблизости, мы вспрыгнем в седло и поскачем в густые леса величественно возвышающейся на горизонте Гордой Кручи. Оботри свои руки от крови о гриву лошади, сын.

Изнутри опускают стекло, милиционер бросает очки в машину, и, взвизгнув колесами, она на бешеной скорости мчится в сторону Помаза.

175

Весь вечер я старался быть *хорошим братиком.* Будьте хорошими братиками, призывали нас постоянно родители, иначе во что превратится мир! Так что в угоду родителям мы время от времени были добрыми братиками, распределяя, кому когда исполнять эту роль, особым желанием, понятно, никто не горел, потому что дело это муторное, непростое, требующее внимания и тактичности, да к тому же — тоска зеленая, не говоря уж, что во всем этом, кроме некоторого улучшения состояния мира, и смысла-то никакого, овчинка выделки не стоит. Мы представить себе не могли, чего они этим хотят добиться и почему так радуются, переглядываются, просто светятся, бррр!

Родители добивались этим не просто покоя для себя. (При такой ораве детей это *в принципе* невозможно.) Когда они хотели покоя, конкретнее — тишины, то играли с нами *в немых львов.* Все их лукавые замыслы мы, конечно, видели насквозь, но играли с большим удовольствием, потому что игра нам нравилась. По всей квартире можно было расхаживать по-львиному, то есть на четвереньках и с угрожающим, диким и даже свирепым видом, но молча, без единого звука, потому что Создатель — такое было хитрецкое правило — лишил нас голоса. Нам очень хотелось узнать, действительно ли существуют немые львы или мы единственные в природе.

— А то как же, конечно, — не задумываясь бормотал отец, но мы видели, что он сам не знает, что говорит.

— Потому что, Папочка, если немых львов нет на свете, то есть в природе, тогда нет и нас, и игры такой нет! Ведь не может же человек быть плодом собственного воображения! — отчаянно сверкала на отца глазами сестренка; отец же, как обычно, закрывал дискуссию своей знаменитой всеведущей улыбкой, смысл которой сводился к тому, что на этот вопрос в свое время нам придется найти ответ в своем собственном кладезе (этот кладезь нам очень нравился: ну и кладезь же у тебя, старик, ну и тыква! и прочее), может, в этом правда, а может быть, в том, а может, ни в том, ни в другом, а в чем-то третьем.

Мы любили и не любили эту отцову улыбку. Не любили, потому что хотели на все получить ответ. Простые ответы на простые вопросы: кто хороший, кто плохой, где и когда можно наконец поговорить с Боженькой, но так, чтоб по-настоящему, без обмана, словом, многого мы не требовали — ясности, однозначности, а не этой хитрецкой улыбки. Но мы и любили ее, потому что в такие минуты мы замечали на лице родителя какой-то особенный интерес, внимание и волнение, как будто не мы, а он хотел что-то узнать от нас, бедняга.

Иногда нам давали поблажку, и объявлялась "десятипроцентная тишина".

– Немая из Портичи, – возглашала вдруг Мамочка, никто этого не понимал, но означало сие – разрешение тихо рычать. По рычанию пальма первенства принадлежала Папочке, из груди его, из самой глуби, волнами вырывался клокочущий, сдавленный рык, такой piano, что сошел бы даже за пятипроцентную тишину, но он наводил на нас неописуемый ужас, и мы тут же бросались к Мамочке.

В худшем случае мать выглядывала из кухни и бесстрастно велела отцу не пугать детей. В лучшем же обрушивала нам на головы тяжеленные передние лапы, выпускала – на диво природе! – свои убийственные красные когти, холодно отталкивала нас от себя, хрипела, подергивая ноздрями, и обнажала жуткие, как у всех львиц, верхние клыки – от страха у нас дрожали поджилки.

До чего же нам нравилось испытывать этот страх!

– Папа, Папочка, помоги! В кухне львиная львица! – и бросались искать защиты к отцу, обхватывали его ноги, как будто это были стволы деревьев, за которыми мы могли спрятаться. Но не тут-то было! То были не стволы, а могучие лапы величественного и проголодавшегося царя зверей! Мы бросались назад. – Ой, Мамочка, дорогая!..

И нельзя было знать наперед – что и было самым волнующим, – окажемся ли мы в отчаянном положении меж двух огней, или Мамочка неожиданно повернется к нам (ей тоже, как тете Рози, приходилось подолгу простаивать у плиты) и, очаровательно разыгрывая заботливую мать семейства, начнет театрально нас успокаивать, о дети мои, успокойтесь же, откуда здесь львы – вы ведь знаете, львы обитают в Африке, а затем, нежно обняв нас, все же угрожающе рыкнет, мы готовы бежать, но она не пускает, вновь обращается в нашу прелестную Мамочку и, пристально вглядываясь в наши лица, произносит слова, которые мы слышали только от отца:

– Ну что, сорванцы? Мир не прост?

179

Идея хорошего братика была не столь простодушна, как можно было подумать. Ведь в ней заложена не только, да и не в первую очередь какая-то там вселенская доброта, гуманизм, скромность, снисходительность, ласка вкупе с некоторой долей елейности – отнюдь нет, хороший братец должен тебя любить. Брат должен любить брата. То есть быть в одиночку хорошим братцем нельзя, мы взаимозависимы, и как бы мы ни распределяли, ни спихивали роль доброго братца на другого, участвовать приходилось всем. Так вот хитро было задумано.

Весь вечер 5 ноября я старался быть хорошим братцем. После приступа тошноты получается это обычно лучше. К тому же я был напуган. (Еще как напуган!) И тем, что видел, и тем, чего не видал. Я решил считать все увиденное сном, хотя знал, ничего мне не снилось – я отлично помнил свисающий из моей ноздри кусочек морковки, очки отца с раскрытыми дужками и его застывшее каменное лицо, помнил и лошадей, и лесистые склоны Гордой Кручи, но поскольку кроме меня этого не видал никто (даже отец!), то можно было считать, будто все это мне приснилось.

Про свой сон я никому не рассказывал. Но, похоже, маме тоже что-то приснилось. Не обращая внимания на нас, она расхаживала туда-сюда, прикуривая одну сигарету от другой. Это "туда-сюда" нам не нравилось, нам нравилось только, как она курила. Вскоре она вышла в сад, и тоже: "туда-сюда", сигарету за сигаретой.

Дядя Варга был человек симпатичный, но не любил, когда тетя Клотильда (подолгу) болтала с Мамочкой, мол, как бы чего не вышло. Но поскольку он много времени проводил со своими гвоздильщиками, тетя Клотильда спускалась к нам посудачить с Мамочкой и помочь по хозяйству. Зубов у нее не было, мы смеялись над нею и относились к ней свысока, как к утратившей власть Бабе-яге. По-моему, она об этом догадывалась. Когда мы с ней мастерили мою пятерку (революционный кол), она несколько раз смотрела на меня с какой-то болезненной укоризной. В тот момент я, конечно, над ней не смеялся, потому что нуждался в ее помощи. Дядя Варга был ее вторым мужем, первый погиб на Дону на советском фронте.

Она присоединилась к Мамочке, взяла ее под руку, и они, как подруги, стали прохаживаться по саду.

— Только нельзя волноваться, Лилике. Не волноваться нужно, а ждать. Не потому ждать, что это поможет, а потому что так нужно. Если кто-то ушел или, скажем, кого-то забрали, то его нужно ждать, а там уж как выйдет — или вернется... с этим, или принесут... на этом, вы понимаете, Лилике; может, быть вам матерью Гракхов... Ждать нужно крепко, с такой же силой, как та, что его у тебя отняла. — Они неожиданно перешли на "ты". — Ждать нужно вожделенно и страстно, сосредоточенно, беспощадно. Кто потерял надежду, тот может быть многословен, но ты должна быть скупа на слова. Всякое слово, сказанное и несказанное, нужно взвешивать, одно за другим, вслушиваясь во время, минувшее и грядущее, видеть следы, уводящие вглубь, улавливать тайные знаки, которые, может быть, не заметил другой, пробираясь по лабиринту отведенной ему судьбы. Никогда не ждать легкомысленно, как бы между прочим, словно гость на пиру богов, рассеянно ковыряющий яства кончиком вилки. Ждать красиво; великодушно. Ждать, как в камере смертников ждешь последней минуты, еще отпущенной тебе тюремщиками. Ждать всю жизнь, ждать до смерти, ибо это есть самый главный дар человека. Не зря же, Лилике, ждать способен лишь человек.

— И собаки, — рассеянно обронила мать.

Ведь она (тетя Клотильда) ждала очень долго и знает, что это такое. Бедный Бела заставил ее познать всю горечь и тяжкую радость ожидания. Кто такой Бела? Тетя Клотильда только закачала головой, словно бы говоря, ну подумай, сообрази. Мамочка хлопнула себя по лбу и попросила великодушно простить ее, она все понимает.

На самом деле мать мало что поняла. Она ждала по-своему, с ужасом, и вся глубина того ужаса, вся до последней капли, передавалась нам. (Есть две разновидности ожидания: одна порождает страх, другая — унижение. Испытывая первую, человек боится за близкого, или за себя, или за обоих, или — реже — за что-то еще. Испытывая вторую — переживает унижение. Тетя Клотильда говорила о первой разновидности ожидания, а моя мама на деле переживала вторую.)

Лишь поздно вечером она успокоилась, от нее повеяло таким покоем, как будто Мамочка присоединилась к движению хороших братиков. Между тем хорошим братиком невозможно быть слишком долго. Как не-

возможно долго сидеть под водой. Собственная доброта — это еще куда ни шло, но когда наблюдаешь сияющее натужным гуманистическим румянцем лицо противника, когда и дел-то всего — воздвигнуть из кубиков некоторую конструкцию, то волей-неволей в тебе пробуждается жажда в ту самую минуту, когда брат твой с триумфом готовится водрузить треугольную крышу на вершину построенной башни, еле заметным движением выбить из основания башни нижний кубик. Братец твой, понимая, что мир сей погряз в грехе, разумеется, знает, что сам по себе нижний кубик с места не сдвинется, для этого кто-то умышленно должен его сдвинуть, и потому в диком грохоте рушащейся конструкции, от которого наша матушка содрогается, как от удара грома, умудряется на лету ухватить падающий кубик и нацелиться им прямо в щиколотку злоумышленника, но тот наносит ему упреждающий удар ногой, ну и понеслось; короче, пока башня разваливается на куски, слышны крики и вопли, "как будто кого-то режут".

В таких случаях один из нас легко получал затрещину. Если конкретно — ее получал мой братишка. В любой хоть сколько-нибудь спорной ситуации затрещина, будь то рациональная и практичная материнская или редкая, но всегда значительная, обладающая, я бы сказал, высшим смыслом, отцовская, непременно доставалась ему. Причина отчасти состояла с том, что он был и в самом деле подвижный ребенок, "шкода" и "бедокур", отчасти же — в том, что мину хорошего братика я умудрялся удерживать на долю секунды дольше, чем он.

— Подлый Яго, — подводила итог Мамочка, однако распределение затрещин от этого не менялось.

Мало-помалу мы привыкли к тому, что на извечный следовательский вопрос "кто это сделал?" почти машинально называли младшего брата, который подчас, в соответствии с истиной, пытался оправдываться, отрицать, защищаться, приводить какие-то аргументы, спорить, оказываясь во все более жалком и безнадежном положении, что я констатировал с презрительной усмешкой: этот несчастный еще унижается в попытках найти оправдание, вместо того чтобы с гордо поднятой головою признать свой поистине мерзкий поступок! Самое интересное, что младший братишка не обижался на выпадавшие на его долю несправедливости, а напротив, сносил их даже с некоторым достоинством и гордостью. Впоследствии, когда я напомнил ему об этом, он только пожал плечами. Хороший братец.

180

Еще до того, как кому-либо из хороших братиков, включая и нашу Мамочку, пришло в голову дотронуться до воображаемого, но всегда существующего нижнего кубика, в дом, как бывало прежде, ворвался Роберто (и уж он-то поддал этот нижний кубик самым грубым, бесцеремонным способом, башмаком, — и все, что только могло, беззвучно рассыпалось на куски).

Я сразу понял, что он привез новости об отце.

— Ах, Миклош! — бросилась ему на шею Мамочка. Он обнял ее и, покачивая, слегка задержал в объятиях. Мать всегда так встречала его, но не всегда была такой перепуганной, а кроме того, для полноты картины недоставало отца, который с ухмылкой смотрел на него и разыгрывал нетерпение, когда же и он сможет обняться наконец с другом.

На сей раз объятие было только одно.

С нами он поздоровался с сакраментальными шуточками: юные графы, контесса, дорогой майореско — все как обычно. Братишка в ответ только ухмылялся, я сиял от восторга, сестренка молчала.

Когда он склонился, чтобы потрепать меня по щеке, я почувствовал, что он выпил. Отца я даже про себя никогда не называл пьяным. Выпивши, подшофе, на взводе, навеселе. Такие слова приходилось слышать. Да еще: "Матяш, в каком вы виде!" Когда отец напивался, матери было стыдно за него. Потом это прошло, и ей было стыдно уже только за себя, но позднее уже никто и ни за кого не стыдился, оставалось одно — как-то все это вынести, пережить. Но прошло и это.

— А ну, повторите! — вскричала вдруг мать на кухне. Они часто дурачились, но на сей раз это была не игра. Роберто что-то прогудел ей своим виолончельным голосом. — Вон отсюда! — крикнула задыхаясь мать.

— Вы меня прогоняете? Вот вы как, моя дорогая Лилике! — Он рассмеялся. — Вы отказываете мне от дома?! Вы хотите сказать, что я здесь — персона нон грата?!

— Убирайтесь.

Стало тихо. Мы прислушались. Послышались звуки какой-то возни, и опять тишина.

— Вы впадаете в крайности, ваше сиятельство!

— Вы мне угрожаете? Это вы-то?!

— Ну что вы! Как вы могли подумать, Лилике!

Роберто захлопнул за собой дверь, как иногда, в редких случаях, делал это отец.

Мамочка вошла обессиленная, понурившись, едва переставляя ноги, лицо ее — то бледнеющее, то вспыхивающее — трудно было узнать, на нем отпечаталась слабость, но стоило ей заговорить, как вся она преобразилась, голос звучал решительно, гневно. Глаза ее так сверкали, будто мы тоже были в чем-то перед ней виноваты. (Был у нее такой взгляд: "Вы, мужчины!")

— Вы знаете, что это был за тип? — Мы серьезно кивнули. — Отныне вы этого человека не знаете.

Брат не понял, как это можно не знать человека, которого знаешь, ведь не знать можно только того, с кем ты не знаком. К тому же нам было велено не просто не знать, а не знать отныне, то есть делать вид, что мы *якобы* не знаем его, хотя на самом-то деле мы его знаем. Весь вечер мы репетировали это "якобы". Один из нас был Роберто, а другой пытался не узнавать его. Потом мы менялись ролями. По ходу репетиции мы, в частности, поняли, что человека, которого мы отныне не знаем, отныне полагается также презирать и даже не разговаривать с ним.

Но за что мы должны презирать Роберто?

Сестренка, мелочь пузатая, то ли совсем ничего не понимала, то ли сразу все поняла, потому что, когда мы из самых добрых намерений включили ее в игру, она, если быть Роберто выпадало ей и мы переставали ее узнавать, ударялась в отчаянный рев.

А в комнате плакала мама.

Перед сном Мамочка велела нам помолиться за папу.

— А разве он умер? — резонно поинтересовался мой смелый братишка. И получил от матери оплеуху, наотмашь, почти отцовскую. Младший брат, в отличие от меня, — я-то сразу же демонстрировал меру боли и несправедливости, — никогда не плакал, но тут заревел и он. Мать обняла

его. Она не выделяла его среди остальных детей (не выделяла вообще никого, ну разве что, самую малость, меня, своего первенца); зато братишку, за смуглую тонкую кожу и вьющиеся локоны, обожали чужие и часто ласкали и баловали его; он был красивый, а красота людей радует. И я, правда, слегка, но все же долго ему завидовал.

Когда мы покончили с "Отче наш", я спросил, не помолиться ли нам за Роберто. Мать сверкнула глазами и вышла. И мы — была не была — помолились и за Роберто, пробормотав разок "Аве Марию". Мать верила в Бога по-настоящему, только не понимала, почему ей приходится столько страдать.

— Первородный грех, сударыня, первородный грех, — ухмылялись мы, возвращаясь с Закона Божьего, — вот и выслали вас из сада Едемского, в поте лица есть свой хлеб. Раньше, Мамочка, думать надо было, а теперь уже ничего не поделаешь.

Мать с тех пор не встречалась с Роберто ни разу. Я же встретил его на следующий день. Может быть, мне не стоило с ним встречаться, но иначе я не увиделся бы с отцом.

181

Страха я не испытывал. Мне казалось, что полагающуюся на сегодня порцию страха (а в том, что она полагалась, сомнений не было), я уже наперед отбоялся вчера, у почты. Я вышел из школы и по обыкновению собирался включиться в игру третьеклассников (я гонял с ними мяч на равных!!!), когда ко мне подошли два мильтона, те самые, которые вчера увезли отца. Сцена была — прямо как в кино, отчего я повел себя с ними вызывающе, полагая, что преимущество на моей стороне.

Они предложили проехать с ними, давай, мол, садись, малец.

Во-первых, я не малец, у меня есть нормальное имя. И вообще, лучше бы не здесь, на глазах у всех.

Я повернулся и направился к их машине — "победа" с урчащим мотором стояла чуть в стороне. Окликнуть меня третьеклассники не осмелились, но я видел, что они все видели. Еще бы не видели, у них глаза на лоб полезли от изумления. Мильтоны смущенно следовали за мной. Я знал, что они дали маху, поскольку наверняка брать меня нужно было "без лишнего шума". В противном случае они просто зашли бы к директору, так ведь нет — торчали тут, стараясь не привлекать внимания, что, естественно, бросилось всем в глаза. И вышло ни то ни се.

Я не знал, куда садиться, на переднее или на заднее сиденье. И от этого все же начал бояться.

Я должен еще попрощаться с матерью.

Мильтоны заржали.

— Ишь ты, выискался! Герой семьи!

От этого ржания у меня опять прошел страх. Мне надоели эти качели: так боюсь я или не боюсь, черт возьми?! Стиснув зубы, как стискивал их вчера отец, я запел про себя "Витязи, вперед, вперед", "Родди Маккорли" и "Кевина Барри", а также шва́бскую песенку в аранжировке отца — и все это, разумеется, исполнил немой лев. Сидевшие впереди даже не догадывались, какой царственный зверь угрожает их жалким жизням. Спеть гимн я не смог только потому, что в машине нельзя было встать. По этому поводу придется еще проконсультироваться с отцом: как быть, ко́гда сталкиваешься с подобного рода непреодолимыми пре-

пятствиями? На эшафоте — иное дело, там человек стоит воленс-ноленс. А что делать, к примеру, в сидячей ванне?

Я повернулся и, встав на колени, глянул в заднее овальное окошко. Скалистый утес Осой был похож на чье-то лицо, на чью-то смотрящую на меня голову. А коль уж я встал на колени, то заодно прочитал молитву.

— Сидеть, — рявкнули мне, как собаке.

182

Кажется, никогда еще я не радовался так никому, как обрадовался тогда Роберто. Машина затормозила у милицейского отделения в Сентэндре. Мне велено было ждать. Я снова немножко попел, слегка клацая зубами от страха. Нужно было выбирать: или петь или плакать. Но поскольку плакать было нельзя, я не плакал и, следовательно, забыл о страхе; но чувствовал себя точно так же, как в Чобанке, на главной площади, где последний раз видел отца: не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Только голова на сей раз не болела.

— Разрешите, ваше сиятельство! — вдруг склоняется в проем распахнувшейся двери Роберто, склоняется, будто слуга, я узнаю его черную, как смоль, маковку с небольшой проплешиной, которой раньше не замечал.

— Роберто, Роберто! — совершенно забыв о наказе матери, бросаюсь я к нему на шею и думаю: ладно уж, как-нибудь потом, в подходящий момент, я его не узнаю, а пока что я обнимаю его, пряча лицо в его шею, Роберто, мой дорогой Роберто!

Он неожиданно быстро обрывает сцену с объятиями и увлекает меня за собой.

— Бежим? — спрашиваю я.

— Можно сказать и так, — не оборачиваясь отвечает он.

— Тогда быстрее, быстрее!

Он останавливается, оглядывается на меня: да нет же, мы не бежим. Не имеет смысла.

— Понятно, — киваю я, совсем уже ничего не понимая. Но главное, я и не желаю что-либо понимать! Что для меня необычно. Мой портфель остался в машине, но Роберто машет рукой, и это я понимаю так, что больше он мне не понадобится, мне больше не придется учиться в школе, чему я, как неисправимый отличник, не слишком рад.

Поспешая за Роберто, я постоянно отстаю от него на два шага, мы несемся мимо каких-то домов по узеньким, подымающимся и опускающимся улочкам и неожиданно оказываемся у Дуная. Река широченная. Мы спускаемся к самой воде. Будь мы лошади, думаю я, мы сейчас бы напились с ним вволю. Светит солнце, и дует холодный ветер, мы прогуливаемся вдоль берега, как двое старинных друзей. Как двое взрослых, во всяком случае. И я, соответственно удлиняя шаг, стараюсь идти с ним в ногу. Я жду. Мне хотят сказать что-то важное. Мы стоим, повернувшись к Дунаю.

— Ты знаешь, что такое политика?

Я, разумеется, знаю: Москва, коммуняки. Роберто кривится, непонятно, улыбка ли это или презрение, и если презрение — то к кому. Как бы там ни было, сейчас это вопрос политический. Из Папочки сделали политический вопрос. Теперь не имеет значения, совершил ли что-либо человек или нет, он-то знает, что мой отец (Роберто скривился) забияка весьма осторожный и едва ли мог в чем-то участвовать, скорее всего мой отец не сделал вообще ничего, но главное сейчас — кто что *мог* совер-

шить, важным, опасным сегодня стало *возможное,* а не реальное; реальное никогда не опасно, его по идее, in thesi[1], можно всегда ухватить за шкирку, с реальностью забот меньше всего, ну получит человек год, два, сто лет или ничего, в соответствии с точными параграфами инструкций, или, как встарь говорили, законов. Иное дело — возможность!

Возможность не привлечешь к суду, она ускользает из лап параграфов, указов и распорядков, испаряется, какой толк, что мы знаем о человеке все, это знание — и не больше, то есть все, что *возможно* знать, они знают: с кем отец мой общался, встречался, где — дома, в селе, на рабочем месте, кого принимал в придорожной бытовке, в той халупе, но, впрочем, оставим детали, не нужно мне обо всем этом знать, мир взрослых — это не совсем то, что может увидеть ребенок со своей детской точки зрения, короче, не знают они ничего, то есть все, и Папочке теперь нужно как-то помочь из категории "возможного" переправиться в категорию "реального", тут и зарыта собака, из "возможного" сделать "реальное", но, зная упрямство отца, мы оба знаем это упрямство (хотя лично мне известно лишь об упрямстве младшего братца, да еще козла Гезы, который, по понятным причинам, с упрямством своим покончил, но — чтобы упрямым был взрослый мужчина?..), короче, отец мой упрямится, что вполне логично, ибо личность он суверенная и придерживается взглядов, которых и должен придерживаться сообразно со своими жизненными позициями, и ему, Роберто, нет и не может быть до этого никакого дела, и речь вообще идет не о том, чтобы судить об отце, но о том, чтоб ему помочь, поэтому было бы просто смешно ставить ему в упрек такое, о чем нечего было бы и разговаривать, если он не нуждался бы в нашей помощи.

И все же кое-чего он не понимает. Ведь что требуют от моего замечательного отца?

— Кто требует?

— Не перебивай.

А требуют всего-навсего подпись. Символический жест. Некий знак. Ведь жизнь — не черная или белая, и отец мой, отказавшись подписать, не станет чище, человек вообще не должен быть более безупречным, чем он есть на самом деле, жизнь — она не чистая и не грязная, не дрянная и не возвышенная, жизнь — течет, продолжается, не стоит на месте, и, больше того, совсем не исключено, что мой отец мог бы получить работу по своим способностям, по свои́м первоклассным способностям, которые, право слово, никому и в голову не приходит оспаривать, стране нужны вовсе не мученики и не строительные рабочие с двумя университетскими дипломами, всякий страдалец — общественно опасный человек, не нужно ни от́ чего отрекаться, не нужно врать, потому что униженные люди не смогут построить страну, а просто-напросто подписать нужно эту бумагу, и дело с концом, вот он, например, подписал не раздумывая, отрицать было нечего, ведь это была всего лишь игра, совершенно невинная, но была, а что́ было, то было, как, наверное, помню и я, ведь человек помнит все, что он хочет помнить, все что хочет, то человек и помнит, да, верно, они в свое время отпраздновали смерть Сталина, и он, и отец мой, и даже, наверное, мать...

— Мать не праздновала!

— Не ори. Сейчас я говорю.

1. В принципе (*лат.*).

...Да, они играли в тот день в игру "Кто будет смеяться последним?", но смеялись, учитывая траурный случай, в основном над товарищем Сталиным и вышибали исключительно красные фишки, то есть как бы организовывали заговор против красных фишек, сиречь коммунистов, только и всего; это все, что требуется подписать, разве это неправда? сущая правда, и вот этого-то, единственного, движения они ждут, для них оно будет означать, что он вовсе не против них, и как бы он, Роберто, ни убеждал его, дескать, Mensch ärgere dich nicht, мой отец ни в какую — уперся, и все тут.

Ну, раз нет, значит нет.

Мы снова стали прохаживаться по берегу. Оба молчали. Я украдкой поглядывал на Роберто, не обнаруживая на его лице следов взрослой нетерпеливости, хотя явственно чувствовал, что ему еще что-то от меня нужно. Лицо его было похоже на лицо моего младшего братца, когда он вот-вот заревет. Мой братец часто смеется, но если нужно заплакать, то он заплачет. Короче, он на все руки мастер.

— Нет, это невозможно.

— Что невозможно?

— Раз нет, значит нет. Коль дело касается политики, так не бывает. Им это нужно... И они так хотят...

— Кто — они?

— Ну политика... им подпись нужна. — Роберто смеется; обычно смеется он над собой, но теперь смех какой-то особенный, адресованный мне.

— А ты чего хочешь?

— Помочь твоему отцу.

— Спасибо. — Я вспоминаю о материнском запрете. Но что делать, если я его знаю. Стою перед ним и знаю его, этого человека.

— Дело в том, что один я не справлюсь. Они почему-то не доверяют мне полностью, вот тебе они бы доверили. Ты его сын. Кровь от крови. Ты — майореско.

Мы стоим с ним на берегу. Дунай мощно несет свои волны. Я смотрю на этого человека, как на своего отца. У меня еще никогда не было случая помочь отцу. Я мог бы помочь ему заготавливать по утрам растопку, но топор — штука небезопасная. И потом в это время я сплю еще как сурок. Была и другая возможность, когда у нас на речке случилось вдруг наводнение и нужно было мешками с песком преградить путь воде, чтобы не унесла она парник дяди Варги — "дело всей его жизни", но тогда меня отогнали, чтоб не путался под ногами. На бахче мы тоже были только помехой. Попробуй помочь отцу, когда не знаешь, как к нему подступиться! Однажды, перед Рождеством, в сапогах и зимних шапках, мы шли с ним к заутрене по скрипучему снегу, как в сказке. Изо рта у нас шел пар. Два пастушка, поспешающих в Вифлеем к младенцу. И тут еловая ветка возьми да и сбей шапку с отцовой головы. Бедняга так смешно схватился за голову, будто что-то забыл и вдруг вспомнил. Шапка, черт побери! Я поднял ее, он поблагодарил. Вот и вся моя помощь. Если можно назвать это помощью. Гораздо легче было помогать Мамочке — чего только она на меня не взваливала! И за покупками сбегай (кроме мяса, которое она покупала сама), и грядки прополи, хвороста принеси, носки постирай, посуду помой, за маленькими присмотри, щавеля набери на Галиньем холме. Помощь матери — дело легкое, неизбежное и жутко неинтересное.

— И что же я должен сделать?

— Подписать.

— Что подписать?

— Что, что... бумагу.

— Какую такую бумагу?

Роберто нетерпеливо проводит по волосам, и я чувствую, спросил что-то лишнее, неудачное, что-то не то. Он, как птица, размахивает руками. Подожди, дорогой Роберто, не улетай! И он говорит, что надо бы подписать бумагу о той игре, но только то, что там было, короче, все это не важно, для них важен жест... показать, кто смеется последним... И тихонько смеется. Я же спрашиваю его, как спрашивал несколько лет назад мой отец: а что, разве все уже кончилось?

— Да нет, — тень улыбки застывает у него на лице, — все только начинается.

— Всего-навсего? Только подпись?

— Всего-навсего.

— Так я могу подписать. Это же пустяки.

— Не буду тебя обманывать. — Я смотрю на него, он устремляет свой взгляд далеко, на воду. — Дело в том, что подпись — это не пустяки, подпись — дело серьезное. Там будет стоять твое имя. Стоять навсегда. Твое, ваше имя. В течение многих веков это имя стояло на разных бумагах и документах — на грамотах, мирных договорах, назначениях, приговорах, случалось, что эта подпись решала судьбу страны... Подпись есть подпись, срока давности не имеет.

Я слушаю его с гордостью, особенно то, что касается срока давности и что они тогда успокоятся. Кто — они, я не спрашиваю. Наверно, политика, то есть Москва, коммуняки, кто бы ни были — раз они успокоятся, значит, отстанут от моего отца.

А где он сейчас?

Не важно. Сейчас он в надежном месте. Точнее сказать, в ненадежном.

— В милиции?

— Да.

А какое же отношение имеет к милиции он, Роберто?

Он имеет отношение не к милиции, а к нам, к моему отцу и ко всем, кто сейчас в беде, кто в таком же, как мой отец, положении.

— И что, я должен за всех подписываться?

— Браво, ваше сиятельство. Без юмора здесь, в бассейне Дуная, я полагаю, не обойтись.

183

Я, конечно, не сомневаюсь, что лучше погибнуть героем, чем уцелеть, превратившись в моральный труп, это ясно, как дважды два. Но погибнуть по-идиотски? По ошибке? Случайно? По недоразумению? Совершенно бессмысленно? Несчастна страна, которой нужны герои. И мы, насколько это возможно, этого несчастья должны избежать. Роберто обнимает меня за плечи, мне хорошо. Я взволнован.

184

О том, что отца избили до полусмерти, лупили его, как мальчишку, били, как лошадь, для начала, по первой злости, отбили почки, а потом методично дубасили по всему телу и главным образом по ступням, я узнал далеко не сразу.

Мы стоим в какой-то конторе, внутри одна стена из стекла, и там, за стеклом, на лавке лежит человек. Я знаю, что это он. Смотрю на него сквозь стекло. Секретарша что-то печатает. Когда мы вошли, она не подняла головы, я поздоровался, Роберто — нет. В стекле отражается свет, я вижу и то, что снаружи, и то, что внутри, себя и его. Стекло совсем близко, на нем остаются следы моего дыхания.

— Ну иди же! — вдруг рявкает у меня за спиной Роберто. Я оборачиваюсь, с трудом узнаю его, не понимаю, чего он хочет. Что, я должен пройти сквозь стекло? Секретарша отрывается от машинки. Лицо у нее поросло пушком, на свету, ослепительном, солнечном, кажется, будто оно покрыто каким-то белобрысым подшерстком. Противное зрелище. Она кивает в угол, где я замечаю дверцу. Ощущение, словно мне предстоит войти в клетку со зверем. Я вхожу. Со страхом, что зверь кинется на меня. Медленно приближаюсь. Но потом, как кусочек железа, приблизившийся к магниту до критической точки, меня швыряет к скамье, и я падаю на колени у тела отца. Он, кажется, спит. Мысль о том, что, возможно, он мертв, мне не приходит в голову.

То есть вру. Именно эта мысль всегда приходила нам в голову, когда мы видели его спящим — в мертвенной неподвижности, с полуоткрытым ртом, отвисшей челюстью и ввалившимися щеками. Всякий раз нас охватывал настоящий ужас. Мы видели его спящим только по воскресеньям. (Иногда, неожиданно, и по вечерам, но тогда разглядеть его было невозможно, потому что в большую, во "взрослую" комнату нам входить запрещалось.) По воскресеньям Папочка спал дольше всех. Седьмой же день посвяти Отцу Небесному — это мы понимали сразу, для нас это означало, что наконец-то Папочка как следует отоспится. Конечно, как следует — не значило сколько влезет, потому что мы не выдерживали и будили его. Самым классным было забраться к нему под бок. Даже лучше, чем забраться под одеяло к Мамочке, что тоже было неплохо.

— Папа, Папа, Папочка, — бужу я его, как бывало по воскресеньям. Прикоснуться к нему я не смею. Он не шевелится. Не поднимает головы. Я только сейчас замечаю, что глаза у отца открыты. Взгляд неподвижен. Губы потрескались и на порванном уголке рта запеклась струйка крови. — Папа, Папа, пожалуйста, не умирайте!

Роберто стучит в стекло, мол, потише, поаккуратней и побыстрей. Я не знаю, что делать, что говорить. Он (отец мой) и так все знает. Поэтому, между прочим, мне и молиться трудно; отец смотрит на меня, отцу все известно. Но он на меня не смотрит. Лежит неподвижно, не шевелится ни тело, ни лицо, ни глаза.

— Я подписал бумагу, чтобы тебя отпустили.

Я не могу больше ничего сказать, гляжу на скрюченное его тело, на сложенные две руки, зажатые между колен. Я глажу его по лицу. Он както дергается, по телу его пробегает дрожь, и поворачивается ко мне, но смотрит не на меня, а куда-то в сторону, выше, рядом, мимо, насквозь, но только не на меня.

Он собирается с силами, чтобы плюнуть.

Плюнуть в меня.

Да что вы плюетесь! За что? Не нужно, пожалуйста!

Плевать — это легче всего! Хотя это неправда, ему плевать трудно, тяжелая кровяная слюна не может оторваться от губ и стекает по подбородку.

Я вытираю ее. Вытираю смешанную со слюною кровь, предназначенную для меня. Не нужно плеваться. Вы должны выйти отсюда, а один вы отсюда не выберетесь. Наверное, вам мог бы помочь Роберто, но, видимо, вы, как и Мамочка, с ним больше не знаетесь. Пусть так, но есть я. Меня-то вы знаете, ведь я ваш сын. От этой мысли ("ведь я ваш сын") я краснею, краснею от ненависти. Меня снова охватывает страх. Не отчаивайся, Папочка, это было не трудно, не бойся, теперь уже все в порядке, эти скоты, все равно будет все в порядке, эти скоты думали, что можно нас победить, думали, что можно тебя сломать, шантажировать, они, гады, думали, что все здесь в их власти, включая тебя! Нет, Папочка, до тебя они не дотянутся!

Он пытается плюнуть, я жду, вытираю слюну.

Я не понял, почему они сразу не отпустили отца. Для проформы он должен был там пробыть еще день. На милицейской машине Роберто довез меня до поворота на Чобанку.

— Дальше дойдешь пешком. Матери можешь не рассказывать. А впрочем, дело твое.

185

Когда отец хотел в меня плюнуть (испытывая отвращение к своей слюне!), он сказал одно редкое интересное слово: говномес. Такого я не слыхал, не читал, меня оно поразило. Говномес — в смысле я.

186

— Где ты был?

— В школе.

Таких оплеух, какую мне отвесила тогда мать, я не помню. В нее, кажется, были вложены все пощечины, которые она когда-либо собиралась, но не влепила мне, не говоря уж о том, что последовало дальше: она колотила меня сначала рукой, кулаками, шваброй; защищаться я не пытался, прикрывал только голову. Я не плакал, я не оправдывался, не умолял ее. При этом она выкрикивала ужасные слова, была вне себя, надо мной бушевало, било меня, колотило, покуда хватало сил, какое-то неизвестное существо. Она была очень сильная, как никогда в своей жизни. После этого эпизода Мамочка только слабела.

Я запыхался, я тоже устал. Было больно, к таким побоям я не привык и по этой причине не мог даже радоваться, что побоями этими каким-то образом устанавливается тайная связь между мной и отцом. Забравшись в постель, я чувствовал во всем теле свинцовую тяжесть, как будто весь день гонял мяч. Или помогал отцу. Младший брат и сестренка, присев у постели, поглаживали меня. Я заснул легким сном.

187

Наутро, едва я проснулся, мне в глотку вцепился страх. То был не тот страх, с которым я был знаком. И вцепился он даже не в глотку, а гнездился где-то в желудке, в легких, в сердце. Казалось, он сотрясал, раздирал все нутро, я задыхался, мне не хватало воздуха, всего меня медленно заполняло прозрачное, кристально-чистое жуткое чувство вины. Нечто

вроде восторга, но с мрачным обратным знаком. Я ощущаю, что боюсь не кого-то или чего-то — боюсь всего.

Такого еще не бывало: я испытываю отвращение к себе и страх перед Богом.

До этого у нас с Ним было все в порядке. До этого мне казалось, что в борьбе между мною и Господом Господь Бог на моей стороне. А теперь я боюсь, Он спросит: что ты совершил? и боюсь, что Он вовсе не спросит меня ни о чем. И никто. Ни о чем. Я вдруг начинаю бояться *всего*, потому мне это *все* представляется страшным; страшен Бог, непонятно, что Ему от меня нужно, а быть может, еще страшнее — не-Бог, когда никому ничего не нужно? К кому же тогда обращаться?

Есть Бог или нет Его, но я остался с Ним один на один. Deus semper maior[1], повторял я про себя. Это прежде мы находились с Ним в благодушных и не слишком обязывающих отношениях, отношениях торга — ты мне, я тебе. Мне казалось, что если я буду вести себя хорошо, то есть помогать Мамочке (прополка и прочее), не буду драться с сестренкой и братом, а если уж буду, то лишь в исключительно обоснованных случаях, и, когда требуется, буду помогать священнику в алтаре, то Он у меня в руках. Я думал, что так оно и *должно быть*. Что Он будет плясать под мою дудку, потому что играть я буду ту музыку, которую велит играть Он.

Я стал молиться — про себя, чтоб никто не увидел. Но никто и не видел. Вокруг меня не было никого. Никого. Зажмурив глаза, зажав рот и весь сжавшись в комочек, я взмолился: Господи, помоги, смилуйся надо мной!

Смилуйся надо мной. Эти слова сами пришли в голову, точнее, меня натолкнуло на них пронизывающее каждую клеточку тела чувство вины, изумленная паника, смахивающая на боль; я понял, что следует не просить, не клянчить, как прежде, предварительно заработав очки, дающие на это право, а, отбросив всяческие размышления — молить. Умоляю Тебя, не мсти мне, не искушай, не насылай на меня испытаний, дабы узнать, как поведу я себя в беде и снесу ли удары. Я обещаю, что сделаю все, чтобы понять Тебя.

Ну вот, я опять торгуюсь.

На меня накатывают волны дрожи, жара и тошноты, все тело горит. И вдруг неожиданным и потрясающим откровением меня осеняет, что мне никто не поможет, кроме Него, ни отец, ни мать, ни Роберто, ни брат и сестра — только Бог. А мне-то казалось, что это я помогаю Ему, регулярно бывая в церкви. И если Он не поможет, то так и придется жить в этом тошнотворном мраке. Но как я могу в него верить, если Он не такой, каким я Его представлял? Однако что делать — я должен верить, иначе как жить? Но верю ли я в Него, потому что верю или потому лишь, что иного выхода нет и все прочее было бы еще хуже? (Таково мое самое незабываемое впечатление от общения с Богом, и было это 7 ноября года 1956-го.)

Я принял решение, что каждое утро буду теперь просыпаться со словами: смилуйся надо мной! Каждое утро пусть будет это моей первой фразой. Первой мыслью моего сердца, взлетающей к Тебе: Господи, смилуйся надо мной! Я продержался довольно долго, но в конце ноября уро-

1. Бог всегда больше (*лат.*).

ки физкультуры перенесли на восемь утра, и тогда первой утренней фразой стало: где мои кеды?

Где мои кеды? Господи, смилуйся надо мной!

188

Поначалу я перед школой каждый день заворачивал в храм и, стоя на коленях, произносил свои фразы.

— Что-то произошло? — через несколько дней спросил меня патер, которого хорошо знали и мои родители. Звали его отец Жигмонд, но все почему-то называли священника Жиги-биги. Даже Мамочка, которая от такой фривольности всегда густо краснела.

— Я просто зашел помолиться, — сказал я и тоже густо покраснел.

Он ласково посмотрел на меня, кивнул.

— Грех творит веру. — И погладил меня по макушке.

189

Тем же самым движением меня погладил по макушке отец, когда вернулся на третий день домой — в клетчатой рубашке, в разбитых очках и со странными переменами на лице и прекрасном лбу.

Я не смел поднять на него глаза. Потом все же поднял и посмотрел на него. Дублер моего отца, подумал я, потому что благодаря дяде Плюху мы уже знали, что такое дублер.

— Упали, — ответил отец на простодушный вопрос моего братишки, — упали, — сказал он и, сняв очки, покрутил их в руках. Измученное лицо его пересекали поперек три параллельные борозды. Не сердись на меня, Папочка.

192

— Привет, Мати, привет, старина! — обрадовался Юсуф Тот, кустарь-паркетчик, легальный пережиток прошлого, представитель частного сектора (теперь режим мог позволить себе и такое), игравший некогда за левого хавбека в деревенской команде отца; Юсуф с подчеркнутой гордостью говорил отцу "ты"; привилегией этой он пользовался уж не менее как лет двадцать, первым в своей семье, хотя мы (их и наша фамилии) прожили в одном селе не одну сотню лет.

— Как дела, старина?

Мой отец решил не темнить. И потому Юсуф (что прежде едва ли было возможно) хлопнул его по спине, как будто они вместе свиней пасли (это, впрочем, соответствовало действительности, строгие педагогические принципы бабушки вменяли графским детям и это: "один пасет свиней, другой их держит, а третий — сам свинья"), и предложил свою помощь. В душе его встрепенулась не память крестьянского рода, хотя на их отношения все же падала тень украшенного грифоном фамильного герба, дескать, мало ли, может, и пригодится, когда мир вернется в привычную колею (он знал не хуже других, что ничто и никуда не вернется, что ничто и никогда здесь не продолжается, а всякий раз начинается сызнова); свою помощь он предложил не из тайного куража, не из внезапно нахлынувшей храбрости, вот, мол, он, нынешний частник и бывший хавбек Юсуф Тот, чихать хотел на все это настоящее, на мишу-

ру нынешнюю, как-никак, а настоящее — это все, что находится вокруг нас, и чихать на него просто неоткуда.

Юсуф был прежде всего обыватель, кусочек того специфического венгерского крошева, которое здесь осталось после всего ("уж гоняла-гоняла тут политика людей, так гоняла, что перебили в конце концов весь кофейный сервиз на двенадцать персон"); принимая отца на работу, он несколько рисковал, но не слишком, зато риск компенсировался возможностью платить отцу поменьше, чем настоящему пролетарию, — графья с этой точки зрения были рентабельнее.

— Ну что, сговорились? — И отец с Юсуфом ударили по рукам.

О чем они сговорились, отец представлял весьма приблизительно, да и не было у него выбора.

Помощник паркетчика встает ни свет ни заря, в половине пятого, и, взвалив на горб циклевочную машину, отправляется готовить для мастера фронт работ. Поначалу отцу дозволялась некоторая неловкость, и дозволением этим он без зазрения совести пользовался: пережигал в электромоторе щетки, регулярно ломал какие-то рейки и частенько ступал ногой в ведро с лаком. Однако когда он развалил аккуратно сложенную пирамиду заранее подготовленных и подобранных паркетных клепок и попытался, как мог, на глазок, сложить все как было, его друг Юсуф не выдержал, он заявил, что это, черт побери, работа, а не богадельня.

Отец с немой грустью воззрился на своего благодетеля.

Юсуфу беспомощность этого взгляда перевернула душу. Он и не подозревал, что беда столь серьезна. И будучи человеком по натуре добрым (добрым по натуре коротышкой), а это следует понимать так, что зло, в нем имевшееся, без причины он в ход не пускал, Юсуф стал успокаивать моего отца, ладно-ладно, все обойдется. На самом деле он успокаивал самого себя — уж слишком внезапно зависимость и незащищенность отца предстала ему во всей своей неприглядной человеческой обнаженности. К такому он был не готов.

Мало-помалу отец все же стал настоящим паркетчиком. А потом, поскольку Юсуф сменил дело, началась эпоха пластмассы, точнее, изготовления пряжек и пуговиц. Тогда же отец начал и переводить, поначалу только с немецкого, затем с английского, французского, потом также на немецкий, и на английский, и на французский, а там — как придется, с любого языка на любой, работая сперва под псевдонимом — иначе не дозволялось, а дающая кое-какие гарантии безопасности трудовая книжка тем временем лежала у кустаря паркетчика-пуговичника, у старого хавбека. На то он и старый приятель, чтобы можно было на него положиться.

193

Жизнь отца вошла в более нормальную колею. Не в нормальную, а всего лишь в *более* нормальную, ибо главной проблемой все очевиднее становилось именно это различие, и вообще — что такое сама эта колея. Ведь, наверное, все же труднее выдержать то, что мы можем выдержать, чем то, что выдержать невозможно, ибо в первом случае нужно спрашивать у себя, что я выдержу, во втором же, когда нам приходится выдерживать невозможное, вопрос этот даже не возникает — и так спокойнее: твое дело только выдерживать.

Вот тогда-то мой отец стал действительно одиноким. В моей памяти он таким и останется навсегда — отец сидит за письменным столом и печатает на машинке. Стук машинки разносится по мирозданию, заполняя каждый его закоулок, достигает самых дальних его заливов и скрытых впадин, этот жуткий, неумолимый стук скорее напоминает какие-то астматические хрипы и стоны, чем мерные звуки работающего механизма; в этом стуке — признанное поражение, захлебывающийся плач и мольба, которыми полнится весь сотворенный мир, вот оно — последнее полнозвучное слово отца — этот ужасный, ужасно фальшивый, изуродованный, пошлый, дурной, пугающий, заупокойный звук, в котором соединилось все: бессилие, уникальность и полнота бытия.

Подлинным было не то одиночество, которое он испытывал тогда, на бахче, когда он, как равный, мужик среди мужиков, стоял, обалдело уставившись в объектив, — а это, теперешнее. Как и у всей страны, у него не было ничего, кроме настоящего, и к этому одиночеству он никак не мог приспособиться, к этому историческому одиночеству, которое коварным образом стало его судьбой, которое было скроено Господом, словно портным, снявшим точную мерку, лично для него, и когда он заглядывал в эту свою одинокость, в зеркало пожирающего все и вся настоящего, то видел в нем отражение мужчины сорока лет, имярек, которого нет нигде, который ни к чему не пришел, а если он и есть, то — зачем?

С этим его одиночеством мы ничего не могли поделать. Ни один из нас. Ничего. (Взять, к примеру, меня: как же я надоедал ему!..) Видеть себя в зеркале ему было не по себе, лучше часами простаивать в полумраке винного погребка, это было приятней.

Письменный стол, беспрерывное стрекотание пишущей машинки да кисловатый мрак погребка — и все.

194

После того как Мария-Поликсена-Эржебет-Романа — в просторечии танти Мия — запросила (и получила) эмиграционный паспорт, время от времени она сваливалась на нас из Вены (цель поездки — посещение родственников). Гостю радуются, как известно, дважды: когда он приезжает и когда уезжает. И мы радовались, когда она приезжала, хотя для нас это была дополнительная нагрузка: мы должны были снова разыгрывать из себя хороших братиков с упором на благовоспитанность, религиозность и успехи в учебе. Все это мы делали скорей по привычке, чем по вдохновению, но кислых мин при этом не строили, за что мать была нам — неожиданно — благодарна. Дело в том, что визиты тетушки были в некотором смысле контрольными и для родителей: достойно ли *держимся* мы на вражеской территории, стоит ли еще *твердыня*. Это вызывало некоторое напряжение, ибо напоминало родителям о вещах, о которых они и хотели бы и не хотели вспоминать. Отец, которого это касалось в первую очередь, тут же переходил на нашу сторону, делая вид, что он "никому ничего не должен" и "после него хоть потоп". По части *сохранения* формы семья моего отца, будучи сама формой, выдающимися способностями не обладала, поскольку не умела взглянуть на дело со стороны. Сохранение как задача досталось на долю матери, и с задачей этой она справлялась как полагается. Как полагается — смело, дрожа

от страха, не отступая. Что все остальные ничтоже сумняшеся принимали как должное.

Со слепотой тети Мии шутить, как мы шутили с бабушкиным склерозом, было невозможно. Над бабушкой мы от души и подолгу забавлялись, мать при этом никогда нас не одергивала, и мы полагали — совершенно ошибочно, — что молчание ее — знак согласия.

— И как вам только не совестно! — говорила она нам потом со сверкающими в глазах слезами. Но нам все же было не совестно.

— Пусть Боженьке будет совестно! — шептала нам сестренка, но мы думали, что это уж слишком, и испуганно на нее шипели.

В слепоту тети Мии мы не очень-то верили и не смели строить ей рожки даже за ее спиной. Присутствие тети Мии вообще благотворно влияло на наши манеры, и когда она уезжала в Вену, которая в те времена была от нас столь же далека, как, скажем, Луна, то после нее оставалось именно это — облагороженные манеры плюс радость, что гостья наконец уехала.

195

А еще — полагавшиеся иностранным визитерам купоны. Заграничные родственники обязаны были покупать купоны, использовать которые они могли лишь в нескольких избранных — в основном будапештских — фешенебельных ресторанах. Это правило обойти было нельзя, даже если гость такой, как Мария-Поликсена, получал стол и кров в семье родичей.

— Угодничает и обдирает, — с задумчивой ухмылкой пересчитывая купоны, как будто огромные миллионы, сказал отец. — Отвратительная у нашей страны традиция, низкопоклонствовать перед иностранцами и грабить их. — Отец говорил таким тоном, словно он сам их и грабил.

Как бы то ни было, грабеж уже состоялся, на нашу долю оставалось снять пенки с низкопоклонства. Sabrat' urozhai, как учили нас в школе на уроках русского. Не пропадать же купонам. Никогда я не видел отца таким ослепительным, сильным и благодушно веселым, как во время этих воскресных нелегальных (или, как он еще называл их, партизанских) семейных обедов.

— Also! — уже с утра отдавал наш отец команду. — Auf, auf zum fröhlichen Jagen, kleine[1] мерзавцы, вперед, дети мои!

Во время веселой охоты говорить, точней даже — беседовать, разрешалось исключительно по-немецки, в этом и заключалась гениальная в своей простоте идея сбора урожая: мы выдавали себя за иностранцев. Было ли это опасно, не знаю; наверно, не очень. В принципе, может, и было, но не было принципов, а в такой ситуации все что угодно могло иметь какие угодно последствия — в принципе; мир, в котором мы жили, начинал становиться весьма и весьма практичным, принципы больше не руководили практикой, но — на практике — все-таки постоянно ей угрожали. Мы обманывали государство, что при социализме считается смертным грехом, но этот социализм отличался именно тем, что о смертных грехах как бы вовсе не ведал. Короче, проблему можно было

1. Значит, так!.. вперед, вперед, на веселую охоту, маленькие... (*нем.*).

решить, прочтя пару раз "Отче наш". (При том, что в костях еще отдавался недавний разгул взбесившейся инквизиции...)

Кстати, церковь тоже по-своему приспособилась к этой ни шаткой ни валкой жизни. Приходский священник отнюдь не обрадовался, узнав, что мать, единственная из родителей, записала нас в школе на занятия по Закону Божию.

— Милостивая государыня...

— Не называйте меня милостивой государыней!

— ...не стоит гусей дразнить, вы меня понимаете, милостивая государыня?

Мать его понимала и в то же время не понимала.

— Он прав, — афористично подвел итог отец, — говну пощечину не влепишь.

В купонные воскресенья все мы были воплощенной свободой. Тайным свободным обществом. Правда, для этого мы должны были предавать себя, не быть самими собою. Но нам было все равно; мы с гордым видом входили, к примеру сказать, в "Карпатию" — чего уж тут мелочиться.

И навстречу нам... навстречу нам выползал угрюмый, убогий, несчастный... нет, не официант, а труженик общепита, пария, позор профессии. Тащился мрачно и с жаждой нам отомстить — в данный момент только эта жажда хоть как-то связывала его с ресторанным делом, — но, прежде чем он успевал выместить на нас все свои невзгоды, инициативу перехватывал отец, который будто на крыльях врывался в зал, полы его пиджака раздувал вешний ветер, и мантия буквально парила за ним.

— Grüß Gott![1] — на весь ресторан кричал он, и мы со смехом вторили ему: — Грюсси готт, грюсси готт!

Чего стоило само это слово "Gott"! Даже мать, усмехаясь, повторяла его, как эхо: готт, готт. Имя Господне звучало не шепотом, как бы случайно сорвавшись с языка — лишь бы кто не услышал, но чтоб до Боженьки все-таки долетело, — а во весь голос, открыто, нормально. Мы еще и к столу не подошли, а наш отец уже легализовал Боженьку, сделал его бытие совершенно естественным. Причем сделал словно бы между прочим, без натужного героизма католического сопротивления (несуществующего), не смело и не боязливо, а с веселостью веры, неоспоримо.

Будапешт тогда был уже городом исчезающим, теряющим память, куда-то вдруг подевавшимся — непонятно было, где он, откуда явился, куда держит путь. Но несколько ресторанов чуть-чуть приотстали от города и людей; "Карпатия" была одновременно и напоминанием об утраченном мире, и пошлой самопародией, которая уже ни о чем не напоминала, а только тыкала человека (или отца его) носом в прискорбное настоящее.

Однако свобода порождает свободу. И в приближающемся к нам убожестве вдруг пробудились и вчерашние, и сегодняшние рефлексы. С одной стороны, рефлексы официанта, который, пусть и не всех без разбору, но самых значительных, особо важных гостей сразу же замечает, и внутри у него начинают звенеть колокольчики, серебряные звоночки снобизма и рвения, забытые, подавленные им самим отголоски профессиональной гордости и достоинства; но, с другой стороны, пробуждаются в нем и рефлексы жалкого порождения новой эпохи, пробуждается

1. Южно-немецкое и австрийское приветствие.

хам, ворюга и мелкий жулик, завидевший на горизонте потенциальную жертву.

Услышав немецкую речь, он, быть может, и не вскочил бы так прытко — мало ль шляется тут немчуры гэдээровской, гутентагов второсортных, уж лучше чехи, пражские господа-пивохлебы! А гутентагам этим надо сразу давать отворот, видерзейн, пожалуйте в самообслугу! Но тут, мама родная, тут вовсе не гутентаги пожаловали, а всамделишные, натуральные кумовья-австрияки, камон эвриболи, хотя пиджачок на австрийце мог бы сбить с панталыку и опытного человека, уж больно похож на продукцию швейной фабрики "Красный Октябрь", м-да, вот он, Запад, рафинированная простота, вроде то, да не то, по пиджачку судя, этот тип и венгром мог бы быть, сегодняшним, современным венгром, но — поступь, энергия, весеннее развевание пиджака, так могут входить только иностранцы, сегодняшний венгр либо квелый какой-то, пиджак на нем как на вешалке, будто палый осенний лист, либо — новый, из грязи в князи, барин, на котором и пиджака-то не видно, только спесь, только гонор, до двери-вертушки его чуть не под руку провожает шофер; а этот — какой лоб, какой череп, такие только за Лейтой рождаются, и вот он уже раскланивается перед нами, яволь, биттешён, прошу, голубчики, прошу, битте плац, наилучшее место, коммен зи, вот сюда, Фери, бляха, живо тащи меню!

— Vati! Vati! Was bedeutet Feri pliaha?[1]

— Перебор, — шипит нам "под партой" отец.

197

Благодаря этим купонным вылазкам родители наши на практике могли убедиться в пользе изучения иностранных языков. А мы и не сопротивлялись, болтали вовсю, тем более что у отца не было возможности нас поправлять. Обычно он поправлял всех: корректно, вежливо и неумолимо. Организм его, видимо, не переносил неправильного склонения. У него начиналась желтуха. (Или это от выпивки? Шутка.) Не щадил он и мать, поскольку дело было, собственно, не в ней, а в склонении. И теперь он, со злодейской надменностью, разгуливал в темном лесу всех этих der, die, das, не боясь заблудиться.

Самой верной картой в этом обмане были, разумеется, мы, дети. И, честно сказать, главное тут — не знание языка, а штаны. Родители, наряжая нас холодным ветреным мартовским днем в кожаные портки, били наверняка.

Кожаные портки — вещь весьма специфическая и здоровому венгерскому духу, в том числе и нашему, изначально чуждая, подозрительная. Но зато, подобно плащу из болоньи или, положим, джинсам, — западная. Кожаные так кожаные — джентльмен не привык удивляться. Хотя с какой стати я должен чувствовать себя отпрыском какого-нибудь баварского фермера, от которого несет навозом?

Короче, мы их носили. И надо сказать, что подлинное свое "я", всю свою индивидуальность кожаные портки проявляют, когда их носят. Бывают они двух типов — гладкие и шершавые. Мой братишка был обладателем гладких, я — шершавых, ну а насчет сестренки уже не помню — помню только, как забавно торчали из этих штанов ее тоненькие, будто

1. Папа! Папа! А что означает "Фери бляха"? (*нем.*)

паучьи лапки, ножонки. Описываемые штаны имеют одно замечательное свойство — не пачкаться. Этого они не умеют, не могут, это не их философия; если грязь на матерчатых брюках выглядит просто скандалом, на джинсах — спустя какое-то время — иллюзией грязи, то здесь это благородная патина. Какое сладкое наслаждение — прилюдно и с полным правом вытирать грязные или даже жирные руки о штаны!

— Так принято! — затыкали мы рот сомневающейся матери, при этом ссылаясь (генеалогически не совсем корректно) на австрийскую ветвь семьи. И штаны со временем созревали. Время, воплотившееся в красоту, — вот что такое кожаные штаны.

Проедание купонов считалось нравственным долгом ("не этим же оставлять!"), поэтому выбирать приходилось самые дорогие блюда. Поначалу мы чувствовали себя неудобно — джентльмен не разглядывает правую сторону меню...

— Если только, — воздевает палец отец, — он не имеет проблем с ликвидностью! Но это проблемы временные!

...В конце концов нами овладевает неведомое сладостное ощущение: головокружение от богатства. Ничего подобного мы раньше не испытывали, но привыкли довольно скоро. Богатство, как и бедность, быстро усвоили мы, накладывает на человека ограничения, и мы, например, не могли заказать овощной гарнир без мяса, а, скажем, только оленину на вертеле, что, разумеется, ущемляло нашу независимость — ну и ладно, пусть ущемляет! Родителям мы дали понять, что если они по каким-то принципиальным соображениям еще не решили, что богатым быть лучше, чем бедным, то для нас вопрос ясен.

Решено было даже лягушачьи ножки отведать!

Я был всецело за, брат категорически против, сестренке было до лампочки. Мы даже песенку вспомнили подходящую, но поскольку она была не на том языке, нам велели замолкнуть.

— У Вирагов свет в избушке, жарят на обед лягушку, ту-ру-рум, ту-ру-рум, ту-ру-рум, шурум-бурум!

Мы-то думали, что эти Вираги бедные. Песня ведь как-никак — народная!

— А лягушка-то тухлая, — бросила вдруг сестренка, как ребенок из анекдота, которого до пяти лет считали немым. Мы потянули носами — и правда. С этим вынужден был согласиться даже отец, для которого несвежих продуктов вообще не существовало, он с удовольствием поглощал остатки вчерашней-позавчерашней еды, подгулявшие соусы, скисшее молоко и попавшие под подозрение яйца. Насчет яиц у матери было твердое мнение: несъедобно не только протухшее яйцо — достаточно подозрения, что оно несвежее.

— Все верно, оно должно быть не только идеальным, но и, как жена Цезаря, вне подозрений, — усмехался Папочка и пожирал подозрительное яйцо. Яйца он ел каждое утро и имел на то полное право, поскольку холестерина тогда еще не существовало.

Лягушачьи лапки, бедняжки, воняли. Возможно, в ресторане испортился холодильник, знаменитый "Саратов". Дома у нас тоже стоял "Саратов", гремел он, как трактор. Но какое значение имеет грохот, говорил отец, когда главное в холодильнике — холод, а по холоду русские хоть кому дадут сто очков вперед. Мать только пожимала плечами. Отсталая женщина — в душе она выступала за "Бош". Возможно, что холодильник тут был ни при чем, и лягушки — из революционных, а может,

контрреволюционных соображений — протухли сами, лишь ради того, чтобы повредить доброй репутации социализма.

И цели своей достигли.

Наша мать, как всегда в таких случаях, хотела бы обойтись без скандала, но этого не хотел отец. Позднее, дома, мы с братишкой безуспешно репетировали тот легкий и в то же время весомый, элегантный и угрожающий, якобы ничего не значащий и в то же время изничтожающий жест, каким Папочка подозвал официанта и бросил ему какие-то слова, после чего тот с раздраженной и перепуганной миной умчался прочь и вскоре вернулся в сопровождении толстого и солидного человека.

Отец, сидя в невозмутимо царственной позе, держал паузу. Мы притихли, опасаясь, как бы Папочка не вышел из роли. Он подмигнул нам. Мамочка первничала, что передалось и нам, не считая сестренки, любопытство которой всегда подавляло все прочие чувства.

— Это исключено, mein Herr, — еще издали затряс головой толстяк. Он производил впечатление человека, привыкшего повелевать, из той породы людей, с которыми лучше не связываться. Но что отец наш — из той же породы, мы видели впервые. — Совершенно исключено, mein Herr! — По-немецки он говорил довольно прилично и теперь ждал ответа отца. Мы — словно в кино, смотрим крутой боевик. Наш герой сталкивается с достойным противником, с настоящим, махровым мерзавцем, они смотрят друг на друга в упор, у нас от волнения перехватывает дыхание.

Отец элегантным жестом указывает на земноводных. Неприятель спокойно обозревает лягушек (мой братишка, кретин, начинает колупать свою в своей тарелке вилкой, мать шлепает его по руке) и смотрит вопросительно на отца:

— Nun ja?![1]

— Nun?! Ja?! Это вы говорите?! — заорал отец и, взвизгнув стулом, отъехал от стола; все уставились в нашу сторону. — Это все, что вы можете мне сказать, nun ja?.. это все, что может метрдотель, не так ли?.. фешенебельного, не так ли?.. будапештского, или это не Будапешт?.. ресторана... ответственное лицо... знаток своего дела... настоящий гурман, не так ли?.. черт возьми, что там было в начале фразы?!

Наш отец бушевал на вульгарнейшем венском диалекте, так что вряд ли кто понял хоть слово из всей его арии. В наступившем безмолвии он повторяет свой легкий жест:

— Вуаля, der Gstank! Воняет!

Мерзавец с величайшей осторожностью, словно необезвреженную мину, приближает к носу тарелку.

— Nun ja? — улыбается отец.

— Перебор, — верный сын своего отца, вздыхаю я (тычок в бок от матери).

Решив не перекрывать противнику пути к отступлению, отец удовлетворенно кивнул, услышав от метрдотеля, что тот не находит в продукте никаких изъянов, но, разумеется, просит прощения у гостей, на что отец кивнул еще более удовлетворенно.

— Подарок администрации, — проскрежетал метр, и велел подать нам рагу из залайских раков с укропной подливкой, и этим жестом чуть

1. Что случилось? (*нем.*)

было не выиграл поединок, оставив нас с нашими купонами, но отец тут же заказал шампанское.

— Советского, друг мой, потому что советское — самое лучшее, или я ошибаюсь? — и он подмигнул официанту, который ответил ему таким каменным выражением лица, что каменней не бывает.

Победа! — это чувство передалось всем нам.

— Только не увлекайся, Мати, — время от времени спохватывалась мать, но сама тоже немного выпила.

В конце обеда, уже после кофе, отец с озабоченным видом подозвал официанта, тот угодливо подскочил, про себя проклиная его, — ведь тухлых квакушек повесят на них, разнос будет дикий, но до выговора дело, конечно же, не дойдет.

— Jawohl, Herr Doktor! — Тут явно звучало влияние Вены, где "Herr Doktor" — любой мужчина, а уж в очках тем более.

— Вот что, друг мой, настал момент, когда обязательно нужно чего-нибудь выпить.

— О-о! (Мамочка.)

— Nicht o-o, — и взглянул на мать таким фантастическим взглядом, что та сразу обо всем забыла, точнее, сразу все вспомнила, вспомнила того далекого стройного юношу, при виде которого всю ее охватывала дрожь. — Словом, друг мой, бутылку доброго коньяка, но только сию же минуту, — и хлопнул гарсона по заднице, как конягу, пошел, мол, пошел! — Вдарим по коньячку, — сказал он и со вздохом еще раз взглянул на мать. Та, окончательно забыв о строгости, в том числе и языковой, изъявила готовность вдарить. Или хотя бы пригубить рюмочку.

— Пригубь, голубушка.

— И я, я тоже хочу пригубить, — заверещали мы.

Ну а добрый коньяк требует, как известно, и доброй сигары.

— В этом деле, дружище, мы можем рассчитывать только на Кубу, оплот мировой революции! — Он томно прикрыл глаза. — О, эти жирные исполинские ляжки! На которых эти сладкие бабы-кубинки, эти грандиозные тетки скатывают сигары! И не сомневайся, дружище, аромат, этот уникальнейший аромат кубинской сигары — отсюда, от этих потрясающих ляжек! — Ассортимент оказался на́ удивление богатым, и отец, попижонив немного, остановился на "Inter Muros Grandioso", любимых сигарах Фиделя Кастро. — Вообще, Фидель этот — молоток, далеко пойдет. Ein Mörder[1]. Inter Mörder Grandioso...

"Вот сука, еще измывается! Да ты сам-то кто? Чего ты тут из себя строишь? Тоже мне фраер нашелся, фараон египетский!.. Ты думаешь, я не понимаю, что ты лопочешь? Выпендриваешься, провоцируешь тут все время! По какому праву? Потому что у тебя, бляха, денег навалом, а у меня ни фига? Ну и что с того? Что ты мне здесь мозги компостируешь, про русских да про Москву, про оплот мировой революции, будто я идиот последний? Мне эти русские вместе с Москвой их до фонаря, точней, не до фонаря, потому что они сюда будут бабки гнать, им так дешевле обойдется, не стрелять же все время, кормить нас будут они, а не вы, мудаки! Где вы были в 56-м? Да нигде! Хрен знает, где вы тогда были! Австрияки? Какие еще австрияки? Да нету давно никаких австрияков и венгров нету! Что значит австрийцы? "Рапид" да "Аустрия"[2], что ли?

1. Убийца (*нем.*).
2. "Рапид" и "Аустрия" — известные австрийские футбольные клубы.

Когда-то были да вышли все, я знаю, мы проходили, 150 лет под турками, 400 лет под Габсбургами, вот и все, бля, но я на тебя, мудака, не сержусь, отобедаешь – раскошелишься, если уж очень хочется барина из себя поломать, так за это платить полагается, жаль вот только, не удалось тебе втюхать лягушек, которых Йожи забыл в холодильник поставить, а то бы мы тебя в одно место поцеловали! Впрочем, раки-то не свежее были, да мы их укропной подливочкой освежили, ну да ладно, сойдет и так, лабанц мой дорогой, немчура поганая!" – подумал официант и любезно раскланялся.

Провожал нас весь персонал ресторана, стороны выразили взаимное удовлетворение визитом; выходя, мой братишка споткнулся о складку роскошного ковра, упал на колени и заблажил... по-венгерски. Но это уже не имело никакого значения.

– Ах, как быстро *прилипает* к моим мальцам этот ваш изумительный, странный язык! Ничего, будут вам еще лягушачьи лапки, ohne tru-la-la, n'est pas?[1] – и отец, как заправский пастух, погнал нас, пошли-пошли; мы, все пятеро, ухватившись за руки, побежали, скорей даже полетели цепочкой к выходу, на улицу, носящую имя Лайоша Кошута.

Мы реяли за отцом, как полы его пиджака.

198

Оказавшись на улице Кошута, отец неожиданно останавливается.

– Ангелочки мои, – напевает он так завораживающе, что сердце у нас обмирает, – отправляйтесь-ка вы домой, вот к услугам вашим шестой автобус, превосходный транспорт, а у меня еще есть дела.

Мать взирает на него как на убийцу, разбойника, последнего негодяя. Мы невольно отступаем назад. Отец, делая вид, будто не вникает в истинный смысл ее взгляда, с энтузиазмом пускается в смутные рассуждения о том, почему ему непременно надо заскочить к Юсуфу, которого, кстати, мы могли бы навестить и все вместе – почему бы и нет?

– Что, собаки, пойдете со мной?

– Да, да, – завопили мы, идиоты.

Мать стояла как каменная. Смотреть на нее было тяжело.

– Ну что ты, малышка, на меня так смотришь? Ты права, абсолютно права, чего вам там делать? Занудные финансовые переговоры, хуже того, надо подать какую-то бумагу в КИШОС[2], а это большое дело, да вы и понятия не имеете, что такое КИШОС, понос, перекос, донос, короче, дело серьезное...

– Насос, – вдруг встревает сестренка.

– Во-во, – печально кивает вдруг Папочка.

В этот момент наша мать, мобилизуя все силы своего красноречия, начинает его уговаривать, не надо, мол, этого, такое прекрасное воскресенье, и прочее, но вдруг умолкает на полуслове, не зная, по какому пойти пути, что выбрать – сказать все, что думаешь, угрожать, унижаться? Между тем выбирать тут нечего, любая комбинация этих средств обречена на провал. Однако ни мудрость, ни опыт поражений – ничто не может лишить нас надежды, а вдруг все же существует какая-то хитрость, уловка, способные обойти *пьяный ум.* Однако перехитрить его невоз-

1. Только без тру-ля-ля (*нем.*), не так ли? (*франц.*).
2. КИШОС – аббревиатура Венгерского союза мелких предпринимателей.

можно. В том-то и есть главная особенность (тяжелого) опьянения — в этой зыбкости, неухватности, волшебстве, эфемерности, призрачности и мерцании.

Наш отец как призрак?

И вот сей (фиктивный, воображаемый) призрак разворачивается на сто восемьдесят градусов и исчезает из кадра — никаких просьб, мотивации, объяснений, ничуть не бывало. Мать бросается вслед за ним, мой братишка срывается было с места, но я удерживаю его за шею, говорю ему, стой, говорю таким тоном, что он застывает на месте. Мы наблюдаем, как двое взрослых размахивают руками, звука нет, все как в немом кино. Наша мать, улыбаясь, возвращается к нам.

— У отца появились дела, ну а мы — живо, живо — домой...

Что касается — сказать все, что думаешь, то, как мне довелось убедиться позднее, ни к чему хорошему это не приводит.

200

Отец, привалившись к стене собора (францисканцы), готов уже съехать на землю, но мать, подскочив, осторожно усаживает его на паперть, голова его то и дело падает, словно в шее отсутствует некая мышца (кивательная или как уж ее назвать?), мать старательно поднимает голову, пока ей не удается прислонить ее к стенке. Непонятно: то ли стенка держит отцову голову, то ли голова поддерживает стену собора? Лоб отца лоснится от жирной испарины, волосы, как воробьиные перья, взъерошены. Выудив из глубин своей сумки носовой платок, мать набрасывает его на лицо отца. Мы смотрим, нам это надоело.

Как говорится, ситуация яснее ясного.

Неожиданно до нас долетает кисловатый и резкий запах нашатыря, мы пятимся, возвращаемся, но запах не исчезает.

Наш отец как бесцветный и не имеющий запаха, отвратительно пахнущий газ.

Но вот он приходит в себя. Нас он не видит, встает, смахивает нас с себя, выныривает из пиджака. Рубашка выбилась из брюк, полощется на ветру.

И вдруг пускается в пляс.

Он вытягивается, одна рука полусогнута над головой, другая заложена за спину, голова гордо вскинута; на венгерский манер, вспоминая пастушьи костры праотцов, он кружится, все быстрей, все стремительней, притопывая, плечи развернуты, волосы развеваются, мать от страха сливается с церковной стеной.

Особого внимания на отца никто не обращает, бросают беглые взгляды, подумаешь, пьяный куражится, какой-то алкаш.

— Пошли! — отделяется мать от церковной стены, швырнув в сторону пиджак отца. — Нечего нам тут делать! — и хватает нас чуть ли не под мышку, тащит в сторону отеля "Астория".

Из объятий матери освобождаюсь не я — я помалкиваю, пусть не согласный, но все же покорный, — а мой младший братишка, который, даром что маменькин сыночек, идет обратно, к отцу. Тот вращается в бешеном темпе, топает, будто танцует чардаш с неким привидением. Мой братишка сперва наблюдает за ним, потом делает одно-два несмелых движения, приноравливается к ритму отца и втягивается в танец, в его бешеное кружение. Они сходят с ума, я вижу, что этот темп не под силу

братишке, но он вдруг начинает сам вести танец, диктовать темп и, как разгоряченную лошадь, успокаивать отца, но-но, потише-полегче, вот так-то, спокойней, мой дорогой Зульфикар, спокойней, хороший конягa, вот так, хорошо.

Они останавливаются, запыхавшиеся, мокрые. Что дальше? Отец вдруг пошатывается, братишка подхватывает его и, будто мешок, волочит назад, к церковной стене. Отец садится. Постепенно приходит в себя. И усталым, исполненным благодарности взглядом смотрит на сына, моего младшего брата.

— Пошли, папа.

Не-е, — упрямится мой отец, — поди лучше ты ко мне.

Братишка робко подсаживается поближе, отец, зажмурив глаза, будто греясь на солнышке, дает брату понять: ближе, ближе. Братишка, жалея уже обо всем, вновь переходит на сторону матери и оглядывается, он уже рад бы присоединиться к нам. Отец, едва приподняв ресницы, наблюдает за тенью брата (это самое большее, что он замечал, глядя на нас) и внезапным молниеносным движением, словно змея гремучая, обрушивается на брата, хватает его — тот от страха не может ни вскрикнуть, ни зареветь, хотя именно этого ему хочется сейчас больше всего, — и прижимает, притискивает к себе, обнимает. Братишка от страха и злости пыхтит и, прижатый к груди отца, таращится на оказавшуюся у него перед носом желтовато-грязную стену церкви. Отец гладит его по вихрам.

— Мой малыш.

— Нечего меня гладить! Вы лучше погладьте... — Эту фразу закончить еще никто никогда не осмеливался.

— Ты спрашиваешь, в чем дело, старик?

— Нет! Нет!

Теперь отец успокаивает и ласкает брата. Спрашивает, видит ли он на стене собора доску. Вот эта черта показывает, насколько поднялась вода во время наводнения 1838 года. У острова Чепель тогда возник ледяной затор, и вода хлынула в город. Короче, они, стоя здесь, оказались бы под водой, и самое умное, что им следовало бы делать, — шевелить жабрами; а рядом с их головами плавали бы рыбы, жирные карпы, подлещики шустрые да ледяное крошево, а сверху виднелись бы днища баркасов и, может быть, даже небо, какая-то синева, процеженная через воду; а еще мы увидели бы с тобой героического Мику Вешшелени[1], опять-таки снизу!

— Шевели, шевели жабрами, сынок, без кислорода тебе конец... Да, старик, хорошо нас умыли, нету, брат, ни тебя, ни меня, не говоря уже о твоей матушке, нету церкви, а площади Освобождения и подавно, единственное, что нам осталось, это, видимо, жабры... или... лапки протухшие лягушачьи... кстати, я с твоим дедом когда-то едал их в венском "Бристоле"... вот были лапки так лапки... Твой дед был гурман, а я любил просто пожрать. Или — или.

Он задыхается. Братишка испуганно смотрит по сторонам.

— Сенткутская ярмарка! — вдруг кричит мой отец. — Оглянись! Чем тебе не сенткутская ярмарка?! Сейчас я тебе спою.

1. Миклош Вешшелени (1796—1850) — венгерский аристократ, известный деятель эпохи реформ 1820—1840-х гг., особую популярность приобрел, самоотверженно спасая жителей Пешта во время крупного наводнения 1838 г.

И прежде чем мой братишка успел открыть рот, он запечатывает ему уста своей огромной прекрасной отцовской ладонью.

— *Мы в Сенткуте погуляли от души...* — "у" звучит у него долго и как-то визгливо. — Погуляли, ты понял?.. *Оглянулись – ни копя, ни упряжи...* Все украли... ничего нет... даже воспоминания не осталось... со всей упряжью... понимаешь?.. Ты думаешь, хорошо бы все унаследовать?! Да, наследовали мы, наследовали... а черт все и уволок. — Он поднимает братишку. И холодно глядит на него. — Сколько тебе годов? Ну да это не важно. Я вижу, тебе хочется графом быть. Ты любишь повелевать... и будешь повелевать... или только мечтать об этом... А я это ненавижу! Вот отец мой, тот повелевать умел, без единого слова, одними бровями. Ему достаточно было подняться, достаточно было встать! Что было, то сплыло... Но все это ерунда... Вот чего вы никогда не поймете... Я, конечно, не говорю, что забрали и правильно сделали! Чего уж хорошего, когда гостиную превращают в коровник? Ни мне, ни коровам от этого вовсе не легче... Все-все, до последнего гвоздя забрали... всю страну... да как ловко! Как будто страна сама себя обокрала... Вот она и не восстает, а только пытается, все пытается хоть чуть-чуть приподняться.

Он опускает братишку на грудь.

— Забрали, забрали все... Кто забрал? Да нету здесь никого, кроме нас, все, что есть, это мы... *Но у тяти, хм...* – он умолкает, — не буду произносить, не лыбься, это ты можешь, ты лыбишься лучше всех из моих детей... короче, сам понимаешь, о чем идет речь, рифмуется с "куй"... *Но у тяти, хм, большой, что твой багор, нас на родину он запросто допер*[1].

201

При слове "родина" он вдруг вскакивает, как будто обрел решение, как будто и в самом деле мы нашли транспорт, который домчит нас до дома. И покорно идет вместе с нами. Мать, словно строгая и недовольная нами учительница, шествует впереди. И все же, когда мы входим в квартиру, то видим, что отец сидит за своей "Гермес-бэби", за машинкой, строчащей, как пулемет; отец бьет, колошматит клавишы, и из машинки летят и летят слова, летят, опускаясь на белый бумажный лист, одно за другим, — слова, до которых ему дела нет, не было никогда и не будет.

1. Слова песни даны в переводе Ю. Гусева.

Иберийская мозаика

Песенная поэзия Испании

Перевод с испанского и вступление Анатолия Гелескула

На заре ушедшего тысячелетия произошли два события, таких неприметных в европейском водовороте войн, мятежей, ожидания конца света и прочего. Но ростки двух этих горчичных зернышек пронизали всю толщу тысячелетия и продолжают расти. На пороге XI века в Италии возникла нотная грамота — те самые пять линеек и двенадцать полутонов, что дожили до нас и нас переживут. А в Испании было записано первое лирическое стихотворение. Оно старше эпических песен о Роланде и Сиде, на столетие старше первых трубадуров, и с него начинается документированная история европейской лирики. Вообще-то говоря, европейская (и русская) поэзия, да и музыка, вправе праздновать тысячелетний юбилей.

Записанные арабской вязью строки на староиспанском языке, четверостишие о ком-то до того любимом, что на него больно смотреть, было цитатой в мавританской поэме. Надо сказать, восьмивековое противостояние Востока и Запада на полуострове оказалось не столько кровавым, сколько благотворным. Пока люди воевали, культуры роднились: испанские университеты приглашали иноверцев, в церквах распевали мусульманские музыканты, кастильские правители носили титул "короля трех религий", а через растревоженную войнами Испанию вел на север Великий книжный путь. Авиценна и Аверроэс, арабские сказки и суфистские притчи шли не в костер, как веками позже, а в бережные руки толедских переводчиков. Церковь корила рыцарей за то, что арабским владеют лучше, чем латынью, а в мавританских садах звучали испанские песни. Одну из них, упомянутое четверостишие, и включил в придворную оду гранадский поэт Юсуф аль-Катиб. Первые европейские стихи о любви были и первой фольклорной записью — фольклористика тоже вправе праздновать юбилей.

Не затягивая эту невольную историческую справку, лишь добавлю, что еще четыре века мавританские поэты цитировали испанские песенные строфы. Последний раз завершают они поэму ибн-Луйюна в уже осажденной Гранаде — арабской вязью чертит он испанские строки, печальные строки о ком-то, кто не вернется: "Оставит ли хоть поцелуй на прощание?"

Испанская песня дарила дряхлеющей арабской поэзии свежесть и непритворность переживания. Зато восточная традиция научила испанцев беспримерному в Европе лаконизму, умению спрессовать переживание в трех-четырех, даже двух строках. Народные певцы брали эти обособленные и внутренне завершенные строфы, словно камешки мозаики, и сочетали их в песню не по сюжетному сходству, а по велению сердца. К тому времени, когда испанская "книжная" поэзия еще только училась говорить, народная традиция была уже зрелой и отточенной, и за этой отточенностью стояли века стиховой культуры. Вообще устная поэзия намного старше и долговечней письменной, это прописная истина. И все же судьба народного искусства в Испании вплоть до последнего времени бы-

© А. Гелескул. Перевод, вступление, 2002

ла необычной. Связь испанской поэзии с народной мало похожа на отношения Дон Кихота с его оруженосцем. Это любовь, но любовь равного к равному, и всегда с оттенком соперничества. Испанским поэтам было с кем соперничать. И недаром у такого утонченного аристократа, как Гарсиласо де ла Вега, за итальянской грацией эклог и сонетов порой проступал деревенский загар, а в певучей буколике однажды вырвалось (и вошло в поговорку) мальчишески озорное:

Для меня была моя услада
слаще яблок из чужого сада.

Испания разнолика и разноголоса. Местный патриотизм, возникший еще в пору освободительных войн, порой делает соседние провинции фольклорно обособленными, как два европейских государства. Не обязательна пространственная разобщенность: на одном клочке земли звучат андалузские севильяны и серраны, у них одна стиховая форма, но два ее песенных облика разнятся не меньше, чем песня голландская и грузинская. "У каждой провинции, — писал Гарсиа Лорка, — есть устойчивое песенное ядро, ее неприступная крепость, и целое войско бродячих песен, которые идут в набег и гибнут, растворяясь на крайнем рубеже своего влияния. Можно составить мелодическую карту Испании. И различить ту прочную основу, что скрепляет иберийскую мозаику". Нескромно такой звучной цитатой предварять небольшую подборку переводов, но хотелось бы дать какое-то представление о довольно характерных песенных формах. Спору нет, услышать песню, глядя в текст, да еще переводной, крайне мудрено. Однако испанская поговорка гласит: "Кто забыл слова, не вспомнит мотива". При всем богатстве и красоте мелодий испанским песенным миром правит слово.

И еще хочется, чтобы в песнях угадывалась не та, знакомая нам понаслышке, сумрачная Испания, угрюмо решающая загадку жизни и смерти, а другая — та, что сеет хлеб и пьет вино, смеется и скандалит, ревнует и любит. "Любовь — дело молодое", — сказала однажды Анна Ахматова. Песня — тоже. И не диво, что звонче всего поется о любви, то есть о жизни. Но испанская песня избежала лирического однообразия, перебрав, наверно, все оттенки любви, от нежности до ненависти. Волны мелодий несут эту россыпь укоров и угрызений, проклятий и признаний, смягчая горькие строки танцем, а лукавые — стойкой печалью.

Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия... —

говорит пушкинский испанец. И он прав.

Кастилия и Леон

Коплы[1]

Когда ходил я, бывало,
по крайней улице к полю,
в окне ты птиц вышивала,
а я пускал их на волю.

1. Копла – четверостишие-восьмисложник, излюбленная стиховая форма самых разных испанских песен, от арагонских до андалузских. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Тебя поутру увижу,
да так и брожу весь день,
как будто ношу корону,
надетую набекрень.

Тебя я такой любовью
люблю на беду свою,
что полюби я Бога,
давно бы гулял в раю.

Подруга, не верь мужчинам,
заведомое жулье.
Сегодня они вздыхают,
а завтра возьмут свое.

Хота

Не велит мамаша
мне гулять, бедняжке,
а виною мельник
и его замашки.

Не велит ни утром,
ни тем паче ночью.
Как вернусь, от юбки
остаются клочья.

***

Когда придешь на хутор,
не жди рассвета.
Кинь камешек в окошко
и только в это.
Нечаянно промажешь —
добра не будет,
а камешек залетный
меня разбудит.
Кинь камешек в окошко
и жди украдкой.
Девичий сон под утро,
он самый сладкий.

Песня углежога

Жаркие угли,
низкие цены.
Черного дуба
угли отменны.

Мнется хозяйка
не без причины.
Сплошь ненадежны
нынче мужчины.

Женщинам веры
нет и подавно.
Угли надежны,
жгу их исправно.

Да и надежды
не забываю,
те, что питаю
и не скрываю.

Астурия

Хирардильи[1]

1

Кому везешь ты воду,
лихой возница?
Звенит и днем бубенчик
и ночью снится.

Кому везешь, возница,
дар родниковый?
И днем и ночью слышу
твои подковы.

И день и ночь бубенчик
тревожит душу?
Так подойди к окошку,
взгляни наружу.

2

Когда вступил я в танец,
ворвался с маху,
то потерял и пояс,
и с ним наваху.

Заночевать бы вместе,
моя смуглянка,
и расцветет поместьем
моя делянка.

1. Хирардилья ("флюгерок") – песня и танец.

Чтоб поднялись овины,
идем со мною,
и станет жизнь малиной,
а ты — женою.

3

Четырьмя цветами ленты
распустила я по косам.
Четверых приворожила
и троих оставлю с носом.
Но про то им знать не надо.
А когда дойдет до свадьбы,
одному лишь буду рада.

4

— Хорош твой виноградник
и сладки грозди,
зато любой прохожий
заходит в гости.

— Ревнивцу для остуды
и для отплаты —
водица, где улитки
и те рогаты.

Три листочка

Три листочка, мама,
на ветле росли.
Лишь один на ветке,
два других в пыли.

А, бывало, ветер
колыхал ветлу,
и плясали листья
на шальном ветру.

Отлетели листья,
не найти следа.
Под мостами, мама,
отшумит вода.

Отвори мне двери,
мой цветок лесной.
Отвори мне двери
и простись со мной.

Эстремадура

Вильянсико[1]

1

Сочельник наступает,
да больно тихо.
А где волынка, бубны,
да и шутиха?
Ведь самый забубенный
и тот воскреснет.
Так колотите в бубен,
пока не треснет.

Дорогой к Вифлеему
вперед, осленок.
Гулять нам до рассвета,
да и спросонок.

2

Бренчанье и мычанье,
рожки пастушьи.
Вернулись наши парни
по наши души.

Сочельник наступает,
а мы в раздоре.
Для одного веселье,
другому — горе.

Пока сводили счеты
на сеновале,
рождественскую полночь
мы прозевали.

Андалузия

Фанданго[2]

Я не робкого десятка
и отпор могу что надо
дать и зверю, и злодею,
но от ласкового взгляда,
как ребенок, я робею.

1. Вильянсико — рождественские колядки, особенно ими славится земля пастухов и конкистадоров Эстремадура.
2. Фанданго — песня и танец.

У твоей заветной двери,
безответной, как могила,
конь запрядал и споткнулся.
Будто знал, что изменила.
И жалел, что не вернулся.

Знай, тебя забыл я напрочь,
все былое отсекая.
Фотографию увидел
и спросил: — А кто такая?
И слезу украдкой вытер.

***

Я отрубил бы палец,
оставил бы четыре,
лишь только б не встречаться
ни в том, ни в этом мире.

Да и второй бы палец
отсек, пока не поздно,
лишь только б не встречаться
и не любить так слезно.

Я отрубил бы пальцы,
не пожалев и третий,
лишь только б не встречаться
с тобой на белом свете.

Отсек бы и четвертый
и не жалел, наверно,
лишь только б не встречаться
и не любить так смертно.

Да и последний палец
отсек бы без труда,
лишь только бы не видеть
тебя, моя звезда!

Севильяны[1]

За лунными песками
речные мели,
где вышли севильянки
из колыбели.

Опять карабинеру
идти в погоню,

1. Севильяны — севильские танцевальные песни.

но я контрабандистку
не провороню.

Трубач или трепач он,
не вникла сдуру,
сиди теперь и слушай
туруру — руру.

При мне даешь ты руку
случайным людям.
Что дашь им, дорогая,
когда разлюбим?

Два любящие сердца
никто не судит,
а вот когда их трое —
добра не будет.

Супруг мой на корриде
пленен быками —
приятно повидаться
со свояками.

Песня жнецов

(В лад, ребята!.. Веселей!..)

Я убил ее и каюсь,
но клянусь, убил бы снова,
если б встала из-за гроба
и морочила другого.

(Всё, ребята, перекур...)

***

Когда в потемках милый
шел из Монтильи,
на шляпе три гвоздики
ему светили.

А шляпа перевита
платком зеленым,
и на платке том надпись
“Умру влюбленным”.

Да не спешил он, видно,
я ждать устала,
а пробило двенадцать —
и перестала.

Соронго[1]

Я плащ тебе вышиваю
руками моей заботы,
фиалками — оторочку,
левкоями — отвороты.
Когда я была невестой,
меня из весенней дали
четыре твоих подковы
серебряным плачем звали.
Луна не поит водою,
и даром цветы пестреют,
а дороги мне те руки,
что ночью меня согреют.

О городах и весях

Если б милую Севилью
повидал, пока живой,
согласился бы до гроба
ночевать на мостовой.

Наши женщины младенцев,
чтоб унялся окаянный,
не запугивают букой,
а поют им севильяны.

Ах, Эсиха, наша Мекка!
Сто четырнадцать трактиров
и одна библиотека.

Торрелодонес,
десять дворов,
сорок воров.

Канарские острова

Коплы

Стоит на площади башня,
стоит окном на восток,
а за окном сеньора,
и на окне цветок.

1. Соронго — андалузская танцевальная песня.

А мы, моряки, прощаться
учились на корабле.
Стою и, срывая шляпу,
колено клоню к земле.

К вершине мы шли в обнимку
и ветром дышала грудь.
Легка ты, дорога в гору,
и труден обратный путь.

Эх, если бы в доме было
полпинты для моряка,
да если б жена любила,
да если бы не тоска!

Колыбельные песни

Кошка и кот
пожениться хотят.
Слишком бедны,
не прокормят котят.

У муравьишки
полны закрома.
Вот вам излишки,
бери задарма.

(Эстремадура)

***

Единственное чадо
и так плаксиво!
Возьмите его, птицы,
скажу спасибо.

Не перестанешь плакать,
терзая глотку, —
переложу из люльки
на сковородку.

(Андалузия)

***

На тебя я гляну —
и глаза туманит.
Что с тобою будет,
как меня не станет?

(Кастилия)

Питер Акройд

Биография Лондона

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление Л. Мотылева

В книге "Биография Лондона" Питер Акройд исходит из представления о британской столице как о живом существе. Искусственное образование, покоящееся "не на необходимости того или иного рода, а на прибыли и спекуляции", город становится такой же данностью, такой же первичной средой обитания, такой же родиной всех жестоких и добрых побуждений, какой для иных мыслителей была природа. Как явствует из многочисленных приведенных в книге цитат, такой взгляд вполне обычен для английского восприятия и мышления. Город может оказаться местом твоей погибели — но от него не уйти. Более того, сама искусственность города — искусственная яркость его рекламы, искусственная мгла его пропитанного дымом тумана — порой становится источником энергии и воодушевления. Извращенность? Да, если хотите. Но эта "извращенность", по Акройду, органически присуща природе человека и, соответственно, города, созданного человеком. Рискну предположить, что такой уравновешенный в своем роде взгляд на город и природу как на равноправные, хоть и во многом противостоящие друг другу силы нелегко принять в России, где традиционно природе отдается предпочтение, где велик культурный соблазн отвергнуть искусственное, чужеродное как то, что "от лукавого". Тому есть великие примеры — взять хотя бы революционный порыв Льва Толстого, противника городской цивилизации. В книге Акройда город, как природа, свиреп и ласков, уродлив и прекрасен, требователен и щедр. Он в равной мере проникнут памятью и забвением. "Город потому красивей сельской местности, что он богат человеческой историей. <...> Он — натуральная среда для тех, кто испытывает потребность оглядывать землю в поисках современников и сотоварищей". Акройд произносит эти слова в скромной главе о лондонской погоде. Страсть книги, ее пафос — удержать историческую память, сострадательную память обо всем малом, обо всем человеческом и соразмерном человеку. "Из городов мира Лондон, кажется, наиболее тесно населен своими умершими и громче всех отзывается на шаги минувших поколений". И еще одно, может быть, самое важное для Акройда слово: continuity — преемственность. Он с восхищением показывает, как крохотный участок города из века в век сохраняет свое лицо — скажем, остается верным одному виду деятельности, благородной или сомнительной, созидательной или разрушительной (впрочем, обычно — все это вместе, в неразлучном единстве). И "если существует такая вещь, как непрерывность опыта, как преемственность жизни, то не связана ли она с самой территорией, с местной топографией? Не служат ли сами улицы и переулки источниками тех или иных видов деятельности или фигур наследственного сцепления времен?"

© Peter Ackroyd 2000
© Л. Мотылев. Перевод, вступление, 2002
Полностью книга выйдет в Издательстве Независимая Газета.

Из этой большой, прихотливо построенной книги, в семидесяти девяти главах которой затронуты самые разные лондонские темы — история, погода, свет и тьма, болезни, преступность, еда и питье, развлечения, бунты, канализация, шум и тишина, пожары и так далее, — вниманию читателя предлагаются отрывки, посвященные главным образом Лондону XIX и XX веков.

Лондон как живое существо. Что это — метафора или своего рода религия? Пусть об этом судит читатель.

Сколько миль до Вавилона?

К середине 1840-х годов Лондон приобрел славу величайшего города на земле – имперской столицы, международного торгово-финансового центра, огромного интернационального рынка, куда стекался весь мир. Однако в начале XX века Генри Джефсон, историк санитарного состояния города, охарактеризовал этот мегалополис иначе. "Об этом времени, – писал он, – следует сказать, что в истории Лондона еще не было периода, когда условиям, в которых существовала громадная масса обитателей столицы, уделялось меньше внимания". Чарльз Диккенс, Генри Мейхью[1] и Фридрих Энгельс – вот три автора викторианской поры, забившие тревогу по поводу условий жизни в этом всепожирающем городе-исполине. На фотографиях и рисунках эпохи самое сильное впечатление производят картины труда и страдания. Сгорбившись, сложив руки, сидят женщины. Нищая семья спит на каменных скамьях в нише, образованной парапетом моста, а на заднем плане высится темная громада собора Св. Павла. Как писал Бланшар Джерролд[2], "стариков, сирот, хромых и слепцов в Лондоне довольно, чтобы населить город обычных размеров". Город, целиком составленный из убогих и страждущих, – идея поистине диковинная. Но именно таков, в немалой своей части, был Лондон. Несметно число детей и бродяг, безучастно сидящих на улицах; несметно и число уличных торговцев, которых обычно изображали на унылом фоне кирпичных или каменных стен.

Внутри бедные викторианские жилища, как правило, мрачны и грязны. Среди коптящих сальных светильников висит тряпье. Многие обитатели трущоб словно бы лишены лиц, низведены до теней; их окружают гниющие деревянные балки и головоломный хаос лестниц. Многие – что снаружи, что в помещении – сгорблены и кажутся маленькими, как будто сам город придавил их своим весом. Изображения той поры выявляют и другую особенность викторианского Лондона. Мы видим громадные, неисчислимые толпы, видим улицы, полные кипучей и борющейся жизни, – грандиозный источник вдохновения для мифографов XIX века, какими были Маркс и Дарвин. Порой на лице прохожего можно уловить вспышку чувства – жалости, злобы, нежности. Воображение дополняет картину тяжелым шумом, подобным неутихающему крику. Вот каким он был – викторианский Лондон.

1. Генри Мейхью (1812–1887) – английский писатель и журналист, автор четырехтомного исследования "Труженики и бедняки Лондона" (1851), книги "Лондонские дети" (1874) и т. д. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Уильям Бланшар Джерролд (1826–1884) – английский журналист и писатель. Автор книги "Лондон. Паломничество" (1872), проиллюстрированной Гюставом Доре (1832–1883).

***

"Викторианский Лондон" — это, конечно, лишь общий термин для череды меняющихся конфигураций городской жизни. В частности, в первые десятилетия XIX века Лондон во многом оставался таким, каким был в конце предыдущего столетия. Он все еще был компактным городом. "Обведите теснящиеся крыши домов свободным кругом, — говорит рассказчик в "Часах мастера Хамфри" Диккенса (1840–1841), — и в его пределах вы получите любой предмет наряду с его полной противоположностью". Лишь немногие улицы освещались газом, по большей части на них стояли редкие масляные фонари, и поздних прохожих провожали домой наемные факельщики. За порядком на улицах смотрели не столько "бобби", сколько "чарли" (ночные сторожа). В городе по-прежнему было опасно. Окраины сохраняли сельские черты; в Хаммерсмите и Хэкни выращивали клубнику, к Хеймаркету среди прочего транспорта на конной тяге двигались фургоны. Громадные общественные здания, которыми вскоре украсилась имперская столица, еще не были построены. И развлечения в основном были те же, что в XVIII веке: собачьи и петушиные бои, позорный столб, публичные казни. На домах, словно они были декорациями, красовались нарисованные окна. Как прежде, разносчики торговали грошовыми книжками-страшилками, исполнители баллад — текстами новейших песен. Действовали дешевые театрики и магазины гравюр, выставлявшие в витринах карикатуры, которые запросто могли собрать толпу. Действовали увеселительные сады, "гроты гармонии", питейные и песенные клубы, танцевальные залы. Лондон еще не утратил эксцентризма. Жители не имели ни устоявшейся системы образования, ни социальной системы (само это слово — "система" — обрело полноценную жизнь только в 1850-е и 1860-е годы). Город был пестрей, диковинней и порой тревожней, чем в любую из последующих эпох. Он еще не был стандартизован, не был отдан во власть двум средневикторианским соправителям — единообразию и благопристойности.

Точно определить переходный момент невозможно. Несомненно, Лондон приобрел совсем иной облик, когда, продолжая расти, захватил сначала Излингтон и Сент-Джонз-вуд на севере, затем предместья во всех иных направлениях — Паддингтон, Бэйсуотер, Саут-Кенсингтон, Ламбет, Кларкенуэлл, Пекхем и так далее. Он стал самым большим городом мира — и одновременно Англия стала первой в мире страной с подлинно городским обществом.

Лондон сделался городом механического времени, городом быстроты ради быстроты. Здесь сосредоточилась машинная индустрия, использующая силу пара; здесь был открыт и стал всеобщим достоянием электромагнетизм. Лондон сделался центром массового производства, где, вклинившись между продавцом и покупателем, действовали отвлеченные силы спроса и предложения, прибыли и убытка. В тот же период для бизнеса и управленческой работы была мобилизована громадная армия клерков и бухгалтеров, которые, как правило, носили стандартные темные костюмы.

Это был город мглы и тумана — но у приезжего темнело в глазах и по другой причине. Население Лондона, составлявшее в начале века миллион человек, к концу его выросло примерно до пяти миллионов. В 1911 году оно равнялось семи миллионам. Все вокруг приобретало более тем-

ную окраску. Одежда не только клерков, но и других горожан мужского пола утратила яркость и цветовое разнообразие, свелась к строгой черноте сюртука и цилиндра. Ушли в прошлое также особенное изящество и колорит начала XIX века; благонравная симметрия георгианской архитектуры уступила место державно-захватническому облику неоготических и неоклассицистских общественных зданий викторианской поры. Они символизировали овладение как временем, так и пространством. Возник новый Лондон — более массивный, плотнее контролируемый, аккуратнее организованный. Столица сильно выросла, но стала при этом холодней и бесцветней; сделавшись городом более величественным и публичным, она утратила долю прежней человечности.

Так Лондон воплотил в себе и довел до высшей точки развития державное начало, присущее столицам былых империй. Он стал Вавилоном. В XII веке Вавилоном назывался отрезок городской стены, но причина такого наименования нам неизвестна; возможно, жители средневекового города придавали этому участку каменной кладки некое язычески-мистическое значение. С этим обстоятельством невзначай перекликается простая настенная надпись, сделанная кем-то в конце XX века близ Хэкни-Марш: "Вавилондон". И есть, конечно, загадочная детская песенка:

> Сколько миль до Вавилона?
> Двадцать пять и пятьдесят.
> Как бы мне туда добраться,
> Чтобы засветло назад?
> Будь проворней — доберешься
> И как раз успеешь засветло назад.

Хотя происхождение и смысл стишка неясны, чувствуется, что образ этого города обладал мощной притягательной силой; в другом варианте, правда, вместо "Вавилона" появляется "Вифлеем", до которого, если имеется в виду сумасшедший дом на Мурфилдс[1], действительно не так уж далеко.

В XVIII веке Лондон был назван "cette Babylone, le seul refuge des infortunés"[2]; здесь косвенное указание на размер и мощь дополняется образом "несчастных", иначе говоря — беженцев. Возникает другая ипостась Лондона-Вавилона — города, оглашаемого множеством непонятных, разноязычных голосов. Сравнение Лондона с Вавилоном может, таким образом, апеллировать к присущей ему многоликости. Так, поэт XVIII века Уильям Купер назвал "растущий Лондон" городом еще менее однородным, чем "древний Вавилон".

Лишь в XIX столетии, однако, сходство заговорило о себе в полный голос. Лондон постоянно называли тогда "современным Вавилоном". Для Генри Джеймса он был "этим сумрачным Вавилоном"; Артур Макен[3] писал: "Лондон смутно высился передо мной, полный чудес, таинственный, как ассирийский Вавилон, и настолько же богатый вещами неслыханными, великими откровениями". Итак, Вавилон и Лондон связаны многими ассоциациями: наряду с образами величия и тьмы здесь ощуще-

1. То есть Вифлеемская лечебница для умалишенных (Бедлам).
2. Этот Вавилон, единственное прибежище для несчастных (*франц.*).
3. Артур Макен (наст. имя Артур Ллуэллин Джоунс, 1863–1947) — английский писатель.

ние тайны и отодвигающейся завесы. До того мощным оказалось это соединение, что сады Парк-лейн окрестили "висячими" – хотя здесь, возможно, сказалось то обстоятельство, что поблизости некогда возвышалось "тайбернское дерево"[1].

К 1870 году город стал смущать умы уже простым количеством содержащейся в нем жизни. Ежедневно каждые восемь минут кто-то в нем умирал, каждые пять минут кто-то рождался. В Лондоне было сорок тысяч уличных торговцев фруктами и рыбой, сто тысяч "зимующих бродяг"; здесь обитало больше ирландцев, чем в Дублине, и больше католиков, чем в Риме. Здесь было двадцать тысяч пабов, где одновременно находилось до пятисот тысяч посетителей, к 1878 году более полумиллиона жилых домов, которых "с лихвой хватило бы, чтобы непрерывной цепью опоясать остров Великобритания". И вряд ли стоит удивляться тому, что в середине XIX века сами лондонцы с восхищением, тревогой и благоговейным страхом глядели на город, который вдруг приобрел такие размеры и так усложнился. Как это могло случиться? Точного ответа, казалось, не в силах был дать никто. Работая над книгой "Положение рабочего класса в Англии" (1845), Фридрих Энгельс почувствовал, что тема требует полного напряжения его недюжинного ума. "Такой город, как Лондон, – писал он, – по которому бродишь часами, не видя ему конца... представляет из себя нечто совсем особенное". Особенный город этот не поддается описанию, и Энгельс мог лишь настойчиво возвращаться к образам, передающим громадность: "Бесчисленное множество судов... сотни пароходов... бесконечные вереницы экипажей и повозок... сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий... В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков... пристанища жесточайшей нищеты". Сама неисчислимость массы, кажется, делает ее непознаваемой и, следовательно, пугающей.

Лондон был настолько огромен, что, можно сказать, заключал в себе все прежние цивилизации. К Вавилону прибавились другие великие империи. Нефы и трансепты Вестминстерского аббатства уподобляли "городу мертвых" близ Каира, Паддингтонский железнодорожный вокзал ассоциировался с пирамидой Хеопса. Архитекторы XIX века в воображении возводили пирамиды на Трафальгарской площади и Шутерз-хилле, проектировали громадные пирамидальные захоронения близ Примроуз-хилла. Здесь мы видим, как мощь имперского Лондона творила, наряду с культом величественности, культ смерти.

В Энциклопедии Ри 1819 года, как и в ряде других изданий, источником первобытной образности становится лондонский портовый район. Кроме того, климатом и атмосферой Лондона создаются "поразительные иероглифы, которые пишут на городской поверхности копоть и дым". Ассоциация по смежности делает древними сами лондонские камни. Облик британской столицы каким-то образом рождает представление о глубочайшей старине; не исключено, что к видениям этим скрытым образом причастно слово "petrified" ("окаменелый") – в переносном значении "оцепенелый от страха".

Помимо Египта, был еще Рим. Подвалы под "террасой Аделфи" напомнили одному историку архитектуры "древнеримские постройки"; со-

1. Виселица в Тайберне, где до 1783 года происходили публичные казни.

Гюстав Доре "Лондон"

зданную Джозефом Базалгеттом систему канализации часто сравнивали с римскими акведуками. Величественность, соединенная с триумфальным имперским духом, — вот что производило на этих наблюдателей Лондона XIX века сильнейшее впечатление. Побывав в туннеле под Темзой, который уподобляли самым крупным достижениям римского строительного искусства, Ипполит Тэн назвал его "огромным и мрачным, как кишка некоего Вавилона". Затем Тэна захлестнул поток ассоциаций и параллелей между цивилизациями. "Я неизменно нахожу в Лондоне сходство с Древним Римом... Насколько же тяжко этот современный Рим, подобно античному, давит на спины трудящихся! Ибо всякое чудовищное скопление зданий, будь то Вавилон, Египет или Рим эпохи Цезарей, во-

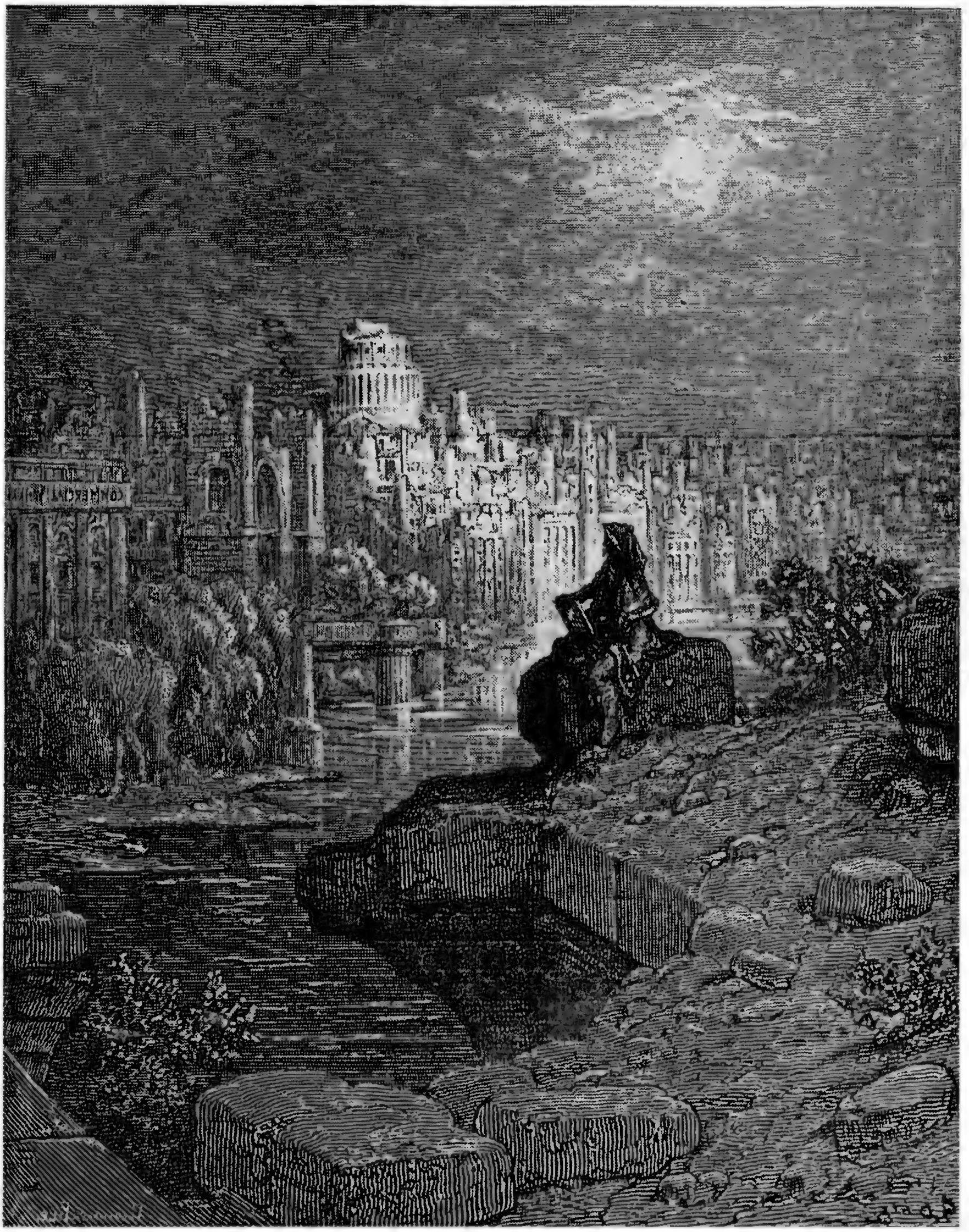
площает в себе сгусток людских усилий, крайнюю степень изнеможения". Далее он описывает "римскую машину", использовавшую рабский труд тех, кто ее обслуживал. И это выявляет еще одну истину о Лондоне-Риме: он превращал своих горожан в рабов машины.

За образец для арки, ведущей во "двор слитков" Английского банка, архитектор сэр Джон Соун взял древнеримскую триумфальную арку; стены соседнего Лотбери-корта были украшены аллегорическими фигурами из римской мифологии. Массивный угол банка там, где сходятся Лотбери и Принсез-стрит, представлял собой подобие храма Весты в Тиволи. Интерьеры банка тоже создавались с оглядкой на Рим. Многие его помещения — в частности, зал дивидендов и фондовый зал — были спроектированы по модели римских терм; главный кассовый зал размером сорок пять на тридцать футов напоминал интерьер римского храма Солнца и Луны. Здесь, таким образом, налицо впрямую выраженный и апеллирующий к римским верованиям культ денег; во всех ассоциациях с древним городом главенствует тема языческого триумфа.

Но возникали и другие ассоциации. Верлен писал, что Лондон — "библейский город", созревший для того, чтобы его поразил "огонь небесный". Карлейль в 1824 году, назвав его "исполинским Вавилоном", продолжил: "...потоки людских сил здесь катятся внутрь и вовне с яростью, ужасающей до глубины души". Итак, в одном контексте Лондон сравнивается с величайшими цивилизациями прошлого, с Римом или Египтом, в другом — стремительно рушится, обретая черты яростной пустыни, дикого места, где нет никакого удержу и никакой жалости. Когда Карлейль добавляет, что Лондон "подобен сердцу Вселенной", можно понять его так, что город воплощает все самые мрачные силы и все крайности бытия. Так что же это — сердце империи или сердце тьмы? Или эти сердца до того срослись, что человеческое усилие и труд стали всего лишь выражением свирепости и желания властвовать?

В определенном смысле Лондон всегда ассоциировался с пустыней, с джунглями, с дикой местностью, с первобытным лесом. "Всякому, кто обратит взор на города Лондон и Вестминстер с добавившимися недавно обширными предместьями, — писал в 1751 году Генри Филдинг, — на великую беспорядочность заполняющих их строений, на неисчислимые улицы, переулки, закоулки и дворы, должно прийти в голову, что будь все это предназначено единственно для сокрытия, ничего лучшего и придумать было бы нельзя. И тогда является картина огромнейшего леса, где вору так же легко схорониться, как дикому зверю в пустынях Аравии или Африки". О другой особенности этой дикой местности говорится в его "Томе Джонсе", когда речь заходит о трудностях лондонской жизни: "Ибо если незнакомые люди не могут привести тебя в смущение, точно так же они не оденут тебя и не накормят. И человеку столь же легко погибнуть от голода на Леденхоллском рынке, как в аравийской пустыне".

Взгляд Филдинга разделял его современник Тобайас Смоллетт. Будучи "необъятной дикой местностью, где нет ни стражи, ни дозора, ни порядка, ни управы", Лондон предоставляет ворам и прочим преступникам "и логово, и добычу". Образы джунглей и пустыни используются вперемешку, словно это одно и то же, поскольку и то и другое выражает "дикость" неприрученной и неисследованной человеческой натуры; Лондон выступает как некая первобытная сила или среда обитания, где



Гюстав Доре "Новозеландец"

природные человеческие инстинкты проявляются без всяких ограничений.

В XIX веке, однако, метафора дикой местности видоизменилась: в Лондоне теперь усматривали не царство необузданной и неукрощенной жизни, а область голого, бесплодного запустения. Мейхью назвал этот город "кирпичной пустыней", и образ непролазной чащи сменился образом твердого камня, "всюду, куда ни взгляни, обильно поросшего чахлым поганым мелколесьем низеньких домишек". Такова пустыня XIX века, куда более обширная и бесплодная, чем дикая местность предыдущего столетия. Именно о ней говорит Джеймс Томсон[1] в "Обреченном городе", опубликованном в 1857 году, где возникают "пустынные

1. Джеймс Томсон (1834—1882) — английский поэт и эссеист.

улицы" в "каменном лабиринте погребенного города". Бесконечность городских улиц, о которой так выразительно писал Энгельс, связывается здесь с холодностью и твердостью самого камня; это уже не та пустыня, где буйствует беспорядочная жизнь, а та пустыня, где царит смерть, не смягчаемая ни печалью, ни жалостью. "Пустыня! Вот-вот, именно, именно", — говорит персонаж "Николаса Никльби". "Да, настоящая пустыня, — заявляет старик с необычайным воодушевлением. — Для меня когда-то это была пустыня. Я пришел сюда босой — мне вовек этого не забыть". А Крошка Доррит восклицает: "Лондон такой большой, такой пустой, такой дикий!"

И вот Лондон уже ассоциируется с Помпеями — с такой же, как он, каменной пустыней. После бомбардировок Второй мировой войны, к примеру, было замечено, что Лондон выглядит "древним, как Геркуланум". Но Лондон не был погребен под застывшей лавой времени. Все элементы его жизни рано или поздно возвращаются. Один приезжий из Италии — человек, похоже, слишком проницательный, чтобы довольствоваться избитыми аналогиями, — сравнил Лондон со страной циклопов. Ныне в описании Доклендс[1] конца XX века мы находим громадную Сайклопс-уорф — "Циклопическую набережную". Здесь же — фотография соседней набережной Саут-ки с небоскребом Саут-ки-уотерсайд, который венчает пирамида. Сходным образом и громадная башня Канари-уорф имеет пирамидальную крышу, и все это наводит на мысль, что ассоциации с египетской державой не умирали никогда. Даже насосной станции на случай штормового повышения уровня воды в Доклендс приданы египетские очертания некоего стража водной стихии.

Есть, однако, у извечной аналогии между Лондоном и древними цивилизациями еще один, более выразительный аспект. Это мысль, у иных окрашенная страхом, у иных надеждой, у иных ожиданием, — мысль о том, что и эта великая имперская столица в свой черед обратится в руины. Вот почему так настойчиво проводится аналогия между Лондоном и дохристианскими городами: в нем тоже рано или поздно воцарятся хаос и древняя ночь — условия "первобытного" прошлого окажутся таким образом и условиями отдаленного будущего. Здесь проявляется тяга к изглаживанию, к забвению. Впечатляющий графический цикл Доре о Лондоне XIX века, воспринимаемом, в сущности, как Рим или Вавилон, завершается вот чем. У Темзы на большом камне задумчиво сидит человек в плаще с капюшоном. Он смотрит на ужасающие руины города — на заброшенные, поросшие кустарником набережные, на собор Св. Павла без купола, на зубчатые каменные обломки, в которые превратились могучие коммерческие здания. Гравюра озаглавлена "Новозеландец" и навеяна словесной картиной, которую нарисовал Маколей: "колониальный житель" возвращается в разрушенную державную столицу после того, как свершилась ее судьба. "Стоя над уцелевшей аркой разбитого Лондонского моста, он будет зарисовывать развалины собора Св. Павла". Парадоксальным образом видение это возникло в период лондонской гордыни и величия.

Во второй половине XVIII века Хорас Уолпол описал вымышленного гостя из Лимы, изумленно взирающего на обломки собора Св. Павла.

1. Доклендс — бывший лондонский портовый район, где ныне построено много фешенебельных жилых и офисных зданий.

Шелли изобразил далекое будущее, когда "собор Св. Павла и Вестминстерское аббатство будут возвышаться бесформенными и безымянными руинами посреди нелюдимых болот". Россетти мысленно разрушил Британский музей и отдал его в руки грядущих археологов. Рёскин представил себе лондонские камни проходящими "через высоту еще более горделивую к разрушению, которое вызовет, однако, меньшую скорбь". Возникает картина обезлюдевшего города, которому ничто теперь не мешает быть самим собой; камень переживает катастрофу и становится в этом воображаемом будущем неким божеством. Видение по сути дела совмещает образ города с образом смерти. Но вместе с тем оно передает ужас перед Лондоном, перед его бурлящей жизнью; это вопль протеста против его "неестественности", от которой не избавиться без потопа или другого грандиозного акта естественных, природных сил. Поэтому может настать время, когда Лондон будет узнаваться лишь по "серым развалинам и... рассыпающемуся камню", глубоко погруженным в "ночь, готическую ночь".

Однако понятие "готика" рождает свои собственные ассоциации, не менее мощные, чем ассоциации с Римом, Вавилоном, Ниневией или Тиром. Джеймс Боун, автор книги "Прогулки по Лондону", высказал мысль, что в очертаниях и строении каменного Лондона обнаруживается "готический genius loci, борющийся с духом классицизма". Каков же он тогда, этот лондонский "гений места"? Он несет в себе ощущение избытка и непобедимого размаха, страстного религиозного стремления и монументальности; здесь и древняя набожность, и головокружительный каменный взлет. В XVIII веке, однако, готика приобрела смысловой оттенок ужаса, затем — ужаса в соединении с истерическим комизмом. Все это город способен вместить.

Николас Хоксмур, великий архитектор лондонских церквей, дал определение стиля, который он назвал "английской готикой". Этот стиль отличали резкая, подчеркнутая симметрия и возвышенная непропорциональность. В конце 1780-х годов, элегантно сплавляя в здании Гилдхолла индийские и готические мотивы, Джордж Данс возрождал дух экстравагантной живости и воздавал должное великой древности города. Но, указывая на старину, готика в то же время была проявлением благоговения. Вот почему церкви Хоксмура, где бы они ни стояли — в Сити, в Смитфилде, в Лаймхаусе, в Гринвиче, — так мощно дают ощутить свое присутствие. Флаксман, художник XVIII века, сказал о гробницах Вестминстерского аббатства, что это "образчики величественности... властно направляющие наше внимание и мысли не только к иным временам, но и к иным ступеням бытия". В Лондоне определенно есть нечто "не от мира сего".

Наиболее примечательным и необычным образом эта тенденция проявилась в XIX веке, когда Лондон оказался пронизан духом неоготики. Обретя первое серьезное воплощение в зданиях парламента, перестроенных после большого пожара 1834 года, готика к 1860 году стала "признанным языком всех ведущих архитекторов". Высказывалась мысль, что в готическом стиле дает о себе знать лондонское прошлое". Этим объясняется готическое оформление Дворца правосудия, означавшее верховенство Времени над судебными делами нынешнего дня; по той же причине лондонские церкви в середине XIX века неизменно строились в готическом стиле. Подобные же черты придавались метал-

лическим конструкциям. Возник термин "уимблдонская готика", характеризовавший стиль пригородных вилл; особенно славился своей игрушечной или орнаментальной готикой район Сент-Джонс-вуд. Все, что могли счесть слишком недавним, только что сделанным, покрывалось патиной фальшивой старины.

Так в Лондоне XIX века готика создавала смягчающую атмосферу древности. В городе, который, казалось, мчался во весь опор, оставляя позади все существующие и мыслимые границы, она успокаивала людей некой теоретической или предположительной преемственностью. Но священные образы имеют страннейшее обыкновение поворачиваться к нам совершенно иным лицом. Мощь готических оригиналов может, помимо прочего, ассоциироваться с языческим или варварским началом. Вот почему столица империи славилась и как город дикарей.

Дикие существа

"Если есть тьма африканская, то есть, похоже, и тьма английская... Не отыщется ли параллель у самых наших дверей, не увидим ли мы в двух шагах от наших соборов и дворцов ужасы, подобные тем, что Стэнли[1] обнаружил в необозримых экваториальных лесах?" Так писал в 1890-е годы Чарльз Бут[2]. Его внимание привлекают "карликообразные жители, лишенные облика человеческого, рабство, в которое они отданы, их лишения и несчастья". В этом смысле город породил и взрастил дикарское население. Другие наблюдатели часто называли бедных обитателей трущоб "дикарями", и даже в эпоху великого британского религиозного возрождения, затронувшего средние слои общества, когда Англию считали страной глубоко христианской, рабочий класс Лондона оставался вне Церкви. В одном источнике 1854 года делается вывод, что беднейшие лондонцы "настолько же чужды религиозным обрядам, как жители языческой страны"; по выражению Мейхью, "для уличных торговцев религия — китайская грамота". Откуда, собственно, могли взяться набожность и религиозное рвение в этом жестком, насквозь коммерческом городе, где красота и достоинство, не говоря уже о вере, имели так мало шансов уцелеть?

"В плотной гуще ничего не подозревающего населения" имперски-торговой столицы действовали притоны и ночлежные дома, где "постоянно творятся самые что ни на есть дьявольские дела". "Я видел первобытных дикарей Полинезии, — писал Томас Гексли, — до которых еще не успели добраться ни миссионер, ни работорговец, ни белый бродяга. Так вот, при всей своей дикости они даже вполовину не были так дики, грязны и неисправимы, как обитатели доходных домов в трущобах восточного Лондона". Парадокс в том, что в сердце главного города державы, питавшего и финансировавшего мировую империю, находилось население более грубое и грязное, чем любой из народов, над которыми он считал себя призванным властвовать. "Он числит себя христианином, — писал Мейхью о юном "грязевом жаворонке", то есть сборщике речного мусора, — но что такое христианин, ему невдомек".

1. Генри Мортон Стэнли (наст. имя Джон Роулендс, 1841—1904) — исследователь Африки и журналист.
2. Чарльз Бут (1840—1916) — английский социолог, автор многотомного исследования "Жизнь и труд лондонцев" (1891—1902).

Беднейшие иммигранты-ирландцы чувствовали атмосферу. "Приезжающие в Лондон ирландцы, кажется, видят в нем языческий город, — говорит Томас Бимз в книге "Лондонские трущобы", — и поэтому тут же становятся на путь разнузданности и преступлений". Дикарство, таким образом, было заразительно и носило эндемический, территориальный характер. Городские условия низводили жителей до скотского состояния.

Верлен писал, что в Лондоне он "среди варваров". Однако мысль его шире: он говорит о том, что в чуждом ему городе нет иного культа, кроме культа власти и денег. Вновь звучит слово "Вавилон", ибо где еще обитать этому языческому сонмищу? В 1863 году после поездки в Лондон Достоевский писал: "Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться... и не обоготворить Ваала". Он заключает: "Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден... Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько". Рабски служащие и поклоняющиеся ему язычники бессильны, когда с началом каждого дня "тот же гордый и мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом".

Если Лондон средневикторианской поры действительно, как пишет Достоевский, был городом языческого апокалипсиса, то лучшего монумента, чем воздвигнутый в 1878 году, для него и придумать было нельзя. Египетский обелиск, датируемый восемнадцатой династией, был отбуксирован в Лондон в железном цилиндрическом понтоне. До этого он тысячу шестьсот лет простоял перед храмом Солнца в египетском городе Оне (Гелиополе). "Он видел с высоты встречу Иосифа с Иаковом, он видел детство Моисея". В 12 году до нашей эры его перевезли в Александрию, но так и не установили, и он пролежал на песке лежнем до самой отправки в Лондон. Монолит, вытесанный рабами из розового гранита в одной из каменоломен южного Египта, стоит теперь подле Темзы под охраной двух бронзовых сфинксов; на нем высечены иероглифы с именами фараонов Тутмоса III и Рамсеса Великого. Камень, получивший в Лондоне название "Игла Клеопатры", стал здесь неким покровительственным идолом. Один французский путешественник писал об этом участке берега Темзы: "Атмосфера давящая; явственно чувствуется тяжесть вокруг, сверху, тяжесть, которая гнетет, проникает в рот, в уши и как бы разлита в самом воздухе". Теннисон, взглянув на языческий монумент, установленный в языческом Лондоне, дал ему голос. "Я видел закат четырех великих империй! Я был, когда Лондона не было! И я здесь!" Из-за постоянного воздействия тумана и дыма гранит начал медленно портиться, иероглифы — блекнуть; бомба, взорвавшаяся осенью 1917 года, оставила на обелиске щербины и выемки. Но он стоит. В запечатанных в 1878 году контейнерах под ним по-прежнему покоятся мужской и женский костюмы, иллюстрированные газеты и детские игрушки, сигары и бритва; но первое по значимости для имперского монумента — это, конечно, вмурованный в его основание полный комплект монет викторианской эпохи.

Есть и другие ассоциации, сокровенно связывающие Лондон XIX века с языческим миром. Здесь являлся людям Минотавр. Согласно языческому мифу, чудищу Лабиринта ежегодно давали семерых юношей и семерых

девушек — и как пищу, и как плотскую дань. И вот викторианских борцов с бедностью и проституцией стали в печатных изданиях уподоблять Тесею, который убил чудище. Убил ли? В июле 1885 года в "Пэлл-Мэлл газетт" один журналист сравнил "ночное жертвоприношение юных лондонских дев" с данью афинян Минотавру, и создавалось впечатление, что "лондонский Минотавр поистине ненасытен". Его описывали еще как "лондонского Минотавра, который... разгуливает в хорошем сукне и тонком белье и выглядит респектабельно, что твой епископ". Образ ужасающий, достойный пера По или Де Куинси, однако любопытным образом представление о том, что языческий монстр жив и свирепствует, связано с бытовавшим в XIX веке мнением, что город действительно стал лабиринтом почище критского. Джордж Фредерик Уоттс[1] откликнулся на упомянутые публикации о детской проституции в Лондоне изображением рогатого чудища, получеловека-полубыка, глядящего на город поверх каменного парапета.

В "Останках язычества и иудейства" (1686) Джон Обри[2] писал, что "южнее Тули-стрит, чуть западнее Барнаби-стрит и восточнее Боро есть улица, называемая Лабиринтом. Я думаю, что лабиринты эти мы получили от наших предков-датчан". Прошло, однако, без малого двести лет, и возникли новые лабиринты. Артур Макен говорил себе, добравшись, как он считал, до окраины города: "Наконец-то я вырвался из этой могучей каменной пустыни!" Но не тут-то было. "Затем я сворачивал за угол, и передо мной внезапно вырастали ряды грубых краснокирпичных домов, и становилось ясно, что я все еще в лабиринте". О лабиринте как приеме теоретик архитектуры Бернард Тшуми писал: "Его нельзя ни полностью увидеть, ни выразить. Ты к нему приговорен — он не дает тебе выйти и взглянуть на целое". Таков Лондон. Де Куинси, описывая поиски юной проститутки Энн, с которой он подружился, говорит, что оба они движутся "сквозь исполинские лондонские лабиринты, порой оказываясь, возможно, всего в нескольких шагах друг от друга; преграда не шире лондонской улицы оборачивается под конец вечной разлукой!" Вот он, ужас города. Он слеп к человеческим нуждам и привязанностям, его топография груба и почти безумна в своей жестокости. Тот факт, что юная девушка почти неизбежно будет здесь вовлечена в проституцию, в очередной раз рождает представление о живущем в центре лабиринта чудище.

Для Де Куинси Оксфорд-стрит состоит из "нескончаемых террас" и "бесчисленных стонов". Лондонские улицы дразнят и приводят в смятение. О Сити писали, что "в этом переплетении улиц приезжий мигом заблудится", и старинный городской центр действительно изобиловал диковинными извилистыми путями, глухими закоулками и потайными двориками. Г. Дж. Уэллс замечает, что если бы не кебы, то "в скором времени все население Лондона безнадежно и навеки заплутало бы — настолько обширен и непостижим в своей хитроумной сложности этот громадный город". Любопытный и выразительный образ — население, заблудившееся в своем родном городе, точно проглоченное улицами и скоплением камня. Роберту Саути, писавшему в начале XIX века, представилась сходная картина: "Вполне знать этот бесконечный лабиринт улиц нет никакой возможности; и легко предположить, что живущие в одном конце его о другом не ведают ничего или почти ничего". Вообра-

1. Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904) — английский художник и скульптор.
2. Джон Обри (1626–1697) — английский писатель и антиквар.

жение рисует лабиринт, который постоянно ширится, бесконечно распространяется вовне. На картах Англии он представлен медленно, но неостановимо расползающимся темным пятном.

Они с нами навеки

"Миссис Амброз понимала, что быть бедной — это, в конце концов, обычнейшая вещь, что в Лондоне живет несметное число бедных людей". Эта цитата из романа Вирджинии Вулф "По морю прочь" ("The Voyage Out") выражает великую истину о XIX столетии, в котором она родилась.

Бедные всегда были неразъединимо вплетены в городскую ткань. Они подобны камням и кирпичам — Лондон покоится на них, как на фундаменте; немое страдание их не имеет границ. В средневековом городе беднейшими из бедных были старики, калеки, больные и сумасшедшие. Те, кто не мог работать и не имел поэтому реального, надежного места в структуре общества, становились отверженными. К XVI веку определились бедные районы города — такие, как восточный Смитфилд, приход Сент-Кэтрин близ Тауэра, Минт в Саутуорке. Повинуясь некоему инстинкту, неимущие скапливались вместе — их, можно сказать, манили те или иные части города, дававшие им приют. Держа лотки, торгуя вразнос, чистя дымоходы, они принадлежали к самым низам и были, по словам Дефо, "несчастными, которые подлинно крохоборствуют и терпят нужду".

Авторы XVIII века писали о мерзких дворах и обшарпанных строениях, о "грязных беспризорных детях" и "неряшливых женщинах", о "грязных, голых, лишенных мебели" комнатах и о людях, которые не выходят из них на улицу, потому что их "одежда слишком износилась, чтобы выдержать испытание дневным светом". Те, у кого не было даже такого примитивного жилья, ночевали в пустых или заброшенных зданиях, находили приют под навесами, у входов в дома. В книге "Лондонская жизнь в XVIII веке" М. Дороти Джордж насчитывает в Лондоне к концу этого столетия "свыше двадцати тысяч несчастных разных категорий, которые поднимались поутру, не ведая, как... добудут себе дневное пропитание, а во многих случаях и где приклонят голову следующей ночью". Объяснение, которое она дает, выглядит убедительно: "общая неустойчивость, характерная для жизни и торговли того времени". Получается, что глубинная природа Лондона нагляднее и резче всего проявляется в жизни и облике беднейших его обитателей. Более благополучных горожан страх заставлял обходить неимущих стороной. Само их присутствие усугубляло болезненную нервозность и беспокойство лондонцев. Лучшее, может быть, представление о городе дает тень, которую он отбрасывает.

***

Эту тень можно увидеть внутри границ, проведенных на "карте бедности" Чарльза Бута (1889), где в рисунок красных и золотых полос, соответствующих зонам зажиточности и богатства, вторгаются черные и темно-синие участки — соответственно "Низший слой. Зловредные, полупреступные элементы" и "Очень бедные, перебивающиеся случайны-

ми заработками. Хроническая нужда". Карта более крупного масштаба, показывающая неблагополучные районы, содержит сто тридцать четыре зоны бедности, "примерно по 30 000 жителей в каждой"; здесь темно-синий цвет сгущается к берегам Темзы, а в других местах мы видим концентрические круги, где "наиболее равномерной бедности соответствует центральная часть". Все эти люди родились и выросли в Лондоне — в Паддингтоне и Пимлико, в Уайтчепеле и Уоппинге, в Баттерси и Бермондси.

Приезжие отмечали повсеместное обилие бедного люда и гораздо более высокую, чем в Риме, Берлине или Париже, степень его падения и деградации. В 1872 году Ипполит Тэн вспоминал "улочки, ответвляющиеся от Оксфорд-стрит, душные переулки, где стоят зловонные телесные испарения, кучки бедных детей, облепивших грязные лестницы; скамейки у Лондонского моста, где по ночам целыми семьями люди теснятся, свесив головы и дрожа от холода... жалкая, несчастная бедность". В городе, покоящемся на деньгах и власти, безденежным и безвластным приходится туго. В Лондоне, как ни в каком другом городе, люди эти унижены в буквальном смысле слова, лишены всякого человеческого достоинства городом, движимым исключительно алчностью. Вот почему на лондонских улицах XIX века бедные являли "жалкое" зрелище, и число их росло с ростом мощи и величины города.

Они составляли чуть ли не город внутри города, и такой громадной массы человеческого несчастья нельзя было не замечать. В книге "Лондон в лохмотьях", вышедшей в 1861 году, Джон Холлингсхед писал, что треть городского населения ютится "нездоровыми слоями, одни над другими, в старых домах и тесных каморках", которые, в свою очередь, расположены в "грязных, скверно застроенных тупиках, дворах и переулках". Книга пронизана нескрываемой тревогой и отвращением. В Лондоне, пишет миссис Кук в книге "Большие и малые улицы Лондона" (1902), "нищета странно плодовита". Страх перед бедными проистекал из представления, согласно которому они склонны плодиться и множиться до бесконечности. Миссис Кук говорит здесь о Боро, где бедность и нищета достигли таких размеров, что, казалось, охватили весь Саутуорк; но она с полным правом могла вести речь и о сотне других мест. Автор книги "Горький плач обездоленных Лондона" (1883) называет бедные районы "чумными". Эпитет выдает боязнь того, что в условиях Лондона подобная жалкая нищета и упадок могут каким-то образом оказаться заразными: по всем трущобам, где "сгрудились среди ужасов десятки тысяч людей", могут распространиться отчаяние и сознание тщеты. <...>

Лондон перевел само человеческое бытие в новую фазу; здешняя обездоленность в буквальном смысле обездолила всех его жителей, которые в безумной горячке приобретений и трат сотворили общество "атомов". Поэтому новая раса возникает не только в трущобах Сент-Джайлза, но и по всему Лондону, где "творческие способности громадного большинства пребывают в состоянии спячки, оглушенности и бездействия".

Итак, Лондон XIX века создал первое по-настоящему городское общество на земле. То, что мы сейчас воспринимаем как само собой разумеющееся, — "они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего", — тогда рождало недовольство. Помимо тех, кого восхищали величие и громадность викторианского города, были и та-

кие, кто тревожился и ужасался. Здесь, на улицах Лондона, реально шла "социальная война, война всех против всех". То было предвестье будущего, раковая опухоль, которой предстояло распространиться не только по всей Англии, но в конечном счете и по всему земному шару.

Одним из величайших трудов, посвященных жизни неимущих в Лондоне конца XIX века, было и остается исследование Чарльза Бута "Жизнь и труд лондонцев"; оно разрослось до семнадцати томов и выдержало три издания. Масштаб его был под стать предмету — самому городу. Монументальное творение Бута полно выразительных подробностей и проникнуто останавливающей внимание жалостью. Пристальный взгляд на лондонские жизни — вот что придает его труду такое значение. "Последним заднюю комнату занимал вдовец, мусорщик управления городского хозяйства, который не верил ни в бога, ни в черта... В № 7 обитает возчик-инвалид. Он свалился со своей телеги и, попав ногой под колесо, сломал ее. Этажом выше живет на вспомоществование женщина — очень бедная, старая, но счастливая душой, чающая небес". По соседству ютился "известный атеист, ораторствующий под арками железной дороги. Говорит, что, если Бог есть, он должен быть чудовищем, раз допускает такие бедствия. Человек этот страдает сердечной болезнью, и врач сказал ему, что когда-нибудь посреди своего горячечного рассуждения он упадет мертвый". Вот они, постоянные обитатели Лондона. "На первом этаже живут мистер и миссис Мик. Он шляпник, занимался крашением детских головных уборов в переносном бачке. Приветливый маленький человек... В задней комнате проживает миссис Хелмот. Муж ее, в прошлом оптик, теперь помещен в Хануэлл, поскольку страдает меланхолией и проявляет наклонность к самоубийству". Здесь налицо весь диапазон человеческого опыта; приветливый шляпник и не желающий жить оптик, помещенный в сумасшедший дом, едва ли не больше говорят нашему уму и сердцу, чем любой персонаж городской художественной литературы XIX века.

Город словно бы стал неким необитаемым островом, где жители вынуждены пробираться ощупью. Но теплилась в нем, вопреки всему, и жизнь иного порядка. "Невозможно понять, — сказала Буту одна сестра милосердия, — как неимущим, лишенным всякой поддержки, удается сводить концы с концами, если не знать об их великой доброте друг к другу — даже между незнакомцами. Это очень многое объясняет". Ей вторит проповедник-нонконформист: "Только бедные по-настоящему делятся. Они хорошо знают, что кому нужно, и готовы прийти на помощь". Католический священник: "Доброта их к себе подобным просто поразительна". Вот вам еще один слой реальности, скрытый под всеми описаниями грязи и скверны. Глубоко пережитый опыт совместного страдания не всегда шел во вред душам неимущих. Условия городской жизни порой вели к отчаянию, пьянству, смерти, но была по крайней мере возможность совсем иных человеческих проявлений — доброты и щедрости к тем, кто рядом, кто попал в ловушку той же суровой и мерзкой действительности.

Бут окончил свое исследование памятными словами: "Сухие кости, разбросанные по протяженной долине, которую мы вместе пересекли, лежат перед моим читателем. Пусть же некая великая душа, владеющая более тонкой и благородной алхимией, чем моя, явится распутать спутанное, примирить очевидные противоречия, объединить намерения,

сплавить и согласовать различные благотворные влияния в одно цельное божественное усилие — и оживить эти сухие кости, чтобы улицы нашего Иерусалима запели гимн радости". Это поразительное откровение. Чарльз Бут лучше, чем кто бы то ни было, понимал ужасы и нужду Лондона XIX века, и тем не менее труд свой он завершил картиной ликующего Иерусалима. <...>

Подайте хоть малую малость

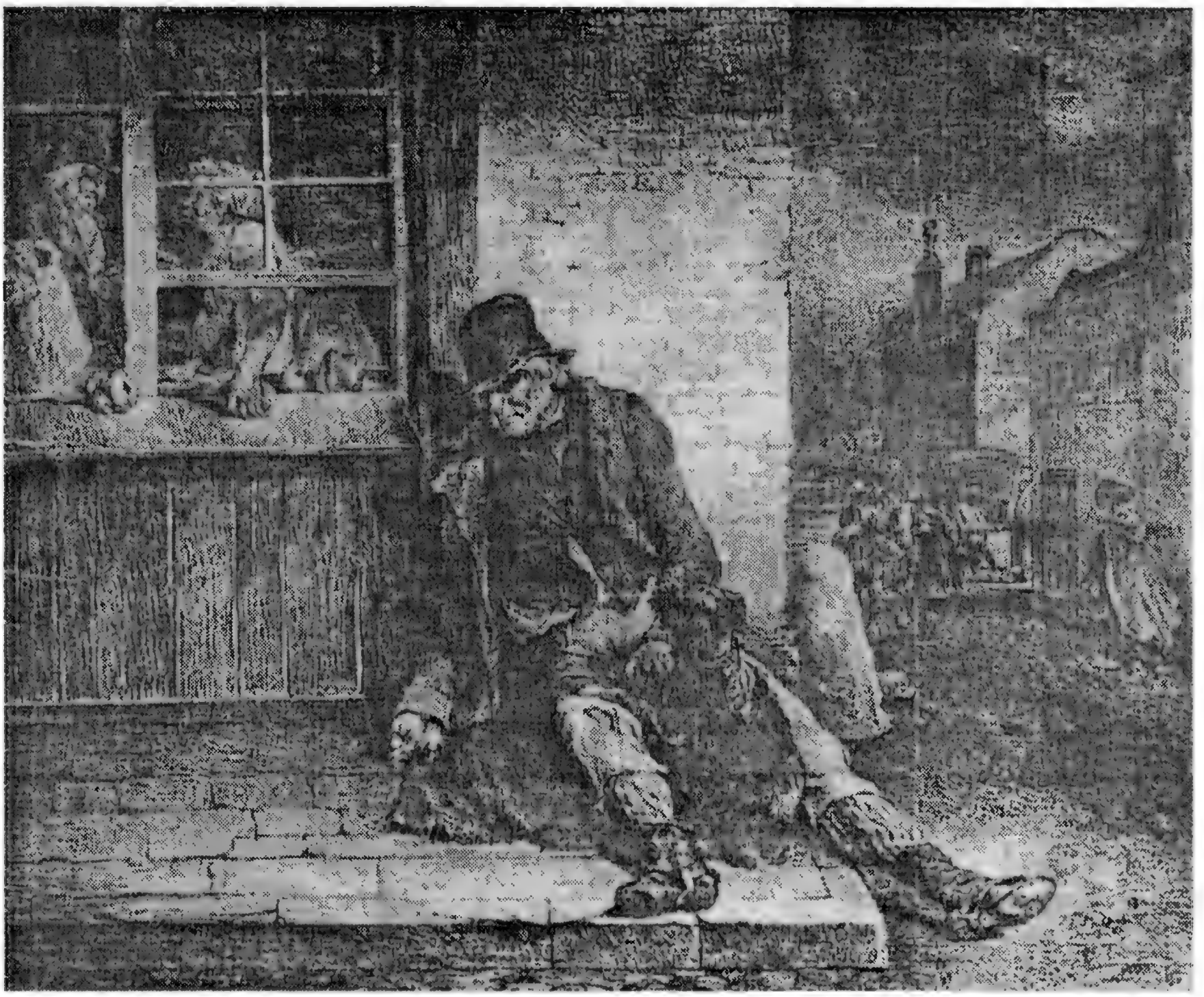
Самым очевидным олицетворением лондонской бедности был нищий люд. Как-то раз в конце XIV века двое попрошаек повздорили. "Джон Дрей лично отрицал обвинение и заявил, что в тот день и в том месте он и пресловутый Ральф сидели рядом и просили милостыню, и Джон Стоу, вестминстерский монах, дал им, проходя мимо, пенс на двоих. Ральф взял этот пенс и делиться с Дреем не захотел. Завязалась ссора, и Ральф ударил его палкой". Подобная сцена могла произойти как столетиями раньше, так и столетиями позже. Ибо где нищему быть, как не в Лондоне, полном народу и, как гласила молва, страшно денежном?

Нищенствующие монахи или отшельники, бормочущие в каменных нишах у всех главных городских ворот; калеки на перекрестках; заключенные-попрошайки, взывающие к прохожим из-за решеток; старухи у церквей; дети на улицах. Нищих, молодых и старых, можно увидеть на некоторых больших лондонских улицах и в начале XXI века. Иные, завернутые в одеяла, лежат съежившись под дверными навесами и, обращая к прохожим просительные лица, кричат обычное свое: "Подайте мелочишку". Те, что постарше, — обычно бродяги и пьяницы, живущие совершенно вне времени; они до жути похожи на своих собратьев из более ранних эпох лондонской истории. <...>

Хотя в начале XIX века, особенно после наполеоновских войн, в столице появлялись сообщения о нищенских группировках или бандах, в целом фокус внимания переместился на единичную фигуру нищего.

В 1817 году Дж. Т. Смит опубликовал книгу "Все о бродягах, или Рассказы о нищих с лондонских улиц с портретами самых примечательных, выполненными с натуры". Главное внимание в ней было уделено позам и речениям слепых и увечных. Примером может служить "Безногий нищий еврей с Петтикоут-лейн" — древний старик в ветхой шляпе, сидящий на деревянной тележке. За ним стена, где нарисована ухмыляющаяся фигура — не то человек, не то скелет. Столетием раньше бродяги ходили толпами, что мешало присматриваться к ним и изображать их по отдельности.

В 1821 году французский художник Теодор Жерико награвировал две лондонские сцены уличной бедности и нищенства; годом раньше его знаменитая картина "Плот 'Медузы'" была выставлена в Египетском зале близ Пиккадилли, ныне же вся сострадательная нежность его натуры выразилась в гравюрах "Имейте жалость к несчастному старику, которого дрожащие ноги привели к вашему порогу" и "Параличная". На первой мы видим беспомощного старого нищего, привалившегося к стене; с ним собака на поводке из старого каната. Собака (bufe на нищенском жаргоне) во все времена была обычной спутницей лондонского отверженного; ее присутствие не только говорит о странническ̀ой жизни,



Теодор Жерико "Имейте жалость к несчастному старику..."

но и служит приметой одиночества, обделенности человеческой дружбой. В мире нужды собака нищему единственный друг; возникают, кроме того, ассоциации со слепотой и общей телесной немощью. На второй гравюре Жерико молодая мать и ребенок смотрят на парализованную старуху с жалостью и опаской. Опять-таки подчеркивается ее одиночество, не имеющее ничего общего с развеселой солидарностью "нищих братств". Есть и другой, физический аспект этой изоляции: никто не хочет подходить слишком близко. Отпугивает зараза – причем зараза не только болезнетворная. А вдруг и я стану как ты?

Письменные свидетельства об уличной жизни XIX века полны воспоминаний и наблюдений, связанных с этими призраками. "Возможно, иные из моих читателей, – писал Мейхью, – припомнят жалкого согбенного юношу, стоявшего над надписью "Я ГОЛОДАЮ", выведенной мелом на тротуаре на суррейской стороне моста Ватерлоо? Он лежал теперь, беспомощно съежившись, полумертвый от холода и голода, и сквозь прорехи в его тонком хлопчатобумажном пиджаке просвечивали голые шея и плечи; ни обуви, ни чулок на нем не было". Автор "Больших и малых улиц Лондона" вспоминает старика, у которого был "свой" угол на Оксфорд-стрит: "слабый, жалкий, иссохший, с пустой черной сумкой, которую он просительно ко мне протягивал. Содержимого ее, если оно было, я ни разу не видел, но я часто давал ему пенс – просто из-за того, что жалок он был невыразимо. Теперь он исчез, и место его пустует. Но он преследует меня в сновидениях". Один нищий калека облюбовал место у картинной галереи на Трафальгарской площади. Его "тощее тело опиралось на костыль с мягкой накладкой", "длинные худые пальцы бегали по клавишам старого аккордеона".

В 1816 году Иоганна Шопенгауэр, мать философа, опубликовала свои впечатления о Лондоне. Она описала, в частности, одну примечательную нищенку, которую считали сестрой знаменитой актрисы миссис Сиддонс. Ее низвели до плачевного положения несчастливые обстоятельства и, возможно, душевная болезнь, но на улицах Лондона к ней неизменно относились с удивительным почтением. Она "жила милостыней от незнакомых людей. Нам часто попадалось на глаза это диковинное привидение. На ней всякий раз были черная шляпка, не затенявшая лица и позволявшая разглядеть его черты, зеленое шерстяное платье, большой белоснежный передник и белый шарф". Она передвигалась на костылях и никогда никого ни о чем не просила, но прохожие "ощущали побуждение и даже считали своим долгом что-нибудь ей дать". Она была порождением улиц, уличным божеством-покровителем, которому следовало приносить дары.

В 1820-е годы Чарльз Лэм сочинил эссе "Сетования на упадок нищенства в столице", где речь шла об одной из спорадических и половинчатых попыток городских властей "очистить улицы"; на протяжении столетий издавались распоряжения и принимались меры, но нищие всякий раз возвращались. Лэм, однако, в элегическом тоне рассуждал об их грядущем исчезновении. "Нищие великого нашего города были подлинными его достопримечательностями, его знаменитостями. Мне в такой же мере будет их не хватать, как не хватало бы криков уличных торговцев. Без них и улицы не улицы. Они незаменимы, как бродячие певцы, и в живописных лохмотьях своих так же колоритны, как вывески старого Лондона". Нищий каким-то образом воплощает в себе весь город — возможно, потому, что как человеческий тип он вечен; подобно детским играм и песенкам, он возвращается и возвращается без конца. По словам Лэма, нищий — "единственный человек на свете, которому можно не обращать внимания на внешнее. Колыхания нашего мира его не затрагивают". Он являет собой неизменность, лежащую глубже текучей внешности мира. Поэтому нищие стали "застывшими поучениями, символами, напоминаниями, изречениями на солнечных часах, проповедями для ночлежного дома, детскими книжками, благотворными паузами и остановками посреди несущейся реки засаленного люда — взгляните хоть на этого вот несчастного банкрота". Образ банкрота уместен: где главная цель — нажива, там полное разорение может стать источником некоего достоинства, и нищий в его тряпье был застывшим упреком тем, для кого важно "внешнее".

К середине XIX века, когда все формы городского бытия стали предметами пристального исследования, нищих начали изучать и о них начали писать. Развитие общественного контроля и систематизация общества в целом в Лондоне средневикторианской поры затронули, в частности, феномен попрошайничества. Было учреждено "Общество изучения нищенства", расположившееся на Ред-Лайон-сквер, где всех нищих столицы классифицировали и описывали. Чарльз Диккенс, хоть он и был зачастую щедр и великодушен к бедным, немедленно сообщал в Общество о случаях явной симуляции со стороны нищих и об авторах просительных писем.

Чарльз Бэббидж, изобретатель "аналитической машины", "отец компьютера" и составитель логарифмических таблиц, систематически изучал лондонских нищих. Он пишет, что, когда он возвращался домой с вечеринок "из жарко натопленных помещений", за ним "сквозь моросящий

дождь" нередко шла "полуодетая несчастная женщина с ребенком на руках, порой сопровождаемая другой женщиной, едва способной идти". Они просили подаяния. Начав задавать им вопросы об их обстоятельствах, он увидел, что ему лгут. Однажды в густом тумане к нему подвели "бледного изнуренного мужчину", который, по словам владельца дешевого ночлежного дома, "два дня ничегошеньки не брал в рот, кроме воды из колонки на той стороне". Бэббидж дал ему одежды и немного денег, и молодой человек сказал, что ему предложили должность "стюарда на маленьком судне, отправляющемся в Вест-Индию". Но и он, как выяснилось, лгал. "Живя в одной из гостиниц другого квартала, он беспрерывно пьянствовал и буянил". Чарльз Бэббидж привел его к полицейскому судье. Его продержали неделю и, прочтя наставление, отпустили.

Что можем мы извлечь из этих примеров лондонского нищенства? Эти люди были отбросами города и являлись из моросящего дождя или густого тумана, подобно неким испарениям с каменных стен и свинцовых крыш. Они существовали на окраине бытия и, как правило, были приговорены к ранней смерти. У многих, как у молодого человека, быстро чередовались стадии опьянения и изнурения. Они были отъявленными лгунами и обманщиками, ибо с упорядоченным и комфортабельным обществом, чьим представителем был Бэббидж, их не соединяли никакие обязательства; их реальность была настолько ненадежной, что терять им было нечего. Они пребывали в совершенно ином жизненном состоянии, чем обычные люди. Только Лондон и мог дать им убежище.

Из страхов, проглядывающих за тогдашними статистическими выкладками и исследовательскими усилиями, один глубоко первобытен. Что, если нищие начнут неудержимо множиться? "Прибыток их, — писал один автор в конце XIX века, — не отстает от общего прироста народонаселения". Испуг был нешуточный: зарождался новый вид, сросшийся с городом настолько, что его невозможно ни убрать из Лондона, ни даже отграничить от него. Боялись также, что перемены в городском обществе отразятся на природе самого нищенства: как писал Бланшар Джерролд, "обман претерпел эволюцию, бродяга превратился в разъезжего человека, нищий расскажет тебе сотню историй... каких мошенник былых времен не мог взять на вооружение". Были, к примеру, "попавшие в беду": "моряки с разбитых кораблей, горняки из обрушившихся шахт, погорелые лавочники и бездомные из-за брошенной спички". Тип несчастливого моряка "знаком лондонцам по грубо намалеванным холстам, изображающим либо кораблекрушение, либо, чаще, кита, атакующего вельбот в северных морях. Картину расстилают на тротуаре, придавливая в ветреную погоду углы камнями". Нищих, как правило, было двое, причем один обычно безрукий или безногий. Расхожие книги о нищенстве, издававшиеся в XIX веке, любопытным образом напоминают подобную литературу XVI столетия: тот же предостерегающий упор на актерские таланты попрошайки, тот же перечень его уловок и трюков. Можно подумать, и вправду вывелась особая раса.

Как и всякое коренное население, нищие делились по участкам и от них получали прозвания. Были "нищие с Пай-стрит" и "нищие Сент-Джайлза", ходившие, как правило, каждый по своему определенному маршруту. "Я всегда держусь этой стороны Тотнем-корт-роуд, — сообщил в 1850-е годы один слепой нищий члену исследовательской группы. — Улицу никогда не перехожу, и псина моя про это знает. Я вон туда топаю.

Там Чиниз-стрит. Я знаю, где нахожусь, как не знать: сейчас направо будет Альфред-стрит, налево Фрэнсис-стрит, а когда мы до конца дойдем, псина остановится". Из нищенских маршрутов можно было бы составить карту Лондона.

Нищие также распознавали и учитывали особенности характера своих сограждан. Богатые и средний класс не давали им ничего, полагая, что все попрошайки — обманщики; это само собой вытекало из официальной и полуофициальной литературы, чьи выводы эти слои весьма охотно принимали за истину. В городе, которым начинала править система, возникали, помимо прочего, систематические предубеждения. "Будь способность рассуждать дарована всему человечеству, — писал Джон Биннн, автор книги "Ворье и жулье", — профессиональный нищий практически не имел бы шансов поживиться". Торговцев из числа более состоятельных тоже трудно было разжалобить. Но нищие получали свою долю "от торговцев среднего достатка и от бедного рабочего люда". Главными их благодетельницами были жены рабочих. Есть и другие свидетельства, говорящие о том, что лондонский бедняк склонен был помогать еще более бедным. Это означает, что вопреки расхожему мнению не все нищие были симулянтами; некоторые пробуждали братское сочувствие.

К концу XIX века нищие стали жаловаться, что их доходам и самой жизни угрожают две силы — реорганизованная полиция и "Общество изучения..".; но установить с достоверностью, уменьшилось ли сколько-нибудь существенно их число, не представляется возможным. Статистические отчеты и описания того времени, разумеется, утверждали, что столица ими по-прежнему "кишит" (популярное слово). Предположение о том, что количество нищих увеличивалось с ростом населения, выглядит вполне разумным.

В воспоминаниях, относящихся к началу XX века, говорится не о бандах и не о группах нищих, а об отдельных лицах, обычно прикрывавших попрошайничество торговлей спичками или леденцами. Имея на руках "лицензию уличного торговца", стоившую пять шиллингов в год, нищий занимал свою "точку". Один, стоявший на углу Вест-Энд-лейн и Финчли-роуд, заводил граммофон; другой ходил по Корбин-роуд с одним-единственным коробком спичек; шарманщик по прозвищу Коротышка "обрабатывал" Уайтчепел и Коммершиал-роуд; некий мистер Мэтьюмен сидел у станции метро Финчли-роуд с коробом разносчика и жестяной кружкой. Все это случайные, выхваченные наугад фигуры, но они передают дух лондонского нищенства между мировыми войнами. Томас Холмс, автор "Подпольного мира Лондона", пишет: "Их страшно, невыносимо жаль, и порой мне кажется, что я живу с ними, брожу с ними, сплю с ними, ем с ними; что я стал как они". Такое головокружение можно испытать у края пропасти. Стать одним из них, добровольно уйти на дно — ведь это легче легкого. Это "другая" возможность, которую дарует нам город, суля освобождение от обыденных забот, и все данные говорят о том, что многие нищие ценили и любили свою свободу — свободу странствовать и глазеть на мир.

Торговцев шнурками и спичками уже нет, и место их в XXI веке занимают бездомные, которые ночуют под дверными навесами; они носят с собой одеяла — своеобразные знаки их состояния. Некоторые из них подобны предшественникам и унаследовали все их черты. Это могут быть

люди умственно отсталые, или пьющие, или ущербные в каком-то ином смысле и потому неспособные вести "обычное" существование. Или же это, наоборот, люди сообразительные и смекалистые, которые не прочь поупражняться в древнем искусстве "вешать лапшу на уши". Но эти, пожалуй, образуют меньшинство. Лондонские бездомные большей частью действительно не могут справиться с требованиями городской жизни. Их страх перед миром слишком велик, или же им трудно находить друзей и устанавливать отношения с людьми. Чем может тогда показаться им лондонская вселенная? Тем, чем она была для обездоленных и бездомных любой эпохи, — лабиринтом подозрительности, агрессии и мелких обид. <...>

Мальчишки и девчонки, затеем-ка игру

История детей в Лондоне дает очень много пищи для размышления. В их смертности, в их жестокости, в их игровом инстинкте проявляются могучие городские силы. Ранние свидетельства скудны и отрывочны: фрагменты кожаных башмачков и туфелек, бронзовые игрушки, костяные свистки. Игра и восторг от нее и глубоки, и вечны. Сохранились также детские надгробия римской поры. На одном высечено имя Онесимус, и далее сказано, что он был помощником и достойным сыном; другое поставлено "доброму Дексию, сыну Диотима". Смерть детей непрерывной нитью тянется сквозь всю лондонскую историю. Во многих смыслах юность — плохо сохраняющееся в городских условиях вещество. <...>

В 1931 году Норман Дуглас опубликовал исследование, озаглавленное "Лондонские уличные игры"; целью автора, видимо, было сберечь память о мире, который, как он чувствовал, находился в процессе перехода в некое иное качество. Но помимо этого его труд стал ярким свидетельством изобретательности и энергии лондонских детей и косвенным источником сведений об улицах, служивших вместилищами и стражами их игры. У девочек были такие игры, как "мама, подо мной вода" и "мамин отжимальный пресс"; со скакалкой они играли в "Навуходоносора" и "выше луны". Под шлепанье подошв о тротуар звучали их голоса:

Чарли Чаплин встретил детку
И сказал: "Гони монетку".
Детка плачет, Чарли скачет
И в карман монетку прячет.

Игровые возможности создавались самим строением города. По водосточным желобам катали шарики, мощенные плитами тротуары размечали мелом для "классиков". Стены домов тоже шли в дело: о них щелкали карточками в таких играх, как "ближайший к стене берёт" и "ближайший к стене крутит". Было отмечено, что эти игры "развивают у мальчиков необычайную ловкость рук, которая впоследствии наверняка помогает им в некоторых профессиях — таких, например, как ремесло часовщика". Были различные варианты "салочек" — один назывался "Лондон". Большой популярностью на лондонских улицах, особенно в пригородах, пользовалась игра "делай как я". По ходу ее надо было перебегать улицы в опасные моменты, ходить по железнодорожным путям,

стучаться в двери домов. И была еще вечерняя игра "мигни фонариком"; как заметил один юный кокни, "в это впотьмах надо, днем какие фонарики?" В уличные игры хорошо играть в лондонском мраке, ибо "самое веселье, когда никто не видит". Вот почему игры затевались в старых туннелях, на заброшенных рельсах, в запущенных парках и скверах, на маленьких кладбищах. Дети словно бы прячутся от Лондона. Засев в укромном местечке, те, что побойчее, могут изгаляться над проходящими взрослыми, швырять в них чем-нибудь или выкрикивать угрозы типа: "Щас у меня без зубов останешься!" В воздухе города часто пробуждаются инстинктивная свирепость и агрессия.

Некоторые из самых трогательных памяток о лондонских детях пришли к нам из XVII и XVIII веков. В Холборне и Вестминстере, например, сохранились резные изображения приютских детей. Статуэтки школьников стояли у церкви Сент-Мэри-Розерхайт, где в 1613 году была учреждена "бесплатная школа для восьми сыновей бедных моряков". У церкви Сент-Ботольф-Бишопсгейт были установлены две детские фигурки из керамики, имитирующей камень; на бляхах у них видны номера – 25 и 31. Скульптуры учеников Сент-Брайдской церковной школы в высоту составляют три фута шесть дюймов, что можно принять за примерный рост лондонского ребенка. Фигуры детей, кроме того, стоят на Хаттон-гарден, на Какстон-стрит и на Винтнерс-плейс, иные в характерной одежде, какую носили почти триста лет назад, – синих куртках и желтых чулках (видимо, чтобы отпугивать крыс), и служат постоянным напоминанием о том, что́ есть лондонское детство. Они составляют одно целое со всеми прочими каменными или деревянными детскими статуями города. "Толстый мальчик" на Гилтспер-стрит, мальчик с корзиной на Хлебном рынке близ собора Св. Павла, мальчики, играющие в шарики, над входом в одно из зданий на Лоуренс-Паунтни-хилл, ребенок с телефонной трубкой на Темпл-плейс – все это образы ребенка, живущего в городе и вместе с тем словно бы выхваченного из времени. В этом смысле все они воплощают вечную природу самого детства.

Однако город, где властвовало время, мог, как и раньше, портить детей. Автор конца XVI века писал, что "миловидные детишки, мальчики и девочки, во множестве бродят по улицам, слоняются у Павла, а ночами спят под изгородями и навесами". Весной 1661 года Пипс[1] писал: "В нескольких местах я спрашивал женщин, не продадут ли они мне своих детей; все они отказали мне в этом, но говорили, что отдали бы мне одного на содержание, если бы я захотел". Сэмюэл Керуэн, автор еще одного дневника XVII века, идя однажды по Холборну, вдруг увидел в окружении толпы повозку, полную детей. Им было по шесть-семь лет; "юные негодники вечерами шныряли по улицам и крали, тащили, хватали все, на что только могли наложить грязные свои загребущие лапки. Теперь их препровождали куда следует". Большей частью таких детей выбрасывали на улицу либо хозяева, либо родители. В документах Лондонского графства конца XVII века говорится, к примеру, что некие Бенджамин и Грейс Кольер "втихомолку уехали со всеми пожитками, оставив детей без всяких средств". Сара Рейнбоу девять лет служила в питейном заведении в переулке Лонг-элли (Литтл-Мурфилдс) и перенесла "великие тя-

1. Сэмюэл Пипс (1633–1703) – английский чиновник Адмиралтейства. Автор дневника, опубликованного в XIX веке.

готы, а недавно — беспричинное месячное заключение в Брайдуэллской тюрьме и прочие жестокости, коих не в силах была вытерпеть". В 1676 году она убежала с двумя своими братьями; один из мальчиков за пять шиллингов завербовался на клипер, направлявшийся на Барбадос, другой бесследно исчез.

Сохранились изображения подобных детей, торгующих, или попрошайничающих, или ворующих на улицах, "почти нагих и до последней степени несчастных, поедаемых паразитами, одетых в такие жалкие лохмотья, что по их платью невозможно определить, какого они пола". Иллюстрации того времени подтверждают плачевность их состояния. На одной мы видим уличного мальчонку в ветхой одежде взрослого — рваное пальто, висящие лохмотьями брюки; шляпа и башмаки непомерно велики ему, а на боку висит жестянка для еды и питья. Паренек, кажется, лишен возраста — или, точнее, все возрасты присущи ему одинаково; безвозрастность подчеркивает взрослое платье, ранее выброшенное кем-то за негодностью. Эти бродячие дети столь же стары и столь же юны, как сам город.

Документы приходских приютов XVIII века полны картин, пробуждающих горестные чувства. Найденышам часто давались фамилии по названиям мест, где их обнаруживали; например, архивы прихода Ковент-Гарден пестрят такими именами, как Питер Пьяцца, Мэри Пьяцца или Пол Пьяцца. Оставленных или подкинутых младенцев называли children laid in the streets (детьми, выложенными на улицу), что само по себе достаточно красноречиво. Приходские должностные лица на каждого ребенка, вверенного их попечению, получали десять фунтов, по каковому случаю устраивался пир, называвшийся "отягощением вертела"; считалось, что "ребенок долго не протянет и потому деньгами можно распорядиться к своему удовольствию". Вновь следует обратить внимание на языческую природу подобных городских ритуалов. По общему мнению, "приходскому младенцу жить восемь-девять месяцев, не больше", и представляется вероятным, что дети эти умирали отнюдь не только своей смертью. В парламентском документе, датированном 1716 годом, сказано, что "великое множество несчастных младенцев и незаконнорожденных подкидышей бесчеловечно губится варварским обращением нянек". В одном приходе Вестминстера из пятисот "выложенных на улицу" остался жив один-единственный ребенок.

Выживших определяли в приходские работные дома. По существу это были примитивные фабрики, где с семи утра до шести вечера дети трудились — пряли шерсть или лен, вязали чулки; час в день отводился на начатки ученья, еще час — "на обед и игры". Как правило, работные дома были грязны и переполнены. Например, в приходе Сент-Ленард (Шордич) "на тридцать девять детей было три кровати". Соединяя в себе черты фабрики и тюрьмы, работный дом выявлял тем самым свою сущность специфически городского учреждения; часто одни дети заражались там от других "расстройствами" и инфекционными болезнями, и тогда их отправляли в больницы. Четырехугольник лондонской неволи — работный дом, фабрика, тюрьма, больница — замыкался.

Дети подвергались заточению по той простой причине, что в естественном и свободном состоянии считались дикими существами. Вечно "полуголые или одетые в лохмотья, обмениваются скверной руганью и проклятиями... катаются в грязи, лезут в конуры, воруют на пристанях, тащат из карманов ключи". Они были тем "отребьем", которым "изо дня

в день полнятся наши тюрьмы, от тяжести которого стонет тайбернская виселица". Из тех, кто присматривался к жизни общества, лишь очень немногие задавались вопросом — не доводят ли этих детей до звероподобного состояния сами условия лондонского бытия? Осязаемые картины действительности давили на сознание, мешая всякому адекватному, убедительному анализу, идущему дальше констатации дикости и озверения. Беспризорные дети, которых приучили к труду в приходском работном доме, считались, к примеру, "настолько же отличными от того, чем они были раньше, насколько прирученный зверь отличается от дикого". Однако этот образный ряд применим и к другим существам из коммерческих джунглей Лондона. "Злой хозяин может быть настоящим тигром — и бьет, и бранит, и догола раздевает, и голодом морит, и все, что пожелает, может сотворить с безвинным мальчонкой, и кому до этого дело? Приходскому начальству, сбывшему его с рук, уж точно никакого". Здесь речь идет о "приходском ребенке", продаваемом в ученики; хотя эту ситуацию увековечил Диккенс в "Оливере Твисте" (1837), жестокости и тяготы, с которыми была сопряжена эта торговля детьми, характерны прежде всего для XVIII века.

Обратимся теперь к бедственному положению маленьких трубочистов, которых называли climbing boys — лазающими мальчишками. Обычно их определяли к хозяевам в ученики в возрасте семи-восьми лет, однако нередко пьющие или неимущие родители продавали за двадцать-тридцать шиллингов даже четырехлетних. Требовались именно малыши, потому что лондонские дымоходы были специфически узкими и изогнутыми, вследствие чего легко забивались сажей и прочим. Маленького трубочиста заставляли протискиваться в эти узкие щели или заталкивали туда силой; боязливых или непослушных, чтобы лезли веселее, кололи булавками или подпаливали огнем. Некоторые гибли от удушья, многие умирали медленной смертью от эпителиомы мошонки — "рака трубочистов". Оставшихся в живых работа уродовала. Один поборник социальных реформ так описывал типичного "лазающего мальчишку", окончившего свой недолгий трудовой век: "В двенадцать лет он теперь калека на костылях, роста в нем от силы три фута семь дюймов... Волосы на ощупь как свиная щетина, голова как горячая головешка... Он бубнит Отче наш". Черные от сажи и прочих отходов города, эти дети если и мылись, то очень редко. Выкрашенные в лондонский цвет, они были подлинными символами самого что ни на есть жалкого состояния, до какого город мог довести своих юных жителей. Обычные уличные персонажи, они бродили и громко выпевали: "Чистить дымохо-од!" Это называлось calling the streets — окрикивание улиц.

В суровых лондонских условиях им, однако, редко сочувствовали. Напротив, их считали по совместительству воришками, попрошайками и лучшими поставщиками висельников из всей английской ремесленной братии. Тем не менее — и это еще одно ошеломляющее проявление ритуальной театральности, к которой город всегда был склонен, — раз в год для них устраивали праздник. Первого мая, выбелившись мукой и пудрой для волос и действительно став "лилейно-белыми", как шутливо называли трубочистов в те времена, они гурьбой шли по улицам и выпевали свое "Уи-ип, уи-ип"[1]. Парад сопровождался стуком ершей для сажи

1. Произошло от sweep ("суип"), что значит "прочищаю".

и кошек для лазанья. Этим карнавальным превращением Лондон демонстрировал и грубость свою, и веселость: трубочистам в их несчастливой жизни почти нечего было праздновать, и вот раз в году им позволялось поиграть и почувствовать себя детьми.

Однако имеются здесь и другие смысловые ассоциации, глубоко уходящие в тайну городского детства. "Лазающие мальчишки" в свой праздник обычно украшались золотой фольгой и лентами — в точности как дети, участвовавшие в средневековых шествиях; иными словами, трубочисты становились олицетворением святости и невинности, пусть и в вульгарном варианте. В то же время, проходя по улицам под грохот орудий своего ремесла, они были "господами бесчинств"; шум подчеркивал их дикость, которая представляла бы опасность для города, не будь она формализована и подчинена дисциплине ритуала. Игра, невинность, свирепость — все эти стихии в городском ребенке сливаются в одно целое. <...>

С лондонской детворой было выгодно иметь дело. "Никакое вложение капитала, — писал в 1892 году автор книги "Дети бедноты", — не дает ныне лучшей отдачи, чем использование детской рабочей силы". Некоторые из детей становились "мальчиками на побегушках" или разносчиками пива; другие, подрядившись убирать на оживленных улицах конский помет, надевали красную униформу. Придерживали лошадей для тех, кто останавливался что-то купить по дороге; таскали чемоданы и сундуки на вокзалах или помогали пассажирам на стоянках омнибусов; стояли у дверей театров и прочих общественных мест, готовые раздобыть кеб — особенно в дождливую погоду; пособляли уставшим носильщикам и хлебнувшим лишнего кебменам. Можно представить себе город детей (число тех, что были заняты уличной работой, оценивается в десять-двадцать тысяч), высматривающих работу и, когда она подворачивается, жадно за нее хватающихся. Они были подлинным порождением Лондона.

Другие становились уличными торговцами и часто были узнаваемыми фигурами со своими прозвищами — например, Воробышек или Ранняя Пташка. Им завидовали "безработные малыши, для которых отнести куда скажут корзинку фруктов было способом получить толику независимости". Взгляд этих детей на жизнь небезынтересен: любая, даже малейшая возможность заработка позволяла тебе стать уличным господином или госпожой и гулять, как тебе вздумается. Торговцы фруктами и прочим товаром нанимали "ничейных детей" продавать мелкие партии. Ребенок брал обязательство вернуть определенную сумму, а то, что ему удавалось выручить сверх нее, составляло его "навар". С первым светом дети стекались на многочисленные уличные рынки. Подбегая к тачкам торговцев фруктами, мальчик кричал: "Я нужен, Джек?" или: "Сговоримся, Билл?" Порой приходилось ждать своего часа целый день, но при удачном стечении обстоятельств малец мог стать любимчиком того или иного торговца. Часто мальчика нанимали "выкрикивать" товар, который они с хозяином везли по улицам в тачке. Этот обычай можно было бы счесть симпатичным — однако "естественный мальчишеский тембр совершенно исчезает в очень раннем возрасте, и вместо него возникает грубый, хриплый, гортанный, неблагозвучный голос". Вот они, физические последствия городской жизни: Лондон высасывал соки даже из детских голосов, превращая их чистые тона в рваный хрип.

Другим источником дохода лондонских детей были увеселительные зрелища, которые они устраивали для горожан. Например, мальчики состязались в быстроте передвижения с трамваями, "не только резво шевеля ногами, но, кроме того, то и дело вставая на руки и проходя несколько "шагов" вниз головой". Популярнейшим местом этой живой работенки была Бейкер-стрит, где дети ходили колесом, "чтобы привлечь внимание и получить преимущество, если имелись виды на какой-нибудь заработок, а также в надежде на полпенса за проворство". Будучи частью лондонского театра, эти уличные представления не обходились, однако, без последствий. Мейхью осмотрел руки одного такого мальчишки: "Ладони у него были жесткие, как подметочная кожа, и по твердости не отличались от подошв его босых ступней". Улицы делали своих детей жесткими во всех отношениях. В довершение всего лица у них были "бесстрастные и невыразительные".

Торгуя "на свой страх и риск", дети не всякий товар могли продавать. Торговля патентованными медикаментами была делом взрослых, умевших дурачить публику; не умели дети и всучивать людям после публичных казней "предсмертные речи". Более любопытным, однако, представляется то, что у юных продавцов нельзя было купить таких детских вещиц, как стеклянные шарики или волчки. Причина, возможно, более глубока: кто захочет покупать атрибуты детской невинности и игры у тех, кто неизменно лишен подобных вещей?

Уличные дети хозяйничали в грошовых балаганчиках, где ставились любительские спектакли для зрителей, пришедших, как и актеры, с улицы. Царившие там грязь и пошлость стали притчей во языцех. Между тем для лондонских детей из более состоятельных семей существовали другие сценические формы, главной из которых был игрушечный театр. Он продавался вместе с вырезанными и наклеенными на картон персонажами — "простой за пенс, раскрашенный за два", — которые перемещались по деревянной или картонной сцене с помощью проволочек или палочек. Разыгрывание пьес было глубоко лондонским времяпрепровождением, в котором органически слились традиция карикатуры или сатирической гравюры (они были выставлены в витринах у множества продавцов гравюр и эстампов) и традиция лондонской драмы или рождественского представления.

Первый из этих детских театриков был сделан в 1811 году, и вскоре они приобрели огромную популярность. Когда Джордж Крукшенк[1] стал мешкать с их выпуском, "мальчишки повадились ходить к нему в магазин и ругать его на чем свет стоит за то, что от него не дождешься продолжений его пьес". Игрушечный театр таким образом составил часть истории лондонских зрелищ, и питали его сюжетами все те же готика и фантасмагория. Он, кроме того, имитировал юмор и разноголосицу "большой" лондонской сцены своими бурлесками и буффонадами: "The Sorrows of Werther" ("Страдания Вертера") превратились в "The Sorrows of Water, or Love, Liquor and Lunacy" ("Страдания от воды, или Любовь, спиртное и безумие").

Во многих отношениях Лондон был городом мелодрамы, и юные его жители были неравнодушны к театральной игре и декламации. Один из ежедневных уроков чтения в лондонских школах основывался

1. Джордж Крукшенк (1792–1878) — знаменитый иллюстратор, карикатурист и издатель.

на драматургическом материале, и мальчики и девочки города испытывали настоящую "страсть к актерству". В "Ярмарке тщеславия" (1847–1848) Теккерей выводит двоих лондонских мальчиков, имеющих явную "склонность к изображению театральных типов". Другой лондонец, писавший в начале 1830-х, отмечает, что "почти у каждого мальчика имеется игрушечный театр".

Картина "Вечерний Панч", написанная в 1898 году, изображает группу детей, зачарованно глядящих снизу вверх на представление с Панчем и Джуди, даваемое в балагане при свете масляных ламп. Иные из них босоноги, иные одеты в лохмотья, и все стоят на грубых камнях, но поглощенные зрелищем детские лица озарены ярким светом – или, возможно, сами порождают это сияние, изливающееся во мрак лондонского вечера. Сходное ощущение сверхъестественного возникает, когда читаешь о детях, играющих на улицах города. Немецкий автор Теодор Фонтане описал весну в "грачовнике" Сент-Джайлза, когда "дети вынесли на улицу единственную свою немудрящую игрушку – самодельный волан, и повсюду, куда ни глянешь, множество бледных, преждевременно состарившихся лиц с темными блестящими глазами, а воланы порхают себе вверх-вниз, отсвечивая, как стайка освещенных солнцем белокрылых голубей". Здесь есть ощущение чуда и тайны, которое дарует нам идущая из зловонных и грязных трущоб волна счастья и смеха. Не о невинности, противопоставляемой опыту, идет речь (невинными эти дети отнюдь не были), а о некоем торжестве человеческого воображения над городом. Даже в средоточии мерзости дети нуждались в веселье и имели на него право.

Это чувство – этот прилив взволнованной человечности – возникает и во многих описаниях детского уличного танца. В "Неизвестном Лондоне" А. Т. Камден-Пратта говорится о "диковинном зрелище" на Холиуэлл-стрит в конце XIX века: "на улице дети танцуют в ряд под шарманку, которая, кажется, не умолкнет никогда... Видно, что все используют один простой шаг, – но до чего иногда изящны эти неопрятные девчонки!" Это похоже на какой-то ритуальный танец под вечно звучащую музыку – на танец города. Ивлин Шарп в "Лондонском ребенке" пишет, что "иногда они танцевали синхронно, иногда – как своего рода кордебалет для маленькой босоногой прима-балерины во взлетающем передничке; и неизменно они выдавали свое родство с той пестрой толпой, что в диком самозабвении пляшет под бренчание уличной шарманки". Вновь заявляет о своем постоянном присутствии вездесущая шарманка, как если бы через ее посредство музицировали сами камни, однако простой ритуализованный детский танцевальный шаг уступил место дикости и "самозабвению"; в неистовом танце они хотят забыться, выйти из условий обыденного существования. Косвенно они бросают городу вызов. Раз мы так танцуем – ты ничего с нами не сделаешь.

В одном стихотворении 1894 года описывается "дочь Сити – полудевочка, полуэльф... болтающая сама с собой" и играющая в "классики" на ступенях собора Св. Павла. Лондон "тщетно грохочет", пытаясь завладеть ее "рассеянным слухом", а она не удостаивает и взглядом высящуюся над ней церковную громаду. Здесь высвечены достоинство и самодостаточность "дочери Сити", которые не имеют ничего общего с какими бы то ни было проявлениями мощи и делового успеха вокруг нее. Она словно бы сотворена самими городскими условиями, и в то же время в ней есть нечто, способное игнорировать их. В эту тайну был посвящен

поэт конца XIX века Лоуренс Биньон, который изобразил двоих детей, танцующих в переулке "лицом к лицу" под звуки пресловутой шарманки. Они смотрят друг на друга "сияющими серьезными глазами, полными совершенного удовольствия". Общая радость и взаимопонимание возвышают их над неприглядным материальным миром вокруг. В романе Джорджа Гиссинга "Фирца" (1887) Гилберт Грейл сворачивает на Ламбет-уок[1], и "стоило ему это сделать, как перед ближайшим питейным заведением заиграла шарманка. Грейл подошел ближе; дети затеяли танец, и он остановился посмотреть. Знакомы ли вы с музыкой сумрачных улиц, под которую танцевали дети?.. волнение, какое вам и не снилось, коснется вас, и в нем вам откроется секрет потаенного Лондона". Это великий секрет тех, кому довелось существовать в темном сердце города. Это вызов и самозабвение, сплавленные воедино. Это лондонский танец.

Ламбет ныне, как и многие другие районы Лондона, стал тише. Детей на улицах не видно вовсе, однако небольшой сквер на Саламанка-стрит, называемый Педлерс-парк, означен как "детская игровая площадка". В свое время весь Лондон был одной "игровой площадкой" – теперь же для детской игры выделены особые зоны. Улица Ламбет-уок, ранее бывшая центром Старого Ламбета, сейчас сделана пешеходной и застроена трехэтажными муниципальными домами из темного кирпича. Она ведет к торговому пассажу, который, однако, не назовешь новеньким; по нему, ругаясь сквозь зубы, ковыляет пьяный. Магазины закрыты, а иные и вовсе бездействуют. Но росписи на стенах домов, возвышающихся над пассажем, изображают детей. На одной, датированной 1851 годом, – ученики Ламбетской школы для бедных на Ньюпорт-стрит. На другой – голоногая детвора весело пляшет в струях воды из поливальной цистерны; образ навеян фотографией, сделанной Уильямом Уиффином примерно в 1910 году. И вдруг – на тебе: 1 июля 1999 года четыре девочки затевают посреди Ламбет-уок игру со скакалкой.

Вонючее скопище

Часто утверждалось, что Ист-Энд – порождение XIX века; несомненно, само это название возникло только в 1880-е годы. Фактически, однако, восточная часть Лондона всегда существовала как отграниченная, распознаваемая городская единица. <...>

В свое время было сказано, что Вест-Энду достаются деньги, а Ист-Энду – грязь, что западу можно бездельничать, а востоку приходится трудиться. Однако в первые десятилетия XIX века Ист-Энд не был выделен как средоточие самой отчаянной бедности и преступности. Прежде всего он считался центром судоходства и промышленной зоной – и, следовательно, обиталищем трудовой бедноты. На деле интенсивность промышленного производства и уровень бедности неуклонно росли; в Боу, Олд-Форде и Стратфорде концентрировались красильни, химические фабрики, туковые заводы, предприятия по переработке ламповой сажи,

1. Улица Ламбет-уок дала название популярному уличному танцу, участники которого выстраиваются цепочкой.

по производству клея и парафина, краски и костной муки. Река Ли на протяжении столетий была рекой промышленной и деятельной, но в XIX веке она сильно деградировала, подвергшись нещадной эксплуатации. Построенная на ее берегу спичечная фабрика сделала воду на вид и вкус похожей на мочу, и во всей округе воцарился отвратительный запах. Во всем этом, разумеется, видно расширение и усиление тенденций, уже действовавших в XVI и XVII веках; процесс словно бы черпал ускоряющую энергию из себя самого. Между речками Ли и Баркинг-крик возникли промышленные районы Каннинг-таун, Силвертаун и Бектон; наибольшей известностью пользовался Бектон благодаря тамошней системе обработки сточных вод. Словом, вся грязь Лондона ползла на восток.

И в 1880-е годы она в какой-то момент достигла критической массы. Произошел внутренний взрыв. Ист-Энд сделался "бездной", или "преис-

Лондонская детвора (фотография 1851 г.).

подней", полной устрашающих тайн и темных устремлений. В этой части Лондона теснилось больше бедноты, чем где-либо еще, и великое ее скопление стало порождать слухи о порче и безнравственности, о дикости и неудобоназываемых пороках. В эссе "Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств" Томас Де Куинси назвал окрестности Ратклиф-хайвей, где в 1812 году произошло громкое убийство целой семьи, "одним из самых хаотических" мест города, "весьма опасным" районом, где совершаются "многообразные злодейства". То, что подобная характеристика Ист-Энда была дана именно писателем, представляется существенным: темная слава, которую район приобрел впоследствии, во многом основывалась на произведениях журналистов и романистов, чувствовавших себя чуть ли не обязанными использовать образы ужаса и мрака, живописуя отбрасываемую Лондоном тень. И разумеется, главной сенсацией, навеки определившей и окрасившей Ист-Энд, сотворившей его "лицо" в глазах публики, стала серия убийств в конце лета и на-

чале осени 1888 года, приписанных Джеку Потрошителю. Размах, присущий этим внезапным, жестоким убийствам, резко выделил Ист-Энд как область беспримерного зверства и свирепой разнузданности, однако не менее существенно было то, что преступления совершались во мраке зловонных переулков. Тем обстоятельством, что убийцу так и не поймали, лишь усиливалось впечатление кровопролития, творимого самими этими мерзкими улицами; подлинным Потрошителем казался Ист-Энд как таковой.

Все тревоги по поводу города в целом сосредоточились тогда на одной его части, словно в каком-то диковинном смысле Ист-Энд сделался микрокосмом всей лондонской тьмы. Были написаны книги, чьи названия говорят сами за себя: "Горький плач обездоленных Лондона", "Люди бездны", "Лондон в лохмотьях", "В кромешном Лондоне", "Преисподняя". В романе Джорджа Гиссинга, стоящем последним в этом перечне, описываются "зачумленные районы восточного Лондона, изнемогающие под солнцем, которое лишь выявляет всю подноготную их мерзкого упадка; которое освещает протянувшийся на мили город прóклятых, немыслимый в эпохи, предшествующие нашей; которое висит над уличным кишением безымянного люда, жестоко выставленного напоказ этими непривычно сияющими небесами". Это – взгляд на Ист-Энд как на ад, взгляд на город как на преисподнюю, и Гиссинг тут не одинок. Действие автобиографического повествования XIX века, принадлежащего перу "Джона Мартина, школьного учителя и поэта", отчасти происходит в трущобах Лаймхауса. "Мрачная, мизантропическая в своем взгляде на вещи потребна душа, привычная к страшным видениям ночи, чтобы твердым и цельным взором окинуть эти сцены болезненного ужаса и отчаяния". <...>

Чешский драматург Карел Чапек, воочию увидев Ист-Энд в начале XX века, писал, что "это немыслимое скопление кажется уже не человеческой массой, а геологическим образованием... напластованиями сажи и пыли". Безликая, унылая мощь, окаменелая смесь труда, страдания и копоти от пароходного и фабричного дыма. Все это, возможно, до такой степени стало "геологическим образованием", что район как таковой словно бы излучал волны оцепенения и подавленности. В конце XIX столетия миссис Хамфри Уорд[1] так писала о монотонности Ист-Энда: "Длинные ряды приземистых домов – неизменно двухэтажных, иногда с полуподвалом – из одинакового желтоватого кирпича, закопченного одинаковым дымом, и все дверные молотки одинаковой формы, и все шторы висят на одинаковый лад, и на всех углах светятся издалека сквозь мглистый воздух одинаковые пивнушки". Сходные впечатления – у Джорджа Оруэлла: в 1933 году он сетовал на то, что территория между Уайтчепелом и Уоппингом "тише и скучнее", чем эквивалентные ей бедные районы Парижа.

Это знакомый рефрен, но исходит он, как правило, от пришлых наблюдателей, которые здесь не живут. В автобиографических воспоминаниях самих истэндцев главное место занимают не монотонность и не тяготы, а развлечения, клубы, рынки, местные лавки и местные персонажи. Из всего этого складывалась жизнь округи. По словам одного старого обитателя Поплара, приведенным в недавно вышедшем под

1. Миссис Хамфри Уорд (наст. имя Мэри Августа Арнолд, 1851–1920) – английская писательница.

редакцией У. Дж. Рамзи историческом сочинении "Ист-Энд тогда и теперь", "мне никогда не приходило в голову, что мы с моими братьями и сестрами — обездоленные люди: чего не попробуешь — о том не жалеешь". Так воспринимают не только Ист-Энд, но и все прочие бедные районы Лондона сами их обитатели; очевидные лишения и однообразие жизни не осознаются, поскольку не затрагивают внутреннего бытия тех, на кого они, казалось бы, должны воздействовать. В любом случае нам, говоря о единообразии или скуке Ист-Энда, всякий раз следует делать существенную поправку на многократно отмечавшуюся "веселость" и "приветливость" его обитателей. После перечня скорбных тайн, с которыми можно повстречаться на восточных улицах, Бланшар Джерролд говорит об "отважном, сильном добродушии", о "всеобщей готовности смеяться". Он отметил также, что "у кого наготове шутка — у того корзинка быстро пустеет, а скучный торговец стоит скрестив руки и ждет".

Так возникла фигура кокни. Первоначально уроженец Лондона вообще, он стал затем, в конце XIX и начале XX века, все больше и больше ассоциироваться именно с Ист-Эндом. Речь этого персонажа полна, по выражению В. С. Притчетта, "жалобно скулящих гласных и размолотых согласных", в облике бросается в глаза "твердый, неукротимый подбородок". К сотворению образа этого находчивого, неунывающего малого до некоторой степени причастны мюзик-холлы, являвшие собой еще одну противоположность однообразию Ист-Энда. Условия жизни в Уайтчепеле, Бетнал-Грине и других подобных районах располагали их обитателей к поискам возможностей для буйного веселья, и свидетельство тому — дешевые балаганы и ярко освещенные пивные с неотделимо присущей им грубостью и фривольностью. Знаменательно, однако, еще и то, что в Ист-Энде было больше мюзик-холлов, чем в любой другой части Лондона. "Гилбертс" в Уайтчепеле, "Истерн" и "Аполло" в Бетнал-Грине, "Кембридж" в Шордиче, "Уилтонз" на Уэллклоуз-сквер, "Куинс" в Попларе, "Игл" на Майл-Энд-роуд и, разумеется, "Эмпайр" в Хэкни — это лишь самые известные из огромного числа мюзик-холлов, которые стали столь же характерной приметой Ист-Энда, как потогонные предприятия и церковные благотворительные миссии. К середине XIX века на территории, приблизительно соответствующей нынешнему административному району Тауэр-Хамлетс, было около ста пятидесяти мюзик-холлов. Как нельзя более уместным выглядит то, что Чарльз Мортон, открывший в 1851 году "Кентербери" и потому прозванный, пусть и не вполне справедливо, "отцом мюзик-холлов", родился в Бетнал-Грине. В некотором смысле восточная часть города просто-напросто вернула себе былой характер. Два из старейших лондонских театров — "Театр" и "Куртина" — были возведены в XVI веке на незастроенных участках в Шордиче; все пространство за городскими стенами стало местом разнообразных народных увеселений, от чайных на открытом воздухе до борцовских поединков и медвежьей травли. Таким образом, мюзик-холлы Ист-Энда — еще одно, наряду с плохим качеством жилья и "вонючими производствами", проявление местной преемственности.

С другой стороны, в мюзик-холлах выразились расширение и интенсификация жизни Ист-Энда в XIX веке. Многие из них возникли и прославились в 1850-е годы, в том числе "Игл-Ти-Гарденс", "Эффингем" и "Уилтонс". В программы вечеров входили небольшие комические оперы и номера варьете под оркестровую музыку. Среди выступавших были так называемые lions comiques — комедианты,

изображавшие "светских львов". Альфред Вэнс и Джордж Лейберн пели на диалекте кокни такие песни, как "Бах-трах — вот мы и снова тут как тут" и "Чарли-Шампань". Вэнс был особенно знаменит своими "костермонгерскими"[1] песенками на кокни — например, "Костермонгер Джо" и "Паренек не промах", — где юмор легко совмещался с бравадой. Подобные песни, оживляемые всем пафосом и своеобразием конкретной округи, насыщенные обстоятельствами и реалиями района в целом, становились подлинно народными песнями Ист-Энда. Они не потеряли силы и по сей день, потому что в них много подлинного, конкретного ощущения места — скажем, когда речь идет об Артиллери-лейн или о Розерхайтском туннеле. Чарльз Коуборн вспоминал, что, когда он исполнял в мюзик-холле "Парагон" на Майл-Энде номер "Два черных миленьких глазочка", "парни и девчонки из костермонгерской братии, сидя группами бок о бок и взявшись под руки, во всю мощь своих глоток голосили вместе со мной припев". Ощущение родства исполнителя и аудитории было чрезвычайно сильным. Когда "Ли-ли-Непоседа" Бернанд пела в мюзик-холле "Куинс" в Попларе песенку о домашнем хозяйстве в бедной семье, она касалась хорошо всем знакомой темы:

Да за банку полпенса возьми, не забудь...
Завтра утречком домохозяин заявится,
Въедливый — жу-у-ть!

Речь шла о том, как важно выручить полпенса, вернув лавочнику пустую банку из-под джема. Общие для всех приметы нужды возносились на ту высоту, где их преображало универсальное комически-сострадательное начало; то была пусть и временная, но победа над обездоленностью. Не нужно быть особенно смелым, чтобы заявить, что мюзик-холлы шумным и совершенно нецерковным образом удовлетворяли потребность людей в некой разновидности мессы с ее возвышающим чувством соборности.

В мемуарах начала XX века жизнь Ист-Энда запечатлена с тем пристальным вниманием к подробностям, что задним числом наводит на мысль о бережливости к несбереженному. Как пишет в книге "К востоку от Олдгейта" Хорас Торогуд, в свое время на Поплар-Хай-стрит стояли "разнообразные по очертаниям, высоте и размеру магазинчики", перемежавшиеся домиками, у которых "на дверях блестели полированные латунные номера". Здесь можно было увидеть "магазин, где торговали клетками для попугаев, магазин музыкальных инструментов" и, что характерно, "ряды маленьких одноэтажных домиков, отстоящих от тротуара на несколько футов и отделенных от него железными оградками". В Шадуэлле дети ходили босиком и носили рваную одежду, но "это было всего-навсего ирландское неряшество, голодать они не голодали". В первые десятилетия XX века ист-эндские пабы "были открыты с раннего утра до половины первого ночи". Джин стоил четыре с половиной пенса за четверть пинты, "пиво — пенс за полпинты. Женщины частенько приходили в семь утра и засиживались до трех пополудни". Ист-Энд был, кро-

1. Costermonger (*англ.*) — уличный торговец фруктами, овощами, рыбой и прочим.

ме того, знаменит своими рынками — на Розмари-лейн, в Спитлфилдс, на Крисп-стрит, на Уотни-стрит; на улицах "тесное людское скопище вечерами освещали нефтяные фонари... весь путь от Коммершиал-роуд до Кейбл-стрит можно было бы проделать по головам".

В эти десятилетия истэндцев отличало яростно-оборонительное ощущение своей особости. Обитатели Лаймхауса называли тех, кто жил западнее, "публикой из-за мостов", и верность своим территориям была причиной весьма существенного "инбридинга". Согласно книге "Ист-Энд тогда и теперь", в 1920-е годы в одном обособленном уголке Поплара близ Лимаут-роуд "проживало около двухсот мужчин, женщин и детей", которые были членами "самое большее шести семей; наиболее многочисленны были Ламминги, Сканланы и Джеффри. Браки, как правило, заключались внутри этого круга... Это сообщество располагало своей школой, двумя пабами и маленьким магазином, где торговали всем подряд". Отмечалось также, что китайцы, обитавшие в Пеннифилдс, чаще женились на девушках из Хокстона, чем на уроженках Поплара. "Попларцы были против смешанных браков", — писал один наблюдатель в 1930-е годы. Можно предположить, что, находясь ближе к Сити и остальному Лондону, Хокстон не был затронут этим особым ощущением своей территориальной самобытности.

Те истэндцы, что становились более зажиточными, уезжали. В частности, в XIX веке, когда появились новые средства сообщения, позволявшие ездить на службу из пригородов в Сити, клерки стали перебираться в более здоровые места — в Чингфорд, в Форестгейт. За десять лет население Миддлсекса выросло на 30,8 %; в Уэмбли жителей стало больше на 552 %, в Харроу — на 275 %. В старинных ист-эндских центрах оставались лишь бедные, число которых росло и положение ухудшилось. Отсюда проистекали горькая обида и ощущение гетто, не исчезли они и по сей день.

В человеческом плане стоимость производимых здесь товаров была очень высока. Ист-Энд просыпался раньше, чем остальной город, и на рассвете превращался в обширную равнину дымящихся труб. Открывались всё новые фабрики, использовавшие дешевую рабочую силу, и в 1951 году здесь проживало почти 10 % трудового населения города. В начале XX века Хорас Торогуд приметил ист-эндский "коттедж" под аркой железной дороги, где "в одной верхней комнате обитала семья из шести человек, которая должна была постоянно держать окно закрытым, иначе искры от поездов влетали в помещение и могли поджечь спальные принадлежности".

Искры искрами, а Вторая мировая война зажгла здесь поистине опустошительные пожары, и обширные площади Ист-Энда превратились в руины. В Степни, Попларе и Бетнал-Грине исчезло с лица земли примерно 19 % застройки. В очередной раз с Ист-Эндом жестоко обошлась его индустриальная история: целями немецких бомбардировщиков стали порты, заводские районы близ Ли-Вэлли и само население Ист-Энда в качестве "показательного примера". О значимости лондонского востока на протяжении всей войны говорит тот факт, что сразу же после празднования дня победы в мае 1945 года король и королева посетили Поплар и Степни. Это был, пожалуй, единственный способ прозондировать настроения людей в районе, который с XIX века считался таинственным.

Даже в 1950-е годы обширные зоны Ист-Энда все еще квалифицировались как "участки, пострадавшие от бомбардировок"; там росли странные сорняки и устраивала игры ребятня. В рамках временной программы расселения возводились ниссеновские бараки[1] и сборные одноэтажные типовые домики; многие из этих жилищ использовались двадцать и более лет. Разрабатывались и другие схемы размещения жителей Ист-Энда — прежде всего следует упомянуть "Проект для Большого Лондона" профессора Аберкромби, предложившего переселить многих лондонцев в города-спутники за пределы "зеленого пояса". Предполагалось перевести туда большое число жителей Хэкни, Степни и Бетнал-Грина; однако вся история Лондона говорит о том, что подобные градостроительные опыты могут быть успешными лишь отчасти. Столь же пристальное внимание было уделено перестройке и перепланированию опустошенного Ист-Энда, как будто его характер мог быть коренным образом изменен. Но разве можно перечеркнуть три столетия человеческого житья?

Несмотря на все перемены, произошедшие в Ист-Энде в 1950-е и 1960-е годы, стоило лишь завернуть за угол, чтобы увидеть сплошную террасу стандартных жилищ, возведенных в 1880-е или 1890-е; здесь по-прежнему стояли георгианские дома и распланированные "жилые массивы" 1920-х и 1930-х. Послевоенный Ист-Энд был настоящим палимпсестом. Для тех, кому было дело до подобных вещей, здесь имелись дышавшие забвением и упадком каналы с темной водой, газовые заводы, старые пешеходные тропы, ржавеющие мосты; здесь были поросшие сорной травой замусоренные пустыри, заброшенные фабрики, каменные ступени, которые вели в никуда. Все еще можно было найти старинные улицы, застроенные крохотными домиками из желтого кирпича с характерной планировкой: маленькая общая комната, коридор ведет, минуя ее, от входной двери прямо на кухню с окном во дворик; наверху две спаленки, внизу подвал. От Баркинг-роуд ответвлялись десятки боковых улочек — например, шедшие одна за другой Ледисмит-авеню, Кимберли-авеню, Мафекинг-авеню, Маколей-роуд, Теккерей-роуд, Диккенс-роуд, — где бесконечные вереницы пригородных коттеджей чуть повыше уровнем, чем террасы Бетнал-Грина или Уайтчепела, с легкостью сохраняли в 1960-е годы атмосферу конца XIX века.

Примером разбросанности и разнородности может служить административный район Хэкни. В центре внимания одного исследования, многозначительно названного "Путешествие по руинам: последние дни Лондона" и опубликованного в 1991 году, лежит улица Долстон-лейн. Для Патрика Райта, написавшего эту книгу, символом административной заброшенности служит "всеми забытое угловое здание муниципальных служб". Однако былые энергетические импульсы все еще чувствуются, и Долстон-лейн с ее фабриками, магазинами одежды и мелкими предприятиями "являет нам пеструю смесь строительной, торговой и промышленной деятельности".

Одна из самых удивительных особенностей нынешнего Ист-Энда — экономическая живучесть современных подобий маленькой мастерской XIX века. Многие крупные местные артерии — такие, как Хэкни-роуд, Роуман-роуд и Хокстон-стрит, — полны выходящих на улицу мелких

1. Ниссеновский барак — сборно-разборный барак с полукруглой крышей из рифленого железа.

предприятий: здесь и ремонт телевизоров, и продажа газет, и обивка мебели, и торговля фруктами, и услуги краснодеревщика, и обмен валюты. В восточной части города, где исторически земля и недвижимость дешевле, чем в западной, пережитки прошлых десятилетий еще существуют, медленно сходя на нет.

Есть в Ист-энде любопытные уголки, где проглядывают образчики иной преемственности. В Уолтемстоу на улице Чёрч-хилл, чуть восточнее Хай-стрит, внезапно возникает некий призрак загородной местности; здесь поистине особая атмосфера, ведь все соседние улицы, в том числе Хай-стрит, Маркхаус-роуд и Коппермилл-роуд, — это типичный ист-эндский пригород. Тем не менее на Чёрч-хилл словно бы сама территория излучает дух былой сельской округи. Многие другие участки сходным образом сохраняют свое лицо. В Баркинге, к примеру, чувствуется суровость — ничего похожего на Уолтемстоу; кажется, что здесь удержалось коренное население, у которого даже в осанке есть некая сумрачная жесткость. Сохранившаяся часть древнего аббатства нисколько не рассеивает эту местную атмосферу, которая мощно поддерживается присутствием старого ручья, бывшего некогда главным источником существования для большинства здешних жителей. Этот район кажется странно изолированным или обращенным внутрь себя, и лондонский акцент тут особенно силен. В Пеннифилдс, где столетие с лишним назад обитали малайцы и китайцы, теперь живет изрядное количество вьетнамцев. На Склейтер-стрит в Шордиче, где испокон веку был район красных фонарей, торгуют подержанной порнолитературой. Рынок на Грин-стрит в Ист-Хэме позволяет ощутить энергию и дух средневекового Лондона. Вообще, древняя коммерческая жизнь города ныне пробуждена (если, конечно, она когда-нибудь засыпала) в таких разных районах, как Вест-Хэм и Стоук-Ньюингтон, Спитлфилдс и Лейтонстоун.

Пешая прогулка по ист-эндской округе, как правило, открывает взору одно-два георгианских здания, где, возможно, располагались какие-то крупные средневикторианские учреждения, а теперь размещаются местные службы или центры социального обеспечения; сохранились остатки застройки конца XIX века наряду с муниципальными домами 1920-х и 1930-х; имеются пабы и заведения, где принимают ставки на лошадей, наряду с вездесущими неспециализированными магазинчиками и местом, где торгуют прессой; имеются таксомоторные агентства и учреждения, специализирующиеся на телефонных звонках в Африку или Индию; имеются разнообразные муниципальные жилые дома и массивы, самые старые бок о бок с малоэтажными 1980-х годов и девятнадцатиэтажными башнями того же периода. Непременно будет открытая площадка или сквер. В некоторых местах Ист-Энда арки под бесчисленными железнодорожными путями используются для автосервиса или складирования товаров.

Не обошлось, конечно, и без серьезных перемен. Поплар-Хай-стрит была людной артерией с множеством магазинов, лотков и закопченных зданий по обеим сторонам — теперь это просторная улица, застроенная пятиэтажными муниципальными домами, пабами и магазинами из желтого кирпича. Вместо гудения густой толпы и гомона купли-продажи ныне слышен лишь прерывистый шум транспорта. Такова теперь немалая часть Ист-Энда. На месте пестрых разностильных скоплений магазинов и жилых домов теперь возведены “массивы” зданий, единообразных по

размерам и фактуре; заменой бесконечным сплошным террасам маленьких домишек служат нынешние городские "шоссе". Изменившиеся участки города кажутся какими-то облегченными — возможно, потому, что они утратили связь со своей историей. У западного конца Поплар-Хайстрит, сразу за Пеннифилдс, в свое время кофейня Джозефа Найтингейла, где подавали, помимо прочего, бифштекс, почки, печень и бекон, примыкала к магазинчику Джеймса Макыоэна, где торговали кониной, а тот, в свою очередь, — к парикмахерской Джорджа Эйбларда; строения эти имели несхожие фасады и различались по высоте. В недавние годы этот угол был застроен трехэтажными муниципальными домами из красного кирпича; мимо идет небольшая улица — Солтуэлл-стрит. Былой опиумный квартал в Лаймхаусе ныне представлен китайским заведением, где торгуют едой навынос. В прошлом здесь проходила улица Бикмор-стрит, и сохранилась фотография 1890 года, на которой толпы детишек позируют у магазинов со сводчатыми окнами; на месте этой улицы теперь площадка для игр.

Можно сделать вывод, что шум и мельтешение жизни улетучились из этих мест, если не из всего Ист-Энда. Можно также заметить, что застроенные заново или обновленные кварталы подобны таким же кварталам в других частях Лондона; к примеру, муниципальные жилые массивы Поплара мало чем отличаются от массивов Саутолла или Гринфорда. Стремление к гражданскому умиротворению привело к утрате местного своеобразия. Но величайшим контрастом из всех, бросающимся в глаза при сравнении фотографий 1890-х и 1990-х годов, является уменьшение числа людей на улицах. Жизнь Ист-Энда попряталась по домам. Что вызвало эту перемену — телефон или телевидение, — не столь важно; очевидный факт состоит в том, что человеческая жизнь на улицах стала куда менее красочной и менее интенсивной. Не следует, однако, чересчур драматизировать эту утрату. Да, восток кажется теперь оголенным — зато он уже не так беден; он более замкнут и не столь человечен — зато стал здоровее. Никто добровольно не променяет муниципальную квартиру на клетушку в трущобах, пусть в трущобах было и больше человеческой общности. Назад пути нет.

Зенит империи

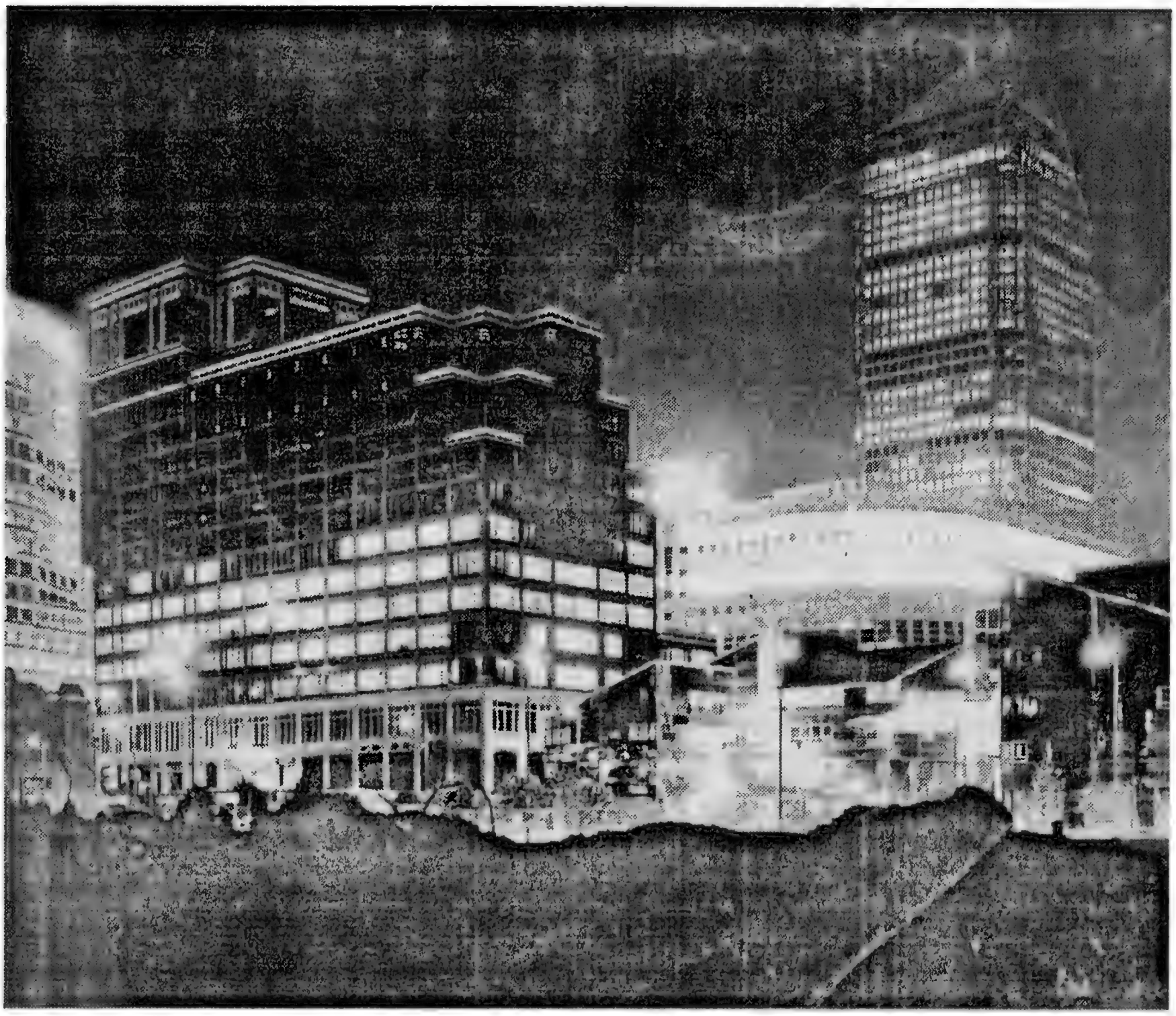
К последним десятилетиям XIX века Лондон стал имперским городом. Главные площади, железнодорожные вокзалы, отели, громадные доки, новые большие улицы, перестроенные рынки — все это зримо воплощало в себе беспримерную, исполинскую мощь. Город стал международным финансовым центром и локомотивом империи; в нем бурлила жизнь, полная великих ожиданий. Часть его изящества и многообразия была утрачена. Уютная георгианская компактность тоже исчезла, уступив место укрупненным масштабам неоклассики и неоготики, что соответствовало новым устремлениям разросшегося, сверхличного города. Колонна Нельсона на Трафальгарской площади, воздвигнутая в 1843 году, была создана по образцу колонны Марса Мстителя в имперском Риме, тогда как при проектировании новых зданий на Уайтхолле был использован осовремененный классицизм; как писал Джонатан Шнир в книге "Лондон 1900 года", лондонская архитектура прославляла "британский героизм на полях сражений, британское владычество над за-

морскими землями, британское богатство и власть — словом, британский империализм". Символом его стал Тауэр-бридж, который строился тринадцать лет и был окончен в 1894 году; это было необычайное инженерное достижение, но возникает чувство, что мосту намеренно был придан сверхчеловеческий, подавляющий масштаб. В его огромности и сложности отразились свойства самого города.

Лондон конца XIX века был основан на деньгах. Сити достиг исторической цели, которую преследовал почти две тысячи лет. Он стал источником коммерческой активности и инструментом кредитования для всего мира. На Сити держалась Англия, богатства империи питали и омолаживали Сити. Морская торговля древнейших поселенцев принесла много веков спустя неожиданные плоды: к концу XIX столетия учреждения Сити прямо или косвенно контролировали почти половину мирового торгового судоходства. В первые десятилетия XX века привычным зрелищем стали новые крупные коммерческие здания; в большом количестве, с использованием мощных и ярких архитектурных эффектов возводились новые банки, главные помещения промышленных фирм и страховых компаний. К примеру, в последнем издании тома, посвященного лондонскому Сити, из серии Певзнера "Здания Англии" говорится о том, какое интенсивное силовое поле образовало здание Английского банка для других коммерческих предприятий. "Вокруг теснятся главные офисы или крупные филиалы важнейших клиринговых банков, многие из которых неимоверно усилились после слияний и поглощений конца 1910-х. Здания эти рассчитаны на то, чтобы производить впечатление как снаружи, так и внутри". Здесь вновь возникает, диковинно соединяясь с идеями прибыли и власти, неизменно присущий Лондону элемент театральности. Тенденция к "слияниям и поглощениям" в мире банков соответствовала общему движению к образованию все более крупных структур; газетная индустрия, исполинское разрастание Почтового управления, стремительная экспансия страховых компаний — все это вносило вклад в облик города, мощно и почти противоестественно пошедшего в рост.

Противоестественность выразилась и в другом. Внедрение электрического освещения в 1890-е годы (в интерьере оно было впервые применено в 1887 году в здании Ллойдс-банка на Ломбард-стрит) с неизбежностью означало, что для работы в четырех стенах естественного освещения уже не требовалось. Возникли громадные слои служащих Сити, которые жили словно бы в глубине морской: люди приходили на работу темным зимним утром и уходили вечером, ни разу за день не увидев солнца. Так Лондон способствовал одному из великих несчастий, постигших человеческий дух. Вдобавок использование новых строительных технологий (в частности, применение железобетона и стали), а также внедрение пассажирских лифтов прямым и неизбежным следствием имели возведение все более высоких зданий. Странный симбиотический процесс, который всегда отличал развитие Лондона, выражался в том, что расширение доступного пространства шло рука об руку с ростом количества людей, готовых его занять. Согласно оценкам, число трудящихся Сити выросло с 200 000 в 1871 году до 364 000 в 1911 году. Чарльз Путер[1] из "Лавров" на Брик-террас

1. Чарльз Путер — вымышленный автор "Дневника Никого", написанного братьями Джорджем Гроссмитом (1852—1919) и Уидоном Гроссмитом (1852—1919) и опубликованного в 1922 году.



Коммерческий Лондон (фотография 1991 г.)

(Холлоуэй) представляет собой литературный образ одного из тысяч служащих, составлявших, как написано в одном путеводителе, "настоящий город клерков". "Мальчик мой, в итоге двадцатилетних трудов и неукоснительного радения о выгоде начальства я был награжден повышением по службе и стофунтовой прибавкой к жалованью". То, что сотворенный Гроссмитами комический персонаж не утратил читательского расположения за сто с лишним лет, свидетельствует, судя по всему, об инстинктивной точности их повествования; заурядность путеровской жизни воспринималась как символическая черта, характеризующая новый тип городского или пригородного человека. Его лояльность и наивность были теми гражданскими качествами, в которых Лондон нуждался для поддержания своего бытия.

Но он был городом не одних клерков. Лондон предлагал рабочие места представителям новых массовых профессий — инженерам, бухгалтерам, архитекторам, юристам, которые неостановимо стекались в столицу империи. В свою очередь, эти состоятельные "потребители" образовали рынок для новых "универсальных магазинов" и клиентуру новых ресторанов; возник возрожденный на более здоровой основе "театральный Вест-Энд", где работали такие режиссеры, как Ирвинг и Бирбом Три. Были развлечения и поизысканней. Новый, более мобильный слой относительно зажиточных лондонцев открывал для себя парки, музеи и картинные галереи средневикторианской поры. Улучшилось качество библиотек, проводилось немало интересных специализированных выставок, удовлетворяющих новую потребность горожан в соединении познавательного и развлекательного начал. Лондон стал, помимо про-

чего, городом фабианцев и "передовых женщин"; в нем распространялись культурные веяния "конца века", которые ассоциируются в общественном сознании прежде всего с блистательной лондонской карьерой Оскара Уайльда.

Но старый город никуда не исчез. В 1880-е годы на Трафальгарской площади среди фонтанов и голубей ночевало под открытым небом до четырехсот человек обоего пола. Как писал Г. П. Кланн в книге "Лицо Лондона" (1932), "лишь около трети этих людей имели какую-либо постоянную профессию или занятие, прочие же с детства просто перебивались со дня на день как придется и с трудом могли объяснить, как они ухитрились прожить так долго". За любой год этого десятилетия примерно "двадцать пять тысяч человек попадало под суд за пьянство и нарушение общественного порядка на улицах"; отчасти это объясняется тем, что пабам теперь было разрешено оставаться открытыми всю ночь. Возможно, на горожанах сказывалось напряжение от жизни в богатейшем и мощнейшем городе мира. Город был соткан из контрастов. До конца 1870-х годов Лестер-сквер была постоянно усеяна "жестяными котелками, чайниками, старой одеждой, негодной обувью, дохлыми кошками и собаками".

По улицам беспрерывно текла река транспорта на конной, моторной и паровой тяге; средняя скорость двухколесных и четырехколесных экипажей, фургонов и "бамперов" (омнибусов) по-прежнему составляла около двенадцати миль в час. Сидевшие на улицах старухи торговали травами, яблоками, спичками, сандвичами. В городе обитала непоседливая братия оборванных босоногих детей, ночевавших в узких проулках или под железнодорожными арками. Уличные торговцы продавали с тачек всевозможный товар — уголь, цветы, рыбу, булочки, чай, фаянсовую посуду. Вспыхивали эпидемии, стремительно и жестоко распространявшиеся среди подвижного городского населения. Задним числом, однако, кажется, что среди необъятной сложности Лондона конца XIX века жизни бедных горожан несколько потерялись и роль их уменьшилась; их голоса не так явственно слышны в неумолкающем шуме транспорта, их жизненная борьба плохо видна в гуще клерков, "профессионалов" и прочих, кто населял разрастающийся город. <...>

Первая мировая война не помешала росту города и не сделала его безжизненным. Лондон всегда был достаточно энергичен и крепок, чтобы никакая беда его не брала. В последний мирный день начала августа 1914 года Герберт Асквит[1] услышал "отдаленный рев". Он писал: "Лондонская толпа всегда готова приветствовать войну или события, которые могут к ней повести. Можно вспомнить замечание сэра Р. Уолпола[2]: "Сегодня бьют во все колокола — через несколько недель будут рвать на себе волосы". Лондон был привычен к насилию и подспудному зверству, не в последнюю очередь проявлявшимся в эксцессах толпы, и на многих перспектива хаоса и разрушений подействовала как тонизирующее средство. Жители больших городов всегда наиболее кровожадны. Надо также признать, что Лондон за годы войны вырос. Он и за прежние сто-

1. Герберт Генри Асквит (1852–1928) — премьер-министр Великобритании в 1908–1916 гг.
2. Роберт Уолпол, 1-й граф Орфордский (1676–1745) — лидер партии вигов, в 1715–1717, 1721–1742 гг. занимал в британском правительстве пост, соответствующий нынешней должности премьер-министра.

летия убил больше людей, чем приголубил, — так стоит ли удивляться, что в новом конфликте он, казалось, здоровел за счет бойни? Экономика города, из которого было изъято множество молодых мужчин, работала в условиях полной занятости, и в результате уровень жизни повысился. Разумеется, не обошлось без отдельных опасностей и трудностей. Строительные работы были свернуты, в темное время город очень скупо освещался фонарями, крашенными в темно-синий цвет из-за боязни цеппелинов. Парки и скверы использовались для выращивания овощей, отели были превращены в правительственные учреждения или общежития. Но из-за наплыва иммигрантов в городе стало больше иностранных ресторанов и кондитерских, танцевальные залы и мюзик-холлы были полны. Столица понесла людские потери; на стенах некоторых давным-давно отреставрированных зданий и по сей день можно видеть таблички в память о рейдах цеппелинов. За четыре военных года в городе погибло примерно семьсот человек, тогда как на полях сражений полегло почти сто двадцать пять тысяч лондонцев. Но Лондон богат жизнями.

Заключение мира в ноябре 1918 года было отмечено сценами ликования и энтузиазма, каких в городской истории было немало. Этот день изобразил Стэнли Вайнтрауб в книге "Тишина, которую услышал весь мир. Окончание великой войны": "Улица превратилась в бурлящее людское месиво. Взвились невесть откуда взявшиеся флаги. От набережной Виктории устремились потоки мужчин и женщин... Едва успел отзвучать последний удар часов, как на улицах Лондона — совсем еще недавно строгих, по-военному напряженных, упорядоченных — воцарилось торжествующее столпотворение". Это картина города, возвращающегося к жизни, с артериями улиц, по которым вновь "устремились потоки живительной крови". Люди "пускались в пляс на тротуарах", на площадях собрались громадные толпы — все хотели сполна испытать то таящееся до поры чувство солидарности, в котором единственно проявляется в такие минуты городское "я"; горожане поистине становятся тогда одним телом, а их голоса — одним голосом. Король Георг V ехал, "рассекая волны ликующих толп"; образ морской стихии вновь подчеркивает диковинную надличность и неотвратимость, свойственные этому проявлению массового восторга. Осберт Ситуэлл[1] вспоминал, что в последний раз до этого видел такую толпу "вечером 4 августа 1914 года у Букингемского дворца, когда люди бурно приветствовали свою грядущую гибель; большая часть из стоявших там не дожила до нынешнего дня".

Здесь экзальтация очень близко подходит к дикарству — на лондонских улицах празднуется некий варварский триумф. В людей вселился "бог стад": "То сбиваясь в кучу, то берясь за руки, они, подобно морским волнам, плескались о края Трафальгарской площади". Празднование продолжалось три дня без перерыва. Парадоксальным образом торжества по поводу установления мира сопровождались определенной долей насилия и буйства; как писал один наблюдатель, это была "разнузданная оргия почти животной радости. Было чего испугаться. Чувствовалось, что, окажись тут случайно какие-нибудь немцы, женщины накинулись бы на них и разорвали на части". Разумеется, той же самой жестокостью был пронизан восторг толпы в начале войны. В романе Джеймса Хилтона

1. Осберт Ситуэлл (1892—1969) — английский писатель-мемуарист.

"Шальная жатва", где речь идет о тех же событиях, есть эпизоды, передающие "прикосновение грубой земли — жаркое грешное слияние с толпами прошлого". Исступление порой принимало неожиданные формы. Сохранился рассказ о знаменитом попугае в пабе "Чеширский сыр", который "в ночь Перемирия 1918 года среди общего гвалта вытащил клювом одну за другой сто пробок, после чего рухнул без чувств". Внимание, в большей мере, чем годам войны, уделяемое здесь дням ноябрьских празднований, может показаться непропорциональным, однако именно в этот краткий период город ярче всего выявил свою сущность. <...>

Военные вести

Началось с атак на пригороды Лондона. Пострадали Кройдон и Уимблдон, а в конце августа во время одного из рейдов бомбы упали уже на центр — на Криплгейт. И вот 7 сентября 1940 года в пять утра немецкие военно-воздушные силы нанесли по Лондону тяжелейший удар. Шестьсот бомбардировщиков, пройдя мощными волнами, сбросили взрывчатый груз большой зажигательной силы на восточную часть города. Запылали Бектон, Вест-Хэм, Вулидж, Миллуолл, Лаймхаус и Розерхайт. Под бомбежку попали бензохранилища и электростанции, но главной мишенью были доки. "Телеграфные столбы начинали дымиться, затем разом вспыхивали снизу доверху, хотя расстояние от ближайшего огня было немалое. Потом от палящего жара загорелось дорожное покрытие из деревянных колод". Сквозь огонь и непрекращающиеся взрывы пожарные устремлялись к очагам пламени, с которыми "мало что можно было поделать". "Огонь бушевал так, что жалкими были все наши попытки его потушить. Склад превратился в беснующееся адское пекло, на фоне которого темными силуэтами вырисовывались пигмейские группы пожарных, направлявших бессильные струи на стены пламени". Эти зарисовки взяты из книги Салли Холлоуэй "Отвага", представляющей собой историю борьбы с лондонскими пожарами. Один доброволец находился у реки, где "полмили суррейского берега пылало вовсю... там и сям на плаву горели баржи... Вблизи все равно что адское озеро". В крипте церкви в Боу "люди стояли на коленях, плакали, молились. Это была жуткая ночь".

Немецкие бомбардировщики явились и на следующую ночь, и на следующую. Бомбы упали на Стрэнд, на больницу Св. Фомы, на собор Св. Павла, на Вест-Энд, на Букингемский и Ламбетский дворцы, на Пикадилли, на Палату общин. Поистине, горожанам казалось, что идет война с самим Лондоном. За сентябрь—ноябрь на столицу упало почти тридцать тысяч бомб. За первые тридцать дней бомбардировок погибло почти шесть тысяч человек, тяжелораненых было вдвое больше. Ночью 15 октября, в полнолуние, "казалось, что наступил конец света". Иные сравнивали Лондон с доисторическим животным, раненым и обожженным, которое, пренебрегая нападениями, продолжает грузно двигаться вперед; подоплеку этого образа составляет интуитивное представление о Лондоне как о некой древней неодолимой силе, способной оправиться от любых ран, от любого потрясения. Но в ходу были и другие сравнения — например, с Иерусалимом, с Вавилоном, с Помпеями, — окрашивавшие положение города в цвет беды и грядущей гибели. В первые дни "блица" при виде немецких бомбардировщиков, с которыми зенит-

ная артиллерия мало что могла поделать, лондонцам казалось, что им суждено стать свидетелями неминуемого разрушения родного города.

Первая реакция, согласно отчетам организации по изучению общественного мнения "Масс обзервейшн" и прочим данным, была смешанной и невнятной. Некоторые горожане, не в силах справиться с захлестывающим страхом, впадали в истерику, и отмечено несколько случаев самоубийства; другие ощутили прилив злости и упрямую решимость продолжать обычную жизнь даже перед лицом чрезвычайной опасности. Иные хотели казаться жизнерадостными, иные с острым любопытством рассматривали причиненные бомбами разрушения, но настроение многих можно определить как "воодушевленный вызов". Как пишет составитель антологии по лондонской истории А. Н. Уилсон, документы того времени свидетельствуют "о веселой дерзости, о склонности к шуткам и пению" даже "в близком и откровенном соседстве с жестокой смертью".

Сполна охарактеризовать этот особый дух не так-то легко, однако для тех, кто пытается описать натуру Лондона, он представляет чрезвычайный интерес. Филип Зиглер в своей канонической работе "Лондон военных лет" утверждает, что "лондонцы сознательно старались выглядеть беззаботными и бесстрашными"; возможно, однако, этот самоконтроль был необходимым и инстинктивным противодействием распространению паники. Что сталось бы с восьмимиллионным городом, овладей им зараза истерии? Такую именно судьбу пророчил столице Бертран Рассел, предсказывавший в брошюре "Где дорога к миру?", что Лондон превратится в "один большой бедлам — больницы будут брать штурмом, транспорт перестанет работать, бездомные возопят о мире, город сделается адом". Не исключено, что рядовые жители, обладавшие по сравнению с "элитой" более развитыми инстинктами, знали: допустить этого нельзя. Вот почему приезжих поражали "спокойствие лондонцев, их безропотная решимость". Во всех периодически случавшихся в городе кризисах — таких, как мятежи и пожары, — Лондон оставался на удивление стабильным; он клонился и раскачивался, но затем выправлялся. Отчасти это, возможно, объясняется глубоким и мощным присутствием в его жизненной ткани торговли и коммерции, чьи требования превалируют над всеми трудностями и бедствиями. Одной из фраз Уинстона Черчилля времен войны было: "Бизнес — своим чередом", и никакой другой лозунг не мог бы лучше подойти к лондонским условиям.

Однако у спокойной решимости лондонцев осенью и зимой 1940 года была и иная сторона, связанная с неким глубоким ощущением того, что город страдал и раньше и что он, так или иначе, выстоял. Ничто, конечно, не шло в сравнение с яростью и разрухой "блица", однако сама многовековая живучесть Лондона и дух преемственности вселяли в людей сокровенную и пока, может быть, еще смутную уверенность. Всегда ощущался намек на обновление и возрождение, которым суждено рано или поздно произойти. Поэт Стивен Спендер, находившийся в северном Лондоне после одного из налетов, писал: "Я испытывал успокаивающее чувство надежной темной огромности Лондона". Это еще один источник поддержки: город слишком велик, сложен и массивен, чтобы его можно было уничтожить. И далее: "В пыли, гари и тьме Килберна мне вдруг почудилась духовная сила — безграничная сила бедности, породившей узкий, но острый взгляд кокни былых времен". Этим словам поис-

тине присуща "духовная сила" откровения: Спендер почувствовал, что бедность и страдания сделали людей неуязвимыми, какие бы тяжелейшие испытания ни насылал на них мир. "Перетерпим", — говорили люди, чьи дома были разрушены бомбами; при этом не произносилось, но думалось: "Терпели всякое, перетерпим и такое".

Позиция самодостаточности нередко дополнялась элементом гордости. "Все настроены крайне решительно, — писал Хамфри Дженнингс, один из наблюдателей тех событий, — и в глубине души испытывают восторг от того, что им дарована *привилегия* сдерживать Гитлера". По словам Зиглера, в людях ощущался "диковинный душевный подъем... лондонцы чувствовали себя элитой". Они были горды своими невзгодами, как прежние поколения лондонцев проявляли почти собственническое неравнодушие к своим ядовитым туманам, к насилию на своих улицах, к отвлеченной огромности своего города. В некотором смысле лондонцы ощущали себя особо избранными для бедствий. Этим, в свою очередь, может объясняться тот непреложный факт, что "яркой отличительной чертой разговоров многих лондонцев стало мрачное преувеличение", особенно в отношении количества убитых и раненых. Одно из объяснений — театральность, неизменно присущая лондонской жизни; было сказано, что "ни один конфликт в истории города не сравнится с драмой Второй мировой войны". Лондонские пожарные жаловались, что половину времени приходится тратить не на тушение огня, а на разгон собирающихся толпами зевак. Если бы не угрюмая монотонность усталости и страданий, пропитанная ужасом бомбежек, то само зрелище разрушений могло бы стать источником чуть ли не восторга.

Эти первые месяцы оставили по себе и другие образы. Например, затемнение, погрузившее один из самых ярко освещенных на земле городов в почти абсолютный мрак. Лондон опять стал городом ужасающей ночи, и когда хорошо знакомые улицы оказывались потеряны во тьме, некоторые жители испытывали первобытный страх. Персонаж Ивлина Во говорит: "Время как будто вернулось на две тысячи лет назад — к тем дням, когда Лондон был кучкой хижин, обнесенной частоколом"; городская цивилизация так долго основывалась на свете, что, когда его не стало, все привычное и определенное улетучилось. Разумеется, находились такие, кто пользовался темнотой в своих целях, однако у большинства главными ощущениями были тревога и беспомощность. О соблазне подземных укрытий было много сказано, как и об опасениях, что Лондон породит племя "троглодитов", которые никогда не захотят выйти на поверхность. Действительность, однако, оказалась и более суровой, и более прозаической. Только 4 % жителей города хотя бы раз использовали лондонское метро как ночное убежище; главным образом лондонцев отталкивали тамошняя теснота и зачастую антисанитарные условия. В соответствии с традицией Лондона как города отдельных семейных жилищ большинство горожан предпочитало оставаться в своих домах.

Что же могли они увидеть, выйдя утром на улицу? "В дом ярдов за тридцать от нашего сегодня утром угодила бомба. Совершенно разрушен. Другая бомба, упавшая на площадь, не разорвалась... Дом еще тлел. Огромная куча кирпичей... На голой стене — той, что осталась стоять, — болтаются обрывки ткани. Зеркало — кажется, еще покачивается. Как выбитый напрочь зуб". Описание Вирджинии Вулф передает ощущение почти физического шока, как если бы город был живым существом, спо-

собным испытывать боль. "Большая брешь в верхней части Чансери-лейн. Еще дымно. Здесь полностью уничтожен какой-то крупный магазин; от гостиницы напротив осталась одна оболочка... А дальше мили и мили обычных опрятных улиц... Улицы малолюдны. Лица неподвижные, глаза затуманенные". Могло показаться, что никакая сила не сотрет с лица земли эти "мили и мили" улиц, что Лондон любое зло заставит "рассосаться", — однако его жители были не настолько крепки. Усталость и тревога накатывали на них волнами. В следующем месяце — октябре 1940 года — Вулф побывала на Тависток-сквер и Мекленбург-сквер, где жила раньше. Она миновала длинную вереницу людей с сумками и одеялами, в полдвенадцатого дня стоявших в очереди, чтобы ночью получить убежище на станции метро Уоррен-стрит. На Тависток-сквер она увидела руины своего старого дома: "Цоколь — сплошные развалины. Уцелел только старый плетеный стул... Остальное — кирпич и щепа... Кусок стены моего кабинета остался стоять; прочее, где я написала столько книг, рассыпалось". И еще была пыль — тихий остаток уничтоженного бытия. "Снова мусор, стекло, черная мягкая пыль, известковый порошок".

В ту пору отмечалось, что на всем лежит тонкий налет серого пепла и золы, и это побуждало к новым сравнениям между Лондоном и Помпеями. Другим результатом лондонских бомбежек была утрата людьми частной истории: обнажались, становились видимы обои, зеркала, ковры на устоявших обломках стен — личные жизни лондонцев вдруг делались общим достоянием. Это увеличивало чувство общности и было одним из главных источников демонстративной бодрости и решимости.

Вторая мировая война породила также атмосферу заботы. Встал, к примеру, вопрос о спасении детей — о массовой их эвакуации за город. В месяцы, предшествовавшие 3 сентября 1939 года, когда Великобритания вступила в войну, была разработана программа добровольной эвакуации, предполагавшая выезд примерно четырех миллионов женщин и детей; однако ее осуществлению помешал диковинный магнетизм Лондона. Отправиться пожелало менее половины семей. Дети, которых посылали в сельские районы, уезжали неохотно. Детей Дагенхема везли водным путем, и Джон О'Лири, автор книги "Опасность над Дагенхемом", отметил "ужасающее молчание. Дети не пели". Писатель Бернард Копс, который ребенком был эвакуирован из Степни, вспоминал: "Здесь мы родились, здесь выросли, здесь играли и пели, смеялись и плакали. А теперь на всех землистых лицах были слезы. Стояла странная тишина". Приехав в деревню, они казались там — и были — совершенно чужими. Одни, меньшинство, ходили немытые и вшивые, вели себя вызывающе. Здесь явственно возникает старинный образ дикаря. Другие — неестественное потомство неестественного города — "отказывались от здоровой пищи, требовали рыбу с чипсами, сладости и печенье", "не хотели ложиться спать в разумное время". Третьи "не желали носить новую одежду, отчаянно цеплялись за старую и нечистую", подтверждая представление о лондонском ребенке как о существе грязном и жалком. Спустя несколько недель они начали возвращаться по домам. К зиме 1939 года обратно в Лондон приехало около ста пятидесяти тысяч матерей и детей; к концу первых месяцев следующего года за городом осталась лишь половина эвакуированных. "Для меня это было как из ссылки вернуться, — приводит Зиглер слова одного горожанина. — Моя кошка встретила меня у калитки, соседи

здоровались, светило солнышко". Здесь явственно проступает чувство принадлежности, ощущение себя как части города, чрезвычайно сильное в лондонце.

Летом 1940 года, когда немецкая армия начала марш по Европе, была предпринята новая попытка эвакуировать детей — в особенности из Ист-Энда. Их было вывезено сто тысяч, но уже два месяца спустя число возвращавшихся составило две с половиной тысячи в неделю. Проявился странный и, пожалуй, угрюмый инстинкт — потребность вернуться в город, даже если он стал городом огня и смерти. Любопытно, что во время самих воздушных налетов дети показали себя "более жизнестойкими", чем взрослые. Подобно их предшественникам на протяжении многих эпох, подобно детям, которых в XVIII веке изображал Хогарт, они точно упивались страданиями и лишениями вокруг; отчасти они вернулись к тому полудикарскому состоянию, что отличало "маленьких арабов" предыдущего столетия. Человек, побывавший в Степни после налета, заметил, что дети "чумазы и дики на вид, но воодушевлены и полны жизни. Один мальчик сказал мне: 'Мистер, дайте провожу вас за угол — там последняя бомба упала'".

На набережной Уотсонс-уорф близ Уоппинга собиралась группа детей, называвшая себя "дворовая ребятня". Их история рассказана в книге "Ист-Энд тогда и теперь", вышедшей под редакцией У. Дж. Рамзи. Они были самодеятельными пожарными Ист-Энда. "Некоторые были очень бедны и носили дешевую одежду... Они разбивались на четверки. Каждая отвечала за свою часть Уоппинг-Айленда". Снаряжение составляли железные прутья, ручная тележка, ведра с песком и лопаты. Они выволакивали и бросали в Темзу бомбы замедленного действия, выносили раненых. Однажды ночью, когда Уоппинг сильно бомбили, они несли дежурство, и, по словам одного очевидца, "моментально десять мальчиков кинулись вверх по лестнице, готовые, казалось, *проглотить* огонь". Они вошли в горящее здание, чтобы вывести оказавшихся в ловушке лошадей, и, когда они возвращались, "на некоторых тлела одежда". Иные погибли от огня и взрывов, но в желающих пополнить ряды недостатка не было. Этот необычайный рассказ своими живыми и острыми подробностями выявляет свойственную многим лондонским детям твердость и уверенность в себе. Одна маленькая девочка с Элефант-энд-Касл на вопрос, не хочет ли она обратно в эвакуацию, ответила: "Не бойтесь, не подведу". Не бойтесь, не подведу — вот он, ключ к их самообладанию и храбрости.

***

Возникла и новая общность между людьми. Элизабет Боуэн в романе о военном Лондоне "Разгар дня" говорит, что погибшие среди огня и развалин не должны быть позабыты. "Эти безымянные мертвецы упрекали живых не гибелью своей — ибо их нельзя было спасти, можно было только погибнуть с ними вместе, — а безвестностью, которую не развеять в одночасье". Война обнажила самую суть людского одиночества и обезличенности в большом городе. "Не позаботясь о том, чтобы они жили, — кто имел теперь право их оплакивать?" Следствием стали попытки горожан "разбить скорлупу безразличия", в некотором смысле игнорируя или смягчая привычные ограничения лондонской жизни. "Чем тоньше делалась стена между живыми и мертвыми, тем более проницаемыми

становились перегородки между живыми". Вечером от незнакомого прохожего можно было услышать: "Доброй ночи, удачи вам".

Люди испытывали также острое и всепроникающее чувство нереальности происходящего. Знакомые городские виды внезапно стали иными, все сделалось смутным и неосязаемым. "Все люди вокруг, все привычные вещи и занятия казались нам нереальными, — вспоминал один лондонец. — Мы и разговаривали-то теперь по-другому, как будто скоро должны были расстаться". Это ощущение хрупкости и бренности всего вокруг способствовало созданию атмосферы "осажденного города"; один лондонец, выехавший ненадолго из столицы, удивился тому, "что есть дома, которым ничто не угрожает, что есть горы, которых нельзя разрушить". После всех переживаний "любая прочная неизменность изумляла. Его жизнь была настолько противоестественной, что казалось, ни Природа не принадлежит ему теперь, ни он Природе". Поборники атавистической морали всегда называли город "противоестественным", но теперь это ощущение разделяли рядовые горожане. Противоестественно было жить одной большой кучей там, куда падают бомбы; противоестественно было составлять часть такой крупной и явной мишени. Что ж, таковы были непреложные условия их бытия; таковы, может быть, условия всякого человеческого бытия.

Патерностер-роу после немецких бомбардировок

Кульминацией бомбардировок 1940 года стал самый знаменитый и разрушительный из всех налетов, произошедший в воскресенье 29 декабря. Сирены воздушной тревоги загудели в начале седьмого вечера, и затем градом посыпались зажигательные бомбы. Целью атаки был лондонский Сити. Вспыхнул новый Великий пожар. Весь район от Олдерсгейта до Каннон-стрит, весь Чипсайд и Мургейт были в огне. Один наблюдатель, находившийся на крыше Английского банка, затем вспоминал: "Казалось, горит весь Лондон! Вокруг, куда ни взгляни, сплошная стена огня". Было разрушено девятнадцать церквей, шестнадцать из которых построил Кристофер Рен после первого Великого пожара; из тридцати четырех зданий гильдий уцелело три; улица издателей и книготорговцев Патерностер-роу была уничтожена полностью, сгорело около пяти миллионов книг; Гилдхолл был сильно поврежден; собор Св. Павла оказался в кольце огня, но уцелел. "Кто видел — тот никогда не забудет, — писал Уильям Кент в "Утраченных сокровищах Лондона", — своих ощущений в ту ночь, когда Лондон пылал и купол собора казался плывущим по огненному морю". Почти треть Сити была превращена в обломки и пепел. По любопытной случайности, однако, пострадали главным образом исторические и культовые здания старого Сити, деловые же улицы — такие, как Корнхилл и Ломбард-стрит, — остались более или менее невредимыми, и все крупные финансовые центры уцелели. Городские божества, уподобясь геральдическим грифонам Сити, ревностно стерегущим свое сокровище, уберегли Английский банк и Фондовую биржу.

Один лондонец, прошедший разрушенными улицами на следующий день после налета, вспоминал: "Воздух точно выгорел. Я дышал пеплом... Повсюду, где мы шли, в воздухе стояла гарь". Сохранилось много описаний воронок, развороченных подвалов, рушащихся стен, рассыпавшейся кладки, газовых факелов, тротуаров под слоем пыли и битого стекла, кирпичных выступов диковинной формы, разбитых и висящих в воздухе лестниц. "Церковные стены дымились несколько дней", — писал Джеймс Поуп-Хеннесси в книге "История в огне". Но работники Сити — дневные обитатели делового центра — наутро вернулись. После налета "весь Сити, казалось, отправился в поход": клерки, секретарши, конторские служащие кружными путями добирались сквозь руины до места работы. Многие, придя, обнаруживали свою контору полностью выгоревшей или разрушенной, но на следующее утро являлись туда опять, ибо — "что им еще оставалось делать?" Их поведение демонстрировало власть Сити над людьми; они напоминали узников Ньюгейтской тюрьмы, сожженной во время мятежа лорда Гордона, которые возвращались на пепелище бродить среди развалин своих камер.

Сити превратился в незнакомую территорию. Пространство между церковью Сент-Мэри-ле-Боу на Чипсайде и собором Св. Павла стало пустырем, где среди высокой травы шли утоптанные тропы, носившие старые названия — Олд-Чейндж, Фрайди-стрит, Бред-стрит, Уотлинг-стрит. Чтобы люди не плутали, были прибиты таблички с названиями улиц — этих и других. Даже краски города и те изменились: бетон и гранит приобрели цвет "жженой умбры", а развалины церквей — "желтого хрома". Сохранились замечательные фотографии, сделанные Сесилом Битоном после декабрьского налета. Патерностер-роу превратилась в кучу обломков с торчащими там и сям среди кирпича и камня кусками железных конструкций; было уничтожено

тридцать издательств. Во время Великого пожара XVII века здесь произошло примерно то же самое, и, по словам Пипса, "все крупные книгопродавцы только что не разорились". У церкви Св. Джайлза в Криплгейте взрывной волной повалило статую Мильтона, но церковная башня и стены, как и почти четыреста лет назад, устояли. Сохранилась запись от 12 сентября 1545 года: "Церковь Св. Джайлза выгорела вся целиком, кроме стен и колокольни, как это вышло — Богу известно"; теперь каким-то чудом церковь снова была спасена. Было сделано немало фотографий изуродованных церковных интерьеров с упавшими статуями, разбитыми перегородками, разбросанными по полу головами херувимов; имеются снимки поврежденного Гилдхолла, пострадавшего от бомб Миддл-Темпла, воронок и обваливающихся крыш. Многим тогда казалось, что раз слава и гордость Лондона могли погибнуть за одну ночь, то осязаемая, физическая история города лишена всякого смысла; она слишком хрупка и уязвима, чтобы на нее полагаться. Незримый, неосязаемый дух Лондона — вот что уцелело и даже процвело в дни разрухи и бедствий.

Были сделаны, между тем, неожиданные открытия. В Криплгейте бомбардировка обнажила фрагмент древнеримской стены, который был погребен многие сотни лет. Под алтарем церкви Сент-Мэриле-Боу обнаружилось вымощенное плиткой подземное помещение, а в церкви Сент-Ведаст на Фостер-лейн после налета увидели "заложенный кирпичом готический дверной проем". На Остин-Фрайерс были найдены предметы древнеримских времен, в том числе плитка пола со следами лап собаки, гнавшейся за кошкой. За органом церкви Всех Святых была обнаружена арка VII века, сложенная из плиток римской эпохи и доселе скрытая под стенной обшивкой. По свидетельству приходского священника, "из стены по соседству с аркой выпали громадные куски, которые по крайней мере восемьсот лет были включены в капители мощных норманнских колонн того времени. Некоторые из этих камней представляют чрезвычайный интерес... Мы не имеем других образцов этой школы камнеобработки. Они составляли часть величественного креста, который возвышался на Тауэр-хилле до вторжения Вильгельма Завоевателя". Символическое значение этого открытия несомненно: взрывы немецких бомб привели к обнаружению саксонского креста, воплощавшего непокорство перед лицом захватчика. И значит, ошибались те, кто считал, что городскую историю легко уничтожить; она открывалась на более глубоких уровнях, косвенно заверяя людей в том, что, подобно древнему кресту, Лондон восстанет вновь. Аналогию можно было увидеть даже в мире природы. Из-за повреждений, причиненных бомбардировками Музею естествознания, некоторые семена в его гербариях отсырели и начали прорастать, в том числе мимоза, привезенная из Китая в 1793 году. Растение ожило после ста сорокасемилетней спячки.

Был, кроме того, диковинный промежуток времени, когда природа стала утверждать себя в ином смысле. Один лондонец писал, что "на многих акрах самого знаменитого из городов мира кипучая и шумная людская деятельность прекратилась и возникли пустыри с яркими цветами, с таинственной жизнью дикой природы". Перемена была "чрезвычайно впечатляющей". На Бред-стрит и Милк-стрит цвели крестовник, ландыш, белая и лиловая сирень. "Тихие улочки вели к лужайкам, заросшим дикими цветами и кустарником, каких здесь не видели со

времен Генриха VIII". Сравнение с XVI веком тут уместно, поскольку эта часть Лондона состояла тогда из садов, между которыми шли дороги; однако пострадавший от бомбежек город наводил на мысли и о более давних, доисторических временах, когда здесь была просто болотистая местность. Р. С. Фиттер, автор "Естественной истории Лондона", заявил после войны, что "обилие диких цветов, птиц и насекомых на пострадавших от бомбардировок участках города — это сейчас одна из достопримечательностей Лондона"; по его словам, после 1939 года здесь возникло "диких цветов, трав и папоротников — 269 видов, млекопитающих — 3, птиц — 31, насекомых — 56, других беспозвоночных — 27". На пустыре около разрушенной Криплгейтской церкви держали свиней и выращивали овощи; эта земля не утратила естественного плодородия, хоть и была застроена более семи столетий. Косвенно это, возможно, свидетельствует о мощи Лондона, способного так долго не давать своей почве воли. Город и природа вели неравную борьбу, пока город не был ранен третьей силой; тогда вернулись растения и птицы.

После ужасающего налета в конце декабря 1940 года атаки стали более спорадическими, но от этого не менее губительными. Лондон бомбили в январе 1941 года, затем, после короткой февральской передышки, сильные бомбардировки были в марте. 16 апреля город перенес то, что немцы назвали "мощнейшим воздушным налетом за все времена"; бомбардировщики вернулись три ночи спустя. Число жертв ночных атак, от которых страдали такие разные районы, как Холборн и Челси, неизменно переваливало за тысячу. Лондон сделался хаотичен и уродлив, на лицах горожан читались тревога и бессонница. Сильней всего давило ощущение бессмысленности и нереальности происходящего; усталость, соединенная с разрухой, порой рождала в людях легкомыслие на грани бреда. "Пикирующие бомбардировщики летели так низко, — говорил очевидец, — что я сперва принял их за такси". Самый тяжелый и продолжительный налет из всех произошел в субботу 10 мая 1941 года, когда бомбы падали на Кингсуэй, Смитфилд, Вестминстер и по всему Сити; погибло почти полторы тысячи человек. Пострадали Дворец правосудия и Тауэр, от здания Палаты общин осталась только оболочка. Церковь Сент-Клемент-Дейнс была разрушена настолько, что приходский священник месяц спустя умер "от потрясения и горя". Его жена скончалась еще через четыре месяца. Это, возможно, лишь малая толика страдания по сравнению с огромной массой тогдашних бедствий, но здесь проявился один существенный аспект лондонских разрушений: люди иной раз оказываются так тесно связаны с определенными зданиями, что гибель здания ведет к смерти человека. И в счастье, и в несчастье город и его жители слиты воедино. После налета лондонцы отметили, что "запах гари никогда не был таким сильным, как в то воскресное утро". Казалось, еще чуть-чуть — и город сломается, не устоит перед натиском. Американский журналист Ларри Ру обратил внимание на то, что работающие в Сити мужчины едут на службу небритые. "Я начал понимать, — писал он, — до какой глубины лондонцы потрясены и поколеблены налетом 10 мая. Это было уже чересчур". Как оказалось, это был последний из серии массированных ударов по Лондону перед трехлетним затишьем.

Немецкое вторжение в Россию косвенным образом спасло Лондон от дальнейших разрушений, и настало относительное спокойствие. Жизнь как будто возобновилась. Город, казалось, вернулся к своему обычному бытовому ритму с почтальонами и автобусами, с развозчиками молока и рассыльными; но после красочного в своей смертоносности "блица" в столице ощущались странная тоска и упадок духа. Филип Зиглер в "Лондоне военных лет" назвал это время "обессиливающей паузой". Конфликт разворачивался в других городах и в других небесах, а "лондонцы, чувствуя себя оттесненными на обочину, испытывали скуку и подавленность". Те, кто по-прежнему использовал метро как укрытие, образовали сеть дружбы и товарищества, и это совместное подземное бытие стало проявлением общего состояния Лондона, который находился, по выражению Элизабет Боуэн, в "темной середине туннеля", испытывал неудобства и тяготы военного времени, но не имел возможности влиять на ход событий. Житейские лишения давили на горожан, раздражали их. И это, в свой черед, влияло на атмосферу самого Лондона, на его характер. Люди обносились — и, проявляя глубинную, инстинктивную солидарность, обветшали и поблекли их жилища. Треснувшие стекла не заменялись, штукатурка обваливалась, на обоях темнели пятна сырости. Общественные здания тоже несли на себе знаки усталости и депрессии, фасады их облупились и потускнели. Общая атмосфера была унылая, и в проявлениях диковинного симбиоза города и его обитателей угадывалась близость живого, страдающего организма, о чем говорил еще Дефо во время Великой чумы.

Затем, в начале 1944 года, бомбардировки возобновились. Этот так называемый "малый блиц" был угрюмым завершением неоконченного дела; всего было четырнадцать налетов, самые крупные — в феврале и марте, и мишенью их был город, уставший от долгого конфликта с неясным исходом и до некоторой степени деморализованный. "Лондон, кажется, выведен из равновесия налетами и не так задирист, как в 1940—1941 годах", — отметил Джон Колвилл.

Но тут возникло нечто новое. В июне 1944 года в лондонском небе появились беспилотные ракетные самолеты-снаряды "Фау-1", называвшиеся еще "жужжалками", крылатыми бомбами, управляемыми бомбами и бомбами-роботами. Их распознавали по пронзительному жужжанию двигателя, внезапно сменявшемуся тишиной, когда двигатель выключался и начиналось пикирование. "Фау-1" прилетали днем с большими промежутками, и выносить их было, может быть, тяжелее всего. "Когда летит жужжалка, прислушиваешься к ней затаив дыхание, — писал один лондонец, — и молишься, чтобы летела дальше... Обстановка в Лондоне изменилась. Снова Большой Блиц. Тревога висит в воздухе. Вечером автобусы полупусты. На улицах малолюдно — это бросается в глаза. Тысячи уехали, многие стараются пораньше уйти в укрытие". Писатель Энтони Поуэлл, дежуря в составе пожарной дружины, смотрел, как "Фау-1" летят по небу к своим неведомым целям — летят "диковинными дергаными рывками... испуская снопы искр". Он сравнил их с драконами ("в воображении запахло серой"), так что город, на который сыпались удары, снова стал средоточием фантазий и мифических персонажей. За десять месяцев на столицу упало почти две с половиной тысячи крылатых бомб — "по-шмелиному гудящих штуковин, безжалостно прущих прямо на тебя — густо и стремительно, днем и ночью". Страх усиливался из-за безличной неодушевленности снарядов, которые часто срав-

нивали с огромными летучими насекомыми. Потенциальные жертвы тоже, конечно, обезличивались, так что жить в городе означало теперь быть не человеком, а чем-то меньшим. По словам Сирила Коннолли[1], лондонцы "делаются все более затравленными и противными; настоящие жабы — каждая потеет и пульсирует под своим камнем". Преобладающими состояниями были "напряжение, усталость, страх и уныние". "Избавьте меня от этого" — такое невысказанное желание было написано на каждом утомленном и беспокойном лице, в то время как жители Лондона продолжали делать свою работу, исполнять свои обязанности. Механизм действовал по-прежнему, правда, теперь куда более отвлеченно; мир свелся к инерции разрушения и усталого выживания.

В начале осени 1944 года, едва крылатые бомбы начали падать реже, на британскую столицу обрушились "Фау-2". Впервые в истории войн город обстреливался ракетами дальнего радиуса действия, скорость которых составляла примерно три тысячи миль в час. Ни на объявление воздушной тревоги, ни на перехват времени не было. Первая ракета ударила по Чизику, и взрыв был слышен в Вестминстере — на расстоянии семи миль. Мощность взрывов была такова, что "целые улицы превращались в развалины". Один житель Излингтона признался: "Я подумал, что пришел конец света". В истории Лондона эти слова звучали и раньше — в дни мятежей и страшных пожаров. По столице была выпущена почти тысяча ракет, половина достигла цели. На месте улиц возникали пустыри. Одна ракета попала в Смитфилдский рынок, другая в универсальный магазин на Нью-кросс; пострадала Королевская больница в Челси. "Неужели мы никогда не избавимся от разрухи и гибели? — сокрушался один лондонец. — Не довольно ли для города пяти лет страданий?"

Настала самая холодная за много лет зима, а ракеты продолжали падать. В воздухе витала зараза, как это было всегда на протяжении неспокойной лондонской истории; ходили слухи об эпидемии и растущем количестве смертей. Чувствовалась, однако, и некая беззаботность: "Фау-2" были настолько непредсказуемы, что воскресили в лондонцах дух азартной игры. Спать ложились, не зная, проснутся утром или нет.

А потом внезапно все кончилось. В конце марта 1945 года одна ракета упала на Степни, другая на сектантский молитвенный дом на Тотнем-корт-роуд. И больше взрывов не было: пусковые площадки перешли в руки союзников. Небо очистилось. Битва за Лондон была в конце концов выиграна. Погибло почти тридцать тысяч горожан, полностью разрушено было более ста тысяч строений; треть лондонского Сити исчезла с лица земли.

8 мая 1945 года в Лондоне была отпразднована победа на европейском театре войны — на сей раз, в отличие от 1918 года, без всякой помпы и истерической радости. После пяти лет перемежающихся бомбежек и смертей участники торжеств были более усталыми, чем их предшественники на тех же улицах двадцать семь лет назад; к тому же еще шла война с Японией (победу в ней праздновали 15 августа 1945 года). Лондон тоже был теперь другим. По бытовавшему тогда выражению, "из него вышибло начинку" — то есть реальность истончилась, стала худосочной. Безусловно, город утратил немалую часть своей энергии

1. Сирил Вернон Коннолли (1903—1974) — английский журналист, критик и писатель.

и задора; он стал таким же потрепанным, как его обитатели, и, как им, ему нужно было время, чтобы оправиться.

Судьба, а не расчет

"Как нам отстроить Лондон?" Так называлась книга Ч. Б. Пердома, где послевоенный город охарактеризован вот как: "Приходишь в полное уныние от этой всеобщей серости, однообразия, запущенности и нищеты". Эта "серость" ("блеклость", "бесцветность"), о которой так часто говорится в воспоминаниях о Лондоне 1950-х годов, была обусловлена бедностью; в первые годы после Второй мировой войны большинство товаров первой необходимости распределялось по карточкам. Но с другой стороны, это была сумеречная серость неопределенности. Если одним естественным ответом на военную разруху было желание создать "новый мир", к чему стремились городские планировщики, то другим была попытка восстановить старое, как будто ничего особенного не случилось. Говоря в той части книги "Лондон: история общества", что посвящена 1950-м годам, о "веселых посиделках в пабах" и о "довольных жизнью обитателях пригородов", Рой Портер ведет речь именно об этой атавистической склонности Лондона продолжать делать все то, что он делал до злополучной паузы, вызванной бомбежками. Попытка эта не имела, да и не могла иметь успеха. Стремление наложить на новые обстоятельства систему привычных условий вело лишь к созданию неясно-гнетущей, сковывающей атмосферы.

Двумя крупнейшими лондонскими спектаклями, выдержанными в традиционном духе, стали Фестиваль Британии 1951 года и коронация Елизаветы II в 1953 году. Связанное с ними представление о Лондоне как о преуспевающем, полном энтузиазма сообществе, чудесным образом воссоздавшемся после войны, неявно подкреплялось воскрешением традиционных ценностей и былых форм времяпрепровождения. Пышно цвели детские и подростковые организации – такие, как скауты и "волчата"; то было великое время для "клубов мальчиков" восточного и южного Лондона. Посещаемость футбольных матчей достигла довоенного уровня; кинотеатры тоже были полны – возможно, потому, вспоминал один лондонец, что "больше практически нечего было делать". Это чувство легкой несвободы, похожее на похмелье после экстаза войны, усиливалось из-за молчаливого, но согласованного стремления ужесточить нормы сексуального и социального поведения, которые за военные годы стали намного либеральней. Относительная сексуальная свобода женщин и товарищеский эгалитаризм вынужденной межклассовой близости должны были остаться в недавнем прошлом. И это, в свой черед, вело к нарастанию смутного недовольства, особенно в молодом поколении. Порядки 1930-х годов насаждались заново в совершенно изменившемся обществе. Проявлением общей атмосферы скованности и принуждения стало введение двухлетней воинской повинности – так называемой "национальной службы". Это была обратная сторона создававшегося "государства всеобщего благосостояния".

Итак, Лондон был в ту пору неприглядeн. По сравнению с другими крупнейшими городами – Римом, Парижем, Нью-Йорком – он казался уродливым и запущенным; впервые в истории британской столицы ее

можно было устыдиться. Однако уже тогда начали ощущаться ветерки перемен, повеявшие из неожиданного источника. "Тедди-бойз" — молодые "пижоны" Элефант-энд-Касл и других южных районов Лондона, — как и стильные юнцы Челси и битники Сохо, навлекли на себя, едва возникнув, негодование моралистов. Представляется существенным, что эти разнообразные группы были тесно связаны с определенными частями города, словно на них, помимо прочего, работали силы местной истории. Все они стремились вырваться из унылого однообразия городской жизни, по-прежнему основанной на устаревших системах верований и классовых градаций. Мертвые зоны Уолуорта и Актона, Излингтона и Стоук-Ньюингтона бросали обществу молчаливый упрек. Территориальный дух выражался, в частности, в том, что́ носили эти молодые люди; одежда "тедди-бойз", как и их последователей — "модс" — являлась главным и часто единственным знаком самобытности. Фактически "тедди-бойз" были обязаны своим обликом респектабельным портным Сэвил-роу и Джермин-стрит, старавшимся популяризовать среди мужской клиентуры образ "эдвардианской"[1] изысканности. Имя "Эдвард" превратилось в уменьшительное "Тедди", и новый гибрид был сотворен. На смену привычной в конце XIX и начале XX века фигуре бедно одетого рабочего парня в стандартной кепчонке пришел образ юнца в бархатном пиджаке и брючках-дудочках. Беспечная, свободолюбивая дерзость, уже продемонстрированная детьми "блица", по-прежнему давала себя знать. В XVIII и XIX веках одежда, спускаясь по коммерческой спирали, "передавалась" от вышестоящих классов нижестоящим, однако в данном случае инициаторами передачи были именно нижестоящие. Здесь в очередной раз проявился природный лондонский эгалитаризм, соединенный с самодостаточностью и агрессией и хорошо различимый еще в средневековых учениках ремесленников. По существу многие "тедди-бойз" как раз и были подобными учениками.

Благоприятствовало этим тенденциям то, что Лондон опять становился городом юных. Рост рождаемости и повышение уровня жизни в Лондоне 1950-х годов способствовали созданию более молодого общества, желавшего освободиться от ограничений и скованности послевоенной столицы. Иначе говоря, переход к "Swinging Sixties" ("веселым шестидесятым") не был внезапным. В Сохо за годы до расцвета бутиков и дискотек действовали кафе, безалкогольные бары и джаз-клубы, в Челси — магазины одежды и маленькие бистро. Лондон постепенно молодел, и в середине 1960-х оказалось, что возраст 40 % его населения — двадцать пять лет и меньше. Это примерно соответствует состоянию города в римскую эпоху, когда только 10 % населения доживало до сорока пяти лет, и напрашивается предположение о сходном уровне сексуальной энергии. Подобным возрастным составом населения Лондон отличался и в XVI веке, когда, судя по данным истории, он пережил вспышку интереса к моде. Если условия схожи, то близки будут и предпочтения горожан.

"До 'блица', — пишет С. Э. Расмуссен в книге "Лондон: уникальный город", — лондонцы воспринимали неприглядность своих улиц как нечто само собой разумеющееся, как неизбежное проявление судьбы". Но увидев, как от одной бомбы валятся целые террасы, они пришли к мысли,

1. Имеется в виду эпоха короля Эдуарда VII (1901–1910).

что даже Лондон поддается разрушению и что в нем должны произойти перемены. Грязный и обветшалый, он принадлежал к цивилизации, на счету которой было две мировые войны. Лондонская газета "Ивнинг стандарт" писала, что ему на пользу пойдет добавочная порция динамита. Еще шла война, когда региональный градостроитель Патрик Аберкромби подготовил два предложения – "Проект для Лондонского графства" и "Проект для Большого Лондона", которые должны были сделать Лондон "упорядоченным, эффективным, красивым и просторным" городом и положить конец "исступлению конкуренции". Извечная мечта, извечная иллюзия – что каким-то образом город можно принудить к изменению своей природы, к отказу от всего, на чем он цвел и богател до сих пор.

Однако в топографическом смысле проекты Аберкромби имели огромное значение. Они предполагали существенную переброску населения в пределах самого города, с тем чтобы "создать сбалансированные сообщества, каждое из которых состоит из нескольких малых территориальных единиц"; восстановление разрушенных бомбами районов должно было сопровождаться рассредоточением жителей перенаселенных участков на основе представления о "зонах плотности". Следовало соблюдать равновесие между строительством жилья, промышленным развитием и сохранением "свободного пространства"; связать воедино все разноликие сообщества должны были ключевые магистрали. Ограничимся для примера тремя случаями из многих. Немалая часть жителей Бетнал-Грина была переселена в муниципальные жилые массивы "низкой плотности" – такие, как Вудфорд в Эссексе; на месте пострадавших от бомбежек частей Поплара был возведен огромный жилой массив Лансбери, застроенный как многоквартирными, так и односемейными домами. В Брикстоне, принадлежащем внутреннему Лондону, возник жилой массив Лафборо, в основном состоящий из одиннадцатиэтажных зданий. Элементы Лондона перераспределялись так, чтобы у горожан стало больше света и воздуха. Старые улицы, которые характеризовались как "отживающие", "обветшалые", "узкие" и "тесные", уничтожались, чтобы на их месте возникли современные, более крупные и опрятные жилые комплексы. Установление муниципального контроля над обширными частями города имело, однако, свои минусы. Этот контроль изменял реальность Лондона, мешая действию его природных законов роста и развития. Малые предприятия, составлявшие жизненную основу города, не могли больше процветать. Районные советы внутреннего Лондона пытались игнорировать или повернуть вспять тенденции городской жизни, действовавшие на протяжении почти тысячи лет. То, что старый лондонский Сити выдвинул иные идеи, было неизбежно; авторы альтернативного плана для Сити предлагали "консервацию, где возможно, всего значимого с точки зрения традиций и археологии" и сохранение "романтики и истории, которыми дышат сами названия улиц". Но эти призывы к осторожности противоречили современному духу обновления и широкомасштабного городского планирования; они были отвергнуты правительством страны, и Совет Лондонского графства получил "добро" на реконструкцию районов вокруг собора Св. Павла и Тауэра, на постройку нынешнего Барбикана.

Были приняты и другие элементы проектов Аберкромби; наиболее явственно это отразилось в парламентском акте "О городской и сельской местности" 1947 года. Аберкромби предложил придать Лондону

"круговую структуру непортового города" с тем, чтобы он состоял из четырех кольцевых зон — внутреннего городского кольца, пригородного кольца, "зеленого пояса" и внешнего загородного кольца. Это был способ сдерживания неблагополучного "внутреннего города", которому нельзя было позволить расти, который надо было запереть, как некий опасный или заразный организм. На большинстве карт он закрашен черным. Следовало также вывести из этой срединной тьмы как можно больше предприятий и людей в надежде, что от этого она станет менее опасной. Чтобы обеспечить переселение миллиона человек, в другом разделе своего доклада Аберкромби предложил создать во внешнем загородном кольце новые "города-спутники". Таких городов было построено восемь, и они процветают, но воздействие принятых мер на Лондон как таковой не вполне соответствует тому, что ожидалось и планировалось. Как мог бы объяснить разнообразным советам по городскому планированию любой историк Лондона, сдержать его не способны никакие схемы и ограничения. Предлагалось ограничить его промышленный и коммерческий рост размещением новых предприятий в городах-спутниках, но после войны лондонская коммерция пошла в гору. Производство автомобилей, автобусов, грузовиков и самолетов выросло до беспрецедентного уровня; через лондонский порт пошли рекордные массы товаров, здесь было занято тридцать тысяч человек; "экономика офисов" оживила лондонский Сити, и там произошел бум недвижимости. После переезда многих лондонцев в пригороды и города-спутники население столицы слегка уменьшилось, но с другой стороны, в городе внезапно и резко выросла рождаемость. Ничто не могло ни противостоять тяге города к омоложению, ни сдержать его рост.

Новые города-спутники — такие, как Стивенейдж, Харлоу и Бэзилдон, — сами стали частью исторического процесса, который был слишком инстинктивным и мощным, чтобы его можно было повернуть вспять. Лондон всегда рос за счет присоединения соседних городков и деревень, принимая их в мощные свои объятия. Эта черта была присуща его развитию с XI века. И новосозданные города он тоже поглотил.

Велика мощь исторического императива: Патрик Аберкромби и его коллеги неосознанно создавали такой же рисунок расселения, что и строители Блумсбери и Ковент-Гардена в XVII веке. "Новые города" с неизбежностью стали такими же частями Лондона, как и их предшественники; вместо того чтобы ограничить размеры города, послевоенные градостроители неизмеримо расширили его — так что весь юго-восток страны сделался "Лондоном". "Внешняя муниципальная зона" обнаруживает все признаки современной городской жизни с ее неустанным движением. Но ведь это — извечное обыкновение Лондона. Если есть возможность и свободное место, он воспроизводит сам себя. В этом отношении он — слепая сила, невосприимчивая к увещаниям градостроителей и политиков. Исключение, как мы видели, составляют те случаи, когда они предлагают возможности дальнейшего роста.

Итак, "зеленый пояс" не стал для городской жизни барьером; в каком-то смысле это просто обширная пустота, по случаю занимающая некую кольцевую часть Большого Лондона. Чисто физически, правда, он ограничил расширение центрального Лондона и его ближайших пригородов, которым, чтобы продолжить свое неотвратимое наступление, пришлось перешагнуть через зеленые массивы. Другой стороной этого

явления стал любопытный частичный внутренний откат города. Возникла обратная связь. Лишенный пространства для непосредственного локального расширения, город взялся за переоценку собственных структур и возможностей. Сооружение огромных новых жилых массивов внутреннего Лондона, возрождение интереса к реставрации старинных зданий, процесс "джентрификации"[1], переделка под жилье чердачных помещений, упор на обновление в широком смысле — все это прямые следствия создания "зеленого пояса", который заставил Лондон и лондонцев больше смотреть внутрь и меньше — наружу.

Императивы лондонской истории дали еще один результат. Послевоенные градостроители, помимо прочего, запланировали громадную кольцевую дорожную сеть, имея в виду во многом те же цели, что и Рен и Эвелин, когда они после Великого пожара 1666 года предлагали проложить в Лондоне широкие авеню. Но, как и в XVII веке, планы так и остались планами; их реализации помешали политическое давление, экономические ограничения и бешеное противодействие на местном уровне. Лондон остался чуть ли не единственным городом Англии, отразившим натиск проектировщиков с их попытками рационализации дорожного сообщения; здесь проявилась его глобальная способность успешно провалить любой широкомасштабный или грандиозный план. Общих структурных перемен не произошло и произойти не могло. Город неизменно сохраняет свой характер еще с тех тюдоровских времен, когда были проигнорированы первые указы, касавшиеся "городского планирования".

Но в 1960-е годы это не все понимали, и Лондон был тогда особенно сильно заражен забывчивостью. Американский еженедельник "Тайм" провозгласил на первой странице обложки: "ЛОНДОН – ВЕСЕЛЫЙ ГОРОД". Его достаток был вполне очевиден; за двадцать послевоенных лет реальные доходы горожан выросли примерно на 70 %, и высокая рождаемость в первые мирные годы привела к тому, что Лондон теперь производил впечатление города, где доминирует молодежь. Для юношей и реальное, и символическое освобождающее значение имела отмена в 1960 году "национальной службы". Возвращение музыки и моды приняло беспрецедентные формы. Модельер Мэри Куонт заявляла, что стремится создавать одежду, которая "в гораздо большей мере будет предназначена для жизни, для реальных людей, для того, чтобы быть в ней юными и живыми". В определенных, четко очерченных районах Лондона пышно расцвели бутики; молодых "модс", в характерной лондонской манере интересовавшихся всем "новеньким" и "самым классным", как магнит притягивала Карнаби-стрит, а Кингс-роуд в Челси сделалась вожделенным местом для молодых женщин, старавшихся не отстать от моды. Лондон стал и центром популярной музыки — можно вспомнить такие группы, как "Ху", "Кинкс", "Смолл фейсез" и "Роллинг стоунз", многие участники которых окончили лондонские музыкальные учебные заведения. Иногородние группы — в частности, "Битлз" — с неизбежностью перебирались в столицу. Преобладающее настроение улавливали и дизайнеры. Теренс Конран[2] впоследствии вспоминал: "Я всегда считал, что хороший дизайн должен быть доступен всему населе-

1. "Джентрификация" (от "gentry" — мелкопоместное дворянство) — повышение статуса изначально бедных городских районов и улиц с постепенным их благоустройством и заселением более состоятельными людьми.
2. Теренс Конран (р. 1931) — английский дизайнер.

нию, что он не должен быть достоянием одной элиты. И в этом, я думаю, со мной были согласны очень и очень многие, кто стремился получить образование и был недоволен существующим положением". Итак, в создании атмосферы "недовольства", о которой говорит Конран, играло роль расширение доступа к высшему образованию. Протест вызывал главным образом послевоенный мир иерархии и несвободы, вызывала его и явная неприглядность и унылость Лондона. Необходимо было высветлить обстановку. Реальной природе города, его характеру не придавалось тогда никакого значения. На несколько лет Лондон стал "столицей стиля", где музыка и мода притягивали к себе вспомогательные отрасли — такие, как издание журналов, фотография, рекламное дело, моделирование, радио- и киноиндустрия. Создавался новый, яркий город.

По существу, конечно, "веселый Лондон" вовсе не был новым. Вековые инстинкты города не переставали действовать. В частности, коммерческие императивы городской жизни выявили "рынок" новой молодежи, которую к тому же при умном подходе к делу вполне можно было эксплуатировать. К примеру, инфраструктура музыкального бизнеса была тут как тут. Фактически во всех сферах юношеского бунта юные бунтари эксплуатировались в рамках обширного коммерческого проекта. Это было до мозга костей лондонское предприятие. Феномен 1960-х был, кроме того, по самой сути своей театральным и искусственным; подобно множеству других лондонских "эффектов", он скользил над глубинной, фундаментальной жизнью столицы. Чтобы ясно увидеть это десятилетие, необходимо смотреть на него твердым взглядом и как на цельное многоплановое явление.

Существенно, к примеру, то, что эпоха бутиков и дискотек была также эпохой многоэтажек, публичного вандализма и растущей преступности. Все это в достаточной мере взаимосвязано. О многоэтажках 1960-х годов написано немало. Они были любимым детищем проектировщиков и архитекторов, движимых как эстетическими, так и социальными мотивами. Казалось, что в этих домах обретает очертания город нового типа; многие георгианские и викторианские террасы были снесены муниципальными властями, расчищавшими место для градостроительного эксперимента, в рамках которого замышлялось создание нового, "вертикального" сообщества. Популярность многоэтажных башен — в конце 1960-х их было построено в Лондоне около четырехсот — определялась также экономическими причинами. Они были стандартизованы, поэтому возводить их можно было быстро и задешево. Так много людей значилось в списках нуждающихся в жилье, так много их проживало в частях "внутреннего города", признанных непригодными для обитания, что строительство "высотных микрорайонов" казалось в то время единственным эффективным и экономически доступным средством перемещения горожан из зон относительного запустения в зоны относительного комфорта.

То была эпоха застройщиков, когда громадные деньги делались на передаче Совету Лондонского графства пригодных для освоения участков в обмен на право строительства в "чувствительных" зонах. Имя им легион: Сентерпойнт, Ландон-Уолл, Юстон-центр, Элефант-энд-Касл — весь Лондон, казалось, изменился превыше всякой меры и до неузнаваемости. Это был вандализм, соучастниками которого с радостью стали правительство страны и муниципальные власти. С лица земли исчезли

обширные участки Лондона — Принтинг-Хаус-сквер, Каледониан-маркет, больница Св. Луки, отрезки Пиккадилли, куски Сити. Все это было разрушено в ходе так называемой "комплексной перестройки". По духу своему этот акт преднамеренного изглаживания и забвения вполне соответствовал той атмосфере "веселых шестидесятых", что ярко проявлялась в других частях Лондона. Словно и время, и лондонская история на практическом уровне перестали существовать. В погоне за прибылью и за немедленным удовлетворением возникающих потребностей люди превратили собственное прошлое в некое зарубежье.

Можно ограничиться тремя примерами из 1960-х годов. В 1962 году был разрушен Лондондерри-хаус на Парк-лейн, чтобы освободить место для отеля "Хилтон". В 1966 году ради строительства муниципального микрорайона были уничтожены георгианские улицы, составлявшие Пакингтон-эстейт в Излингтоне; в 1963 году в соответствии с планом "модернизации" был снесен громадный Юстон-арч — портик вокзала Юстон. Мир музыки и мир моды были охвачены возбуждением "ультрасовременности", и точно такое же отрицание, отвержение прошлого господствовало в архитектуре и градостроении. "Веселый" Лондон шестидесятых — "Лондон на качелях" — был един во всех своих проявлениях, и немалой долей своего "качания" он был обязан орудиям бригад, занимавшихся сносом.

Лондон всегда был уродливым городом. Это черта его естества. Его постоянно перестраивали, рушили, калечили — это свойство его истории. В этом городе никогда не соблюдалась древняя заповедь: "Проклят будь тот, кто сдвинет старые межевые знаки". На протяжении столетий лондонских градостроителей отличала беспечность, с которой они разрушали городское прошлое. Это отразилось даже в песнях былых веков:

> Снесут, порушат Лондон наш,
> И я ему с тоской
> Спою за упокой...

В 1960-е годы нечто подобное могли бы спеть вокзал Виктории, Найтсбридж и Сент-Джайлз-сёркес.

> И этот милый наш приют —
> Он тоже в Лету канет.
> Его без лишних слов снесут,
> Когда черед настанет...

В 1260-е годы в ходе полной перестройки городского округа Бриджуорд были уничтожены старые "обветшалые" строения прежних веков. В 1760-е годы были разрушены все средневековые городские ворота, поскольку они якобы "препятствовали свободному течению воздуха"; в том же десятилетии "усовершенствований" в одиннадцати округах Сити сносились дома ради прокладки новых улиц. Это была крупнейшая единовременная перемена в Лондоне после Великого пожара, произошедшего столетием раньше. Далее, в 1860 году парламентский акт об объединении приходов дал "добро" на снос четырнадцати городских церквей, часть из которых была возведена Реном после того пожара. 1860-е вообще были годами великого разрушения, когда, как пишет Гэ-

вин Стамп в книге "Меняющаяся столица", "перестраивали половину Лондона... город, судя по всему, был настоящим кошмаром — пыль, грязь, леса, суета". Прокладка Куин-Виктория-стрит и постройка Холборнского виадука сопровождались масштабным разрушением старейших частей Лондона; городской ландшафт изуродовали пути и станции разнообразных железных дорог — в частности, Лондонско-Чатемско-Дуврская железная дорога прошла над улицей Ладгейт-хилл и испортила вид на собор Св. Павла. В подобном же пренебрежении собором обвиняли и застройщиков 1960-х годов, так что создается впечатление, что разрушение Лондона происходило непрерывно.

То, что эти волны великого вандализма накатывали на город в 60-е годы каждого столетия, может показаться простым совпадением — если только вы не склонны верить тому, что развитие города подчиняется некой циклической закономерности. В этом случае можно ожидать, что в 2060-е годы будет разрушено многое из того, что построено в XX веке. <...>

И все-таки, что это сейчас означает — быть лондонцем? Карта города в очередной раз перерисована, она включает теперь "внешнюю муниципальную зону", равно как и "Большой Лондон" и "внутренний Лондон"; хотим мы этого или нет, в зону его влияния попал весь юго-восток Англии. Может быть, тогда Лондон — это просто состояние души? Границы его все расплывчатей, натура — все переменчивей, и не стал ли он теперь совокупностью человеческих установок и предпочтений? На протяжении его истории не раз говорили, что он содержит в себе целый мир или миры. Теперь его называют "глобальным городом", Хебберт пишет о нем как о "вселенной со своими собственными законами, которая поистине уже вырвалась из национальных рамок". Да, он действительно заключает в центре своем некую сумеречную вселенную, подобную плотному, вращающемуся облаку. Именно по этой причине миллионы людей называют себя лондонцами, пусть даже они живут за много миль от внутреннего города. Лондонцами они считают себя потому, что испытывают чувство принадлежности. Лондон уже две с лишним тысячи лет служит местом человеческого обитания — в этом его сила и притягательность. Он дает ощущение постоянства, твердой земли под ногами. Потому-то бродяги и нищие лежат на его улицах; потому-то жители Харроу и Кройдона называют себя лондонцами. Их притягивает история города, знают они ее или нет. Они вступают в город-видение.

Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый ребенок"

От редакции

Уильям Джей Смит родился в 1918 году, первый сборник стихов выпустил в 1947-м. Ребенком, живя в географическом центре США, он мечтал о дальних странах и чужих языках. И не зря: Смит состоялся не только как интересный поэт, в чьем голосе некоторые американские критики различают "французские обертоны", но и как отмеченный многими премиями переводчик западноевропейской, шведской, русской и даже венгерской поэзии, составитель антологий, сотрудник журнала "Translation", многие годы существовавшего при Колумбийском университете. Еще одна грань его таланта — стихи Смита для детей, давно ставшие классикой жанра.

На счету Смита десять (не считая множества детских) поэтических книг. Последняя, цикл стихов "Лотерея чероки", вышла в 2000 году и была удостоена премии "За выдающуюся книгу" имени Густавуса Майерса за 2001 год.

С 1968-го по 1970 год Смит занимал почетную должность поэта-лауреата Библиотеки Конгресса США, с 1975 года является членом Американской академии и Института искусств и литературы.

Для старших поколений наших читателей имя Уильяма Джея Смита прочно связано с 70—80 годами, когда его стихи неоднократно публиковались на страницах нашего журнала. Смит приезжал в СССР, переводил Андрея Вознесенского, в то время как Вознесенский и другие мастера слова (Андрей Сергеев, Борис Заходер) переводили Смита. Воздухом того времени вновь повеяло в апреле 2002 года в битком заполненном Малом зале ЦДЛ, когда Смит опять приехал в Москву. Спустя несколько дней (и двадцать один год после своего последнего визита в нашу редакцию) поэт стал гостем "ИЛ".

"Иностранная литература". Расскажите, что нового и интересного произошло в вашем творчестве за тот срок, пока мы не встречались. Возможно, вы изменились как поэт или как человек...

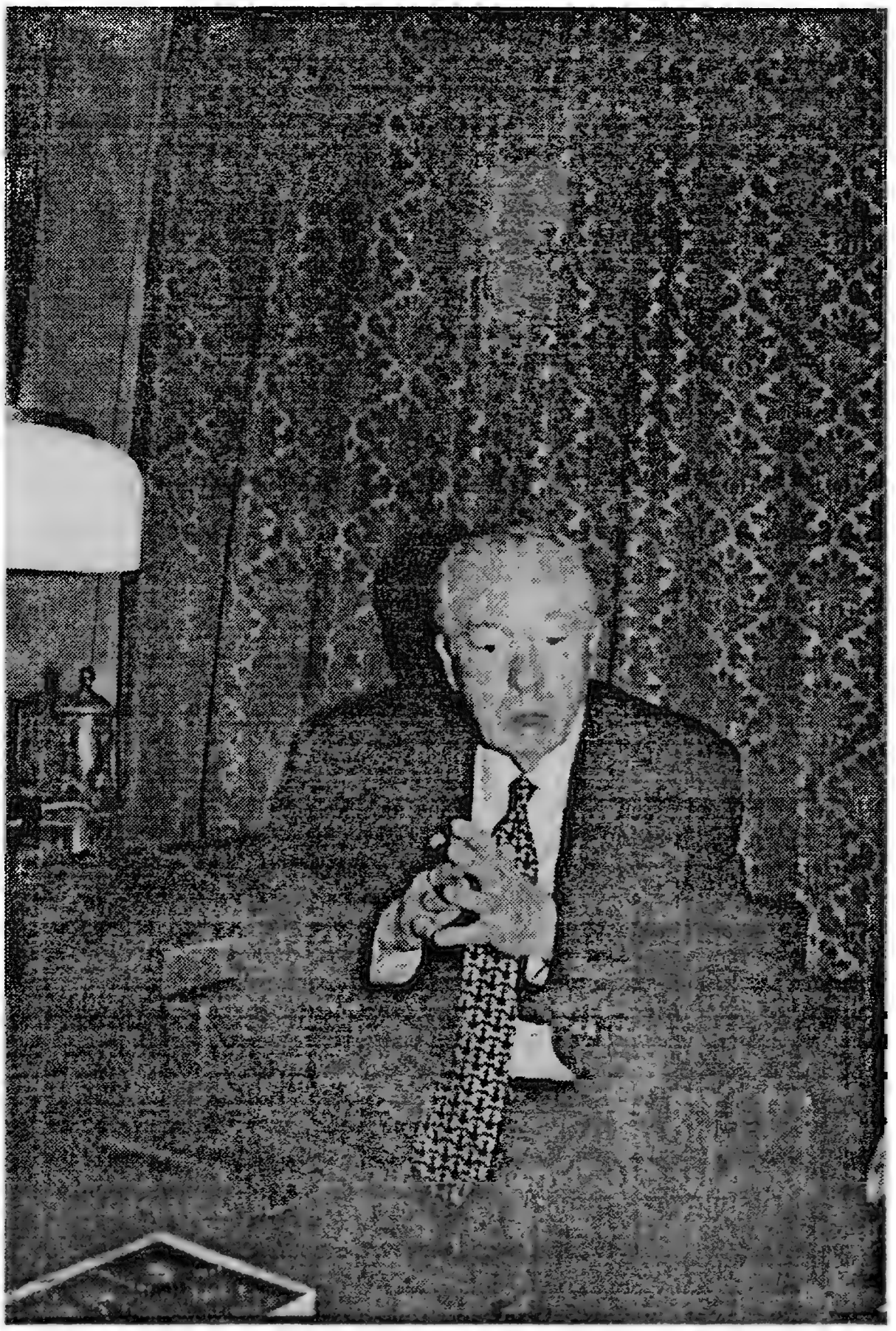
Уильям Джей Смит. Главное, что я с тех пор сделал, — это цикл стихов "Лотерея чероки". В нем рассказывается об очень важных для меня вещах — о печально знаменитой "Дороге слез", насильственном переселении чероки и других индейских племен в Оклахому в XIX веке. Это история моей семьи, моих дедов, то, что рассказывала мне мать. Я работал над этим циклом десять лет, провел настоящее исследование.

"ИЛ". Значит, это ваша главная книга истекшего десятилетия?

У. Дж. С. У меня недавно вышло еще одно "Избранное" — собрание стихотворений, написанных за шестьдесят лет. Оно во многом пересекается с первым "Избранным", но включает также и новые стихи.

"ИЛ". Когда-то вы занимались преподавательской деятельностью...

У. Дж. С. Я два года вел курс литературного творчества в Школе искусств, преподавал в Холлинс-колледже в Виргинии. Но в 1980 году вообще оставил преподавание и полностью сосредоточился на писании книг, в том числе детских, а также на переводах.



"ИЛ". Ваши переводы являются переводами в истинном смысле этого слова. Например, переводы Роберта Лоуэлла из русских поэтов — это, по сути, стихи в лоуэлловском стиле, имеющие мало общего с оригиналом. Лоуэлл обращался с оригиналом крайне небрежно. Судя по всему, вы руководствуетесь иным принципом?

У. Дж. С. Диаметрально противоположным. Я внимательно изучаю оригинал, стараюсь сохранить при переводе его мелодику, ничего не попортить своим прикосновением. Лоуэлл считал, что при переводе может улучшить оригинал, — и был неправ. Разве он мог улучшить, например, Гумилева...

"ИЛ". Да и его Мандельштам просто ужасен...

У. Дж. С. Но, конечно, в переводы часто привносишь что-то от себя, поэт иначе не может. Это не мешает обходиться с оригиналом уважительно. Более того, у оригинала учишься.

"ИЛ". Благодаря переводам вы стали лучше писать сами?

У. Дж. С. Да, они мне чрезвычайно помогли. Я многому учусь у русских поэтов, у венгерских, у шведских — у всех, кого переводил.

"ИЛ". Бывает ли, что, сочиняя стихи, вы вдруг ощущаете страх повтора, страх подпасть под чье-то влияние? Литературовед Харольд Блум писал в своей книге "Страх влияния", что влияние — это в действительности лишь банальное повторение чужого.

У. Дж. С. Я согласен с Блумом. Когда пишешь, есть чувство, будто все поэты, которых ты читал, столпились у тебя за спиной и заглядывают через плечо. Конечно, стараешься это чувство подавить, но потом перечитываешь и беспокоишься: "А не выразился ли я чужими словами?" Но теперь я уже знаю, что могу найти собственные слова.

Мне нравится вспоминать об одном обстоятельстве моей жизни, которое многое для меня определило. После Перл-Харбора меня, молодого морского офицера, отправили служить на Тихий океан, на крохот-

ный атолл, где было совершенно нечем заняться. Собственно, это была авиабаза, где садились самолеты, следующие в Штаты. Книг с собой у меня было очень мало. Но среди них оказался сборник Уоллеса Стивенса "Части мира". Для меня эта книга сыграла огромную роль, я до сих пор о ней думаю. Стивенс описывал в ней части своего мира, и я сказал себе: "Я могу сделать то же самое с частями моего мира. Не его мира, а моего собственного. И мой мир будет совершенно другим". А когда в 1947 году у меня вышла первая книга стихов, я послал ее Стивенсу.

"ИЛ". Как и когда вы заинтересовались русской поэзией?

У. Дж. С. Я даже всерьез начинал учить русский, когда служил во флоте. Под конец моей карьеры морского офицера меня направили на курсы иностранных языков. Правда, русский я так и не выучил, потому что интересовался прежде всего романскими языками, в частности французским.

Когда в Америку впервые приехал Андрей Вознесенский, меня попросили перевести несколько его стихотворений. Тогда я отыскал грамматику русского языка и кое в чем разобрался.

"ИЛ". Насколько нам известно, в США у вас репутация чуть-чуть слишком традиционного поэта. Вы используете метрический стих, рифмуете строки — это большая редкость для американской поэзии.

У. Дж. С. Да, некоторые считают меня слишком традиционным. С другой стороны, такая поэзия все же не умерла окончательно, и теперь, к счастью, мы к ней возвращаемся. У меня есть замечательные новые последователи. Мне, кстати, доводилось сочинять длинные верлибры, но я все время возвращаюсь к традиционной стихотворной форме. Некоторые мои стихотворения — например, из недавно вышедшего сборника стихов о любви — положены на музыку.

"ИЛ". В наше время существует особая разновидность стихов — тексты для рок-музыкальных композиций. И большинство людей тяготеет к этой рок-культуре, которая кажется современнее...

У. Дж. С. У нас есть традиция устной поэзии. Есть особый жанр поэтических вечеров, это называется "слэм", когда люди собираются и очень экспансивно начинают изливать вслух свои чувства. Слэмы бывают небезынтересны, это шоу с большим драматическим накалом, очень популярные среди молодежи, но, мне кажется, такие шоу имеют мало отношения к серьезной поэзии, к поэзии, которая живет долго. И все же...

"ИЛ". Это похоже на возвращение к 50-м годам, к битникам...

У. Дж. С. Да, по-моему, идея слэмов и выросла из битничества.

"ИЛ". Вы наверняка общаетесь с поэтами молодого поколения. Как, по-вашему, происходит ли в нынешней поэзии что-то интересное?

У. Дж. С. Сейчас наиболее интересна группа "Новые формалисты", возрождающая традиционные формы стиха. В июне они проводят в Пенсильвании свою конференцию, я ее собираюсь посетить. Один из "новых формалистов", Дэна Джойя (Dana Gioia), написал сборник эссе "Может ли от поэзии что-то зависеть?" — замечательную, интереснейшую книгу о положении дел в нынешней поэзии. Дэна был бизнесменом, но, так сказать, ушел в отставку. Теперь он живет в Калифорнии и путешествует по всей стране. Это чрезвычайно талантливый поэт и критик.

"ИЛ". И что, от поэзии действительно что-то зависит?

У. Дж. С. Дэна пишет, что да, но в общем не дает однозначного ответа: ему хочется, чтобы от нее что-то зависело, но он не уверен, что это и впрямь так.

"ИЛ". А вы уверены?

У. Дж. С. Совершенно не уверен. И вообще у сегодняшней американской поэзии есть определенные проблемы: хотя интерес к ней огромен, в центре внимания оказываются, на мой взгляд, не самые лучшие поэты. Все беды от того, что критика у нас находится в некотором небрежении. Идеальный критик поэзии — это тот, кто и сам является хорошим поэтом, но таких людей сейчас слишком мало.

"ИЛ". У нас за последнее десятилетие положение поэзии изменилось, без преувеличений, кардинально. Это принято объяснять тем, что мы теперь живем в совершенно другой стране, времена изменились, и поэзия, по всей видимости, просто не востребована. Она утратила то значение, которое имела для старшего и среднего поколения, даже для нынешних тридцатилетних. Кажется, и американская молодежь тоже мало читает поэзию, меньше, чем еще десять лет назад... В 1989 году в Филадельфии состоялся русско-американский поэтический фестиваль: сотни слушателей, настоящие толпы, ощущение большого праздника. Огромным вниманием окружили Юнну Мориц — звезду нашей делегации, а также Стэнли Кьюница. Он был уже очень стар, дорога от Нью-Йорка до Филадельфии далась ему тяжело, но он выступил на публичных чтениях, и множество людей, затаив дыхание, слушали, что он скажет, какие стихи выберет. Теперь же, насколько мы можем судить по личным впечатлениям, в вашей стране тоже падает интерес к поэзии. Были бы рады ошибаться...

У. Дж. С. По-моему, у нас никогда не было такой огромной аудитории, как у ваших поэтов здесь. У Роберта Фроста большие тиражи и много переизданий, но эта популярность пришла довольно поздно, а с его первыми изданиями дело обстояло совсем иначе.

И все же наша аудитория и впрямь, по-видимому, сужается. В прежние времена хотя бы один экземпляр каждой издаваемой книги попадал во все публичные библиотеки. Пусть это был один экземпляр, но его читала масса людей. Я сам впервые прочел современных поэтов в библиотеке, в Сент-Луисе. Теперь библиотеки куда беднее...

"ИЛ". Но у ваших детских произведений наверняка и сейчас много читателей, ведь это страшно веселые и обаятельные стихи...

У. Дж. С. Да, они популярны. И все же, когда в прошлом году у меня вышла книга для детей, издатели были разочарованы: они рассчитывали продать десять тысяч экземпляров, а разошлось только пять.

"ИЛ". Ну, для Америки пять тысяч — это же огромная цифра!

У. Дж. С. Конечно, некоторые стихотворения постоянно переиздаются в составе детских антологий в разных странах англоязычного мира, так что какой-то стабильный доход у меня есть.

"ИЛ". Сколько вам было лет, когда вы начали писать детские стихи?

У. Дж. С. Я начал их писать, когда моему сыну было четыре года.

"ИЛ". Они преследовали какие-то практические цели — уложить ребенка спать, например?

У. Дж. С. Нет-нет, он как раз начал говорить очень занятные вещи, а я просто начал его слушать. Мне кажется, я отлично помню себя самого в четыре года, хоть люди и утверждают, будто такое невозможно. У меня, знаете ли, хорошая память. И когда я принялся записывать высказывания своего сына, то заодно начал вспоминать, взялся сравнивать их со своими собственными переживаниями в четыре года... и как-то так, естественным путем, стал детским поэтом. Художник Пауль Клее сказал,

что хочет рисовать, как ребенок, — но как талантливый ребенок. Это и мое желание — писать, как талантливый ребенок.

"ИЛ". Вы человек современный? Пользуетесь ли вы Интернетом?

У. Дж. С. Не пользуюсь. У моей жены был компьютер, но он сломался. Теперь мы как-то так живем — в отрыве от мира, безо всякого Интернета. Знаете ли, я не доверяю Интернету и считаю его опасным изобретением, особенно когда дело касается поиска. Половина информации, приходящей в ответ на запрос, — сплошные ошибки, никуда не годный мусор. Конечно, в каких-то отношениях Интернет все-таки полезен. Я заставил своих сыновей обзавестись компьютерами и теперь могу осуществлять связь через них.

"ИЛ". В российском секторе Интернета довольно популярны сайты, где любой может поместить собственные стихи, и потом люди их обсуждают, кипит какая-то своя жизнь...

У. Дж. С. Боюсь, это что-то вроде суррогата, заменяющего массовый интерес к поэзии. Еще один момент: люди, похоже, верят, будто поэтом может стать каждый. Нечто подобное происходит и у нас. Детей "учат поэзии", то есть им дают задание написать стихи, и они все как один пишут. Но учителя не так уж часто знакомят их со стихами великих поэтов. И при этом детям говорят: вы пишете замечательно. Конечно, все дети — гении, это несомненно, но, боюсь, если им так и не выпадет случая почитать великих поэтов, то, когда они вырастут, вообще не останется культурных, начитанных читателей поэзии. У этих детей не будет никакого вкуса, никакой базы.

"ИЛ". Если смотреть глубже, то "юные гении", о которых вы говорите, — порождение демократических тенденций западного общества. Демократия полезна во всем, но только не в поэзии. В поэзии всегда были вершины, гора Парнас. Но вот уже несколько поколений на Западе, воспитанных в духе демократической идеологии, живут с идеей равенства, с идеей: "Мы можем дорасти до кого угодно". Весь ландшафт западной поэзии сделался одной сплошной равниной. Нет подлинного вдохновения, которое побуждало бы стремиться к величию. Йейтс сказал, что поэт должен поставить перед собой великую задачу, совершить самое трудное, нечто на грани невозможного. Но теперь кажется, будто само понятие "великий поэт" исчезло.

У. Дж. С. Совершенно согласен. Поэзия — дело недемократичное и должно таким остаться. Это великое искусство, а искусство недемократично. Но я все-таки полагаю, что остались еще люди, которые разбираются что к чему и стремятся к разным уровням величия в искусстве. Возможно, сейчас великое искусство просто сложнее обнаружить, ему не поклоняются так открыто, но оно есть, я это чувствую. Мы все знакомы по собственному опыту с тем, что вы сейчас назвали сплошной плоской равниной, но, с другой стороны, есть и горные пики, возвышающиеся над ней: они видны, они еще стоят, в них, по-моему, наша единственная надежда.

"ИЛ". Еще одна тенденция, влияющая на современную поэзию, обусловлена тем, что мир становится более визуальным: все заснято на видео, показано по телевизору... Похоже, мы больше не нуждаемся в словесных описаниях, и потому поэзия утрачивает некоторые из своих функций. Не вредит ли это господство визуального письменному слову, книжной поэзии?

У. Дж. С. Возможно, я слишком оптимистичен, но мне кажется, что если на человека со всех сторон обрушиваются визуальные образы, ему

из чувства противоречия обязательно захочется слов. И он не откажется читать стихотворные описания только потому, что будто бы может увидеть все своими глазами. Или возьмем современную музыку: там все-таки есть слово, есть текст. Не знаю, можно ли назвать эти тексты поэзией, но определенное сродство с традиционной поэзией в них есть...

"ИЛ". В западных книжных магазинах постоянно встречаются объявления о поэтических конкурсах на лучшее произведение о родном городе, о матери... За этим, по-видимому, стоит убежденность, что писать может каждый и что поэзия обязана приносить пользу. Практические результаты — вот чего ждут теперь от стихов. Но в чем, собственно, цель поэзии? Неужели эта цель — не в самой поэзии? На этот вопрос всегда существовало два взаимоисключающих ответа. Первый: что поэзия существует ради поэзии. И второй: что поэзия призвана просвещать, информировать людей, совершенствовать общество...

У. Дж. С. Да, есть мнение, что поэзия должна выполнять какую-то практическую функцию, например, оказывать терапевтическое воздействие. Но тогда поэзия превращается во что-то другое. Если поэзия — лекарство, то она уже не относится к категории вечных ценностей. И, знаете, мне кажется, что сегодня для всех видов искусства характерна тенденция ничего не делать для вечности, не творить с мыслью, что создаешь нечто выдающееся. Не знаю, как ваши музеи, а наши полны инсталляций — это просто комнаты, в которых набросаны какие-то вещи. На следующий день приходишь, чтобы взглянуть еще раз, а их уже убрали. Это сознательная установка на времянки.

Но я надеюсь, что это не приведет к исчезновению поэзии. Если что остается, так это поэзия. Полагаю, мы сейчас живем в очень дурные времена. Насколько я в силах судить, с вами сейчас происходит то, что с нами, в Америке, уже произошло, вы начинаете испытывать те чувства, которые мы уже некоторое время испытываем. Но вообще-то в дурные времена именно поэзия держится дольше, чем все остальное. Поэзия, если только она настоящая, — это процесс извлечения эссенции из языка. Она сама является квинтэссенцией языка, а язык неуничтожим, несмотря ни на что.

Перевод и подготовка материала С. Силаковой

Антон Нестеров
Подлинность

Кино — это правда 24 кадра в секунду.
Жан Люк Годар

Странно начинать статью с абсолютно личного — то есть случайного и субъективного — впечатления, но по какой-то профессиональной надобности мне случилось разом, в течение недели, "пропустить" через сознание весьма солидный массив англоязычной поэзии XX века. Среди иных авторов там были Оден и Буковски. И на их фоне все остальное... фальшивило. Соседство Одена и Буковски "убивало" стихи других — они казались надуманными, вычурными, претенциозными... Дилан Томас или Роберт Лоуэлл как-то сразу "вяли" и "скукоживались" на этом фоне — у них проступали "лишние слова", как те лишние ноты, которые Брамс отмаливает на том свете, если верить "Степному волку" Германа Гессе. У Одена же и Буковски была какая-то подлинная простота и прямота: и тот и другой беззастенчиво называли вещи своими именами. У Одена это был "Траурный блюз" — настоящий медленный блюз черного джаз-банда, музыку которого не удалось до конца передать в русском переводе даже Бродскому, блюз с его по-детски простыми и страшными образами, "полисменами в черных траурных перчатках", "звездами, выковыриваемыми с неба, одна за одной" и "луной, упакованной в коробку" — потому что теперь уже не нужно ничего:

The stars are not wanted now; put out
every one,
Pack up the moon and dismantle the
sun...

Звезды теперь ни к чему: выковыряй
их по одной.
Луну упакуй в коробку и убери
Солнце...

И еще у Одена были эти олени в самом конце "Падения Рима", когда после всех зарисовок "падения нравов" вдруг врывалась строфа:

Altogether elsewhere, vast
Herds of reindeer move across
Miles and miles of golden moss,
Silently and very fast.

В этих словах был пойман сам бег:

А где-то не здесь, бег оленьих стад
Милю за милей, над золотом мхов
Несущихся
Так тихо и стремглав.

Эта картина впечатывается в сознание столь же ярко, как должен был врезаться в сознание абсолютно к тому не готовой аудитории первого фильма братьев Люмьер несущийся на них с экрана паровоз...

Со стихами же Буковски — несколько по-другому. Потому что в первую очередь он все же прозаик. Широкое знакомство с Буковски в России началось не так давно, зато читатель почти разом получил "Юг без признаков севера" (М., 1995), "Историю обыкновенного безумия" (М., 1999) в основном в переводах В. Когана, "Голливуд" в переводе Н. Циркун (М., 1999), "Женщин" в переводе М. Немцова (Владивосток, 2000), "Почтовое отделение" (СПб, 1999), "Хлеб с ветчиной" (СПб, 2000) и "Фактотум" (СПб, 2000) в переводе

© А. Нестеров, 2002

В. Глеблеева. Все это, — не считая журнальных публикаций, изданий, вышедших на периферии и до столиц просто не добравшихся... Буковски занял в сознании читателя место где-то рядом с Генри Миллером: жесткая, фактурная проза, описание "изнанки" жизни, вне всех и всяческих иллюзий — и все это едва ли не автобиографично, замешено на личном опыте. На фоне Буковски даже Миллер выглядит романтиком и идеалистом. Да и то сказать: одно дело нищий писатель, путешествующий по Европе и живописующий свою "экзотичную" жизнь в Париже или в довоенной Греции, и совсем другое — будни человека, живущего в американском захолустье и пять дней в неделю вкалывающего на фабрике по производству собачьих галет или на скотобойнях, как Буковски. Но дело даже не в этом... За шокирующей прямотой и "правдой жизни" романов Буковски скрыт второй план. Романы эти имеют второе дно, плотно прошиты литературными аллюзиями. И ключ к этой стороне Буковски дают его стихи, которые тоже по первости кажутся ближе всего не к поэзии, а к брутальным фотоснимкам, сделанным репортером в трущобах: "нате!"; но когда в эти стихи вчитываешься, проступает вдруг... абсолютная радость жизни:

ты животное, сказала она
у тебя большое белое брюхо
у тебя волосатые ноги
ты не стрижешь ногти
у тебя жирные руки
когтищи как у кота
нос красный как помидор
а таких огромных яиц как у тебя
я вообще никогда не видела
ты извергаешь сперму
как кит извергает воду
из отверстия на спине

животное, животное —
она поцеловала меня,
что приготовить тебе на завтрак?[1]

Ты

1. Здесь и далее цитируются переводы К. Медведева, составившие книгу: Чарльз Буковски. Блюющая дама. М., 2001. (*Здесь и далее – прим. авт.*)

Если бы меня попросили объяснить, как Господь Бог играет с Левиафаном — сказано же в книге Иова: "Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его?.. Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?" (Иов **40**, 20—24), — я бы в ответ просто прочел это стихотворение. И еще: читая его впервые, я вспомнил "Моби Дика" — с тамошними описаниями фонтана кита и белизны его брюха, когда он последний раз выпрыгнул из воды, чтобы унести в пучину безумного капитана Ахава...

На самом деле Буковски не так прост. И название одного из его ранних сборников — "Сгорая в огне, утопая в пламени" — восходит к формуле, встречающейся еще в известном алхимическом трактате XVI века "Rosarium Philosophorum": "Сжигай в воде, топи в пламени. Умерщвляй переменчивое и оживляй, и воскрешай из смерти. И так воистину обретешь чаемое"[1]. Поясняя психофизиологический механизм этих двух алхимических modus operandi, призванных одухотворить материю, такой знаток алхимии, как Юлиус Эвола, пишет: "Мы можем осуществить чаемое, непосредственно спровоцировав отделение [духа от тела] так, что в результате способности индивидуума, обусловленные телом и сознанием, окажутся лишенными опоры, — тогда и само ограничение, которое тело и сознание накладывают на искателя, будет преодолено; или же мы можем осуществить весь процесс, задействовав сами эти способности... В первом случае используются силы Воды, несущей освобождение. Во втором — действие пламени или эго, направленного на самое себя... На первом пути сгорают в воде, на втором — тонут в пламени; в первом случае избавление из рабства материальности происходит за счет высвобождения жизнен-

1. Rosarium philosophorum. Secunda pars alchimiae de lapide philosophico vero modo praeparando... Cum figuris rei perfectionem ostendentibus// De Alchimia. Vol. 2. Frankfort un Mein, 1550.

ного начала; во втором жизненное начало высвобождает себя из рабства собственными силами..."[1]. Это объяснение адепта алхимии не так уж далеко от реального жизненного опыта Буковски – его пресловутое пьянство, любовные эскапады; собственно, они вполне осознанно использовались для высвобождения "истинного я". Запойный алкоголик Буковски и искатель Философского камня чаяли на самом деле одного и того же.

Подлинный опыт никогда не бывает прост. И в том смысле, что дается он не просто, а ценой крайности, и в том смысле, что о нем непросто сообщить. Сообщить адекватно. Культура есть *лишь* запись – вербальная ли, пластическая ли, музыкальная – такого истинного опыта. Не более и не менее того. А потому всякая истинная "правда жизни" оказывается плотно пропитана культурой: там, где имели место озарение, прорыв к чему-то настоящему, они могут быть внятно выражены только на языке культуры. Культуры, а не канавы. "Босяцкой правды" не существует. В английском это выражено даже в языке: слово "правда" там возможно только в единственном числе и с определенным артиклем.

И тогда не покажется столь уж дикой мысль, что стихи Буковски... литературны. И сам он одержим литературой – а как иначе можно назвать человека, читающего шоферюгам в дороге Эзру Паунда и Хильду Дулитл:

и я поехал автостопом в Лос-Анджелес
сквозь похмельные облака
и я достал из кармана письмо и прочел
его
а водитель спросил: что это такое?
да так, говорю, одна девка с Севера
которая спала с Паундом,
она уверяет меня что Х. Д. это наша
лучшая поэтесса;
ну, преподнесла нам Хильда несколько
розовых греческих богов с
фарфором,
но с тех пор, как я ее прочитал, сто
сорок сосулек свисают с моих костей.
я сворачиваю, не доезжая
Лос-Анджелеса, – сказал шофер.
Вегас

В названии одного из поэтических сборников Буковски – "Мадригалы меблированных комнат" ("Roominghouse Madrigals") – легко уловить отсылку к "Казарменным балладам" Киплинга ("Barrack-Room Ballads"). Но ведь и на самом деле место Буковски рядом с Киплингом. Он – американский Киплинг второй половины XX века: большинство стихов Буковски – самые настоящие баллады. Потому что баллада – это сюжет, рассказывание истории, причем истории пограничной: истории мести, безоглядной любви, кровосмешения, попрания запрета. Баллада всегда замешена на крови, на нарушении клятв и обетов, в ней бушует ветер недозволенности, льются серные дожди и сверкают в лунном свете клинки, обнажаемые для убийства. Баллада – зона проговаривания идиосинкразии и запретности, излома, трещины в дневном существовании. Вот это и проговаривает Буковски. В этом смысле он маргинален, ибо говорит о том, что изгнано на периферию, вытеснено из дневного сознания, из зоны благополучия и преуспевания – в кошмары неприкаянных постояльцев мотелей, в быт жителей тех районов, которые еще не совсем трущобы, но... Когда-то про это писал Томас Вулф: "Только мертвые знают Бруклин"...

Но следует помнить, что Буковски, при всей его маргинальности, жестко вписан во все американские мифы как некий антидот к "американской мечте": вписан в меблирашки в стиле фильмов пятидесятых годов, в быт маленьких городков, в традицию читать стихи в книжных магазинах, где тут же можно выпить кофе, в атмосферу университетских кампусов 60–70-х годов. Он действительно поэт Америки, наследник Уитмена, певец человечности в развоплощенном бесчеловечном мире. Все его апелляции к телесности, к не-

1. Julius Evola. The hermetic tradition. Symbols and Teachings of the Royal Art. Rochester, 1995. P. 115–116.

посредственному опыту — противоядие от абстракций, от забалтывания правды, от риторики политиканов, промывки мозгов...

И при всем том Буковски — поэт мысли. Большинство его стихов не столько описание, сколько размышление, где ситуация, вокруг которой выстроено стихотворение, только повод, толчок для мысли. Не случайно стихи Буковски просятся быть процитированными целиком: они не поддаются "нарезке" на фрагменты, как не поддается этому цельная мысль — в отличие от афоризма, меткой формулы, ей нужно пространство, чтобы развернуться. В этом Буковски ближе всего к Збигневу Херберту. С той разницей, что у Херберта мышление отвлеченностями, культурными символами — достаточно вспомнить название самого известного его сборника "Господин Когито", отсылающее к афоризму Декарта ("Cogito, ergo sum"), — а у Буковски мышление телесными образами:

мне уже не подняться.

я чувствую себя
как увязшие в снегах немецкие части
а коммунисты
идут пригнувшись
заткнув газеты
в потертые сапоги.

мое положение так же ужасно.
может быть еще хуже.

победа была так близка
до нее оставалось
совсем немного.

когда она стояла перед моим зеркалом
самая молодая и самая красивая
из тех которых я знал
расчесывая рыжие кущи
а я смотрел на нее.

потом она легла в постель
и была прекрасна, как никогда
и любовь была очень-очень хороша.

одиннадцать месяцев.

и вот она ушла.
как они все уходят.

мне уже не подняться.

долгая дорога обратно
обратно куда?

идущий впереди меня
падает.

я наступаю на него.

она и до него добралась?

Отступление

Одна из особенностей этого стихотворения — его кинематографичность. Чуть ли не классический "монтаж планов" по Эйзенштейну. Панорама: немецкая армия в снегу, почти кадры кинохроники, затем общий план: комната, отчаявшийся человек на кровати — наезд камеры — женщина у зеркала. И в конце, как апофеоз монтажной техники Эйзенштейна, во весь кадр: подошва, которая сейчас опустится на (лицо?) упавшего человека. Такой вот "хищный глазомер", как называл это Мандельштам. И здесь кроется одна из причин, почему столь успешны оказались снятые по романам Буковски фильмы — "История обыкновенного безумия" ("Tales of ordinary madness", Италия, 1981, англоязычная, несколько отличная версия, 1983) "Забулдыга" ("Barfly", США, 1987) с Микки Рурком в главной роли и "Безумная любовь" (она же: "Любовь — адский пес", Бельгия, 1987) — принесли Буковски на излете жизни широкую известность и солидные материальные дивиденды. В России из трех фильмов какую-то известность получили лишь первые два, при том что единственной удавшейся от и до постановкой сам Буковски считал "Безумную любовь".

Но тут возникает вопрос о восприятии явлений культуры при переносе на чужую почву — и о переводе. В России Буковски, как уже говорилось, за последние несколько лет напереводили много, хотя не всегда удачно. В нем видели прежде всего "честнягу-алкоголика" и "человека трудной судьбы", что не могло не по-

влиять на язык переводов: фактура "забивала" слог, подспудные смыслы терялись. И если в американской литературе его чаще всего сравнивают с Генри Миллером, то в русской — с Венечкой Ерофеевым, понятно почему. Между тем стоило бы задуматься о том, что "Москва — Петушки" названа поэмой, что книга эта насквозь проникнута... нежностью и богословием. Венечка выясняет свои отношения не со "Столичной" и коктейлем "Слеза комсомолки", а с Создателем... Буковски сравнивали с Венечкой больше в силу "общности темы". А стоило бы увидеть совсем иное. В случае с Ерофеевым стоило бы задуматься над дневниками писателя, где выписки из русских философов перемежаются заметками о классической музыке, которым могли бы позавидовать профессиональные музыковеды. И подобное же "второе дно" присутствует у Буковски. Если его что и роднит с Ерофеевым, то именно эта черта — вплоть до любви к музыке:

я слушаю его произведение,
записанное в 1923 году.
мне было три года —
Бах был бессмертен.

я скоро умру, но мне
не жаль.

мы с ним вдвоем
в этой комнате.

и вот
его музыка
поднимает меня
над моей болью,
над моим жалким
эгоизмом.

Бах, спасибо,
живых друзей
у меня нет.

Бах

Это не случайное совпадение, а действительно та общность, которой дышит время. И коль уж зашла речь о том, кому из русских авторов подобен, близок Буковски по манере письма, то надо назвать Бориса Поплавского — не стихи его, но прозу, с ее жесткой и прозрачной фразой, точностью и беспощадностью. На самом деле здесь тот "камертон", по которому стоило бы настраивать русские переводы Буковски.

Поэзия Буковски по-русски "сделана", в основном, Кириллом Медведевым. До того как выйти отдельной книжкой, некоторые из составивших ее стихов уже появлялись в журналах: в "ИЛ" (2000, № 5; часть переводов была выполнена Г. Агафоновым), в "Урале" (2001, № 6). В книге многие из тех текстов отредактированы заново: для Медведева переводы Буковски — это очень всерьез. Собственно, начиная переводить стихи Буковски, Медведев с самого начала понимал, что такой перевод будет не "фактом истории зарубежной литературы", который необходимо довести до сознания читателя, а серьезным вызовом той ситуации, в которой сегодня оказалась русская поэзия. Как сам Медведев сформулировал это в интервью Е. Калашниковой: "Я смотрел на Буковски с точки зрения местного поэтического контекста и понимал, что ничего подобного русская традиция не произвела и вряд ли уже произведет". Буковски — вызов, который подлинный опыт бросает той поэзии, что культивируется сейчас в московских и питерских литературных клубах: всяческим "гендерным откровениям" и "трагическим прозрениям", коих местные молодые поэты удостоились... прочитав последний вышедший по-русски том Фуко или Деррида с работами двадцатилетней давности. И тут появление книжки Буковски по эффекту сравнимо с тем, как если в затхлом помещении резко распахнуть окно. Характерно, что после работы над переводами Буковски изменилась поэтическая интонация самого Медведева, присутствующего в литературе не только как переводчик, но и как достаточно интересный поэт.

Переводы К. Медведева из Буковски — удача, вернее, удача процентов на 90, что достаточно редко бывает с поэтическим переводом. Поэтому переводы эти вполне "вы-

стоят", если, опустив все похвалы, заметить, что́ в них не совсем "поймано". "Простая", нейтральная интонация стихов Буковски обманчива, и, когда в стихи вторгаются чужие реплики, они "интонированы": "простота" повествовательного текста отлична от "простоты" разговорной речи, даже если последняя состоит из коротких фраз. И когда Медведев переводит в финале стихотворения внутренний монолог возлюбленной поэта, поехавшей на море развлекаться, покуда тот работает:

половина третьего
он должно быть пишет
ему вредно не писать.
к ночи найдутся другие занятия.
надеюсь, он не пьет слишком
много пива. он гораздо лучше в любви
чем был Роберт
и море великолепно.

Взаимодействие

то, по сути, этому фрагменту должно бы звучать так:

полтретьего
пишет, поди, сидит.
таким, как он не писать вредно
ближе к ночи ему найдется чем
заняться кроме, —
хорошо бы, не нализался
своим пивом. в постели он куда лучше
Роберта. и море
великолепно

Дело в том, что "в любви" в переводе Медведева — калька с английского "in love", русский же требует здесь не абстрактности, а фактуры, разговорной жесткости, точно так же, как для "drink too much" русское соответствие ситуативное, учитывающее реальный контекст и интонацию, с которой говорят это англичане и американцы, — именно "нализаться". То есть для тренированного уха стихи Буковски по-английски несколько более интонационно и стилистически разнообразны, чем они вышли по-русски. Это, однако, не умаляет достоинств книжки, сделанной К. Медведевым, — она по праву может быть названа событием.

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р. 1927]. Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999]. Лауреат литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая), *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус, перев. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др.; книги путевых очерков *Гомункулы* [*Kopfgeburten*, 1980]. В *ИЛ* напечатаны повести Г. Грасса *Кошка и мышь* [1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [1983, № 5], стихи [1983, № 10], фрагменты книги *Мое столетие* [2000, № 1].
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *Günter Grass. Im Krebsgang* [Göttingen, Steidl Verlag, 2002].

Уильям Джей Смит
William Jay Smith
[р. 1918]. Американский поэт, переводчик и литературный критик. Поэт-лауреат Библиотеки конгресса США с 1968 по 1970 гг. Член Американской академии искусств и литературы с 1975 г.

Автор многих поэтических книг, в т. ч. *Консервная банка и другие стихи* [*The Tin Can and Other Poems*, 1966], *Новые и избранные стихи* [*New and Selected Poems*, 1970], *Дерево путешественника. Новые и избранные стихи* [*The Traveler's Tree: New and Selected Poems*, 1980], *Лотерея чероки* [*The Cherokee Lottery*, 2000], а также автобиографической повести *Армейское отродье* [*Army Brat*, 1980]. В *ИЛ* опубликованы его стихи [1971, № 1 и 1981, № 6] и материалы о нем [1971, № 6 и 1979, № 5].
Публикуемые стихи взяты из книги: *William Jay Smith. The World Bellow the Window: Poems 1947–1997* [Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998], эссе – из журнала *The Review* [1996].

Петер Эстерхази
Esterházy Péter
[р. 1950]. Венгерский прозаик, лауреат нескольких международных и национальных премий.

Автор книг *Фанчико и Пинта* [*Fancsikó és Pinta* 1976; рус. перев. 1990], *Производственный роман* [*Termelési regény*, 1979; рус. перев. 2001], *Дэзи* [*Daisy*, 1984], *Краткая венгерская порнография* [*Kis magyar pornográfia*, 1984], *Книга Грабала* [*Hrabal könyve*, 1987] и др., сборников рассказов и эссе *Введение в художественную литературу* [*Bevezetés a szépirodalomba*, 1986], *В папских водах не пиратствуй!* [*Pápai vizeken ne kalózkodj!* 1977], *Чучело лебедя* [*A kitömött hattyú*, 1988], *Записки синего чулка* [*Egy kékharisnya följegyzéseiből*, 1994; рус. перев. 2001]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его новеллы и эссе.
Публикуемый перевод печатается по изданию: Esterházy Péter. *Harmonia cælestis* [Budapest, Magvető, 2000].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993] и *Инолитературы* [1995].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских – А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских – П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы многократно публиковались в *ИЛ*.

Питер Акройд
Peter Ackroyd
[р. 1949]. Прозаик и поэт, литературный критик, лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников стихов *Лондонский скряга* [*London Lickpenny*, 1973], *Сельская жизнь* [*Country Life*, 1978], *Развлечения Перли* [*The Diversions of Purley*, 1987], романов *Большой лондонский пожар* [*The Great Fire of London*, 1982], *Чаттертон* [*Chatterton*, 1987; рус. перев. 2000], *Английская музыка* [*English Music*, 1992], и др., биографических книг о Т. С. Элиоте [1984], Ч. Диккенсе [1991]. В *ИЛ*

были напечатаны переводы его романов *Завещание Оскара Уайльда* [1993, № 11], *Дом доктора Ди* [1995, № 10], *Процесс Элизабет Кри* [1997, № 5], *Повесть о Платоне* [2001, № 9].
Перевод публикуется по изданию: *Peter Ackroyd. London. The biography* [London, Chatto & Windus, 2000].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Литературовед, переводчик с английского и норвежского языков.

В его переводе публиковались произведения Эзры Паунда, Джона Донна, Артура Макена, Алана А. Милна, Терри Прэтчета и др., стихи Уолтера Рэли, Лоуренса Ферлингетти, Стейна Мерена. В *ИЛ* неоднократно печатались его статьи.

Переводчики

Борис Николаевич Хлебников
[р 1943]. Поэт-переводчик.

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса [Франция], стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста [США]. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. Вадера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повесть *Чужой друг* Кристофа Хайна [1987, № 1], романы *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* Стефана Гейма [1994, № 9].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед.

Автор стихотворных сборников *Бумеранг* [1998] и др., книг переводов: *Сказки Биг Бена* [1993], *У. Б. Йейтс. Избранные стихотворения* [1993], *Джон Донн. Избранное* [1994], *Роберт Фрост. Другая дорога* [1999], *Книга нонсенса. Английская поэзия абсурда* [2000]. Переводил английских, американских, ирландских, французских поэтов, в т. ч. У. Шекспира, Э. Марвелла, Дж. Китса, Дж. Джойса, П. Ронсара, и др., английскую детскую поэзию [Э. Лира, Л. Кэрролла и др.]. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10] и др.

Вячеслав Тимофеевич Середа
[р 1951]. Литературовед и переводчик.

Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П. Надаша, Ш. Раффаи, М. Мункачи, пьесы Д. Шпиро. В *ИЛ* печатались переводы новелл и эссе Петера Эстерхази [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8], рассказ А. Бодора *Музей природных редкостей, округ Синистра* [1993, № 9] и др.

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Инолит* [1999].

В его переводе издавались произведения Р. Киплинга, А. Конан Дойла, Г. Э. Бейтса, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского художника Каналетто [1697–1768] *Лондон: Вестминстерское аббатство* [1749].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко. Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжном магазине "Библио-Глобус" — ул. Мясницкая, 6.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 16.9.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 858.
Тираж 9260 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика
ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерешагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: linlya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи

---

[11] 2002

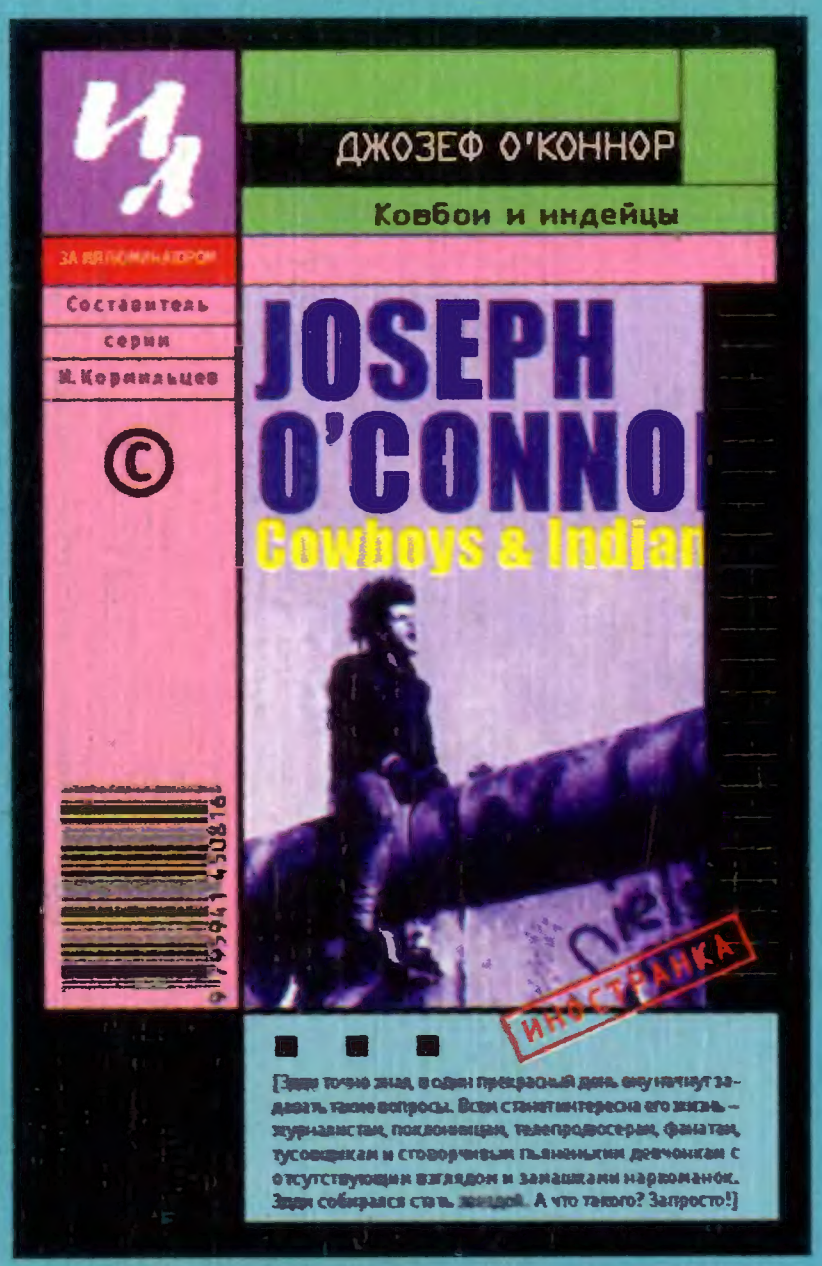
НОВЫЙ РОМАН МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА “ПЛАТФОРМА“ / ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: ЭНДРЕ АДИ / СТИХИ МИРИАМ ВАН ХЕЕ / РОМАН ФРАНСИН ПРОУЗ “ГОЛУБОЙ АНГЕЛ“ / ЭССЕИСТИКА МАКСА БИРБОМА

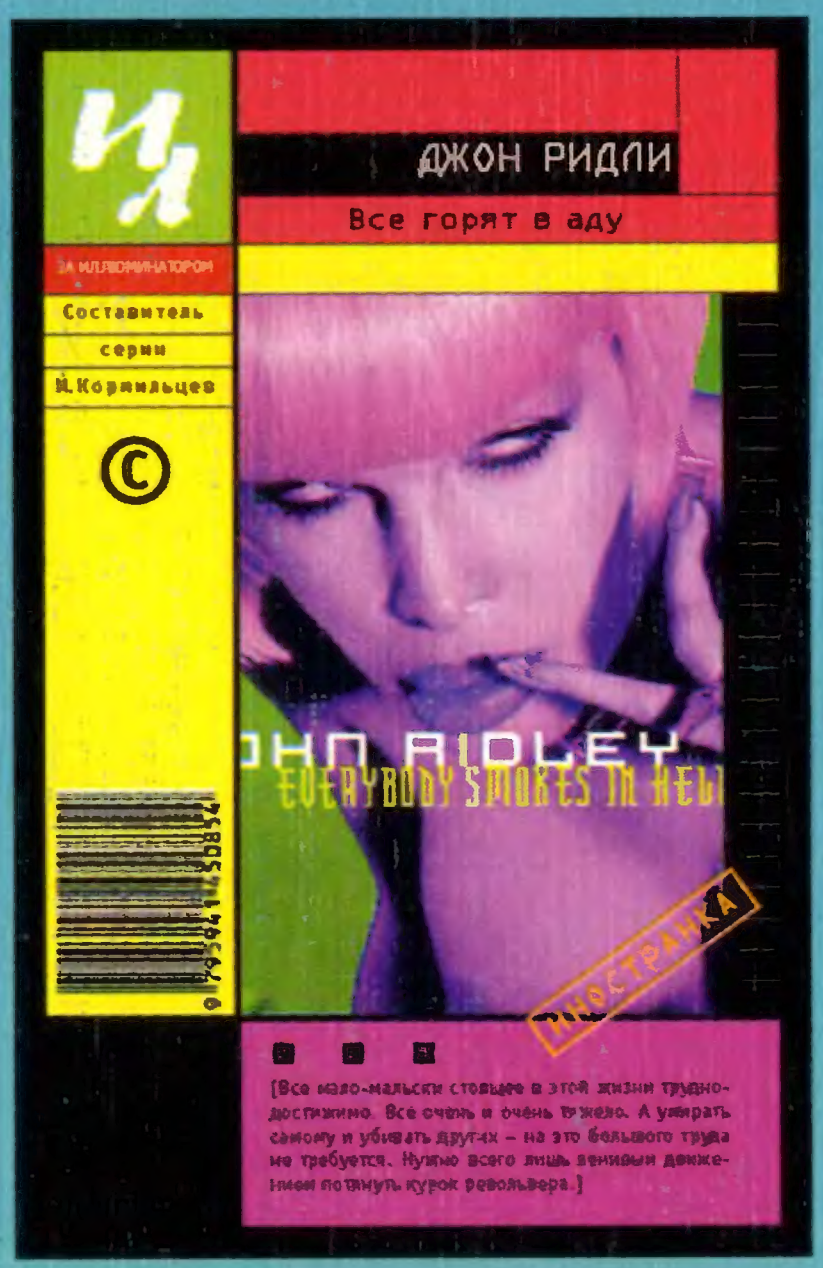
Новая серия издательства "Иностранка"

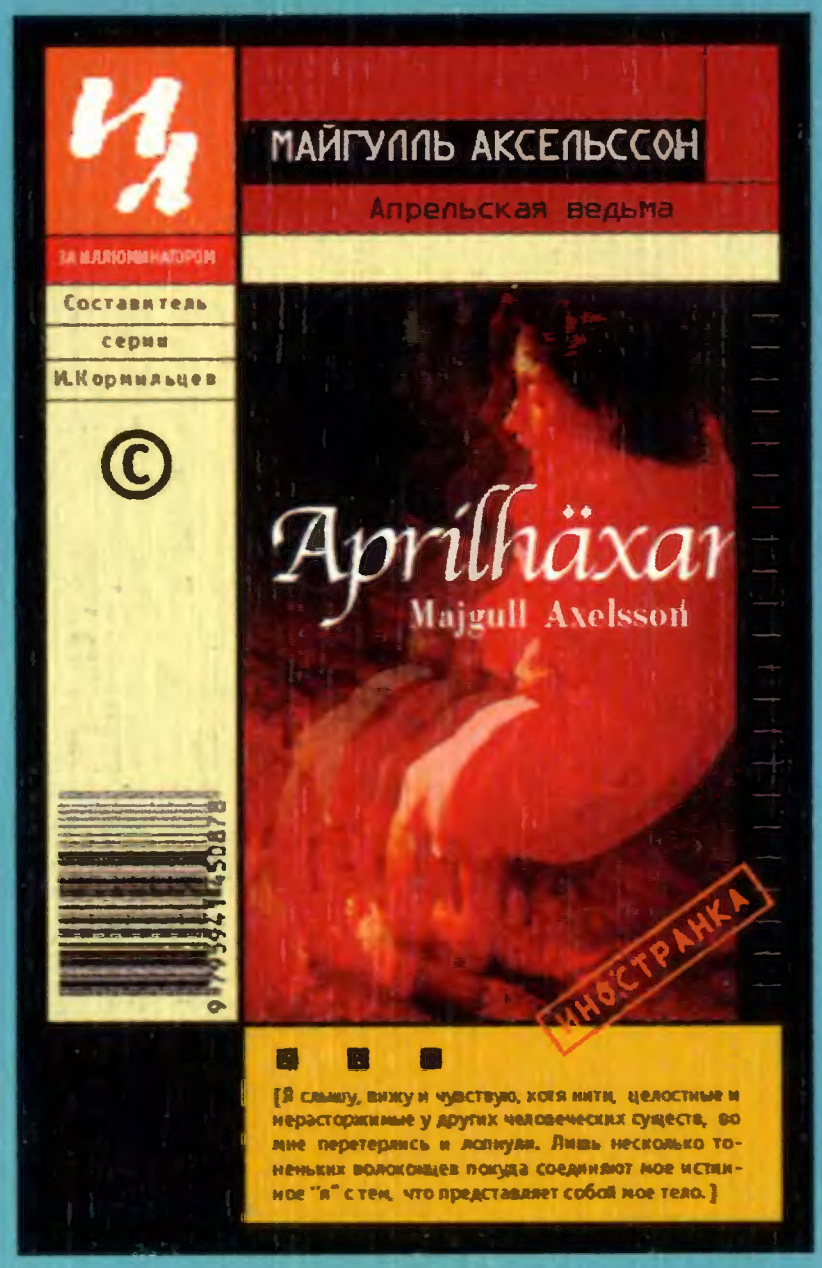
"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №10, 1-288